



**Дружба
народов**

1/2021



В номере:

Генералы, нефтеторговцы, людоеды...

«Начитавшийся в детстве приключенческих книжек не только до одури, но, увы, до умопомрачения, помешавшийся на индейцах, прериях и джунглях, имевший в постоянных товарищах Фенимора Купера и Майн Рида Беляев принадлежал к тому типу русских людей, на жизнь которых влияние прочитанных книг настолько велико, что оно, как правило, начисто разрывает их связи с реальностью и зачастую рвет на части их самих». Но случаются исключения: эмигрировавший после революции врангелевский генерал Иван Тимофеевич Беляев стал Генеральным администратором индейских колоний и Почетным гражданином Парагвая...

В основе авантюрного романа Ильи БОЯШОВА «Морос, или Путешествие к озеру» — одна из самых невероятных экспедиций XX века.

Сколько имён у счастья

Прозрачная лирика Владимира САЛИМОНА светла счастливыми воспоминаниями детства: «отец под Новый год, / как языка, живую ёлку / взяв с бою, нам приволочёт» — и печальна горькой памятью об утратах. «...подбирается время к твоим часам / хищно смотрит на циферблат», — тревожно предчувствует Андрей ФАМИЦКИЙ. «Всё всегда идёт налево / Даже если это право», — утверждает Анна РУСС. Хорошо известные русскоязычному читателю поэты из поколения 30-летних — впервые на страницах «ДН».

В рубрике «Двойной портрет» философские стихи Сухбата АФЛАТУНИ и его переводы узбекского поэта Турсуна АЛИ, нашего современника.

Вакханалия из-за фантома

Поколение советских евреев первой половины XX века «было практически лишено националистического начала, противопоставляющего себя общенародному. ...По крайней мере, у писателей и поэтов фронтового поколения его обнаружить не удастся. Разве что они были гораздо сильнее ранены Холокостом, чем остальное население СССР, но и в этом было не больше отчуждения от страны, чем в каждом, кто оплакивает гибель близких», — писатель Александр МЕЛИХОВ в статье «Советский патриотизм и голос крови» анализирует взаимоотношения властей Страны Советов и одного из населяющих ее народов.

«Тяжело в ученье, нелегко в бою»

«Однажды пригласили меня сниматься в кино, на главную роль (в фильме «Рыжик»). Мама не пустила. Что оставалось? Сидеть, уткнувшись в карту. Тут еще попала в руки открытка «Вид города Каира» — красивые машинки, дома высокие, темно-голубая река Нил. Шел от той картинки запах волшебный. Опять уткнулся я в карту мира, ее ближневосточный кусочек. А там в 1967 году — «шестидневная война». То, что любимые арабы продули ее за несколько суток, было обидно...» — ироничные и очень познавательные воспоминания востоковеда, политолога Алексея МАЛАШЕНКО об освоении арабского языка, о переводческой работе, об арабах и Египте.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.11.2020.
Подписано в печать 29.12.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 7142. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир САЛИМОН. Живи, поэт! <i>Стихи</i>	3
Илья БОЯШОВ. Морос, или Путешествие к озеру. <i>Авантюрный роман</i>	8
Анна РУСС. Из твоей головы. <i>Стихи</i>	101
Алекс ТАРН. Томик в мягкой обложке. <i>Рассказ</i>	104
Максим ВАСЮНОВ. В кайф. <i>Два «дымных» рассказа</i>	122
Андрей ФАМИЦКИЙ. Одно из ремёсел. <i>Стихи</i>	137
Давид МАРКИШ. Тиль-митиль. <i>Рассказ</i>	140
Александр БУШКОВСКИЙ. Чудо. <i>Рассказ</i>	146
Илья МАМАЕВ-НАЙЛЗ. Words Unsaid. <i>Рассказ</i>	152

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Сухбат АФЛАТУНИ. Сколько имён у счастья. <i>Стихи</i>	159
Турсун АЛИ. Стихи. <i>С узбекского. Перевод Сухбата Афлатуни</i>	162
Татьяна ШАПОШНИКОВА. Созданы друг для друга. <i>Повесть</i>	166

НАЦИЯ И МИР

Алексей МАЛАШЕНКО. Тяжело в ученье, нелегко в бою	197
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр МЕЛИХОВ. Советский патриотизм и голос крови	219
---	-----

КРИТИКА

Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась.

Литературные итоги 2020 года подводят:

Евгений АБДУЛЛАЕВ, Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ, Катерина ГАЛГУТ,

Мария ЗАКРУЧЕНКО, Сергей ЛЕБЕДЕНКО, Валерия ПУСТОВАЯ,

Елена САФРОНОВА

238

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Валерия ПУСТОВАЯ. Шаманский аперитив

(Шамиль Идиатуллин. «Последнее время»)

254

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Диалог с пространством

262

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «Кеды» — 2020

268

SUMMARY

272

Владимир Салимон

Живи, поэт!

* * *

Я знал, отец под Новый год,
как языка, живую ёлку,
взяв с бою, нам приволочёт
домой, крадучись, втихомолку.

Пока все спят, он у окна
её в ведро с водой поставит.
Проснусь — о, счастье! — вот она!
Горит. Сверкает. Бога славит.

И не беда, что всё у нас
в календаре перемешалось,
всё так запуталось подчас
и не на месте оказалось.

Что праздник празднику порой
дорогу переходит,
лезет
без очереди, как слепой,
шумит, буянит, куролесит.

* * *

Наши мамки, наши няньки,
нас на санки посадив,
тащат, тащат в гору санки,
как состав, локомотив.

Едет, едет по бульвару
поезд наш, со всех сторон
нам кричат — поддайте жару! —
видно, есть на то резон.

Еле-еле поезд тянет.
Кажется, ещё чуть-чуть

и навек в снегу он встанет.
Заметёт, завьюжит путь.

Мы до станции конечной
не доедем никогда,
унесёт нас быстротечной
Леты чёрная вода.

Мальчика в солдатской шапке.
В белой шубке меховой
девочку.
Стихи. Тетрадки.
Сделав жизнь мою пустой.

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001). Лауреат премий журналов «Октябрь», «Арион», Европейской поэтической премии Римской академии (1995). Лауреат Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Живет в Москве.

Постоянный автор «Дружбы народов».

* * *

Что мне делать с моей Ирккой?
Прежде, были времена,
без труда могли с бутылкой
мы управиться вина.

Пенилось вино в бокалах,
а вокруг сирень цвела,
словно в розовых кораллах
мы сидели вкруг стола.

Лёша, Коля, Саша, Слава —
их давно на свете нет,
только мотыльков орава
в сумерках летит на свет,

словно мелкие рыбёшки
к нам летят из темноты
души Славки, Кольки, Лёшки.
Ира, детка, где же ты?

Я проснулся среди ночи:
Ира! Ира! — стал кричать,
звать Ирину, что есть мочи.
Иры нет. Пуста кровать.

* * *

Дом пуст и холоден, и тёмн.
По осени во тьме ночной
он так нам кажется огромен,
как будто космос ледяной.

Но в пустоте и тьме крошечной
жизнь существует всё равно,
не в пику смерти неизбежной,
а словно с нею заодно.

Она присутствует незримо
и явственно и здесь, и там —
то в запахе печного дыма,
то в шорохах, что слышны нам.

Я о её существованье
догадываюсь без труда,
она себя не держит в тайне,
не знает страха и стыда.

Она не прячет, не скрывает,
лишь милосердно до поры
нам на показ не выставляет
клыки и когти, и шипы.

* * *

Бонни Клайда обнимает,
но сжимая рукоять
револьвера, оседает
Клайд, не в силах устоять.

Может, перед объективом
близость с ними как-нибудь
в ослеплении счастливом
мы хотели подчеркнуть:

нахлобучили мы шляпы,
сходства лёгкого ища,

спрятали хвосты и лапы
под одежду, трепеща,

потому что сердцем, кожей
ощущали, что нельзя,
обезьянничая, божий
гнев не вызвать на себя.

Клайд убит, погибла Бонни.
А теперь и мы с тобой
лай собачий, шум погони
услыхали за спиной.

* * *

Дорога только до моста,
а дальше — узкая тропинка,
глухие, дикие места,
что годны лишь для поединка.

Я бы и рад подставить грудь
под пулю доброму соседу,
но, трус презренный, он ничуть
не хочет кровь пустить поэту.

Он говорит:
Живи, поэт!
Зачем в тебя стрелять я буду?
И, вспрыгнув на велосипед,
купаться едет на запруду.

* * *

Без удовольствия за стол
в саду не сядешь,
сел у печки,
уставясь в деревянный пол,
в прямые ровные дощечки.

Такой, положенный во гроб
живым, увидел крышку гроба
несчастный Гоголь.
Бил озноб
его, хотя прошла хвороба.

Доска к доске — ни щёлки нет,
зазора нету, промежутка,
чтоб сквозь него увидеть свет,
и оттого ужасно жутко.

Так, в пол уставясь, я сидел,
колени обхватив руками,
как будто угадать хотел,
что там — в кромешной тьме — под нами.

* * *

Отец и сын на фотоснимке.
И кто-то третий — Дух Святой
иль Ангел, вроде невидимки,
нас ослепивший красотой?

Иль это — птичка-невеличка,
что вылетает всякий раз,
лишь вспыхнет вспышка, словно спичка,
до слез перепугавши нас?

Спроси фотографа об этом,
но он руками разведёт,
в карман полезет за ответом,
но ничего там не найдёт.

Откроет короб свой заплечный,
всё перероев в нём вверх дном,
но на вопрос ответить вечный
не может,
будто астроном,

что к телескопу всей душою,
как к мамке родненькой,
приник:
есть за чертою гробовою
жизнь иль наша жизнь — тупик?

* * *

День идёт на убыль, словно
в доме траур, полумрак.
Я, как это не прискорбно,
пью вино, курю табак.

Я пускаю кольца дыма,
и они, как корабли
межпланетные, вестимо,
в космос путь берут с Земли.

Бороздят миры иные,
облетают вкруг планет,
чьи пустыни ледяные
отражают звёздный свет.

В этом свете отражённом,
будто в зеркале кривом,
будто бы в окне вагонном,
перевернут мир вверх дном.

* * *

В дождь трамваи встают на коньки
и скользят вдоль бульваров тенистых,
где уже фонарей огоньки
загораются в сумерках мглистых.

Это сон или явь?
Это только мерещится, мнится —
тонкий профиль в трамвайном окне,
что летит в полумраке,
как птица

сквозь холодные струи дождя
и густой частокол мелколесья,
сквозь который пробиться нельзя,
крылья не поломав, в поднебесье.

* * *

Сколько золота намыли,
а уходим налегке,
тая столбиками пыли,
исчезая вдалеке.

Ветер дунул, дождь закапал,
ливень наши смыл следы,
чтоб никто по нам не плакал,
так как в этом нет нужды.

Никакого нету прока
горевать и слёзы лить.
Что ушли мы раньше срока,
смысла нету говорить.

Будто в самом деле где-то
стрелки, Господи прости,
на часах забыли с лета
на зиму перевести.

Илья Бояшов

Морос, или Путешествие к озеру

Авантюрный роман

Трансвааль, Трансвааль, страна моя...
Бур правду говорит:
За кривду Бог накажет нас,
За правду наградит.

Галина Галина

Есть на земле далёкий край,
Где нет ни кризисов, ни крахов,
Алмазно-знойный Парагвай,
Страна влюблённых и монахов.

*Песенка из кинофильма
«Марионетки»*

«Вдвоем быть лучше, чем одному, ибо, если
упадут, друг друга поднимут, но горе, если один
упадет, а, чтоб поднять его, нет другого, да и если
двое лежат — тепло им, одному же как согреться?»

Царь Соломон

Эта история случилась в начале тридцатых годов прошлого века. Однако прежде чем поведать о ней, стоит напомнить о государстве, в котором она произошла, и об обстоятельствах, которые способствовали столь удивительному путешествию героев повествования в сердце края, остававшегося совершенно неизвестным в то время, когда на географические карты были нанесены, казалось бы, самые экзотические и труднодоступные земные места.

Но обо всем по порядку.

Илья Бояшов родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил исторический факультет педагогического института им. Герцена. Автор десяти книг. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя». Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — быль «Бансу» (2019, № 7).

Великий Чако

Не секрет: главными недругами слабой державы всегда являются ее ближайшие соседи. «Задний двор» Латинской Америки — экзотический Парагвай — исключением не был. Особенно досталось ему в войне 1864—1870 годов, не случайно названной Парагвайской. Прикарманив почти половину чужих земель на востоке и юге, Бразилия, Аргентина и Уругвай прошлись затем катком своих армий по долам и весям страны с таким достойным гуннов азартом, что в могилах оказались две трети парагвайских мужчин. Истинный геноцид сошел странам-поделницам с рук — Европа и Штаты в те времена не особо интересовались мировыми задворками, и после расправы над государством-парией события в регионе тянулись ни шатко, ни валко. Парагвай потихоньку хирел, Аргентина и Бразилия обрастали жирком, у политиков из Монтевидео накопились иные проблемы. Вроде бы все успокоилось, однако к концу века девятнадцатого в головах еще одних соседей ополовиненной страны — боливийцев — занозой засела мысль о том, что дышащий на ладан сосед непременно должен поделиться частью своей территории еще и на севере. Президенты страны откладывали вопрос до того момента, пока в устах зачавших в Боливию коммивояжеров «Стандарт Ойл» особенно сладко и часто не зазвучало слово «нефть». В двадцатые годы двадцатого века, прислушавшись к доводам посланцев Рокфеллера, государственные мужи решили закрыть гештальт при помощи кайзеровских офицеров, которых щедро поставлял Латинской Америке Версальский мир. Немцы с истинно арийской страстью взялись готовить боливийскую армию к будущей войне, найдя применение не только оставшемуся без дела оружию, но и обмундированию. Форма сделала темпераментных боливийцев похожими на германских солдат, и это не хуже приличного жалования грело сердца бывших унтеров и генералов Вильгельма II.

Парагвайцев все это не радовало — вот почему жарким декабрьским вечером 1930 года военный министр бедной, как церковная мышь, но подобной кондору в своей гордости державы вызвал к себе для доверительной беседы некоего человека, чьим мнением дорожил весь местный генералитет. Для его экстренной доставки во дворец парагвайские вооруженные силы задействовали авто министра (на данный момент в парагвайской столице автомобилями могли похвастаться лишь президент республики и военный министр). Гость проследовал в кабинет, оставив на попечение адъютанта берет, более подходящий парижскому клошару, чем советнику парагвайского Генштаба. Советник был тщедушным, невысокого роста, с бородкой клинышком, в чеховском пенсне и всем своим видом скорее походил на учителя математики. На нем были потертый костюмчик с коротковатыми штанами и парусиновые туфли. Скромный облик гостя, словно выдернутого для разговора с министром из приспособленной под школу провинциальной хижины, никак не вязался с обстановкой сверкающего лаком кабинета, где разместились два викторианских кресла, несколько книжных шкафов угрожающей высоты и покрытый зеленым сукном стол размером чуть ли не с половину футбольного поля. Луис Риарт, политик, которого можно было обвинить в чем угодно, но только не в подбострастии, вложил все свое уважение к позднему гостю в крепкое рукопожатие:

— Дон Хуан! Простите за назойливость, но я побеспокоил вас по исключительно важному поводу.

Министр предпочел не тратить время на церемонии и сразу протянул вошедшему записку.

Дон Хуан поднес изрядно помятый листок к пенсне. Судя по всему, текст был почти нечитаемым. Наконец записка была расшифрована.

— Черт подери, — ругнулся советник по-русски. — А ведь дело-то пахнет дракой.

Спохватившись, гость перешел на испанский, слово в слово повторив для Риарта то, что сорвалось у него с языка. Впрочем, министр несколько не удивился чужой речи, ибо звали на самом деле досточтимого дона Хуана Иваном Тимофеевичем Беляевым, и был тщедушный и интеллигентнейший советник парагвайского Генерального штаба потомственным петербуржцем, дворянином, артиллеристом лейб-гвардии, разработавшим для русской армии первый Устав горной артиллерии и в годы Первой мировой в чине командира артдивизиона принявшим самое активное участие в знаменитом Брусиловском прорыве. Не менее бурное участие Ивана Тимофеевича в событиях 1917—1918 годов (а именно в становлении армии белых, налаживании работ по производству оружия на Харьковском паровозостроительном заводе) и его особо доверительные отношения с командующим Добровольческой армии генералом Кутеповым в дальнейшем обеспечили ему гарантированную эмиграцию без всякой надежды вернуться на Родину. Сухенький, активный инспектор всей добровольческой артиллерии Беляев давно уже был взят на мушку революционными матросами, немало потерпевшими от огня его батарей. Будучи уже врангелевским генералом, бежал он от рассвирепевших большевиков на последнем корабле из Новороссийска в Галлиполи (беляевские орудия прикрывали эвакуацию), затем мыкался в Болгарии и, отказавшись от карьеры шофера парижского такси, в середине двадцатых годов подался в Аргентину, где, впрочем, тоже не задержался, ибо мятущемуся духу Ивана Тимофеевича уклад жизни тамошней русской общины оказался попросту невыносимым. Его можно было понять. Угнездившиеся с конца девятнадцатого века в Буэнос-Айресе русские коротали годы замкнутым кругом, а их дети, быстро привыкнув к здешнему танго и лучшим в мире отбивным из мраморного мяса, по славной отечественной привычке переняли местные особенности до такой степени, что отличались от аборигенов разве что нательными крестами. К ужасу бывшего генерала, мечтавшего о единении всех россиян за границей, старожилы смотрели на оборванных, прокопченных пожарами Гражданской войны соотечественников далеко не ласково и принимать их в свое общество не торопились. Доходило до того, что они попросту гнали с порога своих домов, как нищих с паперти, и пострадавших за царя и отечество седых рубак, и бывших депутатов Государственной Думы. Впрочем, вновь прибывшие тоже могли поддать жарку. Белогвардейские поручики и капитаны, привыкшие решать проблемы при помощи пашек и револьверов и «рубавшие большевичков, словно соломенных кукол», мягкостью манер не отличались. Старые и новые иммигранты, постоянно сталкивающиеся на улицах аргентинской столицы и под сводами двух местных православных храмов, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Отчаянные попытки священников примирить христолюбивых чад терпели крах. Не прошло и месяца мытарств, как Беляев окончательно осознал: что касается аргентинской общины, в ней торжествует едва прикрытый приличиями закон крайнего эгоизма. Сие прискорбное обстоятельство заставило Ивана Тимофеевича обратить свой взор на соседний Парагвай, тем более, что с этим разнесчастным государством его связывало нечто большее, чем просто желание в очередной раз сменить место жительства.

Следует прояснить стремление будущего советника парагвайской армии переехать в страну, значительную часть которой занимала неисследованная сельва, густо заселенная дикарями. Начитавшийся в детстве приключенческих книжек не только до

одури, но, увы, до умопомрачения, помешавшийся на индейцах, прериях и джунглях, имевший в постоянных товарищах Фенимора Купера и Майн Рида Беляев ко всему прочему принадлежал к тому типу русских людей, на жизнь которых влияние прочитанных книг настолько велико, что оно, как правило, начисто разрывает их связи с реальностью и зачастую рвет на части их самих. Почтенный отец будущего натуралиста, географа и антрополога Тимофей Михайлович Беляев, гвардеец, комендант Кронштадтской крепости, совершил стратегическую ошибку, отдав сына на поруки семейной библиотеке и дедовским сундукам (в одном из этих хранилищ, кроме опять-таки приключенческих и географических книг, ко всему прочему обнаружилась старинная карта Парагвая). Так, благодаря превосходным книжным собраниям в отцовском доме и все тем же сундукам, уже к шестнадцати годам Беляев-младший сделался законченным утопистом. Вот почему и в кадетском корпусе, и в Михайловском артиллерийском училище часто вперивал юноша бледный свой подслеповатый взгляд в не менее унылое, чем учебный плац или артиллерийские позиции на полигоне, серое, словно поношенная шинель, петербургское небо, узревая вместо него вымытые до белизны небеса Латинской Америки. Скажем более: юный Иван чуть ли зубами не скрежетал, желая ворваться на лихом коне с казацкой шашкой наголо в Южную Америку и устроить там хорошенькую рубку ненавистных ему плантаторов ради индейского освобождения. Остается добавить: именно Парагвай в восторженном бреде кадета, затем юнкера, затем офицера, а затем и врангелевского генерала, благодаря все той же найденной в детстве карте, занимал особое место, о чем и будет рассказано позже. Кроме того, наложилась на мечту иммигранта Беляева о всемирном индейском братстве еще одна сжигающая его душу утопия — поиск земли обетованной для всех обездоленных страдальцев оставленной Богом России. Столкнувшийся с аргентинской реальностью Беляев страстно мечтал создать в Парагвае настоящий «русский ковчег». Все это привело к тому, что колокольчик над дверями парагвайского посольства в Буэнос-Айресе вскоре известил обитателей особняка о визитере. Кандидата на парагвайский паспорт приняли весьма сухо. Не все дипломаты являются прорицателями, разглядеть в неприметном интеллигенте будущего дивизионного генерала и почетного гражданина парагвайской республики не смогли ни референт посольства, ни атташе, ни сам господин посол, голова которого была забита в тот момент совершенно иными делами: на его горячо любимой родине шла стрельба и провозглашались марксистские лозунги — словом, во всех парагвайских городках слышалась музыка революции. Скромному русскому предложили прийти, когда закончится катавасия. Беляев вынужден был откланяться и ждать, продолжая интересоваться аргентинскими газетами и заодно совершенствуя свой испанский. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Благодаря пронырливости журналистов, готовых мать с отцом продать ради жареных новостей, стало известно: смута завершена; в Аргентину из страны обетованной прибыли важные игроки — президент Мануэль Гондра и оборонный агент Санчес. Почитатель Фенимора Купера вновь оказался перед посольской дверью. На этот раз он явился как нельзя более вовремя: оба политика встретили романтика с распростертыми объятиями:

— Нам позарез нужны строители, врачи, инженеры. Но прежде всего — офицеры! Особенно артиллеристы! Кажется, вы два года потчевали коммунистов шрапнелью? И, кроме того, наверняка знаете основы фортификации! Милости просим в Военную школу!

Предложенные пять тысяч песо в качестве зарплаты еще более вдохновили пообносившегося пассионария. Сборы отличались поистине суворовской

стремительностью. Погрузившись в одно прекрасное утро вместе с молодой женой на пароход, неутомный Иван Тимофеевич, попеременно обдуваемый ветерком и угольным дымом из топки, под истошные крики попугаев, доносящиеся из зарослей по обоим берегам Параны, проплыл энное количество миль вверх и высадился с несколькими скромными чемоданами на набережной Асунсьона — города, поразившего будущего предводителя краснокожих царскосельской провинциальностью. Еще бы! В парагвайской столице даже дамы разгуливали без башмаков, надевая их лишь на улицах, вымощенных булыжником, — этих улиц было в городе чуть больше, чем автомобилей. На фоне невзрачных домишек, утопающих, впрочем, в райских кущах садов, весьма скромный по российским меркам президентский дворец, а также здания городской управы и трибунала выглядели чуть ли не небоскребами. Несмотря на то, что на улице Пальмас чету иммигрантов Беляевых встречали магазины, которые пытались тягаться с парижскими роскошью витрин, скромность здешнего бытия даже и не пыталась прятаться. Повсюду мелькали босые ноги, нищие весело просили на хлеб, шныряли мальчишки с физиономиями профессиональных карманников, торговли базара в центре столицы перекрикивались друг с другом и с покупателями со страстью тропических птиц. Все дышало такой патриархальной, почти библейской простотой, что неожиданно вспыхнувшее вечером на некоторых улицах и в некоторых домах электричество вызвало у Ивана Тимофеевича и его *заиньки* поначалу оторопь, а затем почти что детский восторг.

Итак, домик был снят; жена распаковала вещи. Растущее во дворе дерево квебрахо (или «сломай топор») потрясло нового хозяина крепостью древесины — он тут же объявил квебрахо своим талисманом. Визит к начальству Военной школы завершился полным триумфом. На вопрос генерала Хосе Феликса Эстигаррибии о достоинствах и недостатках трехдюймового горного орудия «Данглиз-Шнейдер» образца 1909 года последовал обстоятельный ответ соискателя, касающийся не только тактико-технических данных, но и особенностей применения хорошо знакомой Беляеву пушки в качестве зенитки. Несколько советов бывшего артиллерийского инспектора относительно учебного процесса, данные с таким же знанием дела и с не менее удивительным тактом, тоже не остались без внимания. Представители учебного заведения были в восторге, и вскоре Хуан Беляев, имеющий несомненный дар к иностранным языкам, взялся за обучение стриженных под ноль мальчишек фортификации и французскому, на котором Иван Тимофеевич общался со скоростью смышленного гарсона из парижского кафе. Однако Майн Рид и Купер никуда не девались. Во время перерывов между занятиями странный русский усаживался со стаканчиком мате возле постоянно распахнутого окна служебной комнаты, и тогда мечты вновь подхватывали его, унося далеко за пределы пыльного двора школы — в сельву, в кишасшие удивительными существами заросли, туда, где прятались в пальмах хижины гуарани. Беляев по-прежнему бредил индейцами, не отрекаясь, впрочем, и от другой своей идефикс.

За приезжим спецом пристально следил парагвайский Генштаб. Последствия слежки не заставили себя долго ждать: вскоре знаток горного военного дела оказался в кабинете военного министра. Радужный политик одним выстрелом завалил двух вальдшнепов, предложив гостю пригласить в Парагвай тех белогвардейских скитальцев, которые вслед за Беляевым пожелали бы обрести здесь пусть и скупую на подачки в виде заработной платы, но все же родину (приветствовали офицеры, путейцы, врачи и профессора). За помощь в создании русской колонии от дона Хуана попросили

совсем ничего, а именно: организацию нескольких экспедиций в область на стыке границ Парагвая, Аргентины, Бразилии и все той же Боливии, намерения которой вырисовывались все более отчетливо. Беляев замер, когда Риарт произнес «Великий Чако». Тропический район Чако был таинствен! Он поистине был велик! До этого пальмового Эльдorado за четыреста лет своего господства не смогли добраться даже конкистадоры, готовые колонизировать и Луну. На всех без исключения картах мира Чако оставался огромным *пустым пятном*. Что он на самом деле хранит в себе — не знали ни географы, ни зоологи, ни католические монахи, несколько раз без всякого успеха пытавшиеся сунуться в гущу тропического междуречья Парагвая и Пилькомайо. Замысел Риарта оказался грандиозен: новому парагвайскому гражданину предстояло нанести на карту, плотно заселенную кайманами, броненосцами, капибарами, тапирами, ягуарами, пумами, анакондами, коралловыми аспидами, обезьянами, термитами, москитами, гигантскими муравьями, саранчой, клещами, кровососущими летучими мышами, попугаями, нанду, ибисами, туканами и вдобавок индейцами, ту часть неизведанных тропиков, которая пока еще принадлежала Парагваю и на которую зарились боливийские стратеги вкупе со своими североамериканскими друзьями. Иван Тимофеевич едва сдержал себя, чтобы здесь же, в министерском кабинете, не пасть на колени и не возблагодарить Господа за то, что Всемогуший наконец-то услышал тайные чаяния раба своего.

Уже на следующий день Главный Почтамт Асунсьона принял первый десяток писем.

Что касается другой части соглашения, то бывшего артиллериста уже не могли остановить ни уговоры жены, ни подточенное здоровье, ни тот остужающий любую трезвую голову факт, что пустошь, которую предстояло штурмовать, имела размер половины Франции. Иван Тимофеевич взялся за изучение местной флоры и фауны с рвением, которому мог бы позавидовать неутомимый Паганель. Парагвайский Генштаб в силу стесненности в средствах снабжал экспедиции довольно скупо, но следопыт не роптал, довольствуясь тем, что есть. Беляев следовал по берегам тропических рек, прибегая к услугам выносливых местных носильщиков и незаменимых мулов, зарисовывая с натуры птиц, зверей, деревья и обозначая не только стратегические высоты, впадины, ложбины, но даже самые мелкие ручьи. Неожиданное появление нового Миклухо-Маклая в индейских селениях района Чако потрясло их обитателей. Однако не успели затянуться болотной водой следы от первого посещения Иваном Тимофеевичем становищ непуганых детей природы, по силе воздействия сравнимого разве что с визитом инопланетянина, как, спешно организовав вторую экспедицию, он вновь появился возле индейских костров. Обаяние свалившегося на индейские головы белого гуру обезоружило самых воинственных ичиго, которые с восторгом пробовали на зуб привезенные ножи и разглядывали ткани. Беляев разорился на покупках, но никто не остался без подарков. Любовь северянина к обитателям сельвы коснулась всех без исключения местных пятниц. И любовь эта не натолкнулась на стену. Чингачгуки окружили невзрачного бледнолицего, для которого потеря пенсне была самой страшной из катастроф, не менее искренним обожанием. Так благодаря милости Божией Иван Тимофеевич наконец-то попал в свою истинную стихию. Не о ней ли мечтал он до самозабвения и на унылых практиках по созданию батарейных позиций под Красным Селом, и в царскосельском госпитале, и на обильно удобренных трупами галицийских полях, и в поставленном на дыбы эвакуацией Новороссийске, и в равнодушном Париже, и в чопорном Буэнос-Айресе? С восторгом принимая теперь каждый звук, вырывающийся из индейской глотки, и каждый жест, которым тот или

иной танцор в перьях сопровождал свой танец, дон Хуан высыпался в индейских гамаках, прятался от тропических ливней под крышами незатейливых индейских домов, усердно работал веслом, сплавляясь с местными рыбаками по очередной безымянной реке, тянул сети, охотился на обезьян и совершал еще множество всяких больших и мелких дел, успевая записывать, зарисовывать, запоминать, впитывать в себя все чудеса пещерного века. Достижения были налицо: за три года он умудрился изучить быт, язык, религию племен мака и чамакоко с таким виртуозным совершенством, которое сделало бы честь и утонченному, аристократичному до шнурков лакированных туфель академику-антропологу из Оксфорда.

Ну а письма к соотечественникам сработали. Прибывающие в Парагвай один за другим переселенцы выгружали скромные баулы на асунсьонской набережной, тарашась на рутину здешней жизни. Впрочем, шок проходил весьма быстро. Дипломированные выпускники Петербургского Технологического института и Института путей сообщения, едва наладив быт, брались за дело, по которому они так соскучились за баранками таксомоторов Люксембурга и Бордо. В казармах парагвайской армии все чаще слышались экзотические ругательства. Хотя солдаты и не понимали смысл обращений, энергичные словосочетания из уст свалившихся на их головы пришельцев из далекой России действовали не хуже капральских палок, заставляя самых непонятливых и ленивых моментально осваивать винтовку «Маузер М-93» и с быстротой личинки муравьиного льва зарываться в красную песчаную почву. Все чаще и чаще из множества глоток обитателей тех же казарм с непередаваемым акцентом вырывалась незабвенная «соловей-пташечка». Молодецкий посвист, которому мастера Мировой и Гражданской научили своих подопечных, с не меньшим эффектом распугивал местных красоток, прогуливающихся под казарменными заборами в ожидании возлюбленных.

Пока русские офицеры вместе с вверенными им батальонами месили песок полигонов и стрельбищ, путейцы днями и ночами пропадали на строительстве дорог. Колония пришельцев росла на глазах, потихоньку выбираясь за Асунсьон. В окрестных землях посреди вечнозеленых кустарников один за другим вырастали дома, хозяева коих с энтузиазмом брались за плуг. За плетнями новых жилищ обрабатывали огороды женщины, вид которых переносил любого русского патриота в столь любезные его сердцу псковскую или новгородскую губернии. В палисадах перед поселенческими домами дымили самовары, возились в пыли детишки с вздернутыми носами и белокурыми копнами на головенках; от бросаемых бит во все стороны разлетались рюхи, и по вечерам, когда пальмы милосердно прятали в своих кронах порядком подуставшее солнце, окрестности время от времени оглашал бас Шаляпина, вырывавшийся на парагвайский простор из трубы патефона. Мечта Беляева о ковчеге, кажется, начинала сбываться. Впрочем, пристроив более сотни соотечественников к военному и инженерному делу, Иван Тимофеевич не забывал о тропическом междуречье, по-прежнему обнаруживая все новые заброшенные индейские колодцы, потаенные тропы, лагуны, стойбища, годные для создания укрепленных пунктов, и тщательно фиксируя их координаты. Презентуемые Генштабу пухлые планшеты с очередной обозначенной областью задавали немало работы армейским топографам, которые тоже не зря ели свой хлеб. Опасности путешествий, такие, как встреча на тропе с ягуаром или знакомство с жарараккой обыкновенной (однажды на замаскировавшуюся змею Беляев не наступил просто чудом), неизбежные, словно детская корь, неоднократно подтверждали неизменное правило: Господь благоволит к блаженным. Вот почему всякий раз *заинька* имела счастье лицезреть благополучно

возвратившегося из очередной «командировки» супруга, истерзанного колючками, москитами, шершнями и пропахшего дымом до такой степени, что его приходилось буквально отмачивать в ванне. Сюрпризом для *зайки* было то, что уже после третьего возвращения Ивана Тимофеевича маршрут Асунсьон — сельва стал двусторонним. За Беляевым из тропиков цепочкой потянулись его лесные друзья. Просочившись в дом, они обживали комнаты с цыганской непосредственностью, пользуясь безграничным добродушием хозяина. Вскоре гости заполнили жилище до такой степени, что *зайка*, терпение которой предсказуемо истощилось, то и дело спотыкалась о вытянутые ноги. Ко всему прочему, индейцев, а также их скво и детей, опять-таки приходилось кормить. Не удивительно, что на первый план из целого множества предметов, которыми обросла чета Беляевых, выдвинулся котел, постоянно кипевший с тех пор во дворе. Походный чайник генерала-инспектора, повидавший и равнины под Краснодаром, и снега Кавказа, и лагеря для перемещенных лиц, тоже не имел права уйти в отставку: днем и ночью ветеран посвистывал носиком, снабжая желающих чаем. Конечно, мака и чимакоко, у которых благодарность входила в число самых значимых моральных качеств, вносили немалую лепту, снабжая своих благодетелей всевозможными фруктами, мясом тапиров и прочими продуктами сельвы, однако недюжинный аппетит постояльцев не позволял создавать запасы. Их слоняющиеся по двору детишки отличались особой прожорливостью, но все попытки и после обильного завтрака потихоньку выхватывать из котла лакомые кусочки супругой хозяина пресекались на корню. В отличие от жены, которая без стеснения могла турнуть особо обнаглевшего потомка очередного вождя племени, Иван Тимофеевич продолжал благоволить к индейцам до такой степени, что готов был делиться не только собственными рубашками и штанами, но даже и башмаками, являющимися для гуарани немыслимой роскошью. Пока *зайка* в поту и мыле отскребала полы, хранившие следы очередного визита, или гоняла тряпкой маленьких сорванцов, он то пропадал в очередной экспедиции, то, отскобленный пемзой в ванне добела, проводил дни в окружении галдящих детей природы, разбирая походные записки, систематизируя гербарии, обдумывая словари индейских языков и не забывая самым подробнейшим образом консультировать парагвайских военных во всем, что касалось ручных пулеметов «Мадсен», минометов системы Стокса-Бранта и материалов для сооружения опорного пункта Нанава в том же Чако (из деревьев, годных на наиболее важные узлы обороны, Иван Тимофеевич особо выделял не поддающееся топору квебрахо). Брызжущая во все стороны деятельность специалиста по индейцам, артиллерии и фортификации привела к тому, что к тридцатым годам биография этого неказистого, рассеянного с виду, целиком зависящего от своих очков человека абсолютно соответствовала определению *выдающаяся*. Но главное было еще впереди.

Таинственное озеро

— Может быть, это рекогносцировка?

Вопрос Риарта, обращенный к советнику, оказался далеко не праздным. Уже упомянутую записку адресовали своему благодетелю индейцы племени чимакоко, мобилизованные Беляевым на охрану условной границы района Чако-Бореаль. На драгоценной бумажке, которая, судя по виду, прошла испытания и болотами, и тропической жарой, и которую с таким усилием расшифровал Иван Тимофеевич, было накарябано: *«Десять боливийцев на мулах прошли знак вблизи границы, которую*

ты поручил охранять. Если ты не придешь немедленно, область попадет в их руки. Саргенто Тувига, вождь чимакоко. Со слов записал кап. Гасиа Пуэрто Састре».

Военная косточка тут же дала о себе знать: в доне Хуане одновременно проснулись прадед, дед и отец. Моментальное преображение Беляева из добродушного интеллигента в сосредоточенного штабиста в очередной раз убедило военного министра в том, что он, Луис Риарт, несомненно, имеет собачий нюх на нужных стране людей.

— Индейцы убеждены: в глубине Бореаля расположено гигантское озеро, — сказал дон Хуан. — Открытие водоема и нанесение его на карту не только гарантирует признание в научном мире тому, кто первым окажется на его берегах. Контроль над озером — единственное верное решение для нас в случае боливийской агрессии. Отсутствие контроля над резервуаром пресной воды в центре Чако рано или поздно приведет к поражению, невзирая на живую силу, аэропланы и прочие достижения техники. Это касается обеих сторон. Отсюда вывод: тот, кто первым найдет большую воду в сельве, победит еще до момента объявления войны. Боливийцы понимают это не хуже нас с вами, вот почему и закатили пробный шар. Появление их отряда возле границы — не обычное прощупывание местности, дон Луис. Можно не сомневаться: они появятся там еще и еще...

Адъютант, охраняющий в приемной потешный головной убор советника, повинувшись колокольчику в руке военного министра, проскользнул в кабинет, заставив дона Хуана прерваться. С ловкостью бывалого официанта штаб-майор за пять секунд сервировал столик, разделяющий кресла собеседников. Пока дон Луис обдумывал положение, бывший белогвардейский генерал по глотку отхлебывал мате, вслушиваясь в тишину, едва разбавленную шуршащим вентилятором. Впрочем, молчание было недолгим. Переваживши важную для себя информацию, министр поднял глаза, и гость продолжил размышлять вслух:

— Я вел долгие разговоры с мака и чимакоко. Несмотря на то, что по известной нам обоим причине (здесь советник внимательно посмотрел на министра, и Риарт кивнул, давая понять, что осведомлен о проблеме)... так вот, несмотря на то, что по известной нам обоим причине представители этих племен никогда не добирались до тех мест, вожди племен настолько уверены в существовании природного резервуара, что ни разу не поставили задаваемый им вопрос о «большой воде» под сомнение. Если боливийцы найдут озеро раньше и не дай Бог оставят на его берегу хотя бы два десятка солдат с парочкой пулеметов, мы сразу теряем все. Оттуда противник может выйти на железную дорогу Касадо, напрямик на сто пятьдесят третий километр, отрезав таким образом гарнизоны, прикрывающие селения, и появиться на берегах реки Парагвай. Такого сценария Генштаб не должен допустить ни в коем случае — хватит с вас злосчастной Парагвайской войны. Я готов исследовать ту область.

Талант в нескольких предложениях формулировать суть дела был отточен в кутеповских и врангелевских штабах. К удовлетворению Беляева, политик, словно жадная чайка, схватывал все на лету. Оба разом посмотрели друг на друга. Советнику ничего не нужно было добавлять — дон Луис все понял.

— Благодарю! — откликнулся Риарт, обрадованный тем, что ему не пришлось просить дона Хуана об очередной услуге парагвайскому народу.

— В принципе, иного выхода не существует, — ответил тот. — У меня нет никаких причин не доверять индейцам. Подытожим: необходима немедленная экспедиция к озеру. Разумеется, наша с вами договоренность должна быть известна лишь президенту республики и узкому кругу государственных должностных лиц. В остальном все на ваше усмотрение. Я вам целиком доверяю.

— Со своей стороны обещаю сделать все возможное для прибывших в Парагвай русских, — судя по дрогнувшему голосу Риарта, привыкшего к вполне объяснимому для деятеля такого ранга лицемерию, его эмоции на сей раз были искренними. — А именно — предоставляю вам полный карт-бланш в выборе земель для колонии.

— Не сомневаюсь в вашей порядочности, дон Луис.

— Необходимые распоряжения насчет экспедиции отдам завтра утром. Военное казначейство постарается не покуситься. Да! Мои стрелки — в вашем распоряжении. Я лично выделю самых метких из президентской охраны.

— Вот как раз в этом случае я ограничусь необходимым, — отвечал дон Хуан. — Весьма благодарен за стрелков, но, как вы сами понимаете, для такого предприятия меньше всего подходят снайперы...

— Целиком полагаюсь на ваш опыт!

После того как оба соблюли все оставшиеся церемонии, а именно допили мате и обсудили достоинства двух с половиной дюймовой горной пушки Барановского, вновь превратившийся в провинциального учителя Иван Тимофеевич отказался от предложенного автомобиля:

— После скитаний в джунглях пройтись по городским кварталам, да еще и вечером, для меня составляет истинное удовольствие. К тому же нужно кое-что обдумать. Поверьте, я не против технического прогресса, но тряска не особо способствует сосредоточенности.

— Не все сразу, дон Хуан! — засмеялся Риарт. — Надеюсь, русские инженеры, проложив еще парочку-другую дорог в провинции, доберутся и до Асунсьона. Хотелось бы верить, что они замостят наши улицы так же тщательно, как делали это в Москве и Петербурге.

Офицеры, коротавшие смену возле ворот и хорошо знавшие вечернего посетителя по учебным классам при Военной Школе, одновременно отдали дону Хуану честь. Прежде чем миновать круги тусклых электрических фонарей и довериться тьме за дворцовой оградой, Иван Тимофеевич помахал беретом этим жизнерадостным, полным жизненных соков молодым людям, еще не знающим о том, что их ждут окопы Нанавы.

Патриотизм патриотизмом, а деньги деньгами...

Карта Чако, не без стараний дона Хуана пестрящая обозначениями троп, ручьев, ложбин, индейских селений и имеющая посередине то самое белое пятно (именно в центре пятна, в девственно чистой terra incognita, по предположениям гидрологов и местных вождей сельва спрятала обозначенную Беляевым головную боль парагвайских штабистов), осталась на столе в кабинете — военный министр отложил общение с ней до утра.

Когда машина министра, урча мотором, неторопливо добралась до главной парагвайской гостиницы, веселье на террасе «Гран Отель-дель-Парагвая» завершилось. Молодежь оттанцевала свое: в парке перед отелем звенели, переплетаясь, голоса кокеток и их не менее юных спутников, но песенка сегодняшнего танго была спета. Оркестранты, промокали пот носовыми платками и заботливо, словно младенцев в коляски, укладывали в футляры инструменты. Официанты, не скрывая усталости, освобождали на террасе столики от оплывших свечей. Отяжелевшие любители каньи собирались на выход, редкие парочки были слишком увлечены собой, и появление на террасе шеголеватого господина с тростью привлекло внимание лишь устроившегося

за крайним столиком гостиничного постояльца. Они кивнули друг другу. Не успел вошедший придвинуть к себе плетеный стул, как последние огни погасли, открывая взорам полуночников одну из самых главных достопримечательностей парагвайской столицы — тропическую ночь. Музыка окончательно стихла, однако свято место пусто не бывает — на дежурство заступили целые хоры зудящих насекомых. Неистовство местных цикад, способное заглушить самый громкий разговор, оказалось на руку двум встретившимся джентльменам.

— Вновь не вижу на вашем столике мате, мистер Бьюи. — Риарт прислонил к столешнице трость и, повертев шляпу, положил ее себе на колени. — А ведь это, увы, то небольшое, чем может похвастаться моя родина.

— Не переживайте за свою родину! Просто всему на свете я предпочитаю индийский чай, — откликнулся представитель почтенной британской фирмы «Шелл Ойл». — Знаете, когда мне довелось работать в Глазго, нам доставляли его прямиком из Калькутты в особых вошених ящичках, перевязанных бечевкой. Он изумителен! Стоило только распахнуть крышку, распространялся непередаваемый аромат.

— В таком случае, сойдемся на чем-нибудь нейтральном. Коньяк? Виски? Канья?

— Я заказал кофе, но его не торопятся принести, — пожаловался англичанин.

— Тогда воспользуемся моментом, прежде чем нам помешает какой-нибудь полусонный мальчишка с давно остывшим кофейником.

— С превеликим удовольствием! Итак, с чего начнем?

— Разумеется, с новостей.

— Извольте. Насколько мне известно, наши милые конкуренты, судя по всему, закусил удила: они уже в открытую подначивают своих подопечных, — заметил мистер Бьюи, доставая из нагрудного кармана пиджака две обернутые в упаковочную бумагу сигары, одна из которых тотчас была предложена собеседнику (впрочем, дон Луис отказался от угощения). Крошечный факел спички на секунду высветил лицо коммивояжера, вытянутое, как у лошади, с крупным носом, нависшим над верхней губой. — Дело касается не только геологоразведочных партий. «Стандарт Ойл» активно вербует в боливийскую армию чилийцев, немцев и даже чехов.

— У меня такое чувство, что здесь толчется весь мир, — устало посетовал Риарт.

— Он всегда толчется там, где пахнет деньгами, — отвечал мистер Бьюи. — Вас это не должно удивлять.

— Меня удивляет другое, — не сдержался министр. — А именно: ваша уверенность в том, что сельва принесет дивиденды.

— Не скрою, можем и прогадать, — невозмутимо кивнул англичанин. — Однако, судя по прогнозам весьма уважаемых в научном мире специалистов, вероятность того, что Чако преподнесет приятный сюрприз, весьма велика. Иначе с чего бы дражайшим соседям Республики Парагвай водить дружбу с бывшими кайзеровскими генералами и загребать целыми партиями винтовки, пулеметы и горные орудия?

— Заметьте, мистер Бьюи, они, по вашему выражению, загребают все это из британских арсеналов. Плохое начало для доверительных отношений. Тем более, как я понимаю, у руководства фирмы есть кое-какие рычаги в парламенте.

Англичанин засмеялся. Огонек его сигары походил на подмигивающий глазок.

— Увы, слухи о могуществе «Шелл Ойл» несколько преувеличены, — вздохнул он, насладившись медленной затяжкой. — Мы не можем влиять на решения «Виккерс». Однако политика — вещь весьма причудливая. Насколько мне известно, ваше ведомство

совсем недавно закупило тридцать два крупнокалиберных американских пулемета «Браунинг».

— Цифры несопоставимы, — заметил Риарт. — Хотя вынужден признать: политика — штука чрезвычайно противоречивая.

— Вот видите. Выгода никуда не денется. На выгоде, как на фундаменте, держится человечество. Уберите ее — и все строение цивилизации рухнет. — Глазок сигары на мгновение прикрыл свое веко, затем сверкнул, и невидимое в темноте облачко дыма вновь дотянулось до Риарта.

— Я не собираюсь цитировать Маркса, оставим это большевикам, но этот бухгалтер во многом был прав, — продолжил Бьюи. — Мир таков, что в нем не осталось места для национальной гордости, если, конечно, она не подкреплена надежной банковской системой или, на худой конец, дюжиной до зубов вооруженных дивизий.

Кофе все-таки был доставлен. Насчет местного гарсона министр оказался прав: присланный из недр ресторанной кухни с последним на сегодня заказом парнишка очнулся от дремы только тогда, когда в его протянутую руку легло несколько песо.

Покончив с чашечкой за три глотка, англичанин вновь не смог отказать себе в удовольствии сделать затяжку. Риарт ждал, когда он заговорит. И дождался.

— Надеюсь, вы в курсе, что число храбрых немецких унтеров в боливийской армии уже перевалило за двести человек? Дорогой дон Луис, у вас нет выбора. Вам ни в коем случае нельзя опоздать на пиршество, хотя бы потому, что нефть — это не просто черная жижа, которую по контрактам — и, кстати, весьма выгодным для вас контрактам — будут выгребать из недр дюжие молодцы в оранжевых куртках. Простите, но мне кажется, вы даже не отдаете себе отчета в том, насколько важен предварительный договор с нами для страны, которая пока... подчеркиваю, *пока* — может похвастаться лишь мате. Не обижайтесь, но вы, военные, по традиции заскорузлые консерваторы: привыкли скакать на лошадях. Это, кстати, касается и нашего генералитета — засмеялся англичанин. — Итак, нефть — не только экзотические для местных аборигенов автомобили, которые чудом еще не развалились от ужасающих дорог. Нефть — не только аэропланы и танки. Не только канонерки. Не только возможность бить противника в небе, на земле и на реках, отстаивая свою независимость. Это — квинтэссенция современности. Ее тигль. И от вас зависит, будете ли вы ею обладать и, следовательно, войдете в двадцатый век независимым государством — или останетесь за бортом. Смею вас заверить, отсидеться не удастся. В противном случае страну сожрут и сожрут безжалостно — поверьте, я знаю, о чем говорю. Ваш бедный, несчастный Парагвай боливийцы закидают бомбами и раздавят все теми же танковыми гусеницами.

— Все в Божьих руках, — ответил облеченный государственной властью католик.

— Знаете, многие любят тешить себя историей о взаимоотношениях Голиафа с Давидом, — засмеялся Бьюи. — Поверьте, не тот случай. Оставим библейские притчи священникам. Как говаривал Наполеон, в реальной политике важно только количество батальонов, помноженное на превосходство в артиллерии. Кстати, вы правильно сделали, что пригласили русских. Они старые знакомые с немцами по недавней войне. Представляю, как у них чешутся руки...

Луис Риарт, промолчав, наблюдал за теньями, мелькающими на противоположной стороне улицы. Город продолжал бодрствовать. Цокали экипажи. Цикады были неутомимы. В парке еще раздавался смех. Планеты и звезды, рассыпавшиеся по всему небу, свидетельствовали о тайне мироздания, на которую озабоченный парагвайскими

недрами представитель «Шелл Ойл» даже и не пытался взглянуть. Коммивояжер в очередной раз пыхнул сигарой.

— Конечно, мы не ангелы и продвигаем свои интересы, о которых я уже имел честь вас уведомить, — не дождавшись ответной реплики, продолжил он. — Планы «Шелл Ойл» никто не собирается камуфлировать. Напротив, мы готовы открыть карты, иначе я не оказался бы здесь, в этом чудесном городе и в этой чудесной гостинице, и не занимал бы номер, к которому, учитывая его весьма солидную цену, все же предъявляю кое-какие претензии. По моему глубокому убеждению, бизнес должен быть честен. Ведь и Парагвай выигрывает не меньше: будущее принесет не только ощутимые прибыли, но и политическую поддержку.

— Чако-Бореаль — уравнение со многими неизвестными, — ответил Риарт. — Дикость тех мест такова, что после двенадцати экспедиций мы не имеем никакого представления о его центральной части. Соваться туда чрезвычайно опасно.

— Вы намекаете на малярию?

— Есть вещи пострашнее малярии.

— Да, да, насчет тамошних мест до меня дошли кое-какие сведения, — откликнулся мистер Бьюи, еще раз обозначая свою осведомленность. — И, насколько я понимаю, в последнее время вы активно заинтересовались чакскими болотами...

— Ну, ваши сведения несколько преувеличены, — пробормотал Риарт.

— Бросьте. Все дальнейшие действия вашего ведомства — секрет Полишинеля, — отмахнулся всезнайка. — Даже назову исполнителя: это господин Беляев. Я слышал скорбную весть: за голову неумного энтузиаста боливийцы готовы отвалить ни много ни мало тысячу фунтов стерлингов. Не сомневаюсь, что объявленное вознаграждение несказанно стимулирует всяких мерзавцев на активные действия, тем более что, благодаря гостеприимству боливийских вооруженных сил в регионе скопилось предостаточно авантюристов. Да и в Парагвае наверняка найдутся свои гаи фоксы. При таком раскладе удивительно, как ваш картограф еще жив — подозреваю, здесь не обходится без камланий индейских шаманов. Кстати, он по-прежнему помешан на создании колонии?

Ночь скрыла ответный взгляд Риарта, однако мистер Бьюи все понял.

— Простите, что выхожу за рамки. Ничего личного, обыкновенное любопытство. Сразу обозначу мнение тех, кто послал меня в этот рай земной — к изгнанникам из Советской России подданные Его Величества совершенно нейтральны. Что касается собственных воззрений, то готов еще раз похвалить вас за дальновидность: русские офицеры для Парагвая являются весьма ценным приобретением, хотя, при всем их желании схватиться с бошами, они не заменят столь необходимые для обороны финансы.

Светляки, лишь изредка мелькавшие до этого момента над террасой, неожиданно собрались в огромный рой, осветив ближние кусты. Начался фейерверк: фосфоресцирующие облака рассыпались на отдельные искорки, гасли и вспыхивали вновь, крошечные существа чертили перед сидящими завораживающие зигзаги — настоящий привет от близкой сельвы. Зрелище не могло не завлечь даже флегматичного мистера Бьюи. Внезапно все разом погрузилось во тьму, оставив одиноким маячком глазок сигары.

— Хорошо, — после долгого молчания отозвался Риарт. — Я переговорю с президентом.

— Вот и славненько, — откликнулся англичанин. — И еще одно дело. Совсем незначительное. Простите, дон Луис, как вы относитесь к творчеству сэра Артура Конана Дойля?

Вопрос предсказуемо привел министра в недоумение. Бьюи засмеялся:

— Не обращайтесь внимания, я к слову. Что касается готовящегося похода, так сказать, в «затерянный мир», у меня к вам небольшая просьба: хотелось бы пристроить своего человечка. Поверьте: экспедицию мистер Фриман не обременит — за плечами моего протеже десять лет службы в Индии. Прекрасный специалист, надежный во всех отношениях компаньон. Не думаю, что здешняя сельва явится для него сюрпризом.

Луис Риарт вновь возблагодарил Бога за то, что темнота скрыла его растерянность. Правда, с не меньшей благодарностью он оценил и намек всеведущего мистера Бьюи: людей в собственном ведомстве следовало бы хорошенько перепроверить.

Военный министр поднялся, не забыв подхватить трость. Шляпа в знак уважения была приподнята над головой.

— Уповаю на благоразумие вашего президента, — напутствовал собеседника пребывающий в темноте мистер Бьюи.

— Не премину подробно проинформировать его о нашем разговоре, — отвечал Риарт.

— Надеюсь, вы понимаете, дон Луис: в случае успеха моя благодарность вам не будет иметь границ, — мягко произнес представитель «Шелл Ойл». И, заметив, как вздрогнул партнер, поспешил добавить:

— Недавно я открыл один любопытный закон, который ко всему прочему является прекрасным успокоительным средством. Суть его в том, что деньги не мешают самому пламенному патриотизму. Поверьте: они могут с ним совершенно мирно сосуществовать. Всего доброго вам, дон Луис!

— Всего доброго, мистер Бьюи.

Цикады в Асунсьоне просто осатанели.

«Вы готовы?»

Лишь мельком взглянув на ноги вестника, Александр Георгиевич фон Экштейн сразу понял, кто послал сего загорелого ангела. Индеец щеголял в башмаках. Доставленное им письмо содержало единственный вопрос, подвигнувший лейтенанта парагвайской армии быстро собраться и закрыть за собой дверь съемной квартиры.

В случае надобности, и в сельве, и тем более в городе, мака и чимакоко передвигаются исключительно быстро, так что посланник Беяева задал весьма шустрый темп: лишь молодость и любовь к спорту позволяли потомку славного рода прибалтийских баронов поспевать за ним. Утро было в разгаре, припекая спины высыпавших на улицы бездельников и рабочих. Башмаки индейца не переставали стучать. Лавирующий в толпе прохожих лейтенант не сомневался: полученное им послание обещает резкие перемены. Впрочем, к выражам судьбы Александру Георгиевичу было не привыкать. В свои двадцать пять лет он не мог пожаловаться на жизненную рутину. Совсем еще зеленым кадетом вместе с офицерами Конно-Егерского полка Экштейн штурмовал Пулковские высоты, имея на это полное право: отца юного мстителя — соратника адмирала Макарова, полярника Георгия Экштейна поставили к стенке щеголяющие в кожанках и бескозырьках троглодиты, не имеющие ни малейшего понятия о течениях в Северном Ледовитом океане и подвижках паковых льдов. Сын жаждал мести, но, увы, рывок генерала Юденича на Стрельну и Гатчину не задался, и кадету пришлось какое-то время мириться с сыростью тоскливого, словно деревенский погост, эстонского Ревеля, в котором для таких, как он, бедолаг

был организован скаутский отряд. Впрочем, на балтийском взморье Александр Георгиевич не задержался. Природная непоседливость довела экс-скаута до пражского университета, попутно познакомив его с игрой, основанной на беготне за мячом и как-то незаметно мутировавшей в вирус, поставивший впоследствии мир на грань безумия. Четыре года он полировал штанами скамьи аудиторий, внимая лекциям не только местных господ профессоров, но и подавшихся в Чехословакию за сытным пайком берлинских академиков, помешанных на конечном торжестве германского духа. В свободное же время с удовольствием нес бремя форварда студенческой команды, не избегая воспетых Гашеком пражских пивных, не раз и не два попадался в тенета, которые виртуозно раскидывали для подобных ему олухов на площади Святого Вацлава улыбочивые чешские проститутки, с не меньшим любопытством волочился за сокурницами (многие из них отвечали взаимностью симпатичному спортсмену), слонялся туда-сюда по мостам через Влтаву, почитывал, будучи этническим немцем, доставляемую в Прагу «Берлинер тагеблатт», одновременно интересуясь «Фёлькишер Беобахтер», и потихоньку, медленно, самым незаметным для себя образом пропитывался лукавым воздухом послевоенной европейской свободы, в котором, впрочем, уже погромыхивали первые громы и посверкивали первые молнии. И все-таки из всех прочих цивилизационных соблазнов, включающих в себя привычку подражать кембриджским снобам-студентам, более всего был мил Александру Георгиевичу именно футбол: иначе в голову университетского выпускника просто не могла бы прийти идея осчастливить собой первый чемпионат мира по футболу, который спортивные бонзы из международного комитета засунули на самые задворки — в совершенно неведомый Уругвай. И молодой Экштейн отправился на другой конец света. Дух воинственных предков, до поры до времени мирно почивавший в болельщике, восстал ото сна именно в тот момент, когда взгляд постояльца отеля «Хотел Лос-Анджелес» в Монтевидео наткнулся на статью в местной газете о крайней неподготовленности к войне парагвайских солдат. Не без волшебных способностей того духа через месяц Александр уже лицезрел берега Параны, а еще через две недели модное кепи болельщика трансформировалось в форменную фуражку. С тех пор его знакомство с сумасбродом, двенадцать раз побывавшим в самых удаленных уголках сельвы Чако и крайне нуждавшемся в способных гнуть подковы единомышленниках, стало лишь вопросом времени.

Ичи́ко, довольный выполненным поручением, скрылся в знакомом доме, оставив Александра Георгиевича во дворе в обществе индейских ребятишек, галдевших заметно тише обычного. Разгадка не заставила себя ждать: в центре большого двора, давно уже походившего утоптанностью на плац, под сенью квебрахо на корточках сидели двое. Временами один из беседующих, седоволосый житель сельвы (Экштейн признал в нем не простого смертного) чертил что-то в пыли указательным пальцем, похожим на длинный корень, объясняя хозяину дома смысл наползающих друг на друга кругов и квадратов. Бе́ляев, поглощенный диалогом с индейцем (скорее всего — касиком), вскинул голову, приветствуя гостя:

— Как я понимаю, ваше появление здесь, дорогой Александр Георгиевич, есть ответ на мое письмо?

— Я всецело в вашем распоряжении, — отвечал Экштейн.

— Тогда, голубчик, посидите хотя бы вот на том прелестном чурбачке, пока мы с уважаемым вождем не завершим обмен мнениями. Кстати, зачем ждать. Вы завтракали? Супруга моя готовит превосходные каши. Она с удовольствием вас попотчует.

— Не стоит беспокоиться, Иван Тимофеевич! Плотные завтраки не входят в мою привычку.

— А вот попробуйте! Я уверен: вы измените свое мнение.

Минут через десять, завершив разговор и миновав комнаты, хранившие единственное богатство семьи Беляевых — шкафы с книгами, хозяин с касиком нашли лейтенанта на кухне поглощающим за длинным дощатым столом уже порядком подзабытую им гречку. Препоручив вождя заботам супруги, Беляев обратился к компаньону:

— Нас ждут великие свершения. Вот почему настоятельно советую подкрепиться еще и сора Парагуауа. Александра Александровна готовит его так, что пальчики оближешь...

— Спасибо, Иван Тимофеевич, но, боюсь, для супа в моем желудке не осталось места.

— И это я слышу из уст богатыря?

Лейтенант был непреклонен — ему не терпелось заняться делом, ради которого он чуть ли не вприпрыжку прибежал сюда. Беляев попросил у молодого человека немного времени для еще одного «письмеца» и удалился в клетушку, служившую ему личным кабинетом. Нижайшая просьба командиру дислоцированной в Асунсьоне пехотной части прикомандировать лейтенанта парагвайской армии Алехандро Экштейна по непосредственному распоряжению канцелярии военного министерства (распоряжение прилагалось) на полугодичный срок к советнику министра Хуану Беляефф была составлена, перечитана и помещена в конверт. Смуглолицего почтальона в башмаках, которому была вручена сия «государственная бумага», словно ветром сдуло.

Александр Георгиевич Экштейн ожидал будущего начальника во дворе под деревом.

Пустой рогожный мешок, который протянула Экштейну вышедшая с мужем хлопотливая *заинька*, несколько озадачил участника будущей экспедиции.

— Вы готовы, Александр Георгиевич? — обратился мэтр к лейтенанту.

— Конечно!

— С Богом!

Несмотря на полуденную жару, на улицах было не протолкнуться. Под витринными козырьками, без стеснения показывая граду и миру свои язвы, предавались неге жизнерадостные нищие, играя друг с другом в «орла и решку», ежеминутно подскакивали со «свежими новостями» мальчишки-газетчики, то и дело подминали мостовую гужевые повозки. Грохот непрорезиненных колес заглушал даже визг очередной обворованной ротозейки. Рассуждая по дороге о столь милых ему индейцах, Беляев был возбужден:

— Представляете! В их языке нет такого понятия, как *лукавство*. Вчера пытался втолковать суть этого человеческого свойства одному довольно сообразительному малому, которого в свое время я научил читать и писать по-испански. Бедняга так ничего и не понял. В индейских преданиях явно прослеживаются библейские мотивы, — азартно говорил Беляев. — Взять хотя бы их миф о потопе! Там так же фигурирует и Ной, только у краснокожих он еще более бескорыстный и великодушный. Индейский Ной спасает погибающих в волнах младенцев и забирает их в свой ковчег! Нет сомнения в том, что Парагвай должен стать таким же ковчегом для нас, русачков. Страна соберет беженцев под своей крышей, объединит, даст им землю, профессию.

А когда коммунизм исчезнет, сохраненные парагвайским ковчегом инженеры, ученые, военные вернутся на Родину...

Поймав недоверчивый взгляд молодого человека, Беляев засмеялся:

— Не сомневайтесь! Возвращение неотвратимо. Россия все перемолола — иго, поляков, чуму с холерой. И комиссаров перемелет, будьте уверены, дорогой мой. Не надо их свергать, как к тому призывают засевающие в Париже мои хорошие знакомые. Большевики сами себя свергнут! Вот здесь-то и пригодится ковчег. России нужна аристократия — но только не прежняя, со всеми этими великими князьями, а инженерная, научная, военная. Нужна аристократия духа — вот почему наша главная задача — сохранить и преумножить ее здесь, в этом месте, в самом центре Америки!

(Забегая на многие годы вперед, заметим: нападение немцев на Россию в сорок первом возмутило Беляева настолько, что он готов был броситься на помощь Советам рядовым солдатом — удержали возраст и прошлое. Но от моральной поддержки большевистской армии он удержаться не мог, за что ему на голову вылилось не одно ведро помоев.)

Пропев оду любимому детищу и обратив свое внимание теперь уже на город, Иван Тимофеевич поглядывал по сторонам с таким видом, словно впервые оказался на здешних улицах, удивляясь барышням, которые несли обувь в изящных ручках, боясь испачкать ее, их босоногим кавалерам, запрудившим мостовую повозкам, пальмам и густо вылезающим из-за решеток садов ветвям вечнозеленых кустарников:

— Для меня главное очарование Асунсьона — в его похожести на наши провинциальные городишки. Грязь, пыль, настоящие миргородские лужи — все один к одному. А здания! Возьмите, к примеру, железнодорожный вокзал. Точь-точь такой в Царском Селе. Ах, царскосельская жизнь! Я там лежал в пятнадцатом году после ранения. Знаете, кто за мной ухаживал? Сама императрица!

По правде говоря, Экштейну меньше всего хотелось вызывать из памяти пятнадцатый год — с ледяными спальнями кадетского корпуса, а затем и год девятнадцатый — с известием о смерти отца, Юденичем, налипшими на землю небесами, колеями дорог под Гатчиной, опрокинутыми в кюветы орудиями, бинтами, запахом карболки, — слишком уж сейчас было тепло, солнечно, благодатно. Беляев, словно почувствовав его настроение, вновь перескочил на Парагвай:

— Как только я прибыл в Асунсьон, меня потрясли две вещи: дружелюбие здешних жителей и невероятная дешевизна — после мытарств в Аргентине она казалась просто фантастической. За пять сентаво можно было купить кило хлеба, мясо любого сорта, литр молока, кило овощей и фруктов. Хорошая квартира стоила до шестисот песо; конь — четырехста; почта и телеграф, пусть даже за границу — сущие пустяки. А здешний трамвай — знаете, прелестная картина: трезвонит звоночек, начинают пошатываться рельсы — и вагончик появляется из-за угла. Если бы не квебрахо и не жара — совершеннейший Петербург! Трамвайный билет — два сентаво. Подумать только! Сейчас, конечно, все подорожало, но не настолько, чтобы укладывать зубы на полку...

Походка Беляева оказалась такой же легкой, как и бег его индейца-почтальона. Еще немного — и они очутились на Пальмас. Улица встретила почти невыносимым зноем; спасали фиолетовые тени от домов и деревьев и натянутые над тротуаром тенты, которые сменяли друг друга, оставляя для солнечных лучей лишь небольшие полоски свободного пространства.

Экштейн спросил о ситуации на границе с Боливией.

— Война неизбежна, — ответил Беляев. — Боливийцы, в принципе, неплохой

народ — но их со всех сторон подталкивают к конфликту. Мой хороший знакомый, начальник Генштаба генерал Скенони, настроен пессимистически. Он уверен: наши шансы невелики, соотношение сил примерно один к восьми, и, по его мнению, сопротивление невозможно, на что я отвечаю: все преимущества на нашей стороне. Чако, за исключением центральной части, превосходно исследовано. Наши коммуникационные линии позволяют в течение суток перебросить войска в любую нужную нам точку. Благодаря двум закупленным в Италии канонеркам мы будем иметь полный перевес на реках. Железная дорога проложена уже на двести километров в глубину сельвы. Что касается морального состояния войск — патриотизм парагвайского солдата выше всяких похвал. Младшие офицеры прошли революцию и отлично подготовлены. Еще лет пять назад дело было за опытным составом среднего и высшего звена, но благодаря моим стараниям армия имеет сейчас ряд отличнейших офицеров: чего только стоят Щёкин, Касьянов, Салазкин, Ширкин, Бутлеров, Ходолей, затем Корсаков, Малорож, Тарапченко, Дедов... Можно продолжать, — в голосе романтика завибрировала гордость. — Да, боливийцев муштруют наши старые знакомые, однако мы их побьем, Александр Георгиевич... Ей-ей, побьем. Но прежде еще раз стоит посетить парагвайские джунгли. Вы давно просили меня о таком одолжении. Случай настал!

Иван Тимофеевич все-таки остановился, вытирая пот платком. Затем монолог продолжился. О немцах он рассуждал с едва скрываемой горечью:

— Такие умы! Такая природная склонность к механике, музыке, философии. Здесь они даже евреям, пожалуй, сто очков вперед дадут. Но вместе с этим зашоренность, кичливость, презрение ко всем остальным, чванство на грани тупости... Парадокс, который мне не понять! Имея потрясающие таланты во всех сферах, немцы удивительно внушаемы — вот в чем их проблема. Орднунг — их Бог, их Телец, их Уицилопочтли: он их сжирает с потрохами. Стоит какому-нибудь глупцу или мерзавцу придумать самый глупый, самый дурацкий закон — они будут этому закону молиться, до края дойдут, выполняя его, до полного идиотизма. Внушаемость этого народа просто поражает. Попробуйте вот нашему русаку что-нибудь внушить. Наш-то всегда себе на уме, все подвергнет сомнению. На словах «одобрям-с», а вот на деле такой хитрый сукин сын, каких еще в целом свете поискать. Плевать он на все хотел. Немец — нет. Немец, если ему вобьют закон в голову, становится полным автоматом. Вспомните «Железную волю» Лескова. Обо всю эту их кичливость союзники вытерли в восемнадцатом году ноги: растоптали их орднунг, отняли его. Плюнули, можно сказать, в душу. А такое ведь даром не проходит. Боюсь, они еще наломают дров...

Прогулка завершилась на заваленном пататой, маниоккой и фруктами асунсьонском рынке. То был истинный рай для вертких, словно угри, местных воров, о чем Иван Тимофеевич, прежде чем они нырнули в толпу, счел нужным предупредить товарища. Беляеву пришлось кричать Экштейну в ухо, так как гомон вокруг сделался просто невыносимым.

— За мной, за мной, голубчик, — повторял покоритель Чако, пробираясь в рядах. — Нас ждут великие дела!

Юркнув в неприметный магазинчик, как две капли воды похожий на бесчисленное множество здешних магазинчиков, чьи стены состоят из картонных коробок, и навесами которым служат пальмовые листья, Иван Тимофеевич пал в объятия хозяина лавки. Протягивая знакомому парагвайцу мешок, советник военного министра произнес:

— Вы знаете, что мне нужно, дон Карлос. Надеюсь, цена будет разумной.

Ещё раз о цене...

Главнокомандующего боливийской армией немца Ганса Кундта за все время его участия в Первой мировой войне ни в своих штабах, ни, тем более в штабах неприятеля не почитали как выдающегося стратега. Однако на безрыбье и рак — рыба. Президент Эрнандо Силес Рейес с удовольствием предоставил бывшему представителю германской военной миссии в Боливии возможность покомандовать вооруженными силами страны. И Кундт засучил рукава. Боевое прошлое генерал-майора состояло в основном из лобовых наскоков его бригады на русские окопы в Галиции и приносило свои плоды, как правило, в результате поддержки тяжелой артиллерией. Вот почему некоторое количество удачных атак не могло не укрепить истового паладина прусских обычаев в методе, который он посчитал единственно правильным, а именно: вверенной ему Боливии следует накопить как можно более аэропланов, пулеметов, пушек и танков, а затем раздавить парагвайских босяков снарядами и лобовым ударом пехотных масс.

Стоит признать, Кундт много преуспел во вбивании арийского духа в бывших крестьян, набранных из прилепившихся к склонам Кордильер деревенек. Соотечественники стратега даже здесь, в Ла-Пасе, с его расслабляющей самых суровых аскетов сиестой, не могли избавиться от привычки к ордунгу и гоняли солдат, как сидоровых коз. Пунктуальность самого генерала доходила до грани, а его пристрастие к дисциплине невольно навело знакомых с историей очевидцев на мысль, что за спиной Кундта, не давая тому ни на минуту расслабиться, постоянно маячит призрак Великого Фридриха с хорошим шпигрутенем в руке. Главное правило самого Кундта, ярого сторонника закрученных гаек, гласило: «Тот, кто приходит раньше времени, — плохой военный, тот, кто опаздывает, — совсем не военный, военный лишь тот, кто приходит вовремя». Генерал старался ни на йоту не отступать от своего бесспорного афоризма. Кундт трудился днем и ночью, постоянно и неустанно вдавливая в головы правительственных чиновников непреложную истину — для победы необходимы склады, доверху набитые вооружением, и качественные грунтовые аэродромы. Благодаря его бескомпромиссности в отстаивании доктрины Джулио Дуэ, к семи французским «Бреге» 19А2, шести голландским «Фоккерам» С.Vb, двум английским «Де Хэвилленд» ДН-9, пяти учебным самолетам «Кодрон» С97 и пяти истребителям (четыре американских машины Р-1 «Хоук» и французский «Горду-Лезье» LGL.32 С-1) уже к 1930 году прибавились шесть истребителей Виккерс «Тип 143» («Боливиан Скаут»), имевших скорость до двухсот восьмидесяти километров в час и вооруженных парой пулеметов винтовочного калибра, столько же двухместных многоцелевых самолетов Виккерс «Тип 149» («Веспа»), а также три учебно-тренировочные машины Виккерс «Тип 155» («Вендэйс III»). Когда же дипломаты Боливии, опять-таки не без нажима со стороны участника капповского заговора, подсустились с приобретением тридцати девяти тысяч винтовок «Маузер» и пяти танков «Виккерс Mk Е», главнокомандующему оставалось только потирать руки.

Что касается покровителя честолобивого германца, то президента Рейеса тревожило следующее обстоятельство: его дипломаты в Буэнос-Айресе, не без помощи вездесущих представителей янки, работали более-менее сносно, снабжая военных разнообразной информацией, но вот с главной вишенкой на торте — Чако-Бореалем — дела обстояли далеко не радужно. Боливийцы понятия не имели, что находится в центре обширной области, на которую зарились энергичные парни из «Стандарт Ойл».

И чем ближе к чакской сельве подползала война, чем настойчивее кусты и траву в районе спорной границы с Парагваем тревожили боливийские патрули (в последнее время пошла мода на перестрелки между солдатами обеих сторон, которая всегда является предвестницей большой свары), тем скорее росла уверенность Рейеса: рано или поздно в непроходимых зарослях Чако появятся представители Асунсьона с геодезическим инструментарием. Одно это предположение сильно нервировало не только его самого, но и весь политический и военный бомонд Ла-Паса. И по мере того, как к чинам ведомства рыцарей плаща и кинжала стекалось все больше информации об успехах парагвайской картографии, напряжение не просто нарастало: оно начинало уже опасно искрить. Сведения о таинственном водоеме в центре чакских джунглей, относящиеся ранее к разряду легенд, как-то незаметно перешли в разряд фактов, крайне интересующих военных. Оставалась проблема, о которой были осведомлены те, кто имел опыт близкого соприкосновения с сельвой. Однако никто в окружении боливийского президента уже не мог дать твердых гарантий, что в преддверии схватки парагвайцы не найдут сумасшедших, решившихся на опасный рывок. Необходимо было что-то предпринимать — вот почему за полгода до описываемых событий в боливийском Генштабе появился господин в гражданском костюме, который сразу был допущен к главнокомандующему. Посетителю не надо было представляться — полковника Серхио Оливейру генерал знал достаточно хорошо. Выполняя просьбу Рейеса, Кундт так же заранее побеспокоился о том, чтобы разговор с руководителем боливийской разведки протекал без свидетелей. Прощаясь с этим низеньким учтивым человеком с тонкими усиками и аккуратно постриженными бачками, чем-то похожим на постоянно приплюснутую мышь, Кундт пообещал:

— Не беспокойтесь, господин полковник. Постараюсь вас не разочаровать.

— Вот и славненько, — отвечал Оливейра, понюхав воздух. — Вот и славненько.

После визита дон Серхио, о жизни и деятельности которого ходили не очень хорошие слухи, главнокомандующий раздумывал недолго. Ветеран Первой мировой подполковник Эрнст Рем являлся личностью, настолько подходящей для щекотливых поручений, что брезгливый к представителям «оригинальной любви» Кундт предпочитал не думать о его гомосексуальности. Во всем корпусе наемников, прибывших в Боливию из фатерлянда, трудно было сыскать более мужественную и толковую натуру. К прочим своим достоинствам коренастый задиристый Рем обладал внушительными кулаками, один только вид которых прямо-таки кричал: старину Эрнста следует либо уважать, либо тихонько обходить стороной. Сама судьба решила придать ему угрожающую внешность. Во время боев в Лотарингии раскаленное железо весом в двести граммов, бывшее за несколько секунд до того частью снаряда, плотно припечаталось к лицу командира роты 10-го Баварского полка и навсегда лишило его чуть ли не половины носа. Впрочем, Рем не оказался в числе слабаков, которые, выписавшись из госпиталя, остаток жизни тратят на то, чтобы в глубоком тылу хлопотать о пенсии. Он вновь осчастливил своим присутствием окопы. За местечком, в котором изуродованному капитану выдалось побывать по возвращении в строй, закрепилась славная репутация «верденской мясорубки», однако ее нож, кромсавший на микроскопические кусочки целые дивизии, оказался к старине Эрнсту удивительно милосердным: мюнхенец схлопотал всего лишь сквозное ранение. Просверленный, словно дрелью, очередным куском французской стали, Рем остаток войны провел в штабах, которые хоть и не особо вдохновляли кавалера Железного Креста, но приучили его к работе с кадрами, решающими, как оказалось впоследствии, всё. Возвратившись после мира на малую родину в качестве безработного, упрямец не

собирался коротать время в очередях за бесплатной похлебкой. Дело было за случаем, который не заставил себя ждать. Угрюмый крепыш почерпнул приличный заряд бодрости из речей некоего ефрейтора, рассуждающего о будущем величии фатерлянда в пивной «Бюргерброй палас» и познакомился с оратором. В свою очередь, способность Рема подчинять дисциплине даже самых отъявленных негодяев, создавая из них боеспособные группы, впечатлила его нового приятеля. На мюнхенских, гамбургских и берлинских улицах, где коммунисты и патриоты с удовольствием раскраивали черепа друг другу стульями и железными колями, Рем с его штурмовиками чувствовали себя как рыба в воде. Для неистового австрийца Эрнст сделался просто незаменим. Путч 1923 года развел соратников по камерам. Рем просидел в кутузке недолго: близорукость Веймарской республики дошла до предела после того, как один из самых отъявленных ее ненавистников, захвативший со своими молодцами здание военного министерства, был отпущен на поруки, словно нашкодивший школьник. Пока фюрер коротал дни и ночи в тюрьме, его партайгеноссе Рем принялся сколачивать собственную гвардию. Вскоре несомненная тяга бывшего капитана к единоличной власти стала очевидной, а независимость — последнее качество, которое Гитлер хотел лицезреть в подчиненных. Разрыв с товарищем был неизбежен. В один прекрасный день опальный Рем, всегда твердивший, что он солдат, оказался в дымном гамбургском порту. Уже через месяц пассажир пароходного рейса «Гамбург — Рио-де-Жанейро» перебрался в Боливию и лицезрел окруженную пальмами штаб-квартиру его нового командира. Чин подполковника боливийской армии на какое-то время удовлетворил честолюбие не скрывающего сексуальной ориентации костолома, а его организационное рвение впечатлило даже выдавшего виды служаку Кундта.

Полигон под Каламаркой, покрытый наполовину скрытыми артиллерией холмами и весь изжеванный гусеницами новеньких «Виккерсов», не упускавших возможность ломать на своем зигзагообразном пути кустарник и редкие пальмы, был идеальным местом для особо интимных бесед. Во время генеральских инспекций здесь, как правило, не присутствовало лишних ушей, что же касается обслуживающего персонала, то повсюду слышалась немецкая речь. Наличие большого количества навесов с противомоскитными сетками, под которыми располагались столы и лавки для теоретических занятий, предполагало возможность спокойно посидеть в тени. Пока вызванный из столичных казарм короткошей, плотно сбитый подполковник ожидал встречи с начальством под одним из навесов, с заметным трудом переноса установившийся зной, Кундт, одежда которого состояла из неизменной фуражки, рубашки без знаков отличия и шорт, забравшись на погромывающий под его башмаками борт «Виккерса-шеститонного» и заглядывая внутрь распахнутых люков двухбашенного британского танка, расспрашивал одуревших на солнцепеке механиков о качестве поворотных механизмов — в ходе последних стрельб один из них заклинило на глазах у главнокомандующего. Затем, к всеобщему неудовольствию экипажей, вынужденных поджариваться на вечернем солнце в крагах, шлемах и кожанках, проинспектировал две танкетки «Виккерс/Карден-Ллойд» МК.VI, до пулеметных башенок перемазанных красноватой землей. Отпустив, наконец, подопечных, генерал в одиночестве зашагал к навесам. Сопящий от жары Рем не успел рта открыть, как Кундт избавил его от ненужных условностей:

— Не буду ходить вокруг да около, Эрнст. Мне нужны люди с навыками картографов для экспедиции в сельву. У тебя есть опыт в отборе — найди как можно скорее настоящих профессионалов. Только постарайся обойтись без боливийцев. Чилийцы, перуанцы, кто угодно... Их прошлое не должно нас волновать; главное —

способность ориентироваться в джунглях и обращаться с геодезическими инструментами.

Рем попросил разрешения присесть. Любителя старого доброго Doppelbockbier одолевала тучность, откладывающая на туловище свои годовые кольца. Поглаживая бритый затылок, к которому постоянно прилиwała кровь, он продолжал тяжело сопеть. Кундт не собирался зря тратить время:

— Внутренняя область Чако нам неизвестна. Полеты аэропланов ничего не дадут. Из-за отсутствия аэродромов вблизи Бореаля горючего хватает только на то, чтобы долететь до середины сельвы и вернуться обратно. О барражировании и речи не идет. Необходима глубокая разведка с выходом к этому чертову водоему. Озеро, озеро, озеро... Мне все уши прожужжали. Говорят, там огромный водный резервуар; если это так — отлично: оседлаем его первыми. Пройдоха Оливейра крайне заинтересован в сотрудничестве с армией. Я обещал содействие, но, как ты понимаешь, не потому, что являюсь альтруистом. У нас здесь свои интересы, Эрнст. Нужно глядеть вперед. С Германией далеко не покончено — вскоре ей тоже понадобится нефть... И нефти должно быть много.

Прихлопнув паука на своей шее, которой по всем параметрам подходило название «бычья», будущий министр без портфеля, начальник штаба СА, главный штурмовик тысячелетнего Рейха и узник тюрьмы Штадельхайм, стоически встретивший в ее камере свою смерть, поинтересовался:

— Почему именно иностранцы? Разве у боливийцев нет собственных спецов?

— Во-первых, дон Серхио не желает международных скандалов. А они будут, если парагвайцы поймут на своей территории граждан Боливии. Во-вторых, местные в сельву не полезут, Эрнст. Нет, не полезут. Это задача для чужаков, для тех, у кого нервы толщиной с корабельные канаты и чьи головы забиты обещанными наградами. Да, кстати, посули им золотые горы. Ради такого дела не будет скупиться даже Оливейра, а уж он-то заинтересован в удаче не менее президента.

— Яволь, — попытожил Рем. — Я найду ребят.

— И главное, чтобы они поработали не только на ведомство дона Серхио, — откликнулся собеседник.

После того, как основная задача встречи была решена, общение двух вояк коснулось политики. Вспоминая о заседающих в парламенте Боливийской республики депутатах, Кундт не мог скрыть горечи:

— Все воры. Поганцы все как один. Из-за них армия коррумпирована настолько, что не знаешь, за что и братья. Они и моих офицеров пытаются затянуть в болото. Нас спасает только то, что по ту сторону границы дела еще хуже. У генерала Скенони нет средств даже на обувь для солдат. Парагвайцы бедны как церковные крысы, не удивлюсь, если им будет нечем стрелять.

— В последнее время они пригласили русских, имеющих кое-какой опыт, — вспомнил Рем, по-прежнему массируя затылок.

Кундт внимательно всмотрелся в обезображенное лицо соратника:

— Да, я осведомлен, — кивнул он. — Знаю, кто у них там всем заправляет. В шестнадцатом году мне пришлось затыкать участок под Бродами, который развалили эти паникеры венгры. Насколько помнится, Беляев тогда командовал артдивизионом. А сейчас он — серый кардинал парагвайских босяков. Впрочем, это неважно. Что касается русских, их приемы известны. Да, Брусилов задал австрийцам жару в Галиции, но стоило там появиться нескольким нашим дивизиям, все вернулось на круги своя. Тактика противника видна как на ладони. Недостатки любителей шей и

кваса очевидны: неповоротливость, бестолковость, крайняя боязнь инициативы. Не думаю, что с тех пор многое изменилось. Кроме того, у них всегда проблемы с техническим оснащением. Они часто воевали одними винтовками, и мы их били, Эрнст. Мы хорошо их били. И в этот раз не будем миндальничать — сожрем молниеносно.

Прозябание в штабах Первой мировой, ко всему прочему, научило партайгеноссе Эрнста и такому весьма необходимому качеству как сомнение:

— Парагвай все более напоминает осиное гнездо. Русские его облюбовали. Ладно бы прибывали торгоши, спекулянты, прочая мелочь. Но помимо военных там уже всю хозяйничают иного рода специалисты: насколько я знаю, они прокладывают дороги. Что более неприятно, к Бореалу протянута железнодорожная ветка. Да, пока иммигрантов немного, ну а если за сотнями казаков Деникина на берега Параны хлынут тысячи, а затем и десятки тысяч их единоверцев из Европы и Северной Америки?

— Этого не произойдет, — моментально отреагировал Кундт.

— Вы уверены?

— Абсолютно. Если бы речь шла о наших соотечественниках, то создать полнокровный полис хоть в Парагвае, хоть в Боливии, хоть на Марсе не составило бы труда. Однако русские совершенно бездарные организаторы. Без государя императора каждый из них — сам себе голова. Каждый готов бодаться со всем миром, а уж со своим соседом — тем более. Эти мечтатели все заболтают, а затем раздерутся, как петухи на ярмарке. Им нужен кнут, дорогой мой Эрнст! Попомните мое слово: даже засевшие в Москве большевики обязательно закончат тем, что выберут себе царя.

Проснувшееся честолюбие Рема не собиралось сдавать позиций:

— Нет правил без исключений. Существуют их религиозные общины.

— Я привык оперировать величинами, способными влиять на мировую политику, дорогой Эрнст, — засмеялся генерал. — Такими реликтами, как здешние старожилы или североамериканские амиши можно полностью пренебречь. Вернемся к вещам, которыми пренебрегать не следует: цена слишком высока. Не подведите меня. Еще раз повторю: дело касается не только Боливии, но и Германии...

Диалог был прерван затрещающими моторами танков. К навесам потянулся дымок. Вдоволь набегавшиеся и настрелявшиеся «Виккерсы», за борта которых все еще цеплялось лучами солнца, один за другим выбирались на разбитую трассу.

Заслоняясь от солнца ладонью, главнокомандующий любовался механическими монстрами.

— Нефть, — пробормотал он.

Морос

Кундт мог быть спокоен: король штурмовиков Эрнст Рем безоговорочно подтвердил свою репутацию. Не минуло и пяти месяцев после встречи знатока русской тактики со знатоком мюнхенского «дна» и трех — со дня очередного боливийского переворота, как ведомство Оливейры не на шутку залихорадило. Тревога обитателей неприметного особняка на столичной окраине, в одной из комнат которого неусыпно стрекотал трудяга-телеграф, захламывая столы шифровальщиков всё новыми и новыми лентами, была вполне объяснима. Среди прочих сообщений, днем и ночью доставляемых в Ла-Пас из дипломатических консульств Уругвая, Чили, Бразилии и Аргентины,

зевсовой молнией сверкнула шифрограмма из числа тех, что в течение суток, а то и нескольких часов могут полностью перевернуть политику государства. Благодаря бывшему соратнику Гитлера полковник Оливейра встретил ее во всеоружии.

— Парагвайцы готовят поход в Чако, — объяснил незаменимый Серхио суть послания новому президенту.

Представитель Военной хунты, свергнувшей Риаса, Карлос Бланко Галиндо откровенно тяготился упавшей на его голову властью и готовился с радостью делегировать ее любому из своего окружения, и все же он не мог не встревожиться. Однако у полковника был джокер в рукаве. Объяснив в трех словах неопытному Галиндо, что следует предпринять в ответ на столь явный вызов, Оливейра получил чрезвычайные полномочия. Вскоре перед недоверчиво принимающим к миру доном Серхио предстали четыре новых персонажа драмы, появившиеся на авансцене благодаря Эрнсту Рему. Чилийцы, называвшие себя Аухейро и Родригес, перуанец по имени Пато и «предводитель команчей» некий Рамон Диего Санчес больше слушали, чем говорили. Осведомленность команданте Санчеса о деле, которое его людям предстояло выполнить, обрадовала Оливейру. Дон Серхио окончательно убедился в правильности выбора после того, как остался с Рамоном наедине. Этот нанявшийся незадолго до описываемых событий в боливийскую армию, чем-то напоминавший ворона сорокалетний мексиканец, точный в словах и в движениях, привлек внимание старины Эрнста неоценимым для рейнджера качеством: он подчинялся лишь собственной интуиции — чувству, незаменимому и в разгадывании интеллектуальной шарады, и в рукопашном бою, где приклад, саперная лопатка и нож идут в ход прежде, чем бойца посещает мысль о целесообразности их применения. Выгнанный в студенческой юности за революционную пропаганду с кафедры геодезии Национального автономного университета сторонник кристерос, активный участник очередной мексиканской резни 1926—1929 годов, ординарец генерала Энрике Горостьеты был замечен в чем угодно, но только не в милосердии. Вырываясь из западни, в которую 2 июня 1929 года попал его начальник-клерикал, Санчес застрелил и зарубил мачете не менее дюжины федералов. Потеряв патрона, недоучившийся революционер начисто пропал из поля зрения мексиканских правоохранительных органов, которые, пощадив многих повстанцев после замирения сторон, справедливо считали, что дальнейшее существование Рамона Диего Санчеса на планете Земля — слишком большая уступка сатане.

Что греха таить, Оливейре нравились такие люди:

— Вы не раз бывали в горах и сельве, следовательно, знаете, что вам нужно, — приветствовал он мексиканца. — Можете рассчитывать на помощь боливийских вооруженных сил в подготовке к походу. Что касается тягловой силы, есть мулы.

— Предпочитаю лошадей, — отвечал бывший кавалерист.

— Распоряжусь, чтобы вам выдали самых выносливых.

— Я сам их выберу, — был ответ, еще более понравившийся Оливейре.

— Насколько мне известно, у вас есть опыт в картографии, — заметил полковник. — Мы были бы очень признательны за хотя бы приблизительный план маршрута.

— Терпеть не могу слово «приблизительность», дон Серхио, — отвечал кандидат на мексиканскую виселицу. — Можете рассчитывать на мою точность.

— Отлично, дон Рамон! — окончательно успокоился полковник. — Я также наслышан, что вы отыскиали проводника из местных. Найти индейца, согласившегося отправиться в те места — большая удача.

— Что касается данной экспедиции — невероятно большая!

— Его услуги будут щедро оплачены нашим ведомством, — поспешил успокоить мексиканца чуткий Оливейра. И продолжал: — До перевала вас сопровождают солдаты. Далее — самостоятельное движение. Нужно убедиться, что озеро существует. Затем, по возможности, как можно детальнее его закартографировать и вернуться по всё той же дороге. Проторенная вами тропа интересует нас не меньше водоема, вот почему прошу особенно тщательно заносить встретившиеся ручьи и колодцы, пусть даже заброшенные, и прикинуть, подходят ли дороги, по которым вы пройдете, для переброски орудий.

— Могли бы об этом не говорить, дон Серхио.

Оливейра перешел к сути дела:

— Мы предполагали, что подготовка к столь серьезному мероприятию займет гораздо больше времени, но парагвайцы спугали карты. Прошу простить меня, дон Рамон: я побеспокоил вас раньше оговоренного времени, однако теперь каждый час на счету. Кстати, вам что-нибудь говорит имя Хуан Беляефф?

— Только то, что обладатель этого имени носит на своих плечах весьма дорогую голову.

— Надеюсь, вы представляете, насколько возрастет ваша награда, когда вы вывалите ее на мой стол! — то ли шутя, то ли всерьез воскликнул предводитель боливийской разведки.

— Тысяча английских фунтов — неплохая прибавка.

— Она целиком ваша, если голова Беляефф украсит собой стену моего охотничьего домика, — опять-таки то ли в шутку, то ли всерьез заверил мексиканца полковник. — А теперь о главном. Как вы думаете, дон Рамон, в чем истинная причина того, что в Бореаль до сих пор не совались ни мы, ни парагвайцы? Непроходимая сельва? Дикие звери? Болота? Москиты? Тропические ливни? Постоянные туманы в центральной части? Разумеется, нет. Наши солдаты забирались в такие уголки Кордильер, где выживают разве что лишайники. Но территорию в центре Чако даже гуарани испокон веку обходят стороной — вот почему мы не имеем о ней никакого представления. Искать озеро заставляет крайняя нужда, дон Рамон. Нас подталкивают к тому обстоятельства.

Однако мексиканец и на этот раз был в курсе:

— Морос?

— Именно, — подтвердил Оливейра. — Попали в самую точку. Черт подери, в двадцатом веке, в Южной Америке, по соседству с электричеством и машинами — сущая Полинезия!.. Трудно поверить в то, что государства, у которых есть танки и самолеты, страшатся каннибалов, однако же, дон Рамон, с этим приходится считаться...

— Какие у вас есть сведения о тамошних людоедах, дон Серхио?

— К сожалению, их немного. Мака и чимакоко утверждают: морос бродят в центральных районах сельвы, но не гнушаются время от времени нанести визит и на окраины. Никто их никогда не видел, но скот пропадает. Есть случаи похищения людей. На местах пропаж постоянно обнаруживают человеческие следы: размер ступни, как правило, очень маленький. Распространены слухи, что морос поедают даже кости, предварительно растирая в порошок. Индейцы жутко боятся тварей и уверяют: в случае схватки с ними снайперы бесполезны, они и за винтовки не успеют схватиться! Эти дьяволы лазают по деревьям, как обезьяны, великолепно маскируются, намазываясь соком какого-то кустарника, и, думаю, вполне способны ухлопать из

своих доисторических луков самых опытных следопытов... Так что лучший вариант — постараться избежать контактов.

— Избежать не получится, — ответил Рамон.

— Вы уверены?

— У меня было время поговорить с гуарани, переселившимися в Пуэрто-Суарес, — кстати, мой проводник как раз родом из тех мест. Он утверждает, что охраняющие озеро морос — особая порода. Дикари не пропустят мимо себя даже мексиканского таракана — а это весьма проворное насекомое, можете не сомневаться. Никто не знает, как у них это получается, но факт есть факт. Так как оружие бесполезно, остается лишь один шанс пройти безнаказанно.

— Он точно существует, дон Рамон?

— Несомненно. И я его использую, дон Серхио. Я его в полной мере использую.

«Corazón de América»

Дражайший Иван Тимофеевич в полной мере знал, с каким багажом следует покорять непроходимую сельву. К удивлению Экштейна, кроме личных револьверов (в их число входил и выдавший виды беляевский маузер С96, с которым тот не расставался еще с Гражданской, с трудом провозя изделие знаменитой фирмы через все границы) и карабинов, имущество путешественников состояло всего лишь из нескольких ящиков с провизией и боеприпасами, двух бурдюков для воды и пресловутого рогожного мешка, горловину которого цепко перехватила бечевка. Весь этот нехитрый скарб был загружен на борт шаткого пароходика с сентиментальным названием «Corazón de América» за считанные минуты. Что касается двухпалубного блина с трубой, посреди которого кособочилась ободранная капитанская рубка, весьма смахивающая на хижину дяди Тома, допотопное транспортное средство не внушало доверия даже выдавшим виды офицерам, конвоировавшим партию новобранцев в район боливийской границы. Их подопечные, груженные винтовками, ранцами и мешками, забирались на борт с не меньшей настороженностью. Наконец прозвенела рында на пристани. Полуголый помощник капитана не отказал себе в удовольствии дернуть за веревку гудка, звук которого оказался душераздирающим. Смертельно раненное животное завопило еще раз. Многочисленным гражданским и военным пассажирам, судя по всему, этот рев был привычен. Из рубки высунулась ухмыляющаяся физиономия помощника, проснулся жестяной рупор самого капитана, пыхнул жирный дым из трубы, зачавкала мутная вода за кормой — и путешествие началось. Перепрыгивая через вытянутые ноги взрослых, по кораблю носились дети. Женщины, безостановочно болтая, доставали из чрева плетеных корзин вареные яйца и лепешки. И получаса не прошло — палубу окутал запах дешевых сигарет. Для впервые оказавшегося на столь экзотическом судне Экштейна впечатлений было более чем достаточно: совсем еще безусые защитники Парагвая, чиновники, обитатели селений, расположенных по берегам реки, их жены, отпрыски, а также индейцы представляли из себя исключительно пестрое зрелище. Вскоре взор молодого человека притянул к себе еще один участник беляевской экспедиции. Представленный Экштейну незадолго до отправления бородач Василий Серебряков — чудом спасшийся из красного плена донской казак, исходивший по сельве с Иваном Тимофеевичем не одну сотню километров, не отличался словоохотливостью. Сидя на знаковом для Экштейна мешке, этот Тарас Бульба в выдавшей виды папахе и черкеске, на поясе которой чернели серебряные ножи,

попирал палубу мягкими кавказскими сапогами, невозмутимо пыхтя трубкой. Угрюмое молчание старого боевого товарища с лихвой дополняло удобно устроившегося на ящике с провизией начальника экспедиции.

— Знаете, голубчик, все началось еще под Петербургом, в детстве, в имении отца Елизаветинском, — говорил Беляев Экштейну в то время как, изрыгая клубы дыма с искрами и приветствуя попадающиеся навстречу лодки истошным ревом, доисторический мастодонт чапал по реке, сопровождаемый нескончаемым почетным караулом прибрежных пальм. — Отец отправлял меня на все лето в те края. Ах, наши славные серенькие пейзажи с болотцем и дождичком. Я забирался на чердак, к прадедовым сундукам... Ну впрямь чувствовал себя Джимом Хокинсом. И знаете, что сразу же попало на глаза, когда в первый раз был распахнут один из сундуков? Карта Парагвая! Мой прадед — адъютант самого Суворова, участник итальянского похода, большой любитель книг. Все это понятно, но как в его архиве, в том лесном углу, за тысячи километров от здешних краев оказалось истинное *Corazón de América*? Я захлебывался от радости, читая названия: Асунсьон, Тринидад, Энкарнасьон. Какая таинственность! Какая поэзия! Сидючи на пыльном чердаке дома на границе с Псковщиной ваш покорный слуга принялся самым усердным образом учить испанский. Благодаря старинной карте я влюбился в эту страну, влюбился сразу, беззаветно, навсегда. Детские впечатления самые прилипчивые, Александр Георгиевич, мы что угодно можем по жизни забыть — но только не их! И представьте: с тех пор для меня Парагвай всегда ассоциируется с запахом сена на дедовом чердаке, с полынью, чабрецом, васильками, с дождем, который тихонечко перебирал по крыше своими лапками, пока я сидел с той картой, воображая себе черт знает что: какую-то иную планету с пальмами, обезьянами, попугаями и непременными индейцами...

Беляев протер вспотевшее пенсне:

— Дошло до того, что я сделал себе из обломка литовки мачете и рубил им крапиву за амбарами, воображая, что нахожусь в джунглях. А потом два дня провалялся в постели; волдыри лопались один за другим!

Что и говорить, Иван Тимофеевич умел насыщать картины дней минувших подробностями, щемящими любое равнодушное сердце. Благодаря его милой провокации, прежний мир с запахами сирени, хрустом снега, поеданием блинов на Масленицу, Невским проспектом, Мойкой, ресторанами, половыми, жандармами, ярмарочными рядами, а самое главное, с матерью (розовошкой, растрепанной, в домашнем салопе) и хохочущим отцом (поскрипывающие яловые сапоги, ямочки на щеках, запах одеколона, искрящиеся нежностью глаза) настолько ясно представился затосковавшему Экштейну, что у молодого человека помимо воли вырвалось:

— Господи, если бы не война... Если бы не правительство... не унылая бездарность монарха... Как бы мы жили сейчас! Как славно мы бы сейчас жили...

Серебряков сверкнул глазами на Экштейна и так сильно поперхнулся дымом, что буквально зашелся в сиплом кашле. На шее казака взбугрились жилы.

— Что вы, сударь ясный, ставите в вину правительству? — впервые подал голос есаул Войска Донского.

Раздраженный и задиристый его басок не сулил ничего хорошего. И Экштейн не стал примирительно отшучиваться, ответил всерьез:

— Только то я ставлю в вину нашему правительству, что своими действиями оно загнало мою Родину поначалу в свару с японцами, закончившуюся невиданным позором, затем — в революцию. И после не придумало ничего лучшего, как всеми

четырьмя лапами влезть еще и в Великую войну, хотя нам вполне можно было бы отсидеться в стороне от европейской резни.

— Помощь христолубивой Сербии вы, сударь ясный, называете влезанием, как вы изволили выразиться, всеми четырьмя лапами в Великую войну?

— Существовала масса других способов обуздать Австро-Венгрию, — кинулся на рожон Экштейн, готовый теперь схватить любую подвернувшуюся саблю. — Но был выбран самый катастрофический...

— Какое вы имеете право судить государя? — вскинулся на дыбы донской медведь.

— Василий Фёдорович! Александр Георгиевич! — бросился спасать еще не начавшуюся экспедицию Беляев. — Поверьте, не время сейчас выяснять прошлое. Ну, правда, остыньте. Что было, то было... — И, утираясь платком, отвел Экштейна в сторону: — Упаси вас Бог при Василии Фёдоровиче идти против покойного царя! Серебряков — милейший, умнейший человек, верный, преданный долгу, но, как многие русские люди, монархист, взрывается, словно стопудовая бомба, стоит только кому-нибудь высказать противоположное мнение. Как вы понимаете, я сам далеко не в восторге от того, что случилось с Отечеством. И, тем не менее, не считаю, что опыт просвещенной Британии, не говоря уже об Америке, может нам как-нибудь пригодиться в дальнейшем. Однако вполне мирюсь с теми, кто молится на парламент, как и с теми, кто готов распевать по любому удобному случаю: «Боже царя храни...»

Внимательно посмотрев на Экштейна, самый известный в Парагвае бледнолицый вождь краснокожих на всякий случай уточнил:

— Судя по всему, вы, голубчик, из первых?

— Не буду скрывать своих воззрений, — запальчиво отвечал все еще не остывший лейтенант. — Считаю, беды можно было бы избежать еще в пятом году, вовремя распахнув двери реформам... Единственный шанс России — партии демократической направленности. Но ими не воспользовались. Их попросили с трибун. Их идеи растоптали, вдавили в землю, да еще и каблуком припечатали. В результате мы получили торжество всех этих балалаечных ванек, пьяной матросни, недоучившейся бурсы, витебских, вильнюсских и минских паразитов, которых свои же поганой метлой гнали из синагог. В итоге — полное фиаско. А ведь если кого и нужно было давить нашему царю-батюшке, так это собственных пуришкевичей и ту сволочь, которая сейчас хохочет над нами, создавая на одной шестой части всей земной суши похабнейшие Совдепы.

Беляев вздохнул, какое-то время рассматривая бурлящую за низеньким леером воду реки Парагвай и ее поросшие бурной зеленью берега. На заднем плане дрожали от полуденного марева горы.

— Поймите, голубчик, — сказал Иван Тимофеевич, вновь обращаясь к удрученному Экштейну. — Всех в государстве должно быть понемножку: монархистов, анархистов, даже, осмелюсь предположить, большевиков. Государство должно быть сложено из разнообразных кубиков. Ужасно, если вдруг нарушаются противовесы, рушится эта своеобразная гармония, и одна из блокирующих друг друга сил (неважно, какая — революционная, либеральная) безраздельно превалирует и хватает за горло остальных, несогласных с нею. Все тогда летит в тартарары, все пропадает. Бог с ним, с прошлым, что уж теперь говорить. Поймите, главное сейчас — собрать вместе разлетевшиеся осколки. И неважно, какими политическими идеями забиты головы нынешних изгнанников, главное, чтоб это были люди, готовые на созидание, а не таящие в себе мелкую и ненужную месть...

Беляев с тоской посмотрел на переполненную людьми палубу:

— Перед парагвайцами неудобно, голубчик! Скажут: не успели русские сесть на пароход, тут же разодрались. Хорошенькое начало. Стыд-то какой. Так что — помириться. Ей-ей, помириться. Тем более, прогулка не будет легкой. Вы мне оба очень нужны.

Сняв пенсне и протирая его платком, Беляев заглянул своими по-особенному доверчивыми глазками подслеповатого человека в порядком погрустневшие глаза Экштейна:

— Обещаете?

Что еще тому оставалось делать?

«Прощание славянки»

Оставшиеся шестьсот километров каботажного плавания в окружении женщин, детей, солдат и индейцев обошлись без ссор. Экштейн приспособился к ситуации, предпочитая общаться с Беляевым, готовым не только часами с жаром рисовать картины будущего «русского ковчега», но и делиться наблюдениями относительно индейского быта и особенностей чакской природы, а также с азартом, свойственным, скорее, какому-нибудь мальчишке из-под Орла или Воронежа, рассказывать о ловле местного карася, рыбы пако, уверяя, что ее можно поймать и на обыкновенный апельсин. При этом Иван Тимофеевич заразительно смеялся. Спасала неловкое положение и молчаливость Серебрякова, каждое утро творившего на юте неторопливую молитву, которая заканчивалась крестным знаменем, впечатляющим даже самых истовых католиков.

Возле Консепсьона пароход едва разошелся с полностью окунувшимся в серую краску суденышком, на носу которого под чехлом угадывался силуэт малокалиберного орудия. То был один из немногих кораблей парагвайского флота.

Полюбовавшись кормой речного броневика, украшенной станковым пулеметом, Беляев счел нужным сообщить своим соратникам:

— Итальянцы продали Парагваю две свои канонерские лодки. Защита, правда, противоположная, однако водоизмещение весьма солидное для здешних мест — около восьмисот тонн, и скорость порядочная — семнадцать узлов с гаком. Но самое главное, господа, две солидные близняшки фирмы Ансальдо — сдвоенные четырех- и семидюймовые орудия: поверьте, мощная заявка. Кроме того, насколько я знаю, на них поставлены три зенитные трехдюймовки и несколько «Виккерсов». Канонерки можно использовать как транспортные средства для быстрой переброски войск. Нам есть чем встретить боливийцев в случае их прорыва к реке... — И принялся вслух подсчитывать количество рейсов, которые предстоит совершить двум канонеркам, чтобы перевезти к Пуэрто-Пинаско четыре полностью укомплектованные дивизии.

Было видно — Беляев живет предстоящей войной и гордится тем, что к его мнению прислушиваются в Генштабе.

Наконец покрытое копотью корыто, на котором к концу плавания оставались одни военные, причалило к пирсу Пуэрто-Касадо — вернее, к кое-как сколоченным и связанным доскам, которые именовались здесь пирсом. Если уж в Асунсьоне веяло провинциальностью, что говорить о поселении компании «Карлос Касадо». Бараки наемных рабочих соседствовали с хибарами местных жителей; напротив дома управляющего благоухала помойка; пожухлые пальмовые крыши большинства строений доходчиво свидетельствовали о материальном положении их обитателей. В порту еще

теплилась кое-какая хозяйственная жизнь, но что касается остального городка, его прозябание оживляли разве что бродившие по улицам свиньи.

Цепочка сошедших с парохода солдат двинулась к узкоколейной железной дороге, которую жадность добывающей танин коммерческой компании протянула в сельву на целых сто сорок пять километров. Просьба Ивана Тимофеевича к озабоченным офицерам, сопровождающим новобранцев, не осталась без внимания: скарб экспедиции был доставлен к стоявшему на путях небольшому составу. Паровоз принял эстафету от чумазой речной посуды, напутствовавшей его гудком, вагоны отчаянно залязгали и заскрипели, Беляев перекрестился, Экштейн принялся за записи в своем дневнике, есаул Серебряков тотчас раскурил трубочку. Зелень трав, кустов и деревьев полезла в глаза, и выдавшая виды железная бочка с трубой, отплывавая паром, утянула за собой в сельву четыре деревянные коробки на колесах. Природная жизнерадостность пяти десятков человек в военной форме, наконец-то надевших ботинки — и то исключительно из-за нежелания, кроме диареи и фурункулов, обзавестись еще и занозами, — дала себя знать уже после первого поворота, опасно накренившего вагоны. Забренчали гитарки, и задорные голоса грянули старинную парагвайскую песню «Я не виноват».

По мере того, как с каждым прибавляемым километром трава, кусты и деревья все агрессивней с двух сторон набрасывались на насыпь, показывая буйством своих корней тщету усилий железнодорожников договориться со здешней флорой, песня следовала за песней. Припев подхватывали все вагоны. Восемнадцатилетние стриженные парнишки, свесив ноги с платформ и едва успевая отводить от себя особо наглые ветви, распевали во все горло «Парагвайцы, Республика или смерть»:

Paraguayos, ¡República o Muerte!
Nuestro brío nos dio libertad;
Ni opresores, ni siervos alientan
Donde reinan uni?n e igualdad.

Во время исполнения этого страстного гимна, к удивлению Экштейна, плакали даже сержанты.

Беляев был очень доволен:

— Чудесный народ! — то и дело обращался он к своему молодому товарищу. — Просто удивительный народ! Вы еще увидите его в деле! Как говаривал Кутузов: «С этими молодцами да отступать?»

Старичок-паровоз плавно затормозил. Дальше царил сельва. Впервые увидев первобытные заросли, Экштейн совсем по-детски растерялся, не представляя себе, как можно пробиться сквозь намертво переплетенные между собой стволы. Он невольно оглянулся. Позади успокоившегося состава на отбитом от джунглей пяточке белели стены нескольких казарм: таков был форт Куэньо — еще одна застава в джунглях, созданная не без участия русского советника парагвайских вооруженных сил.

Следом за ошарашенным Александром Георгиевичем посыпались из вагонов солдаты, строясь в шеренгу. Рвение не было спонтанным. Прибывших на конечную станцию цивилизации Беляева, Экштейна, Серебрякова, а заодно и новобранцев ожидал сюрприз в образе начальника Генштаба Скенони и семи его сопровождающих — футляры в руках четверых из них указывали на принадлежность к музыкальной команде.

Любовь недавно отметившего шестидесятилетие генерала к физическим упражнениям давала о себе знать лейтенантской молодцеватостью. Тщательно выскобленное бритвой лицо, неизменная для всех модников полоска усиков над верхней губой, а также обаятельная улыбка придавали Скенони вид типичного асунсьонского жиголо. Тем не менее это был один из самых вдумчивых и серьезных стратегов маленькой республики. По его знаку всё на насыпи замерло; музыканты освободили из заточения свои инструменты, помассировали языком внутреннюю сторону щек и вскинули взгляд на генерала. Повинуясь кивку, три валторны и потускневшая от старости туба разродились маршем. Участники готовящегося предприятия ушам своим не поверили, когда в девственном южноамериканском лесу, пусть и фальшиво, с несоблюдением ритма, грянуло непонятно откуда добытое и на скорую руку выученное творение штаб-трубача 7-го запасного кавалерийского полка Василия Агапкина.

Здесь прослезился уже Беляев.

Проводы были недолгими. После того, как выстроившиеся на насыпи защитники маленького форта и трое русских выслушали «Прощание славянки», солдаты направились к казармам, а оставшимся возле их нехитрого имущества путешественникам Скенони предъявил обещанную тягловую силу. Навьючить ящиками и мешками четырех мулов, генетически предрасположенных к послушанию, для казака Серебрякова, сержанта Хорхе Эскадо и двух старослужащих-рядовых, которые готовились сопровождать участников похода, труда не составило. Плотнo пригнанные винтовки, одежда и обувь сержанта и его сметливых ребят указывали на их несомненный опыт в разведке.

Генерал Скенони лично сопроводил маленькую экспедицию до тропического леса, однако не торопился препоручить ее сельве. Начальник парагвайского Генштаба явно мешкал, который раз спрашивая Серебрякова, знавшего испанский не хуже Ивана Тимофеевича, о надежности карабинов и беспокоясь о прочности бурдюков. Наконец, все-таки набравшись решимости, обратился к уважаемому дону Хуану:

— У меня есть особая просьба к вам от министра Риарта. Простите, но ранее не имелось возможности предупредить вас об одной.

Смущение генерала, подобно многим военным не выносившего лицедейства и явно не одобрявшего возложенного на него поручения, объяснилось, когда из густой, словно чернила, тени, разлитой сцепившимися между собой деревьями, навстречу Ивану Тимофеевичу и его товарищам шагнул высокий лопоухий субъект: невозмутимость этого материализовавшегося призрака была сродни невозмутимости хорошо отобедавшего леопарда.

Человека звали Френсисом Фриманом.

Мистер Бьюи вновь философствует...

За семьсот километров от куска отвоеванной у сельвы почвы с теснившимися на ней казармами и флагштоком, на вершине которого полоскался на ветру красно-бело-голубой флаг, представитель британской фирмы с удовольствием выпечил рюмочку местного рома. Его собеседник предпочел навестить террасу «Гран Отель-дель-Парагвая» в час, когда можно было не беспокоиться о свидетелях. Асунсьонский вечер вновь не подвел — какое-то время Луис Риарт даже не различал лица англичанина, хотя тот сидел весьма близко. Мистер Бьюи не скрывал приподнятого настроения.

В том, что Риарту удалось организовать за короткое время столь нужное мероприятие, он видел руку судьбы. Подданный Ее Величества, арендующий в лучшем столичном отеле целую анфиладу комнат, сегодня мог позволить себе и такую роскошь, как откровение. Когда речь зашла о Хуане Беляефф, британец заметил:

— В нашем деле, дорогой дон Луис, наиболее эффективна система управления, при которой малые мира сего даже не подозревают о том, в чьих интересах действуют...

— У дона Хуана есть веские причины для сотрудничества с моим ведомством, — со всей серьезностью откликнулся на цинизм коммивояжера Луис Риарт. — Он занимается географией, антропологией и буквально бредит индейцами, а кроме того, мечтает расчистить земли Чако для колонии своих соотечественников, в чем мы так же заинтересованы.

— «Шелл Ойл» должна быть благодарна ему за совершенно бесплатную для нее услугу.

— Вряд ли Беляефф об этом думает, мистер Бьюи.

— Ну и прекрасно. Разве не славно, когда чаяния больших и малых людей полностью совпадают?

— Я не вижу особой разницы между доном Хуаном и теми, кого вы называете большими людьми, мистер Бьюи, — Риарт с трудом скрывал раздражение. — Поверьте, его услуги стоят не меньше, чем ваши...

— Разница в том, дон Луис, что подобные мне и вам индивидуумы могут себе позволить попивать канью в то время, когда другие рискуют в любую минуту быть нанизанными на вертел. Для нас, находящихся здесь, в спокойном засыпающем городе, умереть — значит столкнуться с обстоятельствами, которых в девяносто девяти случаях из ста просто не может быть. Это то же самое, что оказаться раздавленным хотя бы вот тем великолепным падубом, растущим на противоположной стороне улицы: шансы, что дерево повалится, когда, попрощавшись со мной и отправившись к своему автомобилю, вы окажетесь рядом с ним, как понимаете, ничтожно малы... Иное дело — проскользнуть мимо морос.

— Что же, позвольте мне проверить правильность ваших выводов, мистер Бьюи, — сказал Риарт, поднимаясь. — Тем более, что все разногласия между нами, как я понимаю, улажены...

Англичанин от души рассмеялся:

— Посидите еще немного, дон Луис. Не торопитесь. Что касается дерева, под ним можно простоять еще пятьсот лет без опасений безвременно покинуть своих близких...

— И все же, мистер Бьюи, предпочту лично убедиться в торжестве теории вероятности...

Попрощавшись, Риарт спустился, пересек мостовую и, оказавшись под деревом, невольно поднял голову; подсвеченный уличным фонарем падуб действительно был великолепен. Несколько его ветвей нависали чуть ли не над серединой улицы.

— Я прав? — крикнул англичанин с террасы.

— Несомненно, — отвечал Риарт. — Несомненно.

Курс — северо-запад

Первый день экспедиции завершился привалом в гуще кустарника, тонкие стволы которого опытные проводники нагибали, а затем связывали над головами, сооружая некое подобие шалашей. Щебетание, шелканье, хохот и бормотание попугаев, туканов, гологорлых звонарей, иглохвосток, филидоров, листовников,

узкокловых чешуйчатых древолазов, муравьеволок, гусеницеедов и прочей пернатой мелочи, то и дело мельтешащей в кустах и разноцветными каскадами выпархивающей чуть ли не из-под ног, сменились не менее невыносимым уханьем сов. Вместе с погашенным костром погасло и зрение. Экштейн с ужасом обнаружил, что невозможно разглядеть не только что-нибудь на расстоянии вытянутой руки, но и саму руку. В ночной сельве, которая после работы лейтенанта с мачете не без основания представлялась ему чудовищем с миллионом древесных щупалец, постоянно что-то шевелилось, шуршало, трещало, гудело и чавкало. Под его гамаком расположилось целое семейство неведомых насекомых, их зудение сводило с ума. Паническое ожидание того, что к лагерю вот-вот подкрадутся твари, сравнимые разве что с персонажами «Вия», заставляло бедного Александра Георгиевича всю ночь не выпускать из рук револьвер. Но и надежность револьвера тоже вызывала тревогу: воздух, пропитанный гнилым запахом поросших грибами деревьев вперемешку со сладковатым парфюмом бесчисленных орхидей, был настолько влажным, что могло заклинить механизм. Несколько примиряло с действительностью спокойствие, с которым его спутники, включая навязанного экспедиции британца, разошлись по своим временным постелям, а также полное равнодушие мулов к происходившей вокруг вакханалии, лишь изредка пофыркивающих в импровизированном загоне из лиан и веток. В конце концов Экштейн попытался взять себя в руки и принялся восстанавливать в памяти минувший день. Незаменимым учителем для впервые попавшего в сельву лейтенанта оказался сержант Эскадо — низенький человечек с бородкой-эспаньолкой и влажными бусинами-глазками. Разведчик показал Экштейну, как нужно управляться с тесаком, чтобы к вечеру от усталости не отваливалась рука; а чтобы не набить мозоли, настоятельно советовал смазывать ладони соком растения, напоминающего лопух, которое он называл сейей: любые воспаления кожи мучают здесь долго и, как правило, чрезвычайно болезненны. Этот сроднившийся с сельвой Натти Бампо безотказно готов был делиться опытом, решительно сняв эту часть забот с Ивана Тимофеевича. Беляев не возражал: сам он был занят по горло. Кроме наблюдения за движением вверенных ему людей и мулов, руководителю экспедиции приходилось постоянно возиться с линейкой, транспортиром и листами бумаги. Оказываясь рядом с Экштейном, советник парагвайского Генштаба не скрывал досады:

— Ладно Скенони, человек подневольный, но Риарт-то мог бы поговорить со мной насчет еще одного участника... Какое ребячество! Он что, не понимает? — я несу полную ответственность за предприятие. Теперь придется пересматривать рацион; у нас каждый сухарь на счету.

— Возможно, министр боялся, что вы ему откажете, — предположил Экштейн.

— Правильно боялся. Мы не на пикник собрались!

Конечно же, возмущение навязанным британцем было бурей в стакане воды. Руководитель экспедиции не имел права перечить Риарту: поход целиком финансировало военное ведомство. Откровенно расстраивало Ивана Тимофеевича то обстоятельство, что мистер Фриман не предпринял никаких попыток наладить с ним хоть какой-то контакт. Самодостаточность этого джентльмена, одетого по всем правилам охоты в джунглях (пробковый шлем, рубашка цвета хаки, длинные шорты, длинные носки, высокие ботинки), вооруженного карабином и имеющего за плечами вместительный «нельсоновский» рюкзак, не просто бросалась, а, можно сказать, била в глаза. На первом же биваке он расположился поодаль от остальных с личным котелком и складной ложкой, хотя был приглашен в круг, ел экономно, оставшуюся галету положил в нагрудный карман и настолько быстро смастерил убежище на ночь, что ни у кого не осталось сомнений: русским собирався в дальнейшем портить нервы далеко не новичок. Нужно было поставить точки над «i». Английский Беляева оказался не

настолько хорош, чтобы на нем вести беседу о предполагаемых функциональных обязанностях незваного гостя. Иван Тимофеевич обратился за помощью к лейтенанту, однако мистер Фриман опередил открывшего было рот Экштейна, объяснив на сносном испанском, что будет полезен в качестве замыкающего.

— Черт с ним, — сказал Беляев спутникам. — Пусть делает что хочет. У нас без него работы полно.

На следующее утро приветствуемый со всех сторон воплями попугаев Экштейн одним из первых оказался возле сооруженного Серебряковым костерка, заставив себя выпить две кружки кофе. Затем пришел черед кукурузной каши с галетами. Размеренность приема пищи была разрушена туканом, усевшимся на пальмовую ветвь напротив и с не меньшим аппетитом пожирающим летучую мышь. Впрочем, все здесь пожирало друг друга: эту непреложную истину следовало постоянно иметь в виду.

Мулы были навьючены, мистер Фриман занял место замыкающего.

Вновь началась рубка сельвы.

Иногда лейтенанту казалось: сержант Эскадо наслаждается выпавшей ему возможностью сопровождать экспедицию. Пробивая путь своим внушительным даже по местным меркам мачете, ловко перепрыгивая через поваленные стволы и корни, симпатяга-сержант, дыхание которого оставалось на удивление ровным, объяснил, что в случае отсутствия воды жажду в сельве можно утолять, выжимая мясистые корневища иби-а или собирая влагу с длинных колючих листьев карагуаты. Он посоветовал привязывать к поясу калабас, затыкая его пробкой из дерева сохо, и позаботился о брюках лейтенанта, показав, где нужно подвязывать их бечевками, чтобы не подцепить пауков. Сельва становилась всё гуще; жара и влажность изматывали Экштейна не хуже страха перед дикарями. Сержант неторопливо жужжал над ухом, рассуждая о полезности приема в пищу молодых побегов пальм, напоминающих вкусом капустные кочерыжки. Продолжая делиться знаниями, он первым заметил темно-коричневого каскабеля, неожиданно оказавшегося под ногами напарника. Погремушки на хвосте ползучей смерти угрожающе затрещали, однако, не успел Экштейн вспомнить об отце, о матушке, о милой Родине, которую, судя по высунувшемуся раздвоенному языку аспиды ему уже не суждено было увидеть, как змеиная голова отлетела в сторону, словно теннисный мячик. Закапывая ее глубоко в землю все тем же мачете, спаситель буднично поведаль: яд мертвого каскабеля за минуту способен отправить на тот свет полного сил ягуара. Что уж говорить о каскабеле живом! В то время как Экштейн приходил в себя, для словоохотливого сержанта в порядке вещей было рассказать собравшимся на его зов членам экспедиции о случаях, которые закончились не столь благополучно, и объяснить: такие встречи в сельве — дело обычное. Несовместимую с жизнью травму здесь может нанести даже безобидный с виду муравьед.

Новая ссора

Мулы, ведомые парагвайскими солдатами и не расстающимся с трубкой казаком, безропотно тащили свой груз. Мистер Фриман иногда позволял себе пропадать из виду — Впрочем, вскоре как ни в чем не бывало нагонял экспедицию. Беляев то показывался в голове их немногочисленной группы, то, занятый картографированием, исчезал из поля зрения Экштейна на несколько часов. Визг, уханье, стоны, щелканье клювов не прекращались. Отбирая друг у друга пищу, с писком проносились над людьми обезьяны-игрунки. Неведомые существа в пальмовых кронах раздражались диким хохотом. Лианы тянулись на десятки, если не на сотни метров. Деревья,

безжалостно удушаемые эпифитами, отчаянно рвались к небу. Под ними яростно дрались между собой за жизненное пространство всевозможные фикусы и древовидные папоротники. Красная почва была засыпана листьями и гниющей шелухой орехов, плодов и увядших цветов. Стояла жара; стоял запах орхидей; стояло солнце; февральская сельва источала воду; редкие голоса людей тонули в зеленом месиве. Временами, оказываясь в местах, особо плотно заселенных кактусами-толстяками, Экштейн не слышал даже стука мачете помогающего ему сержанта.

Лагерь разбивали на возвышенностях, но и там все капало, все сочилося влагой, в которой с катастрофической скоростью размножались микроскопические мошки и грузные, словно бомбовозы, тропические мухи, не раз наводившие Экштейна на мысль, что законодатель красоты — Господь — не мог создать таких существ просто в силу своих эстетических воззрений. Несомненно, проектированием всех этих кровососущих, летающих и ползающих тварей занимался дьявол. Впрочем, по ночам Александр Георгиевич был спасаем от назойливых *pantophthalmus bellardi* и от далеко не безобидных *aedes aegypti*, известных разносчиков желтой лихорадки. Эскадо всего за одно занятие добился того, что лейтенант научился раскидывать над собой противомоскитную сетку с виртуозностью бывалого егеря.

Подчиненные маленького сержанта так же отличались простосердечием и охотно шли на контакт с лейтенантом, чего нельзя было сказать о есауле-монархисте. Какое-то время статус-кво между Экштейном и Серебряковым сохранялось, но на пятый день их пребывания на дне зеленого океана горячность Экштейна прорвала плотину.

Детонатором взрыва вновь невольно явился Беляев, за ужином вспомнивший о своих «приятелях»-немцах, которые с не меньшим, чем он, пылом трудились по другую сторону границы. Заметив, что многие из них, в том числе и Кундт, бежали в Боливию, не приняв законов Веймарской республики, Иван Тимофеевич, обращаясь к Экштейну, добавил:

— У этих господ в крови тяга к шпицрутенам. Они не готовы мыслить. Понятно, социал-демократия — слишком мудреная форма правления для старушки Германии, привыкшей к сапогу, но, ей-богу, у того же Эберта обитателям прусских казарм следовало бы поучиться правилам человеческого общежития. Однако они ничему не хотят учиться. Таким, как Кундт, подавай железный рейх вкупе с крупповскими пушками: ничего иного они не видели ранее и реалии признавать не желают. А жаль! Побольше бы сомнений в эти дубовые головы, побольше бы им тяги к рефлексии, глядишь, мы с вами избавились бы от перспективы новой встречи со старыми знакомыми теперь уже в парагвайских болотах...

— Вы не знакомы с воззрениями такого деятеля, как Геринг? — спросил Экштейн, читавший ранее нацистские газеты.

— Похожих деятелей там сейчас пруд пруди, и каждый из них — спаситель отечества, — отмахнулся Иван Тимофеевич. — Оказавшиеся в нищете офицеры готовы притащить обратно на своих плечах в страну даже кайзера, который, насколько мне известно, мирно кормит в Дорне уточек.

— Для Германии подходит все что угодно, но только не Вильгельм, — с жаром откликнулся Экштейн. — Замок Дорн — жалкий конец этого жалкого человека. Пусть же он там и сидит.

— Ясный сударь, — молчавший до этого Серебряков вынул трубочку изо рта. — А известно ли вам, что именно при этом, как вы изволили выразиться, жалком человеке, был принят закон о страховании рабочих от нужды в старости и во время

неспособности к работе? Известно ли вам, что именно при нем были рассмотрены вопросы об ограничении рабочего дня для взрослых, о недопущении замужних женщин к работе ранее трех месяцев после разрешения их от бремени, о недопущении детей на фабрику, пока они не прошли школы, и об обязательности первоначального обучения?

— Не забывайте, что речь идет о нашем с вами враге, — опрометчиво перебил казака Экштейн.

— Да, Вильгельм — враг мой, — согласился Серебряков. — И все же, ясный сударь, если бы не подлость так называемых демократических правительств Англии и Франции, не интриги всей этой своры, вряд ли дядя российского императора решился бы на великую бойню...

— У меня иное мнение относительно умственных способностей германского кайзера, — отвечал Экштейн. — По мне, так он оказался слишком безрассудным, чтобы обладать властью, и слишком бездарным для того, чтобы избежать катастрофы...

— Не вам, ясный сударь, судить гигантов.

— Конечно, не мне! Их судит история, и судит достаточно зло. Кайзеру еще предстоит ответить за собственную глупость, но вот его родственник, к сожалению, уже поплатился за такое же свойство ума...

— Ясный сударь! — взорвался покрасневший Серебряков.

— Ради бога, не вынуждайте меня всякий раз говорить вам правду, — бросил ему в лицо Экштейн.

— Александр Георгиевич! Василий Фёдорович! — примиряюще воскликнул Беляев.

Не понимающие языка парагвайцы с тревогой уставились на них.

Серебряков тяжело поднялся с обрубка дерева, на котором восседал. После своей, неожиданной даже для него самого, выходки Экштейн ожидал от казака чего угодно, однако бородач, подхватив гамак, шагнул в темноту, где время от времени загорались огоньки чьих-то глаз...

Иван Тимофеевич был очень расстроен:

— Дело даже не в том, что у вас с Серебряковым нашла коса на камень, — отмахнулся он от запоздалых извинений не менее удрученного Экштейна. — Я этих споров досыта наслушался еще в Париже... Все гораздо глубже, поверьте. У нас в корпусе преподавал замечательный учитель истории Пал Палыч Ковенский! Никогда его не забуду, ибо благодаря этому седенькому старичку уже в тринадцатилетнем возрасте я, представьте себе, читал Платона, следовательно, знал, что даже самые прекрасные демократии неизбежно захлестываются властью толпы, затем толпу хватает за горло какой-нибудь тиран, после того, как тирана отправляют на эшафот, следуют отвратительные времена олигархов, затем — вы будете смеяться — все вновь сменяется демократией... и так по кругу, голубчик. По кругу — вот уже две тысячи лет. Вы читали Платона? Слава богу! Не читать его — преступление. И знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, когда баран-обыватель, стриженный негодяями и подлецами всех мастей, совершенно не интересуясь прошлым и, тем более, не задумываясь о будущем, уверяется в незыблемости настоящего. Возьмите Швейцарию... или вот, новый локомотив человечества — США. Средний янки уверен: свобода выборов существует вечно, как и сменяющие друг друга, словно конфетки в вазочке, президенты. Помилуйте, какая наивность! Какому-нибудь техасцу даже не доказать того неопровержимого факта, что однажды он ляжет спать при республике, а проснется при

Цезаре. Впрочем, еще более страшно то, что обыватель не заметит произошедшей метаморфозы... Вы понимаете, к чему я клоню?

Беляев помолчал, скорбно поджав губы, и устало продолжил:

— Можете меня упрекнуть за отсутствие так называемой политической позиции, хотя сердцем я за монархию, и только потому, что так сладко жилось тогда, так сладко елось, спалось, думалось, любилось... Но что касается рассудка, вот мое кредо: циничное, аполитичное, называйте его как угодно. Формы правления сменяют друг друга — это незыблемая аксиома. Вакханалия московских якобинцев-романтиков закончится весьма скоро. Все они неизбежно отправятся на плаху. Останется Россия, в которой, чтобы она жила дальше, нужно учить детей, лечить больных, строить дороги, и которую нужно защищать независимо от того, кто будет занимать трон в Кремле. Очередной государь или очередной Троцкий могут слететь с этого трона в любой момент, однако Россия должна быть... В противном случае, жизнь теряет смысл. За коммунистов я не дам и дохлой мухи, но вот что касается моей Родины...

Он не договорил.

— Иван Тимофеевич! — виновато окликнул его Экштейн. — Иван Тимофеевич!

Беляев посмотрел на молодого человека с грустью, в которой, однако, проглядывала нежность:

— Мы никак не можем уgomониться. Даже здесь, в этой маленькой благословенной стране. Все бы нам хватать друг друга за грудки. Монархия! Республика! Демократические свободы! Спорим до хрипоты: нужно идти походом на большевиков, не нужно идти походом на большевиков... Да плевать мне, голубчик, на это! Я готов помогать Отечеству, которое *остается*...

Особенно четко он выговорил это последнее слово: «остается».

Костерок принялся выстреливать угли. То один, то другой огонек, сопровождаемый едва слышимым треском, улетал в траву. Когда Экштейн очнулся от размышлений, у костра вместе с ним сидели лишь притихшие разведчики генерала Скенони.

Чуткий сержант был встревожен.

— Вам больно, лейтенант? — участливо спросил Экштейна парагваец. — У вас проблемы?

— Нет, нет, обычные пересуды, — поспешил успокоить его Александр Георгиевич. — Нервы, знаете, несколько напряжены.

— Вы — северные люди, а спорите, как гаучо на каком-нибудь перегоне, — заметил следопыт. — Правда, аргентинцы чуть что сразу хватаются за ножи.

— Не беспокойтесь, сержант: до поножовщины дело не дойдет.

— Генерал Скенони просил вывести вас к воде, — сказал Эскадо. — Мы знаем, где она начинается. После этого нам приказано возвращаться в форт. Все ручьи в этой местности являются притоками реки Гроа, стоит выйти к одному из них, и можно следовать вдоль его берега. Дальше отправитесь сами: дон Хуан — опытный человек. Гуарани утверждают: река, в свою очередь, втекает в то самое озеро, так что дальнейший маршрут примерно понятен...

Подобрав подушечками нечувствительных пальцев синеющий уголек, Эскадо прикурил от него дешевую сигарету и, по-индейски присев на корточки напротив Экштейна, внимательно посмотрел на него.

— Морос — страшные существа, лейтенант. Я не могу назвать их людьми, язык не поворачивается. Вам придется идти тихо-тихо. И постоянно молитесь Деве Марии: если кто и поможет вам, так только Она.

Сержант торопливо перекрестился:

— Что еще могу посоветовать, если разглядите их первыми. Спрячьтесь в траве, за деревьями, за чем угодно, притаитесь, задержите дыхание: сделайте все, чтобы вас не заметили. Карабины здесь не помогут. Револьверы — тем более...

— Спасибо за предупреждение.

Они посидели еще немного, обсуждая погоду и необычайную яркость здешних звезд. Однако нужно было ложиться.

— Спокойной ночи вам, лейтенант.

— Спокойной ночи, сержант.

Алебук

Утром все повскакали от хлесткого звука выстрела.

Проворный Эскадо оказался на месте раньше Беляева, Экштейна и двух своих подчиненных. Именно там, в стороне от лагеря, разгневанный Серебряков и повесил свой гамак с «москитеро». Сжимающий посеребренную рукоять камы есаул еще не отошел от шока: лицо его побагровело, он панически озирался, рыская глазами по сторонам. Но взгляды Беляева, Экштейна и парагвайцев были прикованы не к есаулу, а к топтавшемуся в нескольких метрах от его гамака англичанину. Мистер Фриман, вчерашним вечером все так же независимо поужинавший и заснувший раньше других, сейчас ворошил траву. Наконец он разыскал еще горячую гильзу.

Первым сообразивший, в чем дело, Эскадо глянул себе под ноги:

— Следы! Их много...

Действительно, земля вокруг гамака была покрыта вязью следов. Повсюду на кустах блестели рубиновые капли. Кровь еще продолжала капать с листьев.

«Дикари!» — было первой мыслью побледневшего Экштейна. Однако он ошибся: следы принадлежали зверю.

В черепе ягуара застряла тяжелая пуля. Монстр сельвы, готовый кинуться на свою жертву с нависающей над гамаком ветви, умер прежде, чем к нему подобралась люди, — его мгновенная гибель свидетельствовала о титановых нервах мистера Френсиса Фримана. Экземпляр был непередаваемо великолепен: навскидку Беляев определил, что это, скорее всего, амазонский вид, не менее ста килограммов веса, с впечатляющей раскраской из темных и ярко-желтых пятен.

Иван Тимофеевич нервно водрузил пенсне на нос. Почему ягуар — истинный хозяин сельвы, кишащей разнообразнейшей пищей — от обезьян до оленей, пекари и капибар, решил отведать еще и человечину? И для Беляева, и для местного сержанта это было загадкой. О том, что испытал Серебряков, внезапно обнаружив над собой оскаленную морду, можно было только догадываться.

Оставалось благодарить спасителя.

— Пустяки, — как ни в чем не бывало отвечал Беляеву англичанин, закидывая свой карабин за спину. — Я не советовал бы вашему казаку отходить слишком далеко.

Однако сам он вскоре надолго исчез из виду.

На следующий день сержант вывел людей к ручью. Коричневая с зеленою пахнущая болотом вода, с трудом пробивающая себе путь между подушками мха, не вызвала доверия, хотя Эскадо и уверял: после процеживания через марлю и кипячения для питья вполне пригодна и эта жижа. Тут полюбившийся путешественникам следопыт хотел откланяться, однако по нижайшей просьбе Ивана Тимофеевича согласился остаться с ними еще на сутки.

Именно в том месте, где экспедиция нашла себе очередное пристанище, Экштейну предстояло испытать нешуточное потрясение. Скрываемый до пояса утренним сырым туманом Александр Георгиевич, постеснявшийся справлять нужду недалеко от кострища, углубился в тропический лес. Что-то подозрительно замельтешившее перед сосредоточенным взором лейтенанта заставило его напрячь зрение и тотчас забыть не только о физиологической нужде, но и о положенном рядом револьвере.

— В чем дело, голубчик? — подхватился разбуженный им Беляев. — На вас лица нет! Экштейн мог только показывать рукой туда, откуда только что примчался.

В тот же миг утренний лагерь заполнили голые существа.

Сержант Эскадо и Френсис Фриман — единственные из всей группы, у кого в руках оказалось оружие, — держа палец на спусковом крючке, с феноменальной выдержкой наблюдали, как измазанные желтой и красной охрой дикари, потрясая дротиками и луками, совершали перед ними прыжки, которым могли позавидовать и кенгуру. Среди выделяющихся коленца нежданных гостей, готовых пятки о землю разбить, особо выделялся касик. Голова старого вождя была столь богато украшена перьями, что у совершенно потерянного Экштейна создалось впечатление — это не голова вовсе, а воссевшая на человеческое туловище птица с яростными глазами и носом-клювом. Поглядывая на онемевших спутников, Иван Тимофеевич от души хохотал.

— Алебук! — наконец воскликнул, обращаясь к Беляеву, старик-индеец. — Алебук!

— Шиди! — раздалось в ответ не менее радостно, и Беляев, раскрыв объятия, поспешил навстречу касику.

— Это друзья! — объяснил он своим оторопевшим товарищам. — Чимакоко и их вождь Шиди поведут нас к реке.

Представителям лесного племени нельзя было отказать в чувстве юмора — увидев, какое впечатление произвели они своей свирепостью, краснокожие, не выдержав, тоже расхохотались.

— Алебук — в переводе с языка местных индейцев — Сильная Рука, — объяснил Беляев, когда возбуждение чуть улеглось. — Так чимакоко зовут вашего покорного слугу.

Наслушавшийся от сержанта о свирепости морос, Экштейн, под шумок сходивший за своим наганом, пристыжено молчал.

— Поверьте, голубчик, в этих местах опасность могут представлять разве что животные, — поняв, в чем причина смущения, смеялся Беляев. — Напавший на Серебрякова ягуар должен убедить вас в этом... Что же касается каннибалов, мы еще не одни башмаки стопчем, пока до них доберемся...

Затем Алебук, теребя свою учительскую бородку, завел долгий разговор с касиком, набрасывая на очередном листе рисунки и показывая их вождю. Соплеменники Шиди, переговариваясь и пересмеиваясь между собой, тотчас принялись за дело — по своему обычаю индейцы явились не с пустыми руками, они принесли двух пекари и теперь начали подготовку к пиру: выпотрошили туши, вырыли яму и запалили в ней огонь. Когда один из длинноволосых пришельцев, тонкий, изящный в движениях, разрезая мясо узким длинным ножом, прежде чем завернуть его в листья, поднял голову и встретился с Экштейном взглядом, молодой человек не мог сдержать удивления. Индеец оказался миловидной девушкой с едва наметившейся грудью. Впоследствии лейтенант записал в своем дневнике: «Словно цыганский табор прибыл

сюда, в пекло сельвы, и местная Роза взглянула на меня: ее удивительные глаза пронзили мое сердце!»

В тот же вечер, присев у костра рядом с индианкой, он узнал — девушку звали Киане. Ей было шестнадцать.

И вновь появляется Рем

— Странно, что проводить нас взялись именно вы, — признался мексиканец. — Тем более, что я слышан о вашем желании вернуться в фатерлянд.

— Нам везде нужны свои люди, — отвечал тучный сопровождающий. — И кто знает, возможно, мы вскоре встретимся...

Горная цепь, на границе с которой остановился маленький отряд, не внушала Санчесу опасений. Затруднительным был лишь перевал Кусейро с его узкой тропой, но реальную опасность он представлял лишь в том случае, если во время подъема или спуска полностью затягивался туманом. Одну часть груза распределили по лошадям, лично отобранным Санчесом в конюшнях дислоцированного под Консепсьоном кавалерийского полка. Опытному *soldado de caballería* подошли четыре американские верховые кобылы, способные перевозить на себе тяжелую кладь и обладающие плавным ходом — на эту их способность мексиканец рассчитывал при пересечении покрытой травой, полупустынной местности перед парагвайской сельвой. Что касается возбудимого нрава этой породы, Рамон знал, как с ним управляться. Другую часть груза, в том числе провизию, вместе с еще двумя лошадьми должны были доставить к перевалу Кусейро боливийские солдаты, отправившиеся на границу несколько ранее.

Эрнст Рем, поднеся ладонь к козырьку кепи и прищурившись, созерцал горизонт, линия которого в нескольких местах была изломана ближними и дальними горами. Затем повернулся к рейнджерам. Немец вполне мог быть удовлетворен результатом — собранную им компанию нельзя было назвать разношерстной. Подчиненный Рема, тридцатипятилетний чилиец Аухейро, настолько ловко управлялся с револьвером, что не раз и не два занимал первые места на соревнованиях по стрельбе, проводимых во вверенной подполковнику части. Старина Эрнст не поленился разузнать о прошлом этого молодца. В юности Аухейро, выросший посреди мусорных куч столичных кальямпас, забавлялся тем, что обносил богатые виллы, не гнушаясь ограбить их обитателей, если, на свое несчастье, они оказывались дома. Затем бежавший в Мексику из колонии для малолетних преступников Зорро был привлечен самим Сапато и с головой окунулся в события мексиканской революции, из которой ему посчастливилось выкарабкаться живым и невредимым. За возвращением на родину последовали тюрьма в Сантьяго и эмиграция в Боливию под знамена республиканской армии. Соотечественник и ровесник Аухейро — Родригес, тоже выходец из трущоб, оказался не менее пламенным социалистом, хлебнувшим лиха в битве при Куаутле. К нескрываемому национал-социализму Рема наемники относились с едва скрываемым неодобрением. Но, закаленный в уличных боях штурмовик знал: между его боевиками и любителями Маркса гораздо больше общего, чем между веймарскими социал-демократами и нытиками из немецкой демократической партии. Знал он и то, с какой легкостью те, кто еще вчера грезил о диктатуре пролетариата, соблазнялись идеями национал-социализма. Вот почему воззрения чилийцев Рема несколько не беспокоили — тем паче они не помешали Аухейро и Родригесу за хорошую плату

согласиться поучаствовать в гораздо более опасном, чем борьба с мировым капитализмом, деле.

Перуанца с именем Пато Рем тоже отобрал не случайно. Бывший пастух с кордильерских склонов отличался не только физической силой, но и простодушным усердием, которое Рем считал лучшей добродетелью для подобных мероприятий: в таких делах, как поход в неизвестность, часто бывает незаменим и самый обыкновенный слуга.

Что касается проводника, то, полностью доверившийся опыту Санчеса, подполковник именно здесь, на пороге гор, впервые встретился с человеком, который вызвался проводить кабальеро к мифическому водоему. Представитель гуарани сидел на своем мерине как влитой и меланхолично покусывал травинку. Широкополая шляпа скрывала глаза индейца. Рем отметил про себя спокойствие и сосредоточенность всадника, присущие, впрочем, всем краснокожим. Опыт позволял Рему определить его приблизительный возраст: лет пятьдесят, не меньше. Подполковника настораживало лишь одно обстоятельство: гуарани были весьма ненадежны. Их тяге к парагвайским властям немало поспособствовала деятельность сумасшедшего дона Хуана, головой которого Оливейра не случайно собирался украсить стену своего охотничьего домика. Благодаря этому сумасброду индейцы сельвы явно симпатизировали Асунсьону. Сам Рем неоднократно указывал на поведение гуарани своему начальнику Кундту и знакомым политикам, ибо считал: в предстоящей борьбе за Чако чрезвычайно важно то, на чьей стороне выступят жители бореальского леса. Но ни Генштаб, которым заправлял Кундт, ни боливийские правители не реагировали на его предупреждения.

Тюки и мешки были приторочены к лошадиным спинам и надежно закреплены. По знаку Санчеса все вскочили в седла. Подполковник боливийской армии взял под уздцы лошадь мексиканца и отвел ее на подветренную сторону, чтобы ни шофер доставившего снаряжение грузовика, на котором Рем трясся несколько часов, прежде чем очутиться в этом безлюдном месте, ни проводник, ни чилийцы с перуанцем при всем желании не смогли бы услышать их разговор.

— Ты знаешь, в чем я заинтересован, — сказал он Рамону.

— Ручаюсь за точность съемки, — отвечал тот.

— По мере возможности, зафиксируй удобные подходы, — откликнулся Рем.

Нагнувшись с седла к своему покровителю и похлопывая лошадь по шее, Рамон вздохнул:

— Удивительно, как меняется мир. Всего каких-то десять-двенадцать лет, и разбитая вдребезги держава уже строит планы по освоению районов, которые далеки от нее, как Марс от Земли. Интересно, что скажут об этом в «Стандарт Ойл»? Рокфеллер вполне может пожаловаться господину Гуверу.

— Пусть жалуется самому Господу Богу, — откликнулся Рем. — Вопреки стараниям засевших в рейхстаге демократов, мою страну рано списывать со счетов.

— Вашу страну спасает то, что гринго здесь ненавидят больше, чем дьяволов из парагвайской сельвы, — усмехнулся мексиканец. — По большому счету янки — те же самые каннибалы, вот только аппетитец у них не в пример завидный.

— Рад найти единомышленника, знающего истинную цену вашингтонской камарильи, которую поддерживают горбоносые банкиры с Уолл-стрит.

— Я согласен сотрудничать с самим сатаной, лишь бы воткнуть шило им в задницу, — пробурчал Рамон.

— Вот и славненько, — Рем в очередной раз снял кепи и помассировал затылок. — Вот и хорошо.

Итак, все было оговорено. Собиравшийся отбыть на свою бурлящую событиями родину будущий предводитель СА помимо задачи примирения с обидчивым партайгеноссе Адольфом самым прямым образом нацеливался на встречу с заинтересованными людьми из «Винтерсхалл» и планировал появиться в кассельской штаб-квартире почтенной фирмы не с пустыми руками.

— Что же, — сказал Рем, давая понять мексиканцу: пора прощаться. — Я бы ляпнул что-нибудь вроде: «Да поможет вам Иисус», но окопы начисто отшибли у меня зачатки веры...

— Мне казалось, войны способствуют религиозности, — откликнулся Рамон.

— Только не такие, как Великая! Она, скорее, подводит к мысли о бесполезности существования, чем подталкивает к идее Божественной справедливости. Поэтому если и остается хоть какая-то вера, то только в государство, свободное от христианства с его ненужной дребеденью.

— И это вы говорите мне, католику?

— А что ты хочешь услышать от человека, видевшего истинную цену христианской морали?

— Мне тоже пришлось немало повоевать, господин подполковник.

— Кто-то называет войной и наскоки на пассажирские поезда, — заметил тот. — Поверь, Рамон, все сражения Мексики вместе взятые — детские шалости по сравнению с Верденом.

Кобыла мексиканца захрапела и отпрянула от широкой ладони предводителя немецких штурмовиков, собравшегося напоследок похлопать ее по боку. Санчес оглянулся на поделщиков: все они, включая индейца, ожидали отмашки и были готовы пуститься в путь.

— Неважно, где познается мужчина, — ответил Рему уязвленный мексиканец. — Под градом снарядов или лицом к лицу с дикарями, которые только и ждут момента поджарить его на костре.

Киане

Прощание с сержантом и его людьми было чрезвычайно сердечным. В церемонии участвовали все чимакоко во главе с касиком, собиравшиеся сопровождать Сильную Руку дальше. Пятнадцать индейцев (в их число входили несколько женщин и девушек), образовав круг, в центре которого замерла смущенная троица, вновь основательно поработали пятками. Перед тем как раствориться в зеленой чаще, сержант не преминул дать лейтенанту еще несколько советов. Круг его тревоги за будущее Экштейна оказался весьма обширен и, кроме заботы о порядке уже поистрепанной одежде (предусмотрительный Эскадо оставил в подарок иглы, шило и крепкие шелковые нитки), включал в себя такие области, как ловля ящериц в случае голода и безопасное добывание меда, который местные пчелы прятали в дуплах кебрахо.

Благодаря помощи сразу нескольких сильных мужчин скорость прохождения по сельве ощутимо выросла. Однако радуясь слаженной работе мускулистых ичиго, общение с которыми сводилось к улыбкам и подмигиванию, Александр Георгиевич не мог не признать себе: он скучал по маленькому заботливому парагвайцу, к постоянным монологам которого так привык за эти дни.

Путешествие к озеру продолжилось теперь уже вдоль ручья. Таинственный мистер Фриман по-прежнему следовал в арьергарде и постоянно куда-то исчезал.

Однако даже не особо жалующий британцев Алебук вынужден был признать: демонстративная независимость Джона Булля по большому счету никому не мешала. Вечером Фриман всегда находил путь к расположившемуся на ночлег лагерю, доставляя к общему котлу добытых им уток или молодых пекари, которых индейские женщины обмазывали глиной и целиком запекали на углях.

Серебряков продолжал заведовать мулами. Время от времени есаул очищал ветошью их покрытые слипшейся мошкой бока и обрабатывал особой мазью даже самую незначительную потертость. Он сам снимал во время стоянок с натруженных спин ящики и мешки, сам навьючивал животных и, кроме того, взял на себя хлопотную обязанность обеспечивать мулов водой, для чего по многу раз спускался с ведром к ручью, рискуя наступить на очередную змею. Каждый вечер и каждое утро, отойдя чуть в сторону, казак неторопливо, с толком и с расстановкой молился, неизменно призывая на помощь целый сонм святых и приковывая к себе любопытные взгляды индейцев.

Экштейн по-прежнему замолкал, стоило только бородачу примоститься рядом. Попытавшись пару раз свести обоих в разговоре на нейтральные темы, Иван Тимофеевич оставил это занятие, так как ни молодой человек, ни Серебряков не горели желанием общаться. Приходилось беседовать с тем и с другим по отдельности. Если Экштейн легко поддавался на милые провокации Беляева, каждый раз начинавшиеся с воспоминаний, то Василий Фёдорович не особо очаровывался его талантом вести задушевные разговоры.

Первым же вечером после прихода чимакоко есаул сурово выговорил начальнику экспедиции:

— Что же вы, сударь ясный, не соизволили предупредить, что заявятся нехристи? Сюрприз решили устроить? А если бы англичанин пальнул, не разобравшись?

Беляев смущенно пощипывал бородку:

— Ты уж прости меня, Василий Фёдорович. И на старуху бывает проруха. Обещаю впредь ставить в известность. И все-таки, какие у вас были лица!

— Хорошо сейчас смеяться, Иван Тимофеевич, — с укоризной отвечал нахлебавшийся жизненного лиха есаул. — А что, если бы нашего юного республиканца кондрашкахватила? И так прибежал белее снега: «Морос! Морос!» Револьвер потерял. Тоже мне, Аника-воин...

Слышавшему диалог Экштейну кровь бросилась в голову. Впрочем, отвлечься от ощущения позора ему удалось довольно быстро. Женщины хлопотали возле костра, и вместе с ними вертелась улыбчивая дочь касика. Лейтенант записал в дневнике: *«Это — любовь. Черные глаза Киане. Чем не цыганка? Счастье, что в отличие от своих братьев она, как и ее отец, знает испанский — нам есть, о чем говорить. Сегодня смотрели в лунное небо, слышали уханье сов и хохот птицы чаха. Киане сказала мне, что птица чаха — хранительница вод. Чаха словно наша Сири́н — с лицом прекрасной женщины и длинными волосами. Значит, мы на верном пути. Когда в глубине сельвы начинает рычать ягуар, Киана невольно прижимается ко мне своим смуглым телом, и я чувствую — ее сердце трепещет. Мое сердце тоже трепещет. Во время перехода женщины идут сзади, и если долго я не вижу ее, становится тоскливо... но зато какая радость вечером встретиться глазами, а затем сидеть рядом и ощущать друг друга...»*

Великая анаконда

Ручей, вдоль которого с таким трудом пробиралась горстка людей, после нескольких дней пути достиг уже метра в ширину. К разноголосому гомону сельвы стал присоединяться шум воды, со все большей скоростью перекатывающейся по камням. Касик Ши́ди, принявший эстафету от сержанта Эскадо, обратил внимание Алебука на резко изменившиеся примеси воды: коричневый оттенок уступил место красноватому. На близость реки указывало и то обстоятельство, что относительно сухие участки сельвы стали вытесняться примыкавшими к ручью болотами. Путешественникам, не выпускающим мачете из рук, приходилось теперь идти по щиколотку в жиже и все внимательнее смотреть себе под ноги — змеи, извивающиеся в ржавой воде, вызвали тревогу даже у видавших виды краснокожих. В одном из наиболее гиблых мест, где пришлось рубить лианы по пояс в болоте, сопровождающий лейтенанта ичико внезапно прекратил работу и бурно зажестичулировал, призывая остановиться. Сняв с себя ожерелье из зубов каймана, он бросил его в воду и показал пальцем на серебряную цепочку Экштейна. Отчаянные попытки лейтенанта объяснить, что он ни за что не расстанется со своим нателным крестом, привели индейца в еще большее возбуждение. Вовремя оказавшийся рядом касик объяснил его причину: в здешних местах можно встретить гигантскую анаконду, именем которой индейцы называют реку, эта змея способна задушить даже четырехметрового жакаре, вот почему дань мистическому удаву, прежде чем отряд пройдет низинный участок, столь необходима. Как правило, жертвуют Гроа те, кто идет впереди. Вождь посоветовал Экштейну поискать что-нибудь у себя в карманах и бросить в воду хотя бы спичечный коробок. Пораздумав, молодой человек стащил с безымянного пальца левой руки оловянный перстень — символ студенческого футбольного братства. Бульканье печатки, нашедшей вечное пристанище в парагвайском болоте в десяти тысячах километров от пражских мостов, заставило возмущенного ичико с облегчением вздохнуть и вновь схватиться за мачете. Касик еще какое-то время сопровождал лейтенанта, рассказывая ему о связанных с анакондой легендах.

— Мы доведем Алебука до того места, где в реку впадают сразу несколько ручьев, — оно называется Такья-ба или Большая Излучина, — сказал Ши́ди. — Здесь, в болотах, в которых обитает Великая Анаконда, вам нужна наша поддержка — без нее вы пропадете. Вечером мы умиловим Змею еще одним жертвоприношением. Если повезет и в силки сегодня попадется большая выдра, Анаконда беспрепятственно пропустит нас к реке.

— Почему вы не пойдете с нами дальше излучины, уважаемый касик? — спросил лейтенант.

Ответ вождя не добавил Экштейну оптимизма.

Вечером, когда милая Киане вместе со своими соплеменницами была занята приготовлением ужина, при свете костра лейтенант записал: *«Морос чудовищны. Касик Ши́ди немного рассказал об их нравах, но и этого более чем достаточно. Дикари пожирают детей, запекая их на углях. Эти пигмеи так искусно маскируются в сельве, что обнаружить их не способны даже опытные воины гуарани. Морос может целый день незаметно следовать за вами на расстоянии нескольких метров. Их стрелы из ветвей кустарника, именуемого боара, вызывают анафилактический шок сразу после попадания; они смертоносны, так как пропитаны трупным ядом. Сдирание с живого человека кожи у морос считается самым щадящим видом пытки. Они не знают милосердия и этим*

похожи на бесов. “Кровавый орёл” викингов ничто по сравнению с их обычаем наматывать человеческие кишки на специальный столб. Чимакоко приходят в ужас при одном только упоминании о морос. Многие роды племени чимакоко бежали из сельвы к реке Парагвай, как только были замечены следы людоедов возле их поселений... Что и сказать, веселенькое напутствие. Остается верить нашему предводителю, который дай бог информирован о дикарях лучше, чем я. По крайней мере, он бодр и всем своим видом показывает, что знает, что делать... Ясно одно: индейцы не пойдут дальше излучины, и придется выкручиваться самим. Да поможет нам Господь!»

Между тем люди касика поймали выдру, правда, не такую большую, как он рассчитывал, но вполне годную на то, чтобы задобрить Великую Змею. Ритуал включал в себя особое сдирание шкуры с убитой особи — ее снимали тонкими полосами сначала со спины, затем с живота. Мясо женщины отнесли к ручью. Затем Шиди самолично помазал кровью жертвы щеку каждого присутствующего (на эту церемонию скрепя сердце согласился и нестигаемый христианин Серебряков). Не избежал общей участи и подвернувшийся под руку касику мистер Фриман. После ритуальных танцев последовал обильный пир, во главе которого на почетное место индейцы водрузили смотанное из одеял чучело Гроа. Для заждавшегося Экштейна всё повторилось: костер, луна, крик совы, смех чаха, рык зверя, глаза индианки, от которых влюбленного лейтенанта бросало в дрожь...

Когда стихли даже женские голоса, неугомонные в болтовне, и ворочавшиеся какое-то время в гамаках люди начали засыпать, Ивана Тимофеевича разбудило настойчивое прикосновение чьей-то руки.

— Мистер Беляев, — тихо звал британец. — Мистер Беляев...

Беляев сел в гамаке, свесив ноги и протирая глаза. Пенсне, спрятанное в небольшой коробочке, хранилось в нагрудном кармане рубашки. Распровавшись с тревожным сновидением, он первым делом водрузил на нос незаменимое приспособление. Костер, казалось, окончательно угасший, неожиданно полыхнул оставшимися на периферии ветками — с треском разлетелись искры. Явленное в отблесках этого фейерверка выражение лица Фрэнсиса Фримана удивило Беляева.

— Вы слышите? — спросил британец.

— Что?

В ответ Фриман поднес к губам палец. Окончательно пробудившийся руководитель экспедиции напряг свой слух, как у всякого артиллериста, весьма ненадежный, но даже ему в ночном хоре удалось определить нечто странное.

— Мне кажется, пора будить вашего размалеванного друга, — посоветовал Фриман. — И чем скорее, тем лучше...

Касик Шиди долго не раздумывал: лагерь мгновенно ожил. Оставшихся после ужина сучьев было явно недостаточно: индейцы, а также Серебряков и Экштейн бросились в сельву. Треск ветвей ненадолго заглушил угрожающее чавканье. Если бы лейтенант оказался в родном русском лесу, он бы ни секунды не сомневался, что слышит звуки, издаваемые огромным стадом кабанов. Чавканье становилось все громче, и вскоре к противному несмолкающему звуку прибавился тонкий свист, вибрирующий на такой высокой частоте, что в пору было зажать уши.

Шиди явно нервничал.

— Поджигайте кусты! — крикнул он.

Срубленные ветви успели сложить в несколько куч — вскоре здесь и там занялось пламя, побежавшее по ночному лесу навстречу неведомому нашествию. Огонь добрался до травы — и будто порох вспыхнул! Сельва вокруг лагеря осветилась; вот

здесь-то Экштейн, к которому прижалась разыскавшая его Киане, разглядел чуть ли не у себя под ногами шевелящийся ковер. Размеры насекомых, каждое из которых несло яд, способный отправить на тот свет человека, поразили даже видавшего виды Беляева. Еще мгновение — и муравьи-кочевники заполнили бы весь лагерь. Краснокожим и бледнолицым оставалось только молиться. Свистя, чавкая, наползая друг на друга, блестящие, как латники, гиганты, угрожающе двигая жвалами, штурмовали стоянку. Вовремя запаленный огонь не согласовывался с их планами: натываясь на него, корчась от жара, батальоны, полки, дивизии пришельцев подавались назад, огибали холм и исчезали в черноте сельвы. К ужасу сбившихся на окруженном огнем пятачке людей нашествие не прекращалось: свист и чавканье сделались невыносимыми.

— Великая Анаконда! — горестно восклицал вождь. — Великая Гроа! Алебук! Мы не пойдем дальше! Ты видишь, Алебук?

Только под утро последние представители самого безжалостного воинства на земле, оставили попытки преодолеть раскаленные угли пепелища и уползли в сельву, которая долгое время еще продолжала чавкать и свистеть. Настроение обитателей сгоревшего лагеря вполне можно было понять — и люди, и мулы, которых Серебряков успел поместить в центр спасительного круга, чудом встретили очередной рассвет. Сгорело несколько гамаков, взорвался ящик с патронами — его в суматохе не успели перетащить в безопасное место, к счастью, никого не задело. Все без конца кашляли и терли глаза. Беляеву стоило немалых сил и нервов уговорить вождя совершить еще хотя бы несколько переходов. Индейцы тревожно прислушивались к разговору двух касиков, накал которого иногда начинал зашкаливать. Причина столь явной растерянности лежала на ладони: Великая Змея подала представителям племени недвусмысленный знак. Однако Иван Тимофеевич превзошел сам себя. Не удовлетворившись соглашением с вождем, он направился «в народ». О чем витийствовал тщедушный сухенький Алебук, обращаясь к чимакоко, Экштейн, разумеется, не понимал, но по посветлевшим лицам и бодрым крикам в ответ, догадался: Иван Тимофеевич по-прежнему непревзойденный агитатор, а значит, Киане их не покинет.

Теперь оставалось только поблагодарить бдительного британца, который, отойдя в сторонку от митинга, при помощи шила и дратвы невозмутимо приводил в порядок свои ботинки. Можно было трогаться в путь. Был отдан приказ выючить мулов, однако, не успев начаться, движение тут же застопорилось. На берегу ручья печальным памятником минувшей ночи белел обглоданный муравьями скелет двухметрового каймана. Индейцы сгруппировались возле костяка. Бедному Ивану Тимофеевичу вновь пришлось решительно войти в их круг.

— О чем он говорит? — спросил Экштейн Киане, не выпускающую руку молодого человека из своей цепкой лапки.

— Алебук говорит о том, что не надо бояться этого знака. Он говорит: Великая Гроа не наказывает чимакоко. Напротив, она повелевает воинам взять зубы каймана и сделать из них себе ожерелья.

Уловка сработала. Разъединив верхнюю и нижнюю челюсти почившего пресмыкающегося, дети сельвы дружно схватились за ножи.

Невыносимая сельва

Касик Шида держал слово: индейцы продолжали сопровождать экспедицию. Благодаря цепкой памяти Шида, помогающей отыскивать в самых неприступных местах сельвы глубокие, заваленные ветками и заросшие поверху травой колодцы, вырытые еще прадедами нынешних чимакоко, бурдюки постоянно наполнялись родниковой водой. Каждый вечер женщины запекали подстреленных охотниками пекари и тапиров; хватало и на обеденный перекус. Однажды гурманы принесли к костру пару черных ревунов, попытавшись в знак особого доверия угостить белых собратьев обезьяньими мозгами. Ивану Тимофеевичу вновь пришлось поднапрячься: как пояснила Киане Экштейну, находчивый Алебук объяснил простодушным охотникам, что обезьяны являются тотемом его товарищей. Молодые воины по-прежнему неумоимо секли кустарник, однако верховодивший ими Экштейн понимал: у индейцев уже нет былого рвения. Чем полноводней становился ручей, чем шире разливались вокруг болота и чем явственнее ощущалось приближение реки, тем более тревожилась Киане в предчувствии разлуки со своим лейтенантом, и тем угрюмее становился ее отец.

Экштейн записал: *«Сельва невыносима. Это Дантов ад, в который углубляемся дальше и дальше. Зелень, зелень, зелень. Никаких иных красок — исключение составляют колибри и крикливые здешние попугаи. Когда их стаи взмывают над пальмами, то словно радуга просыпается. Вчера, работая в авангарде, наткнулся на квебрахо с дуплом: не удержался, полез за медом — однако много набрать не удалось. Угостил женщин и Киане. Самое неприятное ждало впереди: моя слипшаяся от меда борода сделалась пристанищем всякого рода мух и прочей дряни. Не знал, куда и деваться! Попытки решить проблему при помощи болотной жижи привели к еще более плачевному результату. В итоге пришлось спуститься к ручью...»*

Вскоре отряд оказался в низине: пахнувшая тиной вода сочилась с деревьев и хлопала под ногами. Развести костер стало попросту невозможно. Ночь пришлось провести на заброшенных термитниках-тукуру. Сидеть на остроконечных пирамидах было исключительно неудобно, о сне и речи не шло: любой рык и крик сельвы заставлял людей вздрагивать. Но больше всего изводили измученного лейтенанта бродившие совсем близко болотные огоньки. По всем законам химии подавал знаки фосфор, однако и так уже растревоженное воображение Экштейна неудержимо разбушевало: в полубреду ему почудились оскаленные голодные каннибалы. Чимакоко слышали его стон, и восседающий на соседнем термитнике Иван Тимофеевич вновь вынужден был всех успокаивать.

Утром, которое явилось, как спасение, примостившись на первом же пригорке, лейтенант доверился дневнику: *«Индейцы заметно нервничают — то ли от истории с муравьями (думаю, им по-прежнему кажется, что их Змея запретила таким образом двигаться дальше), то ли чувствуют близость морос. Если это так, дело дрянь. Киане вынуждена будет уйти вместе с соплеменниками — вот что меня мучает больше всего. В последние дни к лианам прибавились еще и колючие стебли: честно признаться, при одной только мысли о спрятавшихся в зарослях людоедах кидает в дрожь. Наш Джон Буль — и тот в последнее время не шляется сам по себе...»*

Между тем они понемногу поднимались из низины на возвышенность. Появились прогалины, поросшие неизвестным Экштейну видом цветов. Идти стало гораздо легче. Болотистая почва уступила место песчаной, и на ней в изобилии произрастали кактусы.

Солнечные блики забегали по траве, заметно приободряя людей. На одной из покрытых солнечными зайчиками полян Серебряков попросил Ивана Тимофеевича сделать привал. Триумвират из бородача, Беляева и вождя чимакоко, осмотревший заболевшего мула, смог лишь констатировать: ночь в болоте не прошла бесследно. Животное дрожало, бока его были сухими и горячими, и казак не без основания опасался за здоровье остальной тягловой силы.

В то время, когда Алебук с есаулом решали, что делать, умиротворение индейцев было нарушено криками появившихся на поляне охотников. И ранее, по указанию Шида, несколько ичиго утром покидали расположение лагеря и уходили за добычей, к вечеру догоняя экспедицию. На этот раз вместо пекари они принесли с собой самое настоящее смятение.

По лицам вернувшихся бледнолицые поняли: дело более чем серьезно. Касик сразу собрал всех чимакоко. Судя по женским всхлипам, а также горячности, с которой вернувшиеся с охоты воины отвечали вождю, случилось нечто экстраординарное.

— Алебук, мы уходим. — Шида можно было понять: сопровождая экспедицию, он нес ответственность за своих людей.

Между вождем и Беляевым вновь разгорелся спор. Судя по озабоченности старого воина, касик пытался уговорить Алебука последовать за ними — Иван Тимофеевич не соглашался. Пока, отделившись от остальных, они горячились и спорили, вконец расстроенная Киане рассказала Экштейну: неподалеку от вчерашнего лагеря обнаружено присутствие морос.

— Охотники наткнулись на следы? — допытывался он.

— Запах, — отвечала девушка. — Наши ичиго учуяли запах...

Экштейн уже слышал: у представителей племени чимакоко чрезвычайно сильно развито обоняние. И все-таки лейтенант не мог не усомниться, что из моря ароматов, окутывающих сельву, индейцы смогли вычленить и распознать исходящий от людоедов запах. Как бы там ни было, чимакоко засобирались в обратную дорогу. По знаку Шида они оставили беляевцам туес с листьями мате. Ритуальные танцы на этот раз были отменены. Индеец, часто работавший в паре с Экштейном, — тот самый, что бросил свое ожерелье в жертву анаконде, — снял с шеи веревочку с зубом каймана и, что-то пробормотав, протянул ее лейтенанту.

— Большой Глаз уверен: талисман больше пригодится тебе, — перевела Киане. — Он просит тебя надеть его.

Лейтенант с благодарностью принял дар.

Сборы были недолгими: цепочка индейцев потянулась в чашу. Возвращенцев ждали болота, змеи, москиты, но путь для них уже был проложен ударами мачете, кроме того, уходящих не сковывала неизвестность. Дочь вождя шла последней, постоянно оглядываясь...

— Ичиго! — крикнула она Экштейну. — Я хочу, чтобы ты пришел к нам в племя. Я всегда буду ждать тебя.

Участники экспедиции и ахнуть не успели, как остались в сельве одни.

Курс — юго-восток

Перевал Кусейро все-таки преподнес сюрприз: уже на спуске, когда Рамон готов был облегченно вздохнуть, из всех расщелин густо полезла серая вата. Набег тумана, ожидавшего в засаде маленькую колонну, был столь стремительным, что замыкающий ее Родригес не успел покрепче перехватить поводья, и испуганная лошадь отпрянула,

копыта заскользили по краю уступа. Санчес вслушивался в отчаянные крики чилийца и жалобное ржание увлекаемого пропастью животного, понимая: положение серьезно. Было слышно, как шуршат осыпающиеся камни. Спешенные всадники, отрезанные друг от друга туманом, крепко сжимали поводья. Лошади, внимая отчаянному зову подруги, дрожали от возбуждения. К счастью, все обошлось, и вскоре Родригес радостно сообщил:

— Порядок, команданте!

Рейнджеры постояли еще немного, пока пелена не растащилась в стороны подбежавшим ветром. Дальнейший спуск прошел гораздо спокойней, и вот их уже встречала раскинувшаяся до горизонта саванна, полная полуденного зноя, сухой двухметровой травы, колючих кустарников, восковых пальм, одиноких квебрахо и одичавших апельсиновых деревьев. Жар солнца на южных склонах сделался нестерпимым, немного спасали предусмотрительно захваченные Рамоном солнцезащитные очки и широкополые шляпы.

В планы Санчеса не входило плестись по этой полупустынной, кишасей ядовитыми тварями, местности, однако проводник-индеец не разделял горячности мачо и преспокойно трусил впереди, заставляя остальных подстраиваться под неспешный ход своей каурой лошадки. Но через несколько часов пути даже нетерпеливому Аухейро стало понятно: гуарани попросту незаменим. Индеец легко ориентировался в кустарниках, казавшихся непроходимыми. Подъезжая к очередной ошетилившейся стене, он моментально находил замаскированный колючками проход. Коммандос оставалось лишь послушно следовать за знатоком здешних мест, стараясь не пропустить момент, когда он в очередной раз поднимет руку, предупреждая о не видимых в траве неровностях почвы, грозящих лошадям переломами ног.

Ночь застала их уже далеко от дороги, по которой доставлялись к пограничным заставам военные грузы. Положив под голову седла, Родригес и Аухейро мгновенно заснули. Вскоре к ним присоединился и Пако. Стреноженные лошади, помахивая хвостами, прислушивались к воплям неведомой птицы. В траве, соревнуясь в громкости, беспрерывно трещали цикады.

Проводника звали Сеферино. Он набил свою трубочку пахучим зельем и, наслаждаясь, выпустил первый дымок. Санчес тоже достал сигареты, однако несколько торопливых затяжек не принесли успокоения. Рамон спросил не смыкающего глаз индейца:

— Ты не обманешь меня?

— Гуарани не знают, что такое обман, — с достоинством отвечал тот. — Впрочем, если сомневаешься, зачем тогда позвал?

Санчес счел ответ разумным и на какое-то время замолчал. Сеферино явно не собирался поддерживать разговор. Снедаемый тревогой, команданте вновь подал голос:

— Я слышал, стрелы морос бьют на расстояние до пятидесяти метров? Так ли это?

— Какая разница, на сколько метров бьют их стрелы? Вы же не в войну с ними собираетесь играть, — насмешливо откликнулся проводник.

— Хорошо бы вообще не иметь с ними никакого дела.

— Так не получится, — сказал индеец.

— Ты видел их? — спросил Санчес.

— Я ведь сижу здесь, — засмеялся индеец.

— То есть? — не понял Рамон.

— Для тех, кто жив, морос невидимы. А тот, кто с ними встретился, уже никому не расскажет, как они выглядят, — объяснил проводник.

— Остается обмен?

— Да.

— И морос пойдут на него? — нервно спросил Санчес.

— Почему бы нет? К тем, кто предлагал им то, что собираемся предложить мы, они были благосклонны. Правда, таких смельчаков раз-два и обчелся, — сказал индеец.

— Я так понимаю, ты один из них? — спросил команданте.

— Лет пять назад мне пришлось воспользоваться мудрым советом, — с достоинством кивнул проводник.

Равнина продолжала бодрствовать: к голосам ночных птиц и хорам насекомых присоединился далекий рев пумы. Вновь раскуривший свою трубку гуарани явно предпочел бы, чтобы их беседа с команданте Санчесом как можно скорей завершилась, но Рамон не мог успокоиться. В то время как Сеферино, посапывая трубочкой, прислушивался к ночной саванне, Санчес ворочался на своем одеяле.

— И кто же тебя научил, как вести себя с людоедами? — не выдержал он.

— Это не твое дело, мексиканец, — спокойно отвечал проводник.

Вспыльчивость Рамона оборвала жизни нескольких завсегдатаев мексиканских и боливийских кабаков, имевших глупость задеть команданте неосторожным словом, однако Санчес знал, когда стоит попридержать поводья.

— Мне говорили, больше никто с ними не контактировал? — счел он нужным пропустить мимо ушей резкость собеседника.

— Из тех, кто выбрался из сельвы за последние пять лет, насколько мне известно, — никто, — отвечал гуарани.

— Из тех, кто выбрался...

— Ты напряжен, — сказал проводник. — От тебя искры во все стороны летят, вот-вот загорись. Зачем заранее беспокоиться? Ложись спать. Я знаю, куда идти. Знаю, что делать. Разве этого недостаточно?

Санчес не нашелся, что ответить.

Индеец, выбив из чаши остатки пепла и убрав курительный прибор в мешочек на поясе, не собиравшись ложиться. Гуарани слышал: команданте по-прежнему бодрствует и решил его подбодрить:

— Возможность выжить в обмен на сущую безделицу — неплохая сделка.

— Возможность выжить... — эхом повторил Санчес. — Возможность выжить...

Такья-ба

Сельва сомкнулась за Киане, успокоились заколыхавшиеся ветки, и теперь четверым бледнолицым предстояло обдумать свое положение. Экштейн не скрывал отчаяния; Серебряков угрюмо проверял имущество; Фриман стоял возле рюкзака, опираясь на карабин, и невозмутимо ожидал, что последует, — судя по всему, уход чимакоко не особо его удивил.

— У вас еще есть шанс догнать индейцев, мистер Фриман, — сказал Беляев британцу. — Дальнейшее наше продвижение сопряжено с большими трудностями, и я не имею права не предупредить об этом.

— Don't worry, — отмахнулся англичанин и, заметив озабоченность на лице Беляева, продолжил по-испански. — Не беспокойтесь, дон Беляефф, я постараюсь не быть обузой.

— В таком случае, я попросил бы вас принять участие в совете, — ответил тот.

Совещание было кратким. Часть последнего перехода до места впадения ручья в реку Гроа они уже прошли. Необходимо было добраться до Большой Излучины уже к вечеру. Рубить сельву решили поочередно, парами — Экштейн и Фриман, Беляев и Серебряков. Опасение вызывал заболевший мул, но казак обещал сделать все возможное, чтобы он не снижал темпа ходьбы — для этого часть груза переложили на собратьев бедняги. Беляев счел нужным предупредить своенравного попутчика:

— Как вы понимаете, мистер Фриман, положение обязывает, чтобы вы постоянно находились в зоне видимости. Прошу не огорчать меня.

Мистеру Фриману оставалось лишь вежливо кивнуть.

— Теперь, что касается морос, — перешел Иван Тимофеевич к теме, которая все более беспокоила Экштейна. — Как вы понимаете, было бы глупо затевать экспедицию, не приняв все меры по решению этой весьма нелегкой проблемы. Скажу одно: я направляюсь к ним в гости не с пустыми руками, так что препоручите дикарей мне, господа! В свою очередь жду от вас полного спокойствия и прошу сосредоточиться на основной задаче. Не сомневаюсь, рано или поздно, мы достигнем цели...

Костер был потушен, мате выпит, мулы готовы. Англичанин вытащил из ножен мечете и занял место рядом с лейтенантом.

— Никакого уныния, голубчик, — напутствовал Беляев Экштейна.

Пары менялись через каждые два часа; серебряные карманные часы Беляева точно отсчитывали время. К вечеру, когда еще один ручей присоединился к первым двум, журчание превратилось в рокот.

— Вы, помнится, удивлялись нашему походу на рынок? Что ж! Пришло время! — Беляев направился к одному из мулов и, развязав горловину знакомого Александру Георгиевичу рогожного мешка, выхватил из него связку переливающихся на солнце бус, к которым присовокупил два зеркала. — Если верить Ши́ди, а вождю чимакоко я доверяю как себе, Большая Излучина совсем рядом, — сказал он, развешивая бусы на ближайшем кустарнике и примостив на выпирающих корнях вспыхнувшие на солнце маленькие зеркала. — Начинается основная игра, и мы должны быть щедрыми в отношении здешних хозяев. Индейские вожди кое-чему меня научили. Мы остановимся на ночлег у излучины, а завтра утром вернемся и посмотрим — ко двору ли пришлись наши подарки.

Увидев недоумение в глазах спутников, Беляев объяснил:

— Если бус и зеркал утром не окажется — дары приняты. Морос пропустят нас дальше...

— Вы думаете, они следят за нами? — быстро спросил Экштейн.

— Не сомневайтесь, голубчик. Чимакоко — тертые калачи и прекрасные воины. Просто так их не заставишь повернуть обратно, для этого нужны очень веские причины.

— А если бусы останутся нетронутыми?

— Это крайне нежелательный вариант, — вздохнул советник парагвайского Генштаба. — Но, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест...

Причина все нарастающего шума стала ясна, когда путешественники выбрались из леса на небольшое, плешивое, поросшее мелкой травой плато. Сразу несколько встретившихся в том месте ручьев образовывали мутный водопад, который спадал в

полноводную реку Гроа, будоража ее. Зрелище не могло не завораживать: внизу рассыпались водяные искры, краснела от ила, поднимаемого течением, река, и во все стороны простирались опутанные лианами вершины деревьев, которые, благодаря стадам обезьян, порхающим туканам, переливающимся всеми цветами радуги попугаям и ветру, постоянно шевелились, трещали, шелкали, шумели, гудели, прибавляя свои голоса к неумолчной *а капелла* джунглей и образуя бесконечные волны. Вечером Экштейн записал в дневнике: *«Беляев восхищается, но как можно таким восхищаться? Сельва давит на психику. Она заставляет думать, что не существует никакого другого мира и никакого другого цвета. И еще эти чертовы дикари! Есть от чего сойти с ума...»*

После аскетичного ужина, состоявшего из галет и мясных консервов (запеченные в глине пекари отошли в прошлое вместе с перепуганными чимакоко), успев в отблесках вечернего солнца быстрым и четким почерком набросать в тетради отчет о последнем отрезке пути и зафиксировать на карте речную излучину, Беляев подсел к Экштейну:

— Хорошо помню себя кадетом: стояли мы в лагерях в Петергофе. И представьте: все те дни моросил серенький такой дождичек... удивительно серенький, мелкий, словно сечка. Как говорится, крупной рассыпался. Шинели сырые, палатки намокшие; отогнешь, бывало, полу палатки, смотришь — и одно и то же, одно и то же... хлоп, хлоп, хлоп. Так вот: все бы сейчас отдал, чтобы вернуть ту очаровательную серую морось... — Беляев мечтательно засмеялся, поглаживая свою бородку, которая в отличие от бороды лейтенанта раз и навсегда приняла форму интеллигентского клинышка. Возвращаясь к Петербургу, промозглость которого представлялась здесь ему манной небесной, Иван Тимофеевич был спокоен и торжественен — будто не прозябали они возле не нанесенной еще ни на одну карту мира затерянной в тропиках реки, а отдыхали под квебрахо в его совершенно безопасном асунсьонском дворе. — Вот представьте, голубчик: доберемся мы до настоящей воды, и увидим посреди джунглей пресный чистый резервуар!..

Экштейн, по мокрой спине которого весь вечер пробегал холодок, то и дело дотрагивался до рукоятки нагана под полую рубашки и был просто не в силах включить воображение. После уверения Беляева в том, что за ними следят, неотвязная мысль о каннибалах, уже нарезающих круги вокруг лагеря и готовых в любой момент накрыть их дождем отравленных стрел, сводила лейтенанта с ума.

А Беляев продолжал токовать:

— Для нас, русских людей, озеро может стать настоящим Эльдorado. Я думаю о ковчеге. Представляете, что могут наворотить десятки, нет, сотни тысяч рабочих рук, изголодавшихся по работе? Мы все там осушим, окультурируем, распащем благодатнейшую почву, построим деревни, села, даже город поставим — этакий Китеж, с богатырскими воротами, храмами, куполами, колокольным звоном... Каково: звон над сельвой! Что нам стоит проложить дороги, в том числе и железную? Расчистить, углубить русла рек. Прорыть каналы до реки Парагвай. Торговать лесом, пшеницей. У нас найдутся воины, чтобы все это охранять. И врачи. И учителя. Что нам стоит превратить этот край в маленькую Россию, раз большая пока недоступна? В конце концов, можно поладить и с морос...

Экштейн невольно вздрогнул. Взглянув на лейтенанта, мечтатель совершенно по-детски огорчился:

— Голубчик, да вы меня не слушаете!

И тут же хлопнул себя по лбу:

— Понимаю вашу тревогу, Александр Георгиевич. Должен признаться: дикари

стали увиваться вокруг экспедиции, как осы вокруг арбуза, еще неделю назад, я просто не хотел раньше времени вас волновать. Будьте уверены: морос давно бы ухлопали и касика Шиди с его чимакоко, и меня, и всех остальных, если бы не были кое в чем заинтересованы.

Экштейн умоляюще посмотрел на своего учителя.

Беляев пояснил:

— У этих милых людоедов чисто меркантильные интересы. Не случайно тогда мы с вами прогулялись к асунсьонскому рынку — завтра полюбуемся на первые результаты. А теперь ложитесь, голубчик. Как говорится, утро вечера мудренее.

Лейтенант уже угнездилился в своем гамаке, когда Серебряков, отойдя чуть в сторону, загудел:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

«Крестик! — подскочил Экштейн. — И амулет!»

Ну, конечно же! Еще когда только был разбит бивак, Александр Георгиевич, отойдя от спутников к водопаду, прежде чем оказаться под струями воды, снял с себя крест и нитку с зубом каймана, подаренную индейцем. Он был слишком расстроен уходом Киане, и, кроме того, слишком ярко, во всех цветах и красках, представлялась ему картина атаки дикарей на лагерь — вот почему цепочка и нитка остались висеть на кусте.

Хотя костер уже догорал, найти пылающую ветку не составляло труда. Водопад находился в пределах видимости, красноватые и фиолетовые огоньки костра давали отличный ориентир. Раздувая огонь на импровизированном факеле, Экштейн пробирался на шум бегущей и падающей воды. В царящей вокруг тьме ухали, скрипели и трещали ночные голоса. Он вовремя посветил себе под ноги, чуть было не наступив на двухцветную филломедузу — ядовитая лягушка-квакша неподвижно замерла. Еще несколько шагов — и водопад шумел уже совсем рядом.

— Где-то здесь, — сказал Александр Георгиевич, удивляясь собственному хладнокровию. — Где-то здесь...

Факел догорал, но огня было достаточно, чтобы высветить ветвь с цепочкой. Кажется, заблестело серебро. Экштейн поднес огонь совсем близко к кустам: что-то действительно в них сверкнуло, лейтенант обрадовался. Он напряг зрение, пытаясь разглядеть в массе листьев забытый крестик — и словно на пулю наткнулся. Из темноты на него смотрели человеческие глаза.

Тропа муравьеда

Трава становилась все гуще; скорость передвижения, и так-то невысокая, еще более снизилась. Даже на открытой местности, где ориентирами служили одинокие деревья, Сеферино по-прежнему предпочитал придерживать мерина. Остальные, поругивая про себя гуарани, вынуждены были подчиняться. Маленький отряд замыкал добродушный Пако, приглядывающий за двумя запасными лошадьми, идущими следом на длинных поводьях. Уже на самой границе с сельвой, от которой их отделяла мелководная река, зоркий Аухейро заметил болотного оленя и схватил свой хорошо пристрелянный кавалерийский карабин. Всем оставалось только прищелкнуть языками, отдавая дань меткости стрелка. Санчес был готов с ходу форсировать мелководье, однако Сеферино настаивал на привале. Чилийцам и перуанцу его решение казалось

более чем разумным — и после того, как раздосадованный команданте прыгнул с коня, Пако тут же принялся свежевать тушу.

— Ты нетерпелив, — сказал проводник Санчесу, располагаясь на ночлег, и предварительно убедившись, что никто их не слышит. — В этом беда всех горцев. Вы не любите подчиняться, постоянно грызетесь друг с другом и не выносите рутину. Вот почему народы, которые живут внизу, в конечном счете всегда одержат над вами верх...

— Ты что, брухо? — пробурчал тот, уязвленный пронизательностью краснокожего.

— По твоим повадкам нетрудно догадаться, откуда ты родом.

Родившийся в одном из селений, прилепившихся к хребту Сьерра-Мадре Восточная от матери, не побоявшейся в Веракрусе наброситься с ножом на оскорбившего ее кабальеро, и отца, простившегося с жизнью совсем молодым во время свары с пастухами из соседней деревни, Санчес был наделен поистине взрывным темпераментом — и не скрывал этого.

— Здешняя сельва считается непроходимой, — вновь подал голос гуарани. — Однако есть тропа. Правда, она удлиняет дорогу. Вижу: ты хоть сейчас готов схватиться за мачете и рвануть напрямик, но все-таки прислушайся к моему совету. Как говорил Соломон: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Следуя более извилистым путем, мы сохраним силы, а их следует поберечь.

Санчес смотрел на него с удивлением.

— У меня сложилось впечатление, что ты... — начал он, и осекся.

— Хочешь сказать — я слишком грамотный?

— Да, что-то вроде этого, — смутился Санчес. — В Мехико я был знаком с одним сапотеком, которого какое-то время учили грамоте монахини, и...

— Считаешь, индейцы стоят на более низкой ступени? — усмехнулся Сеферино.

Команданте, словно пойманный за руку вор, пробормотал:

— Не обижайся, гуарани.

Сеферино осклабился:

— Твои чилийцы обращаются ко мне с безгливой учтивостью. С другой стороны, я смотрю, ты не особо их жалуешь, как и перуанца. Ваши северные соседи в свою очередь терпеть не могут «грязных латиносов», к коим относишься ты сам. Я не буду даже спрашивать твоего мнения насчет северян. Все мы кичимся своей исключительностью и готовы презирать остальных...

— Говоря о презрении к другим, ты имеешь в виду и представителей своего племени?

— Ненависть к бледнолицым — одна из основ нашей жизни, — пожал плечами гуарани. — Тем более мы уверены — она справедлива. Все народы таковы, мексиканец.

— Дело не в народах, дело в морали, которую нам навязывают. Марксисты правы: человечеству нужна иная мораль...

— Странно! Об иной морали рассуждает человек, который оказался на парагвайской границе ради все тех же долларов, — не преминул поддеть индеец.

— Не стоит демонизировать мое желание хорошо заработать, — вспыхнул Санчес. — И, в конце концов, почему бы не обратить оружие врагов против них самих?

— Собираешься употребить заработанные денежки на борьбу с гринго?

— А вот это уже не твое дело. Считаю свои.

От насмешливости Сеферино не осталось следа:

— Мой куш — спасение деревни, которая осталась без средств к существованию.

— Замечательное начинание! — хмыкнул Санчес. — И в чем же, осмелюсь полюбопытствовать, причина нищеты благородных гуарани?

— Власти, отхватив принадлежавшие нам земли, открыли на них рудник.

— Вот почему и для чего нужны коммунисты.

Сеферино, окончательно посерьезнев, выбил пепел из трубки и свернул разговор:

— Завтра нам предстоит войти в сельву, а это совсем не то, что беззаботная прогулка по саванне. Постарайся выспаться...

Утро смыло с реки остатки тумана. Гомон сельвы на том берегу не смолкал. Тут же дала о себе знать жизнерадостность чилийцев: вскочивший первым Родригес не мог не позубоскалить насчет оленьих рогов, посоветовав Аухейро примерить их на досуге.

Перед тем, как перейти Рубикон в виде пограничной реки, проводник пропустил через все седла длинную прочную веревку, создав подобие поезда. Стоило лошадям, с трудом преодолевшим каменистое мелководье, протиснуться в обильно поросший травой и папоротником проход между деревьями, который, по словам Сеферино, бывавшие в этих местах индейцы называли тропой муравьеда, стало ясно: предусмотрительность гуарани есть жизненная необходимость. Проход был невидим для всех, кроме проводника: без спасительной веревки любой из отставших мгновенно затерялся бы в буреломе. Сеферино постоянно дергал за веревку, требуя ответного сигнала, и лишь убедившись, что люди и лошади следуют за ним, вел своего осторожно ступающего мерина все дальше и дальше в чащобу. Делать подробную съемку не имело смысла — и Санчес, и смолкнувшие чилийцы, и замыкающий отряд перуанец превратились в слепцов, увлекаемых поводырем. Час шел за часом, всхрапывали лошади, потрескивал хворост под ногами, однако солнечный свет и не думал появляться. У озабоченного Санчеса создалось ощущение, что они нырнули на глубину. Даже голоса птиц раздавались высоко наверху, там, где гулял ветер, качались кроны и существовала жизнь.

Заночевали в завале из упавших и криво растущих пальм, отвоевав мачете немного свободного пространства. Пока команданте и чилийцы распрягали лошадей и сгружали тюки, а Пако колдовал над ужином, Сеферино накинуд на низко нагнувшееся дерево противомоскитные сетки. Ночью провалившихся в сон пришельцев не потревожило ни одно живое существо — судя по всему, этих мест избегали даже змеи (уханье сов и шелест летучих мышей не в счет).

Следуя за Сеферино по тропе, ширина которой, как шутил Аухейро, была чуть больше муравьиной дорожки, Рамон Санчес чувствовал, что теряет чувство времени. Изредка, повинуясь знаку гуарани, наемники бросали поводья и разминали затекшие члены возле колодцев, о существовании которых можно было догадаться только разгребя над ними просевшую почву с остатками растений и отбросив сгнившие жердины. Пока кавалеристы утоляли жажду, их кони, ожидая своей очереди, отыскивали съедобную траву и дотягивались до мясистых листьев буакаве — растения, которое, помимо питательных элементов, содержало в себе много влаги.

Прошло еще несколько дней. Смех чилийцев начал раздражать Санчеса не меньше, чем вызывающее спокойствие проводника. Индеец отвечал на его вопросы неохотно и уклончиво. У команданте создалось стойкое впечатление: гуарани ведет его людей самым тяжелым, самым изматывающим путем.

Прислонившись во время очередного привала к термитнику, гуарани, рост которого составлял треть от высоты возведенного насекомыми храма, сосредоточенно рассматривал отвалившийся кусок строительного материала.

— О чем задумался? — не преминул окликнуть проводника Рамон, воспользовавшись тем, что Родригес с Аухейро заняты разговором, а Пако осматривает лошадей.

— Термиты дадут сто очков вперед человечеству, — отвечал тот.

И, постучав по стене, пояснил:

— Здесь есть король, есть королева. Есть рабочие. Есть солдаты. У каждого своя роль, мексиканец.

— Не думал, что ты сторонник монархизма.

Индеец отмахнулся:

— Любая монархия — жалкое подобие общества, которое создали термиты. Их совершенство вряд ли будет кем-то превзойдено. Посмотри на эту стену — да она вечна!

Сеферино продолжал вглядываться в обломок, удивляясь отполированному тоннелю внутри него. Затем, поднеся его к глазам, посмотрел как в подзорную трубу, на команданте.

Тот вновь постарался свернуть разговор в заезженную колею:

— А как выглядят жилища дикарей?

— Сам увидишь.

— Долго нам еще до их хижины?

— Все зависит от сельвы. Тропа сильно заросла.

— Что будет после?

И в сотый раз проводник терпеливо ответил:

— Нужно оставить бусы, затем немного подождать на небольшом расстоянии и вернуться. Если дары исчезнут: путь свободен.

— А если нет?

Индеец внимательно взглянул на Санчеса:

— Не волнуйся. Морос не избалованы вниманием и, думаю, готовы принять подарки.

— Что, если, завладев дурацкими побрякушками, они затем употребят нас на ужин?

— Не подходи ко всему с мерками гринго. У обитателей здешней сельвы свои представления о мире.

— Хочешь сказать, морос придерживаются неких правил?

— Их правила намного честнее тех, что создали бледнолицые. Приняв дары, морос дадут понять: можно следовать дальше. Не приняв — покажут, что следует убираться. Но они точно убьют того, кто сунется в их места с пустыми руками. Что же тут неясного?

Индеец отвернулся к термитнику, давая понять: разговор закончен.

Поход продолжался. Скрывая лицо под тенью шляпы, Сеферино беспрерывно прислушивался, принимался, вертел головой по сторонам, то залезая на мерина, то ведя его за собой в поводу. Время от времени он нагибался, поднимал ком глины и растирал в пальцах. Иногда, удивля следовавшего за ним Санчеса, ложился на влажную почву и прижимал к ней ухо. Чилийцы, мокрые, уставшие от постоянного полумрака, оставались верны себе, хотя и приглушили погрузневшие голоса. Копившееся раздражение разрядилось как всегда неожиданно. Над Аухейро с ветви свесился трехметровый удав. От одного только вида отвратительной змеи Родригес впал в неистовство и, прежде чем смог среагировать вздрогнувший от его вопля Санчес, разразился целой серией выстрелов из карабина. К чилийцу присоединился его

перепуганный соотечественник, разрядив в удава, от которого и так во все стороны клочья летели, барабан двенадцатизарядного револьвера Лефоше.

Обратившись к проводнику, Рамон не смог сдержать гнев:

— Черт подери, мы болтаемся в этом дерьме уже вторую неделю, а твоей тропе конца и края нет!

Сеферино как ни в чем не бывало тронул поводья.

Ночами, искушенные москитами и мелкой, словно пыль, мошкой, наемники заворачивались в одеяла под очередным навесом, который сооружал индеец. По утрам скребли ложками в котелках, насыщаясь приготовленной Пако кашей из кукурузы и мясных консервов, пили мате, навьючивали заметно исхудавших лошадей и, повинуясь тихому свисту проводника, следовали за ним. Одежда командос с угрожающей быстротой превращалась в лохмотья. Чудовищно донимали язвы от расчесанных волдырей, появившихся, как только они оказались в сельве. Влекомые людьми в непролазную чащу животные испытывали не меньшие страдания.

К концу второй недели у бродяг, которых тошнило и от кукурузной каши, и от неотступно мельтешащей перед глазами зелени, не осталось сил проклинать двужильного гуарани. Одним отвратительным утром они все так же мрачно встали и мрачно позавтракали, посылая ко всем чертям летучих мышей, термитов и муравьев. Однако после нескольких часов унылого движения в зарослях перед посланцами Эрнста Рема, онемевшими от удивления, неожиданно открылась поляна, окаймленная высокими пальмами.

— Хижина, — показал проводник. — Хижина морос.

Вечерний звон

Лейтенант был слишком здоров и молод для того, чтобы умереть от страха. Тем более, его оцепенение длилось долю секунды. Милый знакомый голос произнес: «Ичико». То была вернувшаяся Киане.

После того как Серебряков напоил индианку мате, добавив в ее кружку приберегаемого на крайний случай коньяка, дочь вождя рассказала, что решила покинуть чимакоко и присоединиться к экспедиции. О причине ее решения все, и в первую очередь смущенный, раскрасневшийся Экштейн, догадывались. Правда, к радости молодого человека вскоре примешалась тревога. Это ради него индианка кралась по ночному лесу, в котором бродили морос. Ради него она рисковала жизнью. Впрочем, Иван Тимофеевич поспешил успокоить озабоченного лейтенанта: сельва для чимакоко, с детства приученных самостоятельно охотиться и собирать плоды иногда за десятки километров от своих поселений, является естественной средой обитания. Алебук несколько не удивился тому, что касик разрешил дочери оставить племя: в делах любви индейские женщины обладают определенной свободой и правом выбора; кроме того, мудрый Шида видел: дочь мучительно переносит разлуку с молодым бледнолицым. Конечно, запасы галет и консервов таяли быстрее, чем предполагалось, и лишний рот был совсем некстати, однако по опыту своего длительного общения с гуарани Иван Тимофеевич знал: индейцы не только могут позаботиться сами о себе, но и незаменимы в экстремальных случаях, когда пищу приходится добывать на ходу, не брезгуя червями и мясом змей, тем более что речь шла о сильной девушке, способной растирать в муку пальмовые волокна и выжимать воду из

корневищ растений. И за Киане он нисколько не переживал — порядочность лейтенанта не вызвала сомнений.

Потихоньку возбуждение улеглось. Все, за исключением молодой пары, отправились спать.

— Ты рад, что я вернулась, ичико? — с обезоруживающей непосредственностью спросила Киане.

Молодой человек не мог не признаться, что более всего на свете хотел ее возвращения.

— Ты видела морос, когда шла сюда?

— Нет, ичико. Морос нельзя увидеть, если они сами этого не захотят.

— Тогда, может быть, слышала их?

— Они передвигаются бесшумно.

— Тебе не было страшно в сельве, ведь они рядом? — продолжал волноваться Экштейн.

— Нет, ведь я возвращалась к тебе, ичико, — простодушно ответила девушка. — И думала только о тебе.

Ранним утром все уже были на ногах. Готовящийся нанести визит к поляне Беляев все-таки уделил несколько минут лейтенанту.

— Простите меня, Иван Тимофеевич, — бормотал Экштейн, не смея глаз поднять на начальника. — Я несу за Киане полную ответственность и...

Беляев расхохотался:

— Смею вас заверить, голубчик: насчет своей ответственности вы погорячились. Вы не знаете индианок! Здесь не только конь на скаку и горящая изба, но кое-что и покрепче. С этого момента она взвалит на себя всю ответственность за вас, или я совершенно не знаю чимакоко. И мой совет: не противьтесь. Всю жизнь тогда будете как блин в масле кататься.

Вечером лейтенант записал: *«Дары исчезли. Морос приняли их. В дальнейшем мы постоянно будем развешивать на кустах бусы и раскладывать зеркальца. Если они останутся нетронутыми, экспедиция обязана тотчас повернуть назад. И.Т. нервничает, хоть и старается этого не показывать. Впрочем, все на нервах, за исключением британца. Хорошо еще — слушается нашего командира, хотя и ведет себя странно — возится с какими-то колбами. Впрочем, кто поймет этих англичан! Думаешь, перед тобой исследователь, а оказывается — богатый бездельник поспорил с приятелем, что непременно совершит прогулку по джунглям. Что касается занемогшего мула, дело плохо. Есаул места себе не находит».*

Серебряков действительно не находил себе места. И здоровым мулам было нелегко, что уж говорить о занемогшем. Рано или поздно должно было случиться неизбежное.

— Что поделать, голубчик, — вздохнул Иван Тимофеевич, погружая маузер в кобуру. — Жаль животину, но выбора не было.

Вечером, сев на поваленный ствол в отдалении от костра, дончак неожиданно запел. Экштейн не мог не признаться себе: голос его оказался глубоким и приятным.

Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он...

— Пусть попой, — шепнул Беляев лейтенанту. — Хорошая песня необходима ему для успокоения. Да будет вам известно, Василий Фёдорович успел побыть регентом церковного хора в Париже. Да-да, три года руководил певчими в соборе Александра Невского. И как пел!..

И сколько нет
Теперь в живых,
Тогда весёлых, молодых!

— Какое чудо — музыка! — Беляев прикрыл глаза. — Как хочется послушать вальс — слезы наворачиваются. «На сопках Маньчжурии»... «Амурские волны»... Пам-пам-пам-пам, — замурлыкал, — пам-пам пам па-пам пам. Удивительно: мелодия простая, а хватает за горло. Возьмите все тот же «Вечерний звон». Всего два аккорда, голубчик, Александр Георгиевич! С ума сойти! Где-нибудь в мире вы еще найдете песню, состоящую всего из двух аккордов? В России — пожалуйста! Два аккорда, но какое богатство звуков, какие тона. Или возьмем «Камаринскую». Чудо истинное — эта «Камаринская».

Беляев тихонько завел, подмигивая Экштейну:

Ах, ты, сукин сын,
Камаринский мужик,
Он по улице,
По улице бежит.
Он бежит-бежит,
Попёрдывает,
Да штанишечки поддёргивает.

— Так и представляю ведь себе этого сукина сына! — воскликнул. — Как он, подлец такой, поддёргивает штанишечки... Хитрый, ушлый, всех вокруг пальца обведет.

И Беляев плавно перешел к своему вечному разговору о рубке тропических деревьев в центре Бореаля, о вспахиваемой целине, о деревнях, курносых детишках и граде Китеже на берегу озера, до которого им еще предстоит добраться. Неожиданно внимание Ивана Тимофеевича привлек ужинавший в отдалении англичанин:

— Подозреваю, кто навязал нам сего джентльмена. Стоящие за его спиной едоки так усердно жадничают, что просто диву даешься. Посмотреть на их аппетит, оторопь берет. Что там Парагвай! Что Боливия! Всю планету подавай на стол! Но задайте обжорам простейший вопрос: зачем им все это нужно — и они на него не ответят. Или будут нести бред о священных национальных интересах, прогрессе, бремени цивилизации; однако любой индеец, потребности которого крутятся вокруг рыболовного крючка, дротика и очага, во сто крат мудрее и честнее всех этих начитанных, натасканных, расфранченных и надушенных господ, которым кажется, они Бога ухватили за бороду...

Мистер Фриман аккуратно облизал свою ложку, сложил ее пополам, убрал в рюкзак, следом туда же отправился и котелок, затем англичанин ловко закинул на ветви деревьев крючки гамака и занавесил его москитной сеткой: каждое движение выдавало в нем человека, привыкшего полагаться на собственные силы.

— Вот она — квинтэссенция здорового индивидуализма, — вздохнул Беляев. — Насмотрелся я на этих сэров, голубчик. Даже не могу понять, откуда у них такая снисходительность к нам, простым смертным? Снисходительность — в лучшем

случае. В худшем — презрение. Мы тремся рядом с ним уже месяц, а не знаем ничего об этом господинчике. Впрочем, судя по поступкам, он малый неплохой.

— В нашей части недавно появлялись подобные мистеру Фриману господа, — вспомнил лейтенант. — Интересовались специалистами по бурению.

— Британцы не только этим интересуются. Визитеры с берегов Альбиона имеют хороших покровителей в здешнем правительстве и, насколько я понимаю, толковых информаторов в парагвайском Генштабе.

— И все-таки, Иван Тимофеевич, им с вами не сравниться, — польстил советнику парагвайцев Экштейн — однако совершенно искренне.

— Многие в Асунсьоне, да и не только там, при всем уважении к вашему покорному слуге как к специалисту, считают меня, скажем так... несколько наивным человеком, — засмеялся Беляев. — Даже мой старый знакомый Риарт не исключение, хотя при всех своих слабостях он неплохой психолог. И среди тех, кто представляет нашу диаспору, бытует мнение: Беляев — законченный идеалист, его вовсю используют деловые люди, которые в случае удачи экспедиции сделают на ней огромные деньги. Некий Клементович, кстати, бывший ростовский банкир, распускает слухи, что я малость не в себе, раз не сколотил состояние на своих этнографических и географических открытиях и безвозмездно передал все материалы Университету. Да, да, Александр Георгиевич, и среди русских людей есть те, кто притащился сюда лишь ради выгоды — этой гнуснейшей дамы, омертвляющей любого, кто с ней свяжется. Некоторым нашим соотечественникам — типа того же Клементовича — даже незачем скрывать истинные намерения. В лучшем случае они считают бывшую Отчизну пустяковиной из ряда моральных химер, не стоящих внимания, но чаще — презирают ее, ибо втайне чувствуют ущербность всех своих оправданий. Вот почему и злятся на меня, трубят на каждом углу: «Беляев несет чушь! Беляев — прожектер и выдумщик! Какая еще деревня в парагвайской сельве?! Какой град Китеж! России нет, и ей уже никогда не воскреснуть, давайте забудем все, что с ней связано, словно самый ужасный сон!» А я хочу спросить их, таких умных, деловых и успешных: если вы забудете о Родине, с чем же вы тогда останетесь в сердце своем?

Беляев посмотрел на внимательно слушавшего его Экштейна и взволнованно продолжил:

— Поверьте уже достаточно пожившему на свете премудрому пескарю: главное в жизни лишь то, с чем мы *остаемся в сердце своем*. Что же касается Парагвая, все, что я стараюсь делать, я делаю из чувства признательности к приютившей меня стране. Она позвала нас, ставших перекасти-поле, дала кров, предложила помощь, пусть и скромную, но искреннюю. И мы просто обязаны ответить ей благодарностью! Здесь ни при чем ни Риарт, ни Скенони, ни президент, ни англичане, которые давят на них и будут давить всеми силами. Дело в Парагвае как месте будущего русского ковчега и в его гостеприимном народе.

Киане прислушивалась к беседующим: глаза ее блестели, она облизывала пересыхающие губы и была само внимание.

Беляев кивнул на притихшую индианку:

— Не сомневайтесь, она чувствует сердцем, о чем мы с вами толкуем. У вас хорошая спутница, голубчик. Постарайтесь оправдать ее любовь к вам.

С тех пор каждый вечер, останавливаясь в пятистах-шестистах метрах от будущего ночлега, Беляев вытаскивал из мешка очередную горсть подарков и каждым следующим утром вместе с лейтенантом и Киане возвращался на место «обмена».

Не обнаруживая на ветвях даров, он облегченно крестился. В одно из таких возвращений Экштейн тщательно исследовал округу. Несмотря на то, что бусы вновь исчезли, почва вокруг осталась девственной.

— Ничего не могу понять, — бормотал он, находя повсюду лишь отпечатки собственных ботинок.

— Морос могут передвигаться по деревьям, ичику, — ответила Киане. — Им совсем не обязательно спускаться на землю.

«Час от часу не легче», — подумал Экштейн.

Он записал в дневнике: *«Кажется, мы начинаем привыкать к невидимому сопровождению. Привычка — вообще удивительная вещь. Оказывается, можно свыкнуться и с постоянным присутствием черта за спиной. Во всяком случае, я перестал вскакивать от каждого треска в селве и даже позволяю себе немного поспать. Не перестаю удивляться Киане. Ее самоотверженность удивительна. Она идет наравне со всеми и помогает мне рубить этот проклятый папоротник...»*

Гроа, о существовании которой знали только индейцы, не давала расслабиться. Вдоль берега попадались такие топи, что в нескольких местах путешественникам, и без того выбивающимся из сил, пришлось стелить настоящую гать. И тем не менее блокноты в планшете Беляева заполнялись один за другим; карту, поистертую на краях и потемневшую от влаги, отточенный карандаш руководителя экспедиции испещрял всё новыми обозначениями.

Пробы воды в реке не радовали. Колодцы чимакоко остались в стороне, а Гроа несла в себе множество примесей. Приходилось довольствоваться чуть менее мутной водой ручьев, предварительно ее прокипятив, но даже введенная Беляевым драконовская гигиена не спасала путешественников от диареи, ставшей такой же постоянной спутницей, как и крадущиеся следом дикари.

Люди быстро привыкают к хорошему. Увы, к плохому они привыкают еще быстрее. Каждый путешественник отдавал себе отчет, что в любой момент он может повстречаться с аспидом или наступить на незаметного в болотной траве древолаза. Никто не был застрахован от нападения ягуара или пумы. Как справедливо говаривал сержант Эскадо — в селве врагом является и безобидный с виду муравьед. Терзавшее нервы Экштейна ощущение, что рядом постоянно присутствуют существа, готовые сотворить из него и из его товарищей бифштекс, заметно притупилось. Тем более, что Беляев не собирался жадничать — мешок с бусами и зеркальцами опустел уже на четверть.

Но беда пришла с неожиданной стороны.

Мистер Фриман тормозит движение

Очередным утром, когда Беляев и сопровождавшие его к месту обмена Экштейн с Киане вернулись в лагерь, казак, уже подготовивший животных к переходу, встретил их с еще более хмурым, чем обычно, выражением лица. Предвосхищая вопрос, он кивнул в сторону гамака, в котором почивал англичанин. Обычно сэр Френсис вскакивал раньше остальных, усердно занимаясь гимнастикой и грел себе воду для бритья.

— Levar, — хрипло отвечал на вопрос Ивана Тимофеевича покрасневший, с трудом сохраняющий спокойствие британский лев. — Я догоню вас.

Внимательно рассмотрев мистера Фримана, не переставая бубнившего свое неизменное «don't worry», Беляев направился к снаряженным мулам и принялся расстегивать ремень походной аптечки.

— Что случилось? — встревоженно спросил Экштейн.

— Боюсь, лихорадка.

Разведя хинин в кружке с кипяченой водой, Беляев вернулся к англичанину.

— Don't worry, — продолжал тот хрипеть, — I am all right.

Он еще какое-то время протестовал, обещая нагнать спутников к вечеру, однако достаточно было бросить взгляд на принявшее сходство с перезрелым помидором лицо британского подданного, чтобы увериться: мистер Фриман находится далеко не в лучшей форме. Его способность выбраться из гамака вызвала глубокие сомнения.

— Дважды вы спасли нас, — сказал англичанину Беляев. — Неужели вы могли подумать, что мы оставим вас умирать в сельве?

Были срублены тонкие ветви, из которых казак взялся плести вместительную корзину. После того, как люлька оказалась готова, путешественники перераспределили груз. Часть оставшегося продовольствия отяготила походные мешки Экштейна, Беляева и Серебрякова. Другую, большую часть и ящик с патронами взвалили на двух мулов. Третьего мула, отобранного есаулом, приспособили для перевозки больного.

Увы, болезнь способна за считанные часы расправиться даже с самой сильной волей; с особым рвением она уничтожает величие, превращая всемогущего цезаря в смиренного пациента. Мистер Фриман исключением не являлся. Британец проиграл инфекции вчистую и теперь, раздавленный, беспомощный, словно младенец, качался в корзине на спине мула, которого осторожно вел за узду Серебряков.

Киане, с завидной легкостью пробираясь в чаще пальм, папоротников и кустов впереди экспедиции, показывала Беляеву наиболее приемлемый путь, и все же скорость резко снизилась. Казалось, все кровососущее в сельве объединилось против пришельцев: над мулами висел жужжащий рой, Серебряков не успевал смахивать с них клещей. Мистера Фримана то и дело рвало. Вытиравший ему платком лоб Экштейн никогда раньше не видел такого крупного пота. Вечерами, измотанные, нахохлившиеся, они ютились возле костра, слушая крики птиц и стоны англичанина. Ко всем прочим напастям по ночам стала резко падать температура. Огонь костра согревал лишь грудь и руки — спина леденела из-за почти стопроцентной влажности. Даже Киане не могла припомнить таких холодов. Экштейн, прорезав дыру в своем одеяле, сделал для девушки подобие пончо. Закончился мате: путешественники заваривали в кипятке измельченные пальмовые листья. Распахнув последний ящик, в котором хранились консервы, Беляев первым имел счастье увидеть: все банки вздулись — и незлобивым русским словом помянул армейских интендантов:

— Эти каналы везде одинаковы. Если уж нам всучили такую дрянь, чем они собираются кормить солдат?

Единственным, что вызывало осторожную радость, оставалась благосклонность морос. В ответ на регулярные дары властители здешней сельвы беспрепятственно пропускали измотанных бледнолицых все дальше в глубь своей территории. Возможно, старый касик, с которым Беляев совещался тогда во дворе своего дома, был прав — каннибалы соблюдали некий моральный кодекс. Но не менее вероятным могло быть и то, что у дикарей имелись на них особые планы. Во всяком случае, невеселая шутка Беляева: местные людоеды позволяют им дошагать до вертела, подобно арзамасским гусям, которых на Руси Великой своим ходом гнали к петербургским столам, — не казалась Экштейну такой уж и фантастичной. После того, как путешественникам

пришлось попробовать отвратительное на вкус мясо попавшегося на пути броненосца, лейтенант записал: *«Шутки в сторону. Приходится забыть о брезгливости. Киане отыскала в старом трухлявом дереве огромных личинок и приготовила на костре. Для индейцев это настоящий деликатес — личинки жирные и питательные, но я ел их, зажмурив глаза. Джон Буль откровенно плох. Он отворачивается даже от замоченных в воде галет...»*

Через несколько дней Экштейн прибавил к своим заметкам еще одну запись. Три восклицательных знака, поставленных им с такой силой, что карандаш процарапал лист насквозь, появились в ее конце далеко не случайно: *«Счастливейшим днем в моей жизни будет день, когда я вновь увижу железнодорожную насыпь!!!»*

После еще одного дня, проведенного в схватке с болотом, Экштейн почувствовал: болтающийся за спиной кавалерийский карабин, к которому он привык так же, как и к постоянным воплям и стонам джунглей, заметно потяжелел. Черт подери, силы оставляли и его! Да и господин монархист, черкеска которого давно напоминала рубище, не мог похвастаться бодростью. Удивительно, но Беляев, постоянно роняя от усталости инструменты и с трудом поднимая их, по-прежнему продолжал картографическую съемку. И при этом не забывал отмечать дорогу вехами и зарубками на деревьях.

Еще один мул начал спотыкаться и пускать пену и вскоре повалился набок. Экштейн с Серебряковым едва сумели вызволить из-под него мешки и патронный ящик. Вечером вновь загудел баритон есаула, однако на этот раз «Вечерний звон» наполнил души слушателей такой безнадежностью, что впору было завывать на луну. Мольба Беляева равнялась приказу:

— Ради Бога, Василий Фёдорович...

Обернувшись к нахохлившемуся Экштейну и как будто оправдываясь, Беляев признался:

— Мне в последнее время снег снится. Ничего не могу поделать: закрою глаза — прямо-таки лезет в них; сыпет, сыпет, деревья в шапках, дома занесены, а над Питером, знаете, нависают славные такие серые облака. До того сны замучили, что думаю — скорее бы утро.

Увы, утро успокоения не принесло — мистер Фриман замолчал. Обнаружить жизнь в британце помогло поднесенное к серым губам зеркальце. Влитая в рот ложка коньяка заставила англичанина бесподобно выругаться, но транспортировать больного в таком состоянии не представлялось возможным. Кризис был налицо — русские, в очередной раз образовавшие бесполезный консилиум, предчувствовали исход. Они не сразу заметили исчезновения индианки.

— Куда вы, голубчик?! — оклик Беляева остановил лейтенанта. Искать Киане в сельве не имело никакого смысла.

Оливейра кормит любимцев

Полковник Серхио Оливейра поскромничал, когда в связи с двусмысленной шуткой насчет головы Беляева назвал свое бунгало охотничьим домиком. Поместье дона в предгорьях Анд, включавшее в себя тот самый «домик» с добрым десятком комнат и кинозалом, а также несколько конюшен, вольер для птиц, отдельно дымящую кухню, гараж, барак для прислуги и, наконец, парк, сожрало площадь, равную целому городскому кварталу. Редкие гости шутили, что для посещения особо

дальних объектов требуется ездовая лошадь — и они были близки к истине. Здесь, вдали от суетной столицы, пробуя мотыгой на прочность землю в своем огороде или навешая виноградники, Оливейра мог вдоволь поразмышлять над прошлым и будущим. И то и другое не отличалось безоблачностью. Ганс Кундт не зря говаривал своим подчиненным: дон Серхио родом из того весьма многочисленного вида двуногих, представители которого стремятся отложить встречу с Господом по возможности на самый длительный срок. Пруссак знал, о чем толковал: постоянное участие «человека-мыши» в мероприятиях, которые адвокатские организации, по какому-то недоразумению все еще пребывающие в Южной Америке и склонные даже самое явное издевательство над личностью упаковывать в обтекаемые юридические термины, называли не иначе, как допрос с пристрастием, не красило кавалера самой высокой награды государства — рыцарского Ордена Андского Кондора. При таком образе жизни мораль скромно покуривала в сторонке. Впрочем, Оливейре, наловчившемуся за тридцать лет службы проскальзывать между струями самого сильного тропического ливня, нельзя было отказать в изворотливости. Несмотря на то, что дьявол уже приветливо распахнул для полковника дверь в свое жаркое жилище, дон Серхио пытался договориться и с небесами. В отличие от синодиков мятущегося Ivan the Terrible поминальный список боливийского душегуба был намного скромнее. Однако по мере того, как в последнее время с тюремными камерами знакомилось все большее число его противников, а нервы стали подводить Оливейру все чаще, список принялся расти с пугающей даже самого полковника быстротой. Бронзовой мадонне, коротавшей свой век в спальне грешника, будучи вознесенной над кроватью, на которой смело можно было пересекать океан, часто приходилось выслушивать объяснения истового католика о необходимости столь радикальных мер во имя не только его собственного, но и государственного блага.

— Вы железный человек, Оливейра, — в свое время сказал дону Серхио президент Рейсес, узнавший как-то о таинственном исчезновении нескольких десятков «недоброжелателей отечества». — Иногда я сомневаюсь в том, что вы были рождены женщиной...

Полковник принял сомнительный комплимент как должное. Впрочем, борьбой с мелкой рыбешкой Оливейра не ограничивался. Поставив себе на службу и мягкое честолубие Баутисты Сааведры, провернувшего (не без любезной услуги дона Серхио) в Боливии бескровный переворот, и не менее страстную жажду властвовать, которую продемонстрировал друг путчиста Силес Рейсес, вскоре спровадивший своего патрона Баутисту в ссылку (дон Серхио подсобил и его желанию), и любовь к вину и красоткам предводителя новой хунты генерала Галиндо, Оливейра не зря вот уже двадцать лет занимался самой увлекательной игрой на свете. В его сейфе папки с досье на настоящих китов, иные толщиной в три, а то и в четыре пальца, не просто теснились, а давили друг друга, словно клерки в токийском метро. Вот почему даже те депутаты в Парламенте, которые имели репутацию отчаянных бунтарей, будучи неглупыми людьми, предпочитали здороваться с полковником первыми.

— У Оливейры нет слабостей, — как-то сказал о руководителе разведки вице-президент Абдон Сааведра.

Проницательный брат Баутисты все-таки был не прав. И в железном человеке всегда обнаружится пусть даже и самая микроскопическая трещина. Дон Серхио исключением не был. Явный кандидат в Макиавелли, в руках которого морскими узлами завязывались веревки и канаты боливийской политики и при одном появлении

которого нервничали даже тюремщики, имел свою «трещинку». Слабость Оливейры заключалась в том, что он обожал павлинов.

Возможно, потому, что эти существа, хвосты которых то безвольно волочились в пыли, то взрывались разноцветными опахалами, всей своей жизнью доказывали: на свете существует лишь один вид любви — любовь к самому себе. Возможно потому, что изображение двух павлинов по сторонам Мирового древа олицетворяло собой двойственную природу человека. Возможно, птицы вызвали в Серхио Оливейре столь сильное чувство своими дикими криками, которые так контрастировали с их райским обликом. А возможно, красота все-таки находила себе место и в его покрытом коростой сердце, требуя хоть какой-то компенсации. Так или иначе, лишь при посещении пестрой коллекции глаза маленького полковника, покупающего через посредников на птичьих торгах и аукционах наиболее породистых представителей семейства фазановых, загорались искренней радостью. Появляясь на ранчо, Оливейра первым делом расспрашивал садовника о здоровье «птичек». Выслушав рапорт, он готовился к священнодействию, лично наполняя серебряное блюдо отборными зернами. Затем, оказываясь в огороженном пространстве, испещренном следами индийских, конголезских, яванских самцов и самок, превращался в благоговейного слугу, стремящегося удовлетворить малейшие прихоти капризных господ. Нет, не зря он приказывал садовнику не приближаться к вольеру в то время — слишком счастливым, а, следовательно, беззащитным тогда он был, слишком мягкие нотки начинали вибрировать в голосе. И более всего боялся полковник показаться в таком расслабленном состоянии работникам поместья. Вот почему, как только, облачаясь в плебейские штаны и рубаху и водрузив на голову соломенную шляпу, поля которой могли спасти от солнца всю Боливию с Перу в придачу, Оливейра направлялся к вольеру, индеец-садовник и охранники мгновенно исчезали. Подкрадываясь на цыпочках к очередному султану, горделиво поворачивающему к источнику корма крошечную головку, дон Серхио забывал сам себя.

Оливейра не изменил правилу и на этот раз. Двух его гостей, прибывших несколько позже, возле ворот дождался слуга, который почтительно проводил янки к плетеным креслам на лужайке под тентом, передав извинения хозяина и предоставив в их полное распоряжение сервированный столик.

Посланцы «Стандарт Ойл» обнаглели настолько, что свой визит и не собирались скрывать, прокатившись от посольства в Ла-Пасе до покрытых кустами холмов — а это как-никак сорок миль — на автомобиле с откидным верхом. Одинаковыми серыми костюмами, шляпами и улыбками эти сорокалетние парни наводили на мысль об однойцовых близнецах. Один из приехавших молодцев непринужденно схватился за бутылку сингани, другой отправился прогуляться в сторону парка.

Выпускник Гарварда Роберт Чарки, которого с рождения окружали полотна Дега, Уистлера и Сарджента, расхохотался, когда наткнулся на мраморную Венеру. Скульптура Марса произвела на представителя одного из десяти самых известных в финансовых кругах семейств не менее сильный эффект. Возвратившись, Чарки кинул на столик свою федору с той грубоватой непосредственностью, с которой истинные техасцы привыкли класть ноги на обеденный стол или дымить сигаретой в присутствии дам. Его напарник, Вильям Тодт, отец которого в свое время произвел фурор в Вашингтоне мебельными магазинами, молча потягивал традиционный боливийский напиток. Денек стоял ветреный и прохладный — здешний климат разительно отличался от столичного; однако янки были слишком нацелены на предстоящее общение, чтобы наслаждаться набегающим ветерком. Долго ждать не пришлось. Представ

перед модниками босым, в простой одежде, в сдвинутой на глаза шляпе, самый, пожалуй, пронырливый, хитрый и влиятельный деятель боливийского государства походил на крестьянина, одного из тех, кто встречался американцам по дороге.

— Я знаю, вы в восторге от Голливуда, дон Серхио, — воскликнул Тодт. — Мы захватили с собой несколько фильмов.

— Я тоже встречаю вас не с пустыми руками, — отвечал Оливейра, широко улыбаясь.

Троица переместилась на площадку перед кухней, где гостей ожидали приготовленные маленьким улыбчивым поваром острые цыплята — «пиканте-де-польо» — и кукурузное пиво «чича кочабамбина», которое сам Оливейра предпочитал всем винам и водкам на свете.

Хозяин первым сделал глоток, приглашая присоединиться.

— Голливудские фильмы — лучшее, что вы могли привезти, чтобы поднять мое настроение, — сказал он, кивком отпуская повара. — Поверьте, мелодрама перед сном действует сильнее любого успокоительного.

— В таком случае, будем рады познакомить нашего хорошего друга с Кларой Боу и Бастером Китон, — подал голос Роберт. — Не сомневаюсь, они приведут хозяина этого прекрасного места в самое лучшее расположение духа.

— Голливуд навевает грезы, дон Серхио, — засмеялся Тодт.

— Этим он и прекрасен! Может быть, разделите со мной радость встречи с вашим непревзойденным кинематографом? — предложил Оливейра. — В моем зале удобные кресла.

— В другой раз, дон Серхио! — ответил Тодт, принимаясь за цыпленка и разрывая зубами мякоть с жадностью, говорящей об отменном аппетите. — Тем более, мелодрамами мы перекормлены.

— Жаль! — откликнулся хлебосольный хозяин. — Ваш посол недавно осчастливил старого доброго Оливейру фильмом, от которого ему спалось, как младенцу. «Вечную любовь» я прокрутил несколько раз. Камилла Хорн меня потрясла.

— Белокурые фройляйн добавляют особую прелесть киностудиям «Уорнер Бразерс» и «Парамаунт», — засмеялся Чарки. — Впрочем, как и блондины типа Хуберта фон Майеринка. Кстати, о немцах — и не только на голливудских киностудиях. Мы ничего не имеем против иностранных военных инструкторов. Боливия как суверенное государство вправе выбирать себе помощников в подготовке офицерских и солдатских кадров. Однако есть одно существенное «но», дон Серхио...

Полковник поднял брови, выказывая удивление и одновременно готовность выслушать претензии.

— Нас несколько настораживает тот факт, что в весьма щекотливое дело с демаркацией боливийской границы вмешивается держава, которой следовало бы зализывать раны у себя дома, а не интриговать за тридевять земель, не имея для подобных затей никаких экономических и политических возможностей.

Оливейра все так же изображал недоумение.

— Пока одни немцы честно служат Боливии, другие активно суют свой нос в Бореаль, — пояснил Тодт. — Не скрою — мы удивлены. Более того — обескуражены.

— Они помогают, в том числе и вам, господа, — мягко отвечал Оливейра. — Надеюсь, вас не обидит то обстоятельство, что я сам попросил генерала Кундта о посредничестве. Как понимаете, нахождение боливийцев на территории, пока еще принадлежащей Парагваю, может вызвать нежелательный эффект. Инциденты не в наших интересах. Вот почему пригодился опыт моих немецких знакомых...

— Нас несколько удивляет то, что вы доверились Эрнсту Рему, — заметил Чарки. — Малый непрост! Он уже хорошо наследил у себя дома и всерьез примеривает императорскую тогу.

— Увы, у меня совершенно нет времени следить за тем, что происходит в Германии. Своих проблем по горло, — вздохнул Оливейра.

— И напрасно! — откликнулся мистер Роберт. — Вам стоит почитать некоего Гитлера. Этот теоретик, рассуждая о будущем, разразился таким образчиком философии, от которого волосы встают дыбом.

— Да, я слышал кое-что о его отношении к евреям, — кивнул полковник. — Однако позвольте спросить, кто в Европе любит евреев? Поляки? Французы? Я опускаю советскую Россию — пожалуй, это единственная страна, проповедующая так называемый интернационализм. Но неужели можно серьезно верить в чушь, которую несет бывший ефрейтор...

— Опусы господина Гитлера — далеко не чушь. Осмелюсь уверить — сегодня так же, как он, в Берлине и Мюнхене рассуждает каждый второй, — возразил ему Тодт.

— Немцев всегда стоит держать на коротком поводке, дон Серхио. У них у всех мания величия. Если им приоткрыть дверь хотя бы на палец, они обязательно просунут в нее ногу, и оглянуться не успеете, как появятся здесь уже в несколько ином качестве, — добавил Чарки.

Полковник промолчал, потягивая «чичу».

— Что поделать, — иногда государственные дела действительно не позволяют охватывать всю панораму, так сказать, целиком, — Роберт вытер салфеткой с губ обильную пивную пену. — Слава Богу, для полной информации существуют верные друзья, не так ли, дон Серхио? Мы печемся о вашем же благополучии...

Дальнейшая беседа касалась всяческих мелочей. Особое восхищение американцев вызвали столбы электролинии в форме треног, которые позволяли освещать самые дальние дорожки ранчо. Оливейра признался, что с электроснабжением ему помогли чикагские инженеры, подводящие линии к руднику неподалеку отсюда. После десерта янки раскланялись. «Паккард» отяжелевших от обильного угощения «верных друзей», отмытый по приказанию Оливейры от дорожной грязи до прежнего блеска, приятно удивил их.

— На заднем сиденье вас ожидает ящик сингани, — сообщил хозяин, в свою очередь принимая из рук Тодта бобины с продукцией фабрики грёз. — Простите за скромность моего подношения, которое ни в какое сравнение не идет с вашим королевским даром.

— Дружба с таким человеком, как вы, дон Серхио, для нас великая честь. Посол придерживается того же мнения.

— В таком случае передавайте мистеру Трибсу и его дражайшей супруге мой самый искренний привет и надежду на встречу... Удачи в дороге!

— Приятного просмотра, дон Серхио!

Вопли павлинов доносились даже до ворот, обвитых диким виноградом. Раздался не менее резкий ответ клаксона, машина шумно покатила, стреляя во все стороны дорожными камешками.

— Подумать только, этот мерзавец всерьез считает топорные подделки в своем парке произведениями искусства, — сказал Чарки, приветственно махнув двум стремительно удаляющимся фигуркам. — Я чуть было не лопнул от смеха, наткнувшись на это убожество. Интересно, он знает о Сеттиньяно и Джамболонье?

— Вряд ли. Надеюсь, хоть сингани у него неподдельный, — пробормотал Тодт.

— Странно, что зло имеет такой жалкий облик, — сказал Роберт, едва успев подхватить свою чуть было не улетевшую шляпу. — У меня сложилось впечатление, что Оливейру побаивается сам мистер Трибс. Неужели боливиец заслуживает этого? Но ведь даже в пособнике самого черта должно оставаться хоть что-то: хотя бы маленькая душа, а в ней — малюсенькая совесть...

На секунду отвлекаясь от руля и от вихляющего впереди дорожного серпантина, Вильям резко повернулся к товарищу:

— Если у этой мыши и есть совсем маленькая, совсем неприметная душонка, дорогой Роберт, то она покрыта таким панцирем, который не под силу раздробить даже самому Иисусу Христу.

Оливейра продолжал стоять перед воротами. Драгоценные птицы устроили за его спиной истошную переключку. Подслеповато моргающий садовник, принявший из рук хозяина тяжелые бобины, позволил себе наконец простодушный вопрос:

— Кто эти господа, дон Серхио?

Повернувшись к индейцу, Оливейра ответил коротко:

— Свиньи.

Хижина

От индейца Санчес неоднократно слышал — морос отличаются маленьким ростом, однако в возведенное ими жилище, не наклоня головы, мог бы въехать и всадник. Следом за Санчесом и сосредоточенным проводником под крышу сооружения вошли остальные. Земляной пол хижины был утрамбован так тщательно, что даже зоркий глаз голубя не смог бы обнаружить на нем ни одной выбоины и ни одной, даже самой малой, неровности. Сквозь щели в плетеных стенах сюда проникали пыльные лучи: строение внутри было залито солнцем.

— Морос неподалеку, — шепнул проводник Рамону. — Повесь бусы вон на ту перекладину, мексиканец. И оставь зеркала вон под тем столбом.

— Родригес, — оглянулся на чилийца команданте. — Сними со своей лошади тюк с зеленой меткой. В нем должен быть небольшой мешок. Принеси-ка его.

— Какой мешок? — откликнулся чилиец.

— Сатиновый, черт подери, — не сдержался Санчес. — Горловина замотана медной проволокой.

— Хм, — Родригес, оглянувшись на своего товарища, почесал в затылке. — Какой еще мешок, команданте? — повторил он.

Санчес молча оттолкнул Родригеса, подошел к его лошади и нетерпеливыми пальцами принялся отвязывать и расшнуровывать тот самый проклятый тюк. Наконец сбросив тюк на траву, упав перед ним на колени и раскидав вокруг себя содержимое, Рамон почувствовал — ослепительный день в его глазах стремительно темнеет.

Он вновь появился в хижине.

— Перевязанный проволокой? — встретив взгляд Санчеса, с прежней беспечностью уточнил Родригес. — Мешка нет, команданте.

— Как нет?

— Его давно нет. Я выбросил его еще там, на перевале, — сказал Родригес. — Лошади было тяжело. Она бы загремела в пропасть. Я развязал тюки и выкинул пару мешков. Я подумал, зачем нам эта дребедень, эти чертовы безделушки?

Санчес обернулся к Сеферино. Индеец выдержал удар. Он бесстрастно произнес:

— Я привел тебя сюда, как мы и договаривались. Я выполнил все, о чем тебе обещал. Морос нужны дары. Судя по всему, их нет. Это не моя вина, команданте. Единственное, что скажу: вам нужно убираться, и чем скорее, тем лучше. Будет большой удачей, если вы унесете ноги...

Идиот Родригес не успел простонать. Свинец мгновенно поразил чилийца: кровь хлынула из горла несчастного, забрызгав ноги онемевшего Пако. Аухейро превратился в еще один столб с раскрытым ртом. Одним движением Санчес вырвал из его кобуры револьвер. И несколько раз пнул тело, к которому после трех выпущенных в него пуль в полной мере подходило определение «безжизненное».

Теперь, когда возмездие было совершено, ярость схлынула, как вода из пруда с пробитой плотиной. Санчес вновь обрел себя и впери в потерявших дар речи чилийца и перуанца взгляд, полный могильного холода:

— Этот сукин сын явно хотел нас погубить. Но мы отправляемся дальше. И пусть только дикари и сам дьявол вместе с ними посмеют встать на нашем пути: я перегрызу им горло. Где озеро, гуарани? — окликнул Санчес краснокожего, не оборачиваясь к нему. — Ты слышишь, Сеферино? Где озеро?

— Индейца нет, команданте, — заикаясь, произнес Пако.

Санчес вздрогнул. Продолжая держать на мушке потрясенных командос, он оглянулся. Проводника Сеферино, с его неизменными шляпой и трубочкой, с его дерзкой насмешливостью, в которой нередко сквозила неприкрытая неприязнь к мексиканцу, более в природе не существовало. Быстрота, с которой испарился индеец, не просто впечатлила. Она ошеломила. Проклятый брюхо растворил в солнечном дне себя и свою лошадь, не оставив примятой травы — даже папоротники на краю поляны не колыхнулись. Между тем солнце безумствовало; лучи его были повсюду: блестели окаймлявшие поляну пальмовые стволы, блестели заросли, плясали блики, яркие тонкие копья пронзали хижину.

«Морос неподалеку», — вспомнил Санчес.

Солнечный свет сделался просто невыносимым.

— Мы отправляемся дальше, — прохрипел команданте поделникам. — Быстрее вываливайте из чертовой хижины. Да оставь его! — крикнул он Аухейро, наконец-то упавшему на колени перед мертвым земляком. — Твой дружок уже далеко отсюда, и молись, чтобы его душа поднималась сейчас к облакам, а не жарилась в пекле...

Санчес бросил под нос Аухейро конфискованный им двенадцатизарядник, втиснул горячий кольт в кобуру и бросился к своей каурой, чуть было не вырвав с мясом ремни из кофра с геодезическими инструментами, притороченного к седлу. Пока выскочившие следом чилиец и перуанец пытались схватить за поводья лошадей, которым передалась людская паника, Санчес торопился, определяя азимут. Затем с кобылы Родригеса по приказу команданте на других лошадей перегрузили самое необходимое. Животное сиротливо вытянуло шею, оглядываясь на товарок; суетившимся людям было не до него. Санчес продолжал ворошить тюки и ящики. Первым делом он избавился от брезентовой палатки, оказавшейся здесь совершенно ненужной, начавших ржаветь карманных фонариков, батареек к ним, из которых вытекал электролит, и запасных ложек. Кто знает, может, каннибалы ненадолго удовлетворятся этими железяками? С той же целью команданте высыпал на траву несколько боливийских монет, выбросил запасные ремни и мешки с начинавшей подгнивать кукурузной мукой. Груза заметно убавилось: его навьючили на трех лошадей. Остальные были предоставлены сами себе.

— Быстрее, быстрее в лес, — торопил мексиканец, — пошевеливайтесь...

Вываченным из ножен мачете Санчес показал направление и с ожесточением принялся прорубать в сельве проход. Пако и Аухейро, которых от затылка до пяток пробил исходящий от команданте электрический заряд, невольно схватились за ножны. Сменяя друг друга, кроша стебли и листья, дергая за поводья лошадей (осиротевшая кобыла Родригеса и две ее подруги по несчастью потянулись следом), командос оказались в сплошном месиве из стволов и путающихся под ногами лиан. Стресс, испытанный в хижине, не прошел для подчиненных Санчеса даром. Любой резкий крик попугая или тукана заставлял Аухейро и Пако выхватывать оружие и палить во все стороны. Их не останавливала даже ругань команданте, обзывавшего и того и другого заячьими шкурами. Добавили сумятицы еще и ревуны. Целое стадо обезьян перепрыгивало с дерева на дерево у людей над головой, издавая львиный рык, отчего перуанец впал в настоящее иступление. В конце концов ревуны исчезли, но психоз перуанца не думал утихать. Поглядывая на товарища, Аухейро начал подозревать неладное — сбегавший с Пако уже не ручьями, а целыми реками пот явно был вызван не только жарой. К вечеру подозрения превратились в уверенность, однако Санчес и слышать ничего не хотел. Последний проблеск солнца милосердно осветил карту, которую он положил на колени. Если верить гуарани, озеро было настолько огромным, что миновать этот загадочный и, судя по индейским легендам, самый большой в центральной части Южной Америки водоем не представлялось возможным, размышлял команданте. Они обязательно на него наткнутся. За две недели странствия рейнджеры преодолели больше половины пути до спрятанного в сельве резервуара. Осталось пройти треть. Да, здесь повсюду бродили морос, но ординарцу генерала Горостеты и ветерану войны, в которой по жестокости и сами кристерос, и их враги-федералы могли дать каннибалам сто очков, терять было нечего.

Крик

Даже самые изворотливые, самые изощренные противники не умеют летать по воздуху — вот почему команданте приказал чилийцу обнести место ночного привала веревкой, при помощи которой сбегавший мерзавец Сеферино вел караван. К веревке предварительно привязали несколько пустых консервных банок. Лошади, включая бесхозных, сбились в образованном круге вместе с людьми. Костер не разводили. Револьверы и карабины были под рукой.

Никто не спал.

Санчес, положив на грудь кольт, лежал в отдалении от подчиненных, уставившись на полуночные звезды. Сельва, к которой он так и не мог привыкнуть, ухала, ревела и выла, однако стерегущие лагерь жестяные сторожа ни разу не подали голоса. Возможно, гуарани нарочно сгущал краски, когда говорил о морос. Возможно, он нагло врал о неуязвимости дикарей. Морос — всего лишь жалкие кочевые племена, немногим отличающиеся от обезьяньих стад. Они — примитивные реликты, вооруженные разве что палками-копалками. Индеец нарочно повел команданте и его людей самой длинной дорогой, чтобы окончательно запутать и оставить в лесу. Ничего! Уроженец деревни, в которой самый справедливый из всех законов — закон мести за вероломство — вливается в очередного появившегося на свет младенца сразу же, как тот хватается губами материнскую грудь, с этим краснокожим еще разберется. Но первым делом — озеро. Он прорвется к большой воде, чего бы это ни стоило.

Двое командос не разделяли его решительности. Улавливающий каждый звук сельвы Аухейро слышал, как стучат зубы несчастного Пако.

— Команданте, — наконец не выдержал чилиец. — Кажется, банки звенят.

— Заткнись, Аухейро, — был ответ.

— И все-таки, команданте...

— Ты одним выстрелом сбил скрытого зеленую ревуна, до которого было не менее тридцати метров, — с презрением откликнулся Санчес. — Что тогда стоит тебе завалить дикаря, который ничем не отличается от обезьяны?

— Морос имеют луки и...

— Заткнись, — разозлился Рамон, — иначе последуешь за своим беспечным дружкой.

Аухейро повернулся к напарнику, который нервировал его всё больше.

— Команданте прикончит нас, — шептал Пако. — А если не он, нас убьют дикари.

Глаза перуанца светились таким страхом, что Аухейро предпочел отвести взгляд.

Пробормотавший всю ночь о каннибалах, которые любят сдирать кожу с людей, Пако не мог остановиться и под утро принялся рассказывать, как готовится ломо салтадо из телятины, маринованной в соусе с уксусом. Он долго раскрывал сам себе секрет приготовления уксуса, затем, обратившись к некоему Сабасу, затеял с ним диалог, отвечая на вопросы, которые задавал воображаемый собеседник, и слезно упрашивая Сабаса забрать его («иначе наш команданте сделает из меня ломо салтадо»).

Уже совсем посветлело, когда джунгли потряс крик, от которого все трое взлетели над своими одеялами. Иерихонские трубы ревунов не шли с этим адским воплем ни в какое сравнение. Даже для привыкшей ко всему сельвы он оказался настолько диким, что на какое-то время стихли самые отъявленные болтуны из отряда попугаеобразных. Сказать, что крик раздавил и без того почти уничтоженного страхом перуанца, — значит ничего не сказать. Аухейро прижал Пако к земле, однако сумасшествие является источником невиданных сил, в чем отброшенный чилиец тут же убедился. Трясущийся Пако вскочил и бросился в заросли. Было слышно, как беглец запутался в веревке, вызвав яростное дребезжание банок по всему периметру лагеря, затем шуршание папоротника возобновилось.

— Не стреляйте в него, команданте, — прохрипел Аухейро рассвирепевшему Санчесу. — Ради Бога, не стреляйте...

Стрелять уже было не в кого. Треск сучьев и шум листвы показывали, что перуанец удаляется от лагеря с нереальной скоростью.

Мексиканец раздумывал недолго:

— Черт с ним! Нам нужно двигаться.

Аухейро не пошевелился, уставившись в зеленую стену, за которой только что скрылся сошедший с ума бедолага. И тут по окрестной сельве вновь прокатился вопль, мгновенно установивший повсеместную тишину. Глаза чилийца оставались стеклянными, пока щека не онемела от пощечины.

— Это морос? — спросил очнувшийся, инстинктивно хватаясь за рукав команданте. — Это они?

— Да хоть бы и сам дьявол! Собирайся, или следующим ударом я раскрою тебе череп.

— Они убьют нас, — затрясся Аухейро, продолжая цепляться за Санчеса.

— Выслушай меня, ублюдок, — приблизив к нему сделавшееся застывшей маской лицо, прошипел мексиканец. — Внимательно выслушай. Может быть, мои слова вновь

превратят тебя в мужчину из того жидкого дерьма, в которое ты превратился... Кто бы ни кричал: морос, ягуар, чудовище из преисподней, — тебя это не должно волновать. Ты должен только одним озаботиться: как сделать, чтобы я не пристрелил тебя здесь, в этом глухом углу, словно поганую шелудивую собаку. И заруби себе на носу: если бы дикари действительно хотели покончить с нами, они бы не стали орать на всю округу... Ты понял?

— Да, команданте.

— Отлично. Сворачивай одеяла.

Аухейро бросился выполнять поручение. Какое-то время Санчес раздумывал.

— Что касается лошадей, — сказал он, — заберем своих и одну запасную. Остальные не нужны.

Чилиец с немой мольбой взглянул на начальника.

— Неизвестно, где мы найдем воду, — сказал Санчес.

— Они сами идут следом, команданте, — пытался возразить Аухейро.

— Неизвестно еще, где мы найдем воду, — повторил Рамон. — И найдем ли.

— Может быть, просто оставить их?

— Будем стрелять одновременно, — сказал Санчес. — Иначе остальные могут взбеситься. Вот та, твоего дружка, и та, с ободренным боком, — тебе. Моя — с белыми пятнами.

Перепуганные лошади, сбившиеся в кучу после очередного вопля в джунглях, ответили жалобным ржанием на приближение людей. Первой попыталась встать на дыбы лошадь Родригеса. Ее волнение передалось остальным: кобылы храпели и дергались с таким бешенством, что рука вынужденного отскочить в сторону Аухейро заметно задрожала. Он был уверен: если бы животные не были привязаны, то убежали бы в сельву.

— Команданте! — умоляюще воскликнул чилиец.

— Так ты мужчина или по-прежнему кусок дерьма?

Через час они были примерно в полутора милях от места стоянки, где над тремя тушами уже повсюду роились мухи. Устроивший пиршество для всякого рода падальщиков Санчес не устал орудовать мачете. Аухейро покорно пробирался следом, ведя на поводу оставшихся животных.

Погружая мачете в корни и ветви, а кое-где и просто проламывая собой сельву, Санчес ни разу не оглянулся. По его расчетам, они должны уже были вступить в центральную часть Бореаля, которая скрывала в себе озеро; следовательно, еще три-четыре дня пути, и они пробьются сквозь густую, вязкую массу, кишашую змеями и насекомыми, к живительным берегам, пусть даже и оставят в сельве последние клочки одежды. Каждый взмах мачете, срезающий лиану или очередной стебель, удалял Санчеса от вчерашнего кошмара, и это придавало ему сил. Морос, эти жалкие неандертальцы, возможно, вообще к ним не сунутся, удовлетворившись выброшенными фонарями и батарейками, которые блестят не хуже бус...

Вопль раздался совсем близко от команданте: он исходил из зарослей, куда Рамон собирался проторить проход. И вновь всё в окружающей их сельве, только что живущее полной жизнью, мельтешащее, ползающее, порхающее — от попугаев до соринок Вселенной, называемых мошками, — перестало дышать.

Этот крик мог в клочья порвать самообладание самого бесстрастного буддийского монаха. Но не таков оказался Рамон Диего Санчес, уроженец страны, с кошачьей плодовитостью порождающей революционные войны и молодец, которые с одним мачете способны броситься на паровоз. Мексиканец вырвал из кобуры револьвер и

сжал рукоять ножа. Он готов был шагнуть навстречу самому дьяволу, однако Аухейро повис на его плечах.

— Лошади встали, команданте!

Достаточно было только взглянуть на лошадей, чтобы понять — они не тронутся с места.

Прародители Санчеса, останки которых в позабытых европейских курганах прятала глубина веков, наверняка были берсерками: от ярости он готов был записать себе в рот собственную бороду.

— Лошади не пойдут, — озвучил Аухейро горькую истину.

— Ладно, — скрипел команданте.

Не забывая оскорблять дикарей, сельву, подонка Родригеса, труса Пако, изменника проводника, Санчес подался в сторону. Уловка сработала. Как только кобылы поняли, что команданте сворачивает, их упрямство испарилось, и они покорились сжимающей поводья руке Аухейро. Сделав порядочную дугу в густом папоротнике и сверившись с компасом, Санчес вновь продолжил свой путь на юг. Они не успели пройти и мили, как трубный глас, исторгнутый из адской глотки, в очередной раз потряс окрестности. Кобылы взвились. Неистовая ругань мексиканца на них не действовала.

— Ладно, — скрипел Санчес.

Вновь повернув на девяносто градусов и потратив более двух часов на бесполезную рубку, мексиканец взял прежний азимут. Новый вопль не заставил себя долго ждать. Попытка Рамона Санчеса пойти напролом и на этот раз была пресечена животными, которых не смог бы сдвинуть с места и артиллерийский тягач. Кто бы то ни был там, впереди: птица, зверь, дикарь — он явно давал понять: дорога закрыта.

— Проклятая тварь! Не знаешь, с кем имеешь дело. Тебе не справиться с Рамонам Санчесом... Плевать я хотел на тебя, ублюдок.

Команданте потрясал револьвером, однако при всей своей взвизывавшей до небес ненависти понимал: стрельба в сплетение стволов и ветвей — занятие бесполезное.

У навалившейся на Аухейро усталости было только одно преимущество: она, как камень, придавила остальные чувства — и прежде всего панику, которая за какие-то сутки превратила революционера, бойца и лучшего стрелка в полку в безвольное существо. Между тем все без конца повторялось — очередной маневр в джунглях, очередной крик, очередной испуг животных, наотрез отказывающихся сделать шаг к спрятавшемуся впереди реликтовому ужасу, и ответный вызов Санчеса, клявшегося перед Богом, Мадонной и пребывающим на небесах генералом Горостьетой перегрызть горло любому ублюдку, пытающемуся его запугать.

Вечером чилиец, готовый от полного упадка сил встать на четвереньки, каким-то неведомым образом почувствовал: заросли вот-вот расступятся. Действительно, в сельве показался просвет. Команданте расчистил еще несколько метров. С не меньшим усилием Аухейро развел в стороны листья остающегося нетронутым папоротника — и не смог сдержать стон. Перед двумя выбившимися из сил мужчинами открылась поляна, на которой, вся в отблесках заката, стояла похожая на огромный гриб знакомая хижина.

Изгнание кихохо

В то время как есаул с Беляевым возились с мистером Фриманом, Экштейн, снедаемый тревогой, нарезал круги по лагерю. Отчаяние уже готово было затопить его душу, но наконец кусты раздвинулись и неслышно пропустили девушку.

Бережно неся в ладони горстку трухи, похожую на размельченную кору, Киане опустила на корточки возле костра. Остававшейся в чайнике воды хватило, чтобы развести в ней серо-бурую массу. Пока вода бурлила, индианка, развязав мешочек на своем пояске, высыпала на ладонь несколько катышков, похожих на мелкий горох, внимательно их пересчитала и тоже ссыпала в кипяток, потом, налив до краев кружку, терпеливо дождалась, когда остынет варево.

Опыт жизни с чимакоко не позволял Беляеву даже на секунду усомниться в правильности действий дочери касика. Наблюдая за обитателями сельвы, хранящими в своей памяти свойства сотен, если не тысяч растений, парагвайский Миклухо-Маклай неоднократно убеждался в таланте врачевания, присущем не только шаманам и воинам чимакоко, но и таким совсем еще юным особам, как трогательная Киане. Вот почему, разжав при помощи Серебрякова англичанину зубы, Иван Тимофеевич послушно влил ему в рот две ложки приготовленного напитка. Последствием отчаянной попытки излечения стала рвота, заставившая мистера Фримана, который уже отправлялся в иные миры, вновь взяться за ручку двери, только что им за собой закрытой.

Пока подскочившего англичанина выворачивало наизнанку, Киане, радостно подняв на Экштейна свои чудесные детские глаза, сказала:

— Хорошо блюет. Очень хорошо. Пусть открывает рот! Пусть открывает! Из него выходит кихохо.

— Индейцы считают любую болезнь живым существом, которое проникает в человека через ротовое отверстие. Они зовут это существо *кихохо*. В случае уговоров или воздействия лекарствами кихохо выходит из больного опять-таки через рот. Вот почему рот у индейцев всегда ассоциируется с дверью; чимакоко предпочитают без нужды его не распахивать, — пояснил Беляев лейтенанту, пытаясь его несколько успокоить.

Экштейну, как, впрочем, и ошарашенному казаку, было отчего тревожиться. В хрипах, которые издавал в перерывах между приступами британец, Александру Георгиевичу не раз слышалась мольба пристрелить его. Однако Киане светлела все больше.

— Кихохо выходит, — чуть было не захлопала она в ладоши, когда у мистера Фримана вывалился язык.

Экштейн с ужасом смотрел на возлюбленную.

— Сударь ясный, Иван Тимофеевич, а ведь басурманин-то не дышит, — осторожно подал голос Серебряков.

Дочь касика была совершенно иного мнения.

— Укрой его, Алебук, — попросила она.

Вернувшись к тлеющему очагу, Киане высыпала в костер содержимое мешочка, которое, потрескивая на углях, распространило по лагерю отвратительный запах. Не обращая внимания на желтоватый дым, оставшийся от снадобья, индианка, раскачиваясь на корточках, запела, временами прерывая песню бормотанием и прислушиваясь к редкому треску сгорающих горошин. Затем, прервав себя на

полуслове, неожиданно вскочила и, поочередно поворачиваясь на все стороны света, завизжала столь пронзительно, что молодой человек вынужден был схватиться за уши.

— Нужно попрощаться с кихохо. Нужно сказать много слов. Нужно попросить кихохо не возвращаться, — объяснила Киане, прислушиваясь к гомонящей сельве и словно ожидая ответа. Кажется, она его дождалась: лицо девушки сделалось торжествующим.

— Кихохо не вернется, ичико, — объявила она Экштейну. — Он доволен. Он отправился искать себе другое жилище.

Серебряков, разумеется, нисколько не верил в любезность со стороны отправившейся на поиски «другого жилища» болезни и укорял Беляева, смотревшего на спектакль с почти религиозной серьезностью:

— Иван Тимофеевич, ты-то хоть Христа побойся!

— Дражайший Василий Фёдорович, я сам наблюдал за касиком Шида, когда тот на моих подслеповатых глазах без всякой анестезии промыл водой кишки индейца, на которого напала пума, уложил их обратно и зашил живот обыкновенными нитками, — ответил казаку Беляев. — Когда же тот индеец, жар у которого не проходил, собрался умереть, касик вот так же упросил кихохо покинуть больного и отправиться на поиски иного жилья. И что ты скажешь?! Кихохо действительно убрался. Не сердись, но здесь, в сельве, все наши с тобой знания часто и ломаного гроша не стоят, чего не скажешь об индейцах.

Однако есаул все никак не мог успокоиться.

— Нехристи, — бормотал он, вытирая пот с лица тряпкой, которая носила название папахи. — Набрала дряни и траванула британца. Попробуй-ка теперь разбери, отчего отдаст Богу душу. А ведь басурманин по всему не жилец, Иван Тимофеевич! Ей-ей, не жилец...

К вящему удивлению Серебрякова заступ не понадобился, однако им пришлось провести на одном месте несколько дней, которые сказались на экспедиции далеко не лучшим образом. Из провианта в достаточном количестве оставалась лишь соль. Равная порошу по своей значимости, она была помещена опытным казаком в водонепроницаемый мешок, обернутый для защиты от сырости несколькими слоями холста. Галеты, которые назначенный интендантом Серебряков выдавал поштучно, не плесневели, пожалуй, только по одной причине: каждое утро и каждый вечер есаул настолько искренне просил Небеса подать им хлеба насущного, что со стороны последних отказать в этом пустяке истинному христианину было просто бы некрасиво. В сельву путешественники предпочитали не соваться — Беляев опасался неосторожным движением нарушить установившееся статус-кво. Неутомимая Киане поймала заползшего в их лагерь молодого питона, однако отведать змеиного мяса, поднесенного ею на пальмовом листе, не решился даже Экштейн. Положение спасали предусмотрительно захваченные есаулом рыболовные крючки. Человеку, возвращенному тихим Доном, в рыбной ловле не было равных. По старинке, на простую уду, поплеывая на насаживаемых личинок, казак одну за другой тягал араван, словно отечественных уклеек, а на сплетенную морду ухитрился выловить черного паку. Беляев предупредил азартного рыбака, не раз забредавшего в воду по щиколотку, чтобы тот остерегался электрических угрей, которых в заводях и на мелководьях Гроа водилось предостаточно. Однако самыми страшными обитателями дна являлись мимикрирующие под песок речные хвостокоты. Беляев не сгущал краски, когда описывал, как на его глазах от удара стилетов проклятой рыбы погиб индеец-подросток. Ракетой вылетев из воды после удара хвоста этого речного убийцы, бедняга упал на песок, потерял сознание и истек кровью до того, как его донесли до деревни.

Индианка наотрез отказалась пробовать жареную аравану. Алебук объяснил Экштейну: по поверьям индейцев, аравана приносит несчастья женщинам, которые ждут детей. Немало смутив этой информацией молодого человека, он сразу же поспешил того успокоить, добавив: девушки чимакоко не употребляют ее, даже не будучи беременными.

Страницы дневника Экштейна не просто слипались — они принялись тлеть. Прежние записи едва читались из-за проступавшей плесени, но лейтенант продолжал вести их, осторожно касаясь карандашом кое-где пожелтевшей, а кое-где покрытой бурыми пятнами бумаги: *«Рацион наш состоит из рыбы и галет. Негусто. М. Фриман уже пытается встать, опираясь на свою винтовку, правда, у него не всегда это получается. Впрочем, и остальные далеко не в лучшей форме. Особенно беспокоит Беляев. В последнее время И.Т. донимает кашель, и это не нравится ни мне, ни нашему буке Серебрякову. Киане делает отвары, но они не сильно помогают — у меня возникло серьезное подозрение, что ее кихохо ушел не очень-то и далеко. И все-таки И.Т. полон надежд. Он уверяет: примесей в реке стало заметно меньше; со дна Гроа бьют ключи, размывая грязь. Это признак больших запасов пресной воды. В заводях возле лагеря можно наблюдать песчаное дно. По уверениям И.Т., река непременно выведет нас к озеру (если оно существует, в чем я уже стал сомневаться). Кажется, если мне и уготованы муки в аду, то они будут выглядеть именно так: шатания по болотам и зарослям, клещи, мухи, почти постоянный понос, пропахшие потом клочья, которые мы все еще называем одеждой, дым, который не просто разъедает глаза, а словно их выцарапывает, одеяла, покрытые слоем насекомых, страх за обувь, готовую вот-вот развалиться, и, вдобавок, крадущиеся следом “друзья”. Судя по всему, они решили пока не употреблять нас на ужин. В противном случае дикарям ничего не стоит взять лагерь голыми руками — мы настолько утомлены, что не сможем организовать достойного сопротивления».*

Возвращение кихохо

Увы, Экштейн констатировал правду. Несмотря на уху, галеты и остатки муки, из которых экономный Серебряков по вечерам пек прозрачные лепешки, никто из путешественников не мог похвастаться бодростью. Мулы объели всю траву в лагере и окружающие стоянку кусты, не побрезговав и побегами ядовитого растения, называемого индейцами гулани, отчего состояние их заметно ухудшилось. Несчастные представляли из себя настолько жалкое зрелище, что от одной мысли, что на эти ходячие скелеты придется навьючивать оставшиеся ящики и мешки, Серебряков мрачнел. Между тем холод по ночам не собирался шутить. Температура совершала пике от дневной жары до десяти градусов по Цельсию с такой же скоростью, с которой вечерами падало в сельву солнце. Пришлось спасаться старым охотничьим способом, применяемым в находящейся отсюда за миллион световых лет России. На прогоревшие угли казак накидывал несколько одеял — и все, включая едва живого англичанина, прижимаясь друг к другу, до утра согревались медленно остывающим пепелищем.

Неожиданно зарядили дожди; вода мгновенно пропитала мешки, одеяла и обувь. Над тлеющим костром Экштейну и Серебрякову пришлось соорудать навес. Услуги Ивана Тимофеевича были обоими решительно отвергнуты — простуда, заявившая о себе едва слышным покашливанием, превращалась в проблему. Никого уже не обманывал оптимизм Беляева, струившийся из него, как из неиссякаемого источника. Вынужденный теперь чуть ли не постоянно прикрывать рот платком, он оправдывался перед молодым человеком:

— Ранение, голубчик. С тех пор, как побывал в царскосельском лазарете, поселилась, представьте, этакая гадость в легких — и чуть что дает о себе знать. Пройдет, пройдет...

Упрямство мистера Фримана било все рекорды. Уже на третье утро после того, как уходящий кихохо вывернул наружу кишки британца, он попытался отыграть у болезни партию. Англичанин на несколько секунд придал своему телу вертикальное положение при помощи карабина и устроил настоящий переполох, рухнув на нехитрую кухонную утварь Серебрякова. Зазвеневшие в котелках ложки переположили спящих. Экштейн употребил весь запас своего английского для того, чтобы уговорить Джона Булля не экспериментировать со здоровьем, однако британец имел иное мнение. Глядя на то, с каким упорством в течение следующего дня мистер Фриман повторяет раз за разом трюк с карабином, Экштейн, злясь на глухоту англичанина к элементарным доводам, одновременно восхищался его хваткой. К вечеру Фриман уже стоял, а еще через сутки самостоятельно спустился к реке. Попытка казака помочь пыхтящему бульдогу подняться обратно в лагерь была пресечена решительным лаем: «I don't need your help». В итоге англичанин приполз, не обращая внимания на комичность своего положения; впрочем, россиянам было не до смеха. Серебряков поражался упрямству «ледащенного», но Беляев несколько не удивляло, что даже в таком плачевном состоянии, в котором находился подданный Ее Величества, он ухитрялся везде и повсюду демонстрировать независимость.

— Каков гонор, — восхищенно бормотал Беляев, покашливая и кутаясь в одеяло. — Штаны спадают, а на мир посматривает, как на кровную собственность, будто какой-нибудь раджа.

— Мне пока придется опираться на мула, господин Беляефф, — сообщил подковылявший к нему мистер Фриман. — Но, думаю, есть смысл продолжить марш.

Беляев не медлил. Предводителя не удерживали ни дождевая морось, окутывающая людей и мулов и будто маслом покрывающая их тела влагой, ни нашедший в нем самом новое пристанище кихохо, которого Киане при помощи трав и кипятка тщетно просила на выход.

— Ничего, голубчик. Пройдет, пройдет... — вновь и вновь, словно нашкодивший школьник, оправдывался Беляев перед Экштейном. Лейтенант откликнулся: «Не сомневаюсь, Иван Тимофеевич!» Хотя в своем дневнике был более откровенен: «Дела наши кислые. И.Т. болен — и болен серьезно. Все мы себя порядочно запустили. Еще немного — придется кроить одежду из одеял; и те хуже нищенских. Сегодня пришлось разжиться дратвой у Серебрякова. Подойти было нелегко, он злопамятен — однако, дал. К явной радости И.Т. мы перебросились с есаулом парой-другой фраз. Добрым словом поминаю сержанта Эскадо, оставившего мне свое шило. Повернуть назад? Это убьет И.Т., и, боюсь, не только его. Чисто психологически это уже невозможно. Кроме того, выпустят ли морос из своих владений? Остается уповать на Бога — и на везение».

Иногда все-таки стоит залезать на деревья

Они тронулись в путь под совершенно рассвирепевшем ливнем. Мулы едва брели, хотя есаул постарался избавить их от «лишних килограммов». Подчинившись решению казака, Экштейн закинул за спину тяжеленный мешок. Впрочем, Серебряков и себя не жалел. Британец ковылял, схватившись одной рукой за холку мула, а другой опираясь на карабин. Ливень взбил красную глинистую почву, превратив ее в липкое месиво, всасывающее где по щиколотку, а где и по колено. Экштейн уже не раз и не два оставлял в очередной ловушке свои вконец разбитые ботинки. Беляев нещадно

терзал кашель, и он вынужден был через каждые пять-десять метров хвататься за ствол дерева или мокрые ветки кустов, чтобы восстановить дыхание. То, что пенсне все еще блесло на его носу, а не затерялось в очередном болоте, было чудом. Однако вечером Беляев все же самолично развесил на деревьях очередные дары.

Их ночевку под гивеей нельзя было сравнить даже с самым примитивным, наскоро устроенным биваком. Шум лившейся с неба воды не ослабевал; в сельве, казалось, попряталось все живое. Экспедицию окружила темнота, о которой особо одаренные воображением священники упоминают разве что в связи с самыми страшными мытарствами грешных душ. В ночи раздался тихий голос приютившегося рядом с Экштейном Беляева:

— Питиантута.

— Что? — вздрогнул Экштейн.

— Питиантута.

Посчитав услышанное бредом, лейтенант расстроился. К счастью, дело оказалось не в высокой температуре. Более того, кихохо дал хозяину дома, в котором поселился, временное послабление. Почувствовав недоумение молодого человека, Беляев объяснил:

— Я раздумывал над названием озера, голубчик. Не скрою, был соблазн назвать его по-русски: Новый Светлояр или Ковчег, или даже Южная Ладога. Представляете? Есть Ладога северная, со всей своей мощью, монастырями! Будет Южная, здесь, на другом конце земли — со своим Валаамом. И все-таки решил назвать по индейски: Питиантута — Мёртвый муравейник!

Экштейн молчал.

Беляев тихо рассмеялся:

— Знаю, о чем вы сейчас подумали. Лежим в луже, на краю жизни и смерти, неизвестно — есть озеро, нет, доберемся ли до него или окажемся в полных дураках, а Беляев все о своем. Выдумывает всякую чушь, поет о стране с кисельными берегами — как будто бы сам нахлебался вволю этого киселя. Ведь так думаете? Скажите честно.

— Вам известны мои воззрения, Иван Тимофеевич, — наконец решился Экштейн. — Вот бы Россия хоть чуточку, хоть на грамм была такой, какой вы ее представляете...

— Конечно, голубчик, если брать подвалы, все кажется беспросветным. И в России, как и в любой другой стране, существовала и, уверен, поныне существует, при большевиках, та самая подвальная жизнь — с пьянством, кабаками, распутством крайним. Здесь в каком-то смысле Василий Фёдорович прав — ведь, заметьте, часто не правительства и не государи доводят людей до такого состояния, а сами они совершенно добровольно себя доводят — до бутылки, до женщин падших, до карт, до всего этого чада кабацкого. Определенно сами тянутся ко дну, желают прожить в подвалах. Но ведь была Россия иная: рыбалка где-нибудь в рязанской губернии, церквушки, кособоры, славный осенний дождичек, который обнимает леса и поля, оркестр в Летнем саду, разговоры о вечности, о Боге, об антоновских яблоках... Была иная Россия, вот в чем штука, дорогой мой Александр Георгиевич... Я вот всегда предпочитал обитать на ее верхних этажах, а для этого, поверьте, вовсе не обязательны ни богатство, ни родовитость — только желание, и более ничего. Хотите совет? Он прост: живите всегда наверху — там и солнца больше, и воздух чище...

Следующим утром Экштейн убедился лишь в одном: морос по-прежнему были рядом, ибо бусы исчезли.

Хозяева сельвы продолжали эскортировать пришельцев. Мешок с дешевым стеклом пустел на глазах. Гроа извивалась, как змея: чтобы срезать путь от одной ее луки до другой, экономя тем самым и силы, и время, необходима была хотя бы самая приблизительная карта — увы, в эти края не заглядывали даже самые отчаянные гуарани. Приходилось брести вдоль берега, питаясь выловленной Серебряковым рыбой. Снять тюки с гамаками с последнего издохшего мула участники похода не имели уже ни сил, ни желания. Рядом с ним остался лежать и патронный ящик: большую часть его содержимого распределили по заплечным мешкам.

После еще одного унылого перехода они оказались возле великолепного экземпляра вида *Angelim vermelho*. Высота этих деревьев достигает восьмидесяти метров, раскиданные по сельве красавцы выделяются из общего ранжира словно баскетболисты.

В тот день упрямство Беляева было окончательно растоптано беспощадным кихохо. Перепоручив винтовку и мешок Серебрякову, Экштейн последнюю часть пути тащил Ивана Тимофеевича на закорках, одинаково удивляясь и тому, что еще оставались силы, и легкости ноши. Опустив бормотавшего благодарности Беляева под сенью исполина, он решил, пока Киане готовила отвар Алебуку, а казак с англичанином сооружали навес, попытаться вскарабкаться по могучим ветвям наверх и произвести рекогносцировку. Несколько раз молодой человек останавливался передохнуть, прижимаясь к стволу и слизывая с коры горьковатую влагу, пока не угнездился на пружинящей вершине гиганта. И вот тут-то осматривавшего привычный ад Экштейна словно кто-то внезапно схватил за горло — впереди по всему горизонту раскинулась едва видимая в дождевом тумане серая полоса.

Риарт и Скенони

— Ботинки, господин министр, — отвечал только что прибывший в Асунсьон из инспекции по приграничным фортам начальник Генерального штаба. — Ботинки — вот моя головная боль. Дело не в их количестве — с этим интендантство потихоньку справляется, но наши крестьяне никак к ним не могут привыкнуть. Со старослужащими еще куда ни шло, однако с призывниками хоть плачь. Стоит им надеть обувь — беда. Солдаты жалуются на постоянные мозоли и травмы. Доходит до сепсиса. В госпиталях уже полным-полно калек. Ума не приложу, что предпринять в случае мобилизации.

— Пусть маршируют на войну босиком. У меня другая головная боль, генерал!

Главной головной болью Риарта было вооружение парагвайской армии.

— Наша авиация из рук вон плоха, — вздыхал министр. — Как можно воевать на престарелых «Анрио» и «Моран-Солнье»? Подозреваю, проданные нам за звонкую монету истребители найдены где-нибудь в полях под Реймсом после Великой войны, их просто подлатали на скорую руку. «Консолидейтед-Флит 2» совершенно не годны для боевых действий — это учебные бипланы. Несколько бомбардировщиков «Потез» недостаточно даже для того, чтобы разогнать боливийских кавалеристов — я уже не говорю о более серьезных операциях. А артиллерия! Двадцать четыре миномета — все, что мы можем себе позволить вместо полевых орудий.

Скенони знал, чем хоть немного утешить Риарта:

— В сельве удобнее переносить в разобранном виде систему Стокса-Бранта, чем таскать за собой полевые орудия. Тем более, у минометов впечатляющий калибр — восемьдесят один миллиметр.

— Все это артиллерия для бедных, — отмахнулся тот. — Боюсь, приобретение канонерок выметет оставшиеся деньги из Центрального банка. Может быть, стоило закупить у итальянцев не корабли, а все те же полевые пушки?

— У нас имеются восемь горных орудий Шнейдера, которые довольно хорошо показали себя на последних учениях, и двадцать четыре семидесятипятимиллиметровки, — ответил Скенони. — Их тоже можно транспортировать в условиях бездорожья.

— И этого достаточно? — с горькой усмешкой поинтересовался Риарт.

— Для боевых действий в сельве вряд ли потребуются крупнокалиберные орудия, — рассудил Скенони. — Предпочтение отдается тому, что можно перевозить на мулах. Пулеметы, те же изделия Стокса-Брамса. Такое оружие у нас есть, включая датские ручные «Мадсен» в количестве двухсот штук. Но вот если боливийцы прорвутся к реке Парагвай, — без оснащенных артиллерией и бронированных кораблей не обойтись.

— Задача в том, чтобы не дать им прорваться, — напомнил министр.

— Здесь, господин министр, все зависит от двух условий: отношения к нам проживающих в Чако индейцев и контроля над водой в центре сельвы.

— Кстати, о доне Хуане, — оживился Риарт.

— Мои разведчики проводили генерала от форта до ручья Вернео, и это — граница наших представлений о лесах Центрального Бореаля, — сказал Скенони.

— Покажите место на карте.

Начальник Генштаба показал. От краев одной из самых важных, самых охраняемых в ведомстве Риарта государственных тайн густо тянулись к рубежу, на котором сержант Эскадо попрощался с участниками экспедиции, переплетенные ниточки уже разведанных троп, рек и ручьев. По просьбе министра рубеж был отмечен красным карандашом. Далее по-прежнему простиралось белое пятно.

Галиндо и Оливейра

— Парни, проживающие на Авенида Арс, не дают мне вздохнуть, — жаловался дону Серхио глава хунты. — Какого черта вы впрягли в свое столь щекотливое предприятие немцев?

— После войны в Европе их репутация густо замазана черной краской; я подумал, еще один темный штришок будет незаметен, — откликнулся полковник.

Галино был слишком расстроен для шуток:

— Гринго ясно дали понять — Германию они не потерпят. И так помимо бошей возле кормушки толчется немало любителей вкусенького. К тому же вряд ли в ближайшие сорок-пятьдесят лет заседающие в Берлине демократы всерьез заинтересуются парагвайской границей. Зачем тогда было втягивать в наши дела Кундта? Кстати, о подельнике главнокомандующего, некоем Реме — вы когда-нибудь интересовались его биографией?

— Интересоваться биографиями — моя специальность, господин президент.

— Эрнст Рем — пьяница, авантюрист и преступник.

— Вот поэтому он нас и заинтересовал, — невозмутимо парировал Оливейра.

— Германия слишком ослаблена, чтобы играть на нашей доске, — наседали Галиндо.

— У меня на этот счет несколько иное мнение, — тихо, но отчетливо произнес ценитель экзотических птиц. — Смею утверждать: Германия — страна со многими неизвестными; в любой момент там все может перевернуться. И тогда у Боливии, которая вовремя оценила шансы, появится мощный союзник.

— Что вы имеете в виду?

— Только то, что нам нельзя упускать ни малейшей возможности хорошо заработать.

— Под словом «нам» вы имеете в виду страну? — зачем-то переспросил взбешенный наглостью опасного интригана Галиндо. И тотчас пожалел о сказанном. Унижение последовало незамедлительно: полковник Оливейра мог позволить себе поставить человека, обязанного ему слишком многим, на место.

— И страну тоже, господин президент, — мягко уточнил он.

Питиантута

Если уж мистер Фриман дрогнул при виде озера, что было говорить об остальных! Вопль вырвался даже у сдержанной Киане. Прошлое показалось лейтенанту ночным кошмаром, и клочья этого кошмара растаскивались сейчас встречающим их ветром. Стоило Экштейну подхватить горсть озерного песка, по которому не ступала не только нога белого человека, но, вполне возможно, и вообще человеческая нога, Александр Георгиевич вновь ощутил стеснение в горле. Перед молодым человеком простиралось сейчас то самое Эльдorado, о котором грезил неутомимый советник парагвайского Генштаба. Местный Светлояр, катящий свои прозрачные волны, оказался настолько огромным, что едва просматривался его противоположный берег.

— Поздравляю с открытием, дон Беляеф! — подал свой голос едва живой англичанин.

— Я упомяну всех вас, друзья мои! — взволнованно откликнулся едва живой Алебук.

Итак, почти недостижимая цель была достигнута. Но если Иван Тимофеевич не видел никакой мистики в том, что, следуя берегом Гроа, рано или поздно экспедиция окажется в сакральном месте, то Серебряков отнес явление озера к чуду, дарованному Христом за его ежедневные мольбы. Есаул превзошел сам себя, перечислив в вечернем правиле помимо Иисуса, Богородицы и всех апостолов огромное количество святых, способствовавших благополучному завершению поиска. Затем он несколько раз широко перекрестил не только воду, землю и облака, но, на радостях, и ненавистную сельву.

Заботливо усаженный Экштейном на одеяло, края которого истрепались до сплошной бахромы, а прожженные угольками дыры грозили вот-вот разделить истонченную ткань на части, Иван Тимофеевич дал волю чувствам:

— Знаете, какая у меня в детстве была любимая сказка? «Конёк-Горбунок»! Под подушкой прятал. В кадетском корпусе не расставался.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу...

На этих берегах можно сеять пшеницу, Александр Георгиевич. Именно здесь соберем мы лучших сынов Отечества; вспашем землю; построим дома; пустим железные дороги. Будем ждать — десять лет, двадцать, тридцать. И обязательно дождемся, живые и мертвые, того самого дня, когда там, на севере, за горами, за лесами, зазвучит русский колокол, призывая к себе. Вы даже не представляете, голубчик, какой прекрасной, какой счастливой будет наша Родина. Бог милостив и воздаст сторицей за страдания: воскресит ее стройной, красивой, со спокойными реками и радостными городами. И вот тогда мы явимся из всех своих могил, из всех своих изгнаний и скажем ей: «Здравствуй!..»

Стеклышки пенсне предводителя затуманились.

Триумф-триумфом, но эйфория от встречи с загадочным Питикантукой не заставила Беляева забыть о традиционной вежливости по отношению к морос. Зеркальца и бусы были разложены по земле и развешены по кустам невдалеке от места стоянки с щедростью, почти опустошившей мешок.

Лагерь разбили с таким расчетом, чтобы от кромки волн до первых пальм людей отделяло не менее ста метров. Можно сказать, то была первая ночь, которую прижавшийся к своей возлюбленной лейтенант провел, забывшись в глубоком, словно индейский колодец, сне...

Человеческая страсть совершает порой чудеса совершенно необъяснимые. Желание как можно скорее познакомиться с Питикантукой всего за одну свежую, восхитительную ночь расправилось с воцарившимся в Беляеве кихохо. Еще вчера доставленный к драгоценному озеру на широкой спине Экштейна Иван Тимофеевич превзошел по скорости возвращения в строй самого мистера Фримана. Уже следующим утром он разбудил молодого человека. На робкие попытки Экштейна уклониться от работы, пошатывающийся предводитель отвечал категорическим «нет».

— В нашем случае день год кормит. Будьте любезны, Александр Георгиевич, поторопитесь...

Беляев еще нетвердо стоял на ногах, и картографирование ограничилось всего одной милей, однако, как говорится, лиха беда начало. На карте, постоянно готовой запарусить на ветру, появились первые очертания берега. Питикантута могло гордиться собственным микроклиматом, показавшимся лейтенанту после пекла сельвы чрезвычайно комфортным. Здешний бриз смягчал даже полуденную жару: благодаря ему о москитах на всей широкой береговой полосе можно было и не вспоминать. Взятые пробы подтвердили предположения о щедро питающих озеро подводных источниках. Беляев обратил внимание помощника и на висящие с полудня над озером тучи. Прямую ответственность за маскировку природного резервуара несли постоянно испаряющиеся над ним водные массы — вот почему водоем до сих пор не обнаружили с воздуха. Вечером к озеру из сельвы преспокойно потрусило целое стадо тапиров. Близкое расстояние позволило Экштейну не краснеть перед есаулом и мистером Фриманом — карабин обеспечил экспедицию ужином.

«Фламинго, утки, ибисы закрыли небо, — описал в дневнике лейтенант последствия сделанных им выстрелов. — На какое-то время словно наступила ночь. Это было грандиозное зрелище. Если присовокупить к этому невыносимый шум крыльев, от которого можно оглохнуть, и не менее громкий крик, разом вырвавшийся из тысяч птичьих глоток, — вот открывшаяся эпическая картина таинственного озера с его обитателями...»

Пока двое исследователей занимались нанесением на карту последнего остававшегося еще неизведанным крупного водоема, остальные тоже не теряли времени даром. Мистер Фриман убедил Серебрякова перенести стоянку на небольшой

мыс. Казак тут же взялся за топор, благо выброшенных на берег и отполированных солнцем стволов оказалось предостаточно. Экштейн и его окрыленного начальника встречало строение, четыре столба которого столь глубоко пробуравили песок, что их не мог бы сдвинуть с места самый свежий из питикантукских ветров. Киане проявила все свое мастерство, плотно уложив пальмовые ветви на крыше и крепко перемотав их лианами. Что касается материала для стен — повсюду произрастал тростник. Бесчисленными косяками заходившая в него непуганая рыба навевала Серебрякову мысль о пейзажах Эдема. Житель Дона не собирался ограничиваться удочками. И нескольких дней не прошло, как на волнах местного Светлояра уже покачивалось сооружение, похожее на полинезийский катамаран. К двум большим бревнам был привязан собранный из стволов потоньше мостик — судно демонстрировало удивительную маневренность. За гибкими ветвями для затонов и морд дело также не стало. Чуть поодаль от острога казаком в песке был прорыт туннель, закрытый пальмовыми щепками и засыпанный песком. В начале туннеля Серебряков разводил костер — на другом его конце коптилась рыба.

Мистер Фриман, вспомнив о ретортах и колбах, принялся за собственные исследования. Деятельность британца распаляла в Серебрякове самые мрачные подозрения:

— Не приписал бы себе басурманин плоды нашей победы, сударь ясный, — сделал он неутешительный вывод. — С них ведь станется, с паразитов.

— Уймись, Василий Фёдорович! — отмахивался Беляев. — Поверь, попытка приписать себе открытие Питиантуты — самое последнее, о чем он сейчас думает.

— Как же тут, сударь ясный, унять! Вот опять в склянке замутил: то ли воду, а то ли яд.

— Если и предъявлять претензии насчет колдовства, так только тем, кто послал мистера Фримана в эти благословенные края. Наверняка, он имеет самые четкие предписания от засевших в Лондоне настоящих волшебников — а тамошние мерлины спят и видят, как бы побыстрее столкнуть нас с боливийцами...

Ворча, есаул принялся за свои хозяйственные заботы.

Беляев, которого озеро воскресило из мертвых, и вдохновленный работой Экштейн появлялись в лагере затемно: сил картографов хватало только на то, чтобы поднести ко рту несколько ложек ухи. Когда встал вопрос о едва видимом противоположном берегу, катамаран есаула пришлось как нельзя кстати. Предстояло пересечь около полутора миль при свежем ветре и нешуточных волнах. Вскрабавшийся на суденышко с тяжелым кофром и мешком, набитым одеялами, чудом балансирующий на скользком настиле мостика Экштейн не случайно побаивался предстоящего круиза. Сброшенный на середине Питиантуты за борт ударом шквала и мгновенно наглотавшийся огурчиков бедолага готов был уже идти ко дну, если б не Серебряков, успевший скинуть папаху и перекреститься перед тем, как сигануть в воду. Вынырнуть с утопающим возле бревен плота для него было делом нескольких секунд. Изрыгнувший из себя чуть ли не целое ведро воды, Экштейн уже приготовился наступить на горло собственной гордости и произнести надлежащие слова благодарности, однако их словно бичом загнал обратно саркастический возглас его спасителя:

— Вы бы, сударь ясный, прежде чем так залихватски судить о мученике нашем государе-императоре, плавать бы научились.

— Василий Фёдорович! — воскликнул Беляев. — Хоть сейчас-то, голубчик, давайте без политики.

Мокрый, взъерошенный Экштейн был слишком потрясен случившимся, чтобы

достойно ответить. Весь дальнейший путь он просидел на носу, отвернувшись от казака и клацая зубами.

За несколько дней исследователи обогнули Питиантуту, подробно зарисовывая рельеф и вброд переходя впадающие в озеро реки. В последнюю ночь перед прибытием в лагерь они уже хорошо видели с места своей стоянки огонек костра на мысу.

Серебряков, которого двадцать лет назад оторвала от хутора оказавшаяся бесконечной война, словно вернулся в прошлое и теперь неустанно налаживал быт. Благодаря его топорю жилье их превратилось в настоящее укрепление с частоколом.

На очереди была восточная оконечность водоема, «запротоколировать» которую не представляло для опытного геодезиста Беляева особого труда. Лишь одно обстоятельство смущало его. Уже на второй день пребывания возле озера Иван Тимофеевич предложил Экштейну прогуляться к заветным кустам. Морос, с незримым присутствием которых путешественники уже свыклись, регулярно посещали «место торга» и здесь. Но если в походе Беляев радовался исчезновению бус, то сейчас на удивленный вопрос Экштейна, почему он так озабочен, после некоторого колебания ответил:

— Не хотел вас пугать заранее, но, видите ли, главная проблема не в том, как добраться до озера. Она в том — как отсюда выбраться. Касик, с которым вы встретились в моем дворе, мудрый человек, много проживший и многое повидавший, сказал следующее: морос дадут знак, что можно покидать их территорию только тогда, когда насытятся приношениями. Это значит, что в один прекрасный день наши дары должны остаться нетронутыми.

— А если бусы закончатся раньше? — забеспокоился лейтенант.

— Тогда однозначно мы превращаемся в пленников озера. Я верю касику Аполинару. Он предупреждал: стоит нам ретироваться отсюда без благословения хозяев, и пяти минут не пройдет, как морос украсят нашими головами свои копья.

— Что остается делать?

— Остается заняться самым утомительным делом на свете, Александр Георгиевич. Ожиданием.

Журналисты часто бывают не совсем правы, или «Почему я обо всем узнаю из газет?»

— Аргентинские источники заявляют: боливийцы нашли в Чако труп генерала Беляева. — Мистер Бьюи шелестел «Асунсьонским вестником», который от корки до корки был просмотрен им при свете керосиновой лампы в то время, когда «паккард» министра подпрыгивал на булыжниках столичных улиц.

Повинуясь жесту постояльца, к столику на знакомой веранде подскочил официант и унес лампу. Джентльмены, как всегда, предпочитали полный мрак.

— У меня нет такой информации, — сухо отвечал Риарт.

Мистер Бьюи зашел с другого конца.

— Все никак не могу договориться насчет вентилятора в номере, — пожаловался почетный обитатель «Гран Отель-дель-Парагвая». — Странно, гостиница позиционирует себя чуть ли не как королевская, а в ней нет обыкновенного электрика. Явился какой-то малый, но вся его деятельность свелась к вымогательству. Пришлось пойти на принцип — и вот результат: спасаюсь от жары в ванной — хорошо еще, есть вода, правда, желтоватая, но и на том спасибо.

— Я пришлю специалиста, — откликнулся на жалобу Риарт. — И от государства в моем лице примите извинения.

— Парагвайцы вызывают в скромном лондонском торговце чувство глубокого уважения, дон Луис, — в свою очередь откликнулся на любезность министра прожженный разведчик. — Но не кажется ли вам странным, что в благословенной Господом стране даже такой вопрос, как замена сущей ерунды в частном отеле, решается на самом высоком уровне? Честно говоря, это обстоятельство вызывает некоторую тревогу за наше общее дело, и...

— Что касается всего остального, вам не стоит беспокоиться, мистер Бьюи, — перебил англичанина Риарт. — Вооруженные силы Парагвайской республики...

— Я не имею в виду армию, — не дослушал Риарта англичанин. — Хотя весь мой жизненный опыт подсказывает: что касается халатности и элементарного разгильдяйства, любая армия даст тому же отелю сто очков вперед. Но оставим в покое вооруженные силы. Меня крайне тревожит настоящее, без которого, как известно, будущего не бывает...

— Экспедиция была подготовлена должным образом. До Центрального Бореаля ее сопровождали люди, хорошо знающие местность. Затем они передали эстафету гуарани, — Риарт сам не заметил, как начал оправдываться. — Конечно, может случиться все. Даже здесь, в Асунсьоне, никто не застрахован от неожиданностей. И все-таки надеюсь на лучшее. Дон Хуан — кадровый военный с большим опытом пребывания в сельве. Кроме того, не сомневаюсь: ваш протеже составляет ему надежную компанию. Вполне возможно, нам подсовывают обыкновенную дезинформацию.

— Так или иначе — гонка уже началась. Если о миссии Беляева пронюхали журналисты провинциальной «Рио Негро», на страницах которой обычно можно прочесть разве что сообщения о пропаже кроликов, дело с секретностью в вашем ведомстве, уважаемый дон Луис, обстоит из рук вон плохо. А вернее — никак.

— Тем не менее, будем ждать. Что касается дона Хуана: его хоронили неоднократно.

— Хотелось бы верить вам, а не ушлым аргентинским писакам. Кстати, если прислушаться к информаторам все той же вездесущей «Насьон», посланники Ла-Паса оказались более удачливыми, чем этот ваш знаток индейской этнографии. Кажется, они навестили озеро первыми. Впрочем, что я буду пересказывать. Вот, почитайте-ка на досуге.

Электрический свет, на который так надеялся вернувшийся к себе дон Луис, захлопнувший кабинетную дверь настолько плотно, что адъютанту не удалось расслышать за ней ни малейшего звука, оказывал услуги вплоть до того момента, когда Риарт прочитал незатейливый заголовок: *«Великий Чако: Боливия впереди»*. Затем весь город погрузился во тьму. Похоже, трижды проклятый британец был недалек от истины: в этой стране отказывало решительно все. Оставалось проверить телефонную связь между Асунсьоном и казармами в Вильяррике, куда укатил неугомонный начальник Генерального штаба — и вот она-то сработала на удивление бесперебойно, предоставив Риарту право, наконец, излить свои чувства:

— Скенони! Почему я обо всем узнаю из газет?!

Ответ последовал незамедлительно:

— Доверие к журналистике — последнее, что бы я посоветовал господину министру.

Циркуль

Взору Рамона Санчеса и его незадачливого товарища открылась та самая поляна. Все лежало на своих местах — брошенные фонарики, батарейки, свернутая в рулон палатка, седла, мешки с подгнившей мукой, от которых тянулись во все стороны цепочки муравьев. Тростниковые стены хижины прятали обглоданного мертвеца. Обреченных лошадей густо облепили москиты и мухи. Дикари, если они и побывали здесь, ничего не взяли.

Какое-то время Рамон оторопело смотрел на свой компас — а затем со злостью зашвырнул его в заросли. Команданте был слишком потрясен и вымотан, чтобы разгадывать этот дьявольский фокус. Усталость вытеснила и чувство элементарной осторожности: он готов был рухнуть здесь же, рядом с выброшенной амуницией, невзирая на перспективу быть убитым и съеденным дикарями. То, что прежде им были постелены одеяла, наложена шина на распухшую ногу несчастного Аухейро, разведен костер, приготовлен ужин из вскрытых ножом и разогретых на угольях консервов, относилось к разряду фантастики. Упрямство мексиканца не собиралось сдавать позиции, чего нельзя было сказать о его подчиненном.

Любая война свидетельствует: достаточно двух-трех моментов, в которые смерть не просто потреплет по плечу, а явит всю свою бездну, — и мускулистый, натренированный стрельбами, турником, полигонами здоровяк внезапно надламывается, как перегнившее изнутри дерево.

Лежа с закрытыми глазами под небом, в котором было тесно от звезд, Аухейро постанывал и, забываясь, нес всякую чепуху. Лошади стояли, как черные призраки. Медленно, капля за каплей, протекла вся ночь. Чилиец явно не собирался вставать следующим утром, до которого было уже рукой подать. Он утихомирился только когда, сменив на дежурстве сов и летучих мышей, закричали попугаи. Впрочем, затих ненадолго.

— Циркуль.

Санчес удивленно приподнялся на локте.

— Циркуль, команданте, — Аухейро знобило. Он жарко проговорил: — Кто-то воткнул циркуль... И мы... по кругу...

Рамон смолчал.

Утро наконец явилось. Первым же лучом солнце задело хижину. Лошадь Санчеса беззвучно упала на колени и завалилась на бок. Угли костра рядом с одеялами заблестели от всепроникающей влаги.

— Я устал бояться...

Сомкнувший челюсти от холода Санчес вновь вздрогнул. Речь Аухейро, едва слышимая в гомоне сельвы, поначалу показалась Рамону все той же ночной бредятиной, но вскоре в ней начали связываться между собой некие смысловые ниточки.

— Я устал бояться, команданте... Морос. Да, да, морос, которые были для нас вездесущими, которые таились для нас за каждым кустом... Мне кажется, на самом деле все не так, команданте. Мне кажется, на самом деле все не так.

— О чем ты? — хмуро переспросил Санчес.

— О дикарях, команданте. Я о каннибалах, которыми нас пугали. Их нет — вот что я понял. Зря вы убили Родригеса. Морос не существуют. Это всего лишь страхи. Наши страхи, команданте. Морос — то, что мы сами себе выдумываем. Ночные кошмары... знаете, как в детстве. По большому счету, мы и являемся этими самыми

дикарями. Они внутри нас, вот что я понял, — Аухейро слабо постучал по своей груди. — Они здесь, команданте. Вот, где они попрятались... Здесь они и будут жить вечно...

Чилиец еще о чем-то бормотал, но цепочка разомкнулась, нити развязались. Он все быстрее приближался к границе безумия — и вскоре ее пересек.

Закрыв через несколько часов глаза еще одному мертвецу, недоучившийся студент, ординарец славного генерала Энрике Горостьеты, делатель вдов, революционер и наемник Рамон Диего Санчес, голова которого на его родине была золотой, засобиравшись в путь.

Ожидание

Дикари исправно продолжали забирать дары. На этот раз на совете «племени» Сильная Рука Беляев не скрывал озабоченности:

— Даже если баловать морос раз в неделю, бус едва ли надолго хватит.

Оставшиеся зеркальца разбили на множество частей, а бусы решили делить. Из большой нитки получались три малые, годные разве что для украшения младенцев. Беляев, инициатор вынужденной хитрости, разглядывая результат, вздыхал:

— В одной армянской сказке пришел к скорняку человек с бараньей шкурой и попросил сделать из нее шапку. Тот согласился. Тогда человек подумал и спросил: «А две можешь?» — «Могу и две». — «А три?» — «И три могу». — «А семь?» — «Что же, скрою и семь». Ударили по рукам. Клиент явился забирать заказ — что же видит: скорняк сшил ему семь крохотных шапочек.

Посмеявшись, он признался Экштейну:

— Конечно, я виноват. Я исходил из прежнего опыта общения с гуарани. Нужно было запастись мешками. Кто же знал, голубчик, что морос более падки на подношения, чем мака и чимакоко. Мне кажется, они украсили нашими бусами даже своих собак.

С тех пор каждый раз, когда, навестив «торги», Беляев и Экштейн появлялись в воротах «крепости», их встречали три пары внимательных глаз. То, что новостями из сельвы всерьез заинтересовался мистер Фриман, было самым явным знаком надвигающейся беды. День шел за днем, но, увы, ничего утешительного «парламентеры» принести не могли. Внутреннее напряжение старались не показывать, тем более, работы хватало. После того, как двумя картографами был протоптан весь берег, обустроившийся в «остроге» Беляев не выпускал из рук карандаш, расшифровывая записи в своих разбухших блокнотах и перенося на карту все новые и новые обозначения. Ненадолго отрываясь от главного дела, тщательно прорисовывал наброски показавшихся ему любопытными деревьев и растений, собирая затем этюды в особую папку. Дождался своей очереди обширный гербарий. И все-таки в центре внимания по-прежнему оставалось озеро: Экштейну и Серебрякову несколько раз пришлось перемеривать глубины в самой широкой его части. Кроме того, обнаружили течения вдоль южного и северного берегов — по всей видимости, большую роль в них играли воды впадающих в озеро рек и подводных источников. Беляев не только зафиксировал феномен, но и при помощи самодельного лага вычислил его скорость. Особое значение придавал он качеству озерной воды. В лейтенантском мешке, давно приготовленном к желанному возвращению, были аккуратно упакованы пробирки со взятыми в разных местах образцами и две увесистые папки с описанием русла Гроа. В измятом дневнике самого Экштейна мрачные мысли об иезуитстве морос

сосуществовали с редкими всплесками оптимизма. Впрочем, просветов становилось все меньше. Не удивительно, что после очередного возвращения с «места торга» отчаяние подвигло его вывести прерывистым почерком: *«Самая ужасная вещь на свете — ожидание. Нет ничего более изнурительного, гнусного, мучительного, выжимающего все жизненные соки!!!»*

Что касается провианта, охотничьи способности мистера Фримана были выше всяких похвал. Питиантута вскоре привыкла к двум-трем ежедневным выстрелам. Кроме яств из разнообразной рыбы, в меню, благодаря кулинарным стараниям Киане, постоянно входило такое блюдо, как запеченные в пальмовых листьях утки. Индианка также умела обращаться с иглой, и лохмотья путешественников приобрели более-менее приличный вид. Правда, ей пришлось пустить в ход одно из одеял, но благодарность участников похода не знала границ. В конце концов, даже Серебряков доверил ей свою полинялую черкеску.

Однажды ночью, прильнув к удрученному возлюбленному, девушка зашептала ему на ухо:

— Я знаю, о чем думает ичику. Знаю, как можно обмануть морос. Нужно уйти в темноте, когда сельву покроет туман, и оставить горящим костер. Пусть морос думают — в лагере кто-то есть. Пусть долго думают. Нужно идти вдоль берега по воде, тихо идти, очень тихо. Можно вырваться, ичику...

Что у мужчины на уме, то у женщины на языке. Нашептанные исподволь, словно невзначай, слова не пропадают втуне, тем более, если озвучивают то, о чем думает слушатель. Момент для откровенного разговора был выбран, когда Беляев предложил лейтенанту прогуляться. Недалеко от мыса они с Экштейном привычно расположились на берегу, наблюдая за работой вечернего бриза, который, словно пастушья собака, сбивал облака в стада.

На предложение лейтенанта Беляев ответил решительным нет:

— Я, голубчик, сам азартен по природе, иду на риск при каждом удобном случае, но в данных обстоятельствах об этом и речи не может быть. Выкиньте из головы: слишком многое поставлено на кон. Не сомневайтесь — за нами постоянно, беспрестанно следят...

Будто в подтверждение его слов той же ночью над сельвой, перекрывая обычное уханье и клекот, прокатился крик, от которого даже мистер Фриман слетел со своей лежанки. Вопль повторился, и лейтенант прочувствовал, что означает выражение «стынет в жилах кровь». Казалось, сам дьявол, которому, неизвестно по каким причинам, отдана на откуп эта планета со всеми ее океанами, морями и огромными кусками суши, а также с бесчисленным количеством людских душ, поднявшись из глубин земли, разминая затекшие члены и озирая свое царство, исторг клич, утверждающий собой безоговорочное торжество зла. Стоит ли объяснять, что обитатели острога до самого утра не расставались с карабинами?..

День накатывал на день. Бусы и осколки зеркал стремительно заканчивались. Лейтенант, которому придавало мужества разве что присутствие Киане, нашел в себе силы записать: *«Мы по-прежнему пленники. Какая разница в том, что тюрьма наша имеет протяженность в десятки верст! Каждый приговоренный знает, сколько он будет сидеть: год, два или все десять. Нам же приговор не объявлен — что может быть мучительнее? И неизвестно, сколько еще выдержим»*.

Тревожным звонком для Беляева стало то, что в последнее время Экштейн отказался навещать вместе с ним «место торга». Большую часть суток он лежал, отвернувшись к тростниковой стене и вяло откликаясь на вопросы. Нельзя сказать,

что состояние есаула было более радужным: «катамаран» казака, привязанный к вбитому колу, сиротливо покачивался на гребнях волн. Мистер Фриман, положив на плечо винтовку, по-прежнему прочесывал тростниковые заросли, но и он заметно сдал. Британский лев оставил привычку тщательно драить котелок и окончательно потерял интерес к отросшим, словно у лепрекона, бакенбардам. Всех троих поразила какая-то странная болезнь, при которой замедлялась речь и менялся тембр голоса, малейшее движение требовало усилий.

Через месяц после того, как закончились бусы и в ход пошли котелки, ложки, ножи, завалявшиеся монеты, наконец, кинжал Серебрякова, находящийся за тысячу километров от Питиантуки с инспекцией в Пуэрто-Касадо Скенони, способность которого к анализу была притчей во языцах, ознакомился с мнениями разведчиков. Отпустив их, генерал вызвал телефониста, связался со столицей и, доложив министру о ситуации, услышал вполне ожидаемое резюме: «Они наверняка сгнули, Скенони».

Через неделю после этого обнадеживающего телефонного разговора бледный маленький человек в пенсне отправился на очередной «обмен»: руки его были пусты. Уже подходя к месту, он решительно отстегнул от брючного ремня карманные серебряные часы и без всякого сожаления положил их на траву возле корней — туда, куда раньше выкладывал осколки зеркала.

Посетив «место торга» следующим утром, Беляев вернулся в острог раньше обычного. Часы висели у него на поясе. Сильная Рука разбудил сомлевших товарищей, щелкнул крышечкой изделия фирмы Буре, проверяя время, и буднично сказал:

— Пора собираться. Морос отпускают нас. Они не взяли дары. Они дали знак уходить.

И вновь Оливейра и Галиндо

— Я жду вестей, дон Серхио, — напомнил Оливейре главный путчист.

— Вы будете шокированы, господин президент, — откликнулся полковник. — Но я занимаюсь тем же самым. И что-то подсказывает мне — вести не заставят себя долго ждать; кто-нибудь да откликнется: мои люди или, упаси Бог, дон Беляефф. И вы не представляете, какой завертится калейдоскоп, когда это произойдет.

Калейдоскоп

Через год после возвращения людей-скелетов к железнодорожной насыпи возле форта, после их краткого отдыха в Пуэрто-Касадо, во время которого вернувшиеся с того света наслаждались теплым молоком и галетами, после торжественных встреч на реке Парагвай, где целая флотилия лодок и каноэ вышла навстречу посудине, доставившей в столицу героев, после криков «Вива, эль хенераль Беляефф!» и «Вива, Русия!», после оркестров с неизменным «Прощанием славянки», после торжественной встречи в военном министерстве и не менее торжественной — в Университете, — короче, после всех этих прогремевших на всю страну событий тихому постояльцу «Гран Отель-дель-Парагвая», имевшему обыкновение освежаться по утрам на террасе чашечкой кисло-сладкого кофе, вместе с кофейным прибором и двумя кубиками тростникового сахара была доставлена некая записка. Утро было слишком прекрасным, чтобы покидать насиженное место. Неторопливый цокот копыт раздавался то здесь,

то там, голоса разносчиков мате и газет, в отличие от невыносимого птичьего гомона, звучали ангельским хором. Утро — время молодых: вот еще почему посланец далекой страны так любил эти часы. Поинтересовавшись у расслабленного официанта, кто доставил сию бумагу, он выслушал в ответ: записку передал некий однорукий господин, навестивший холл гостиницы за пять минут до появления самого Бьюи.

— Однорукий? — радостно переспросил работника разведчик.

Официант лениво кивнул.

Отпустив вестника, мистер Бьюи развернул листок, который, судя по аккуратности сгиба, был сложен инвалидом не без помощи посторонних (выполнить просьбу мог любой мальчишка-разносчик), и прочитал следующее: *«Жду вас на противоположной стороне улицы»*.

Посланцу обитающих на реке Темзе богов оставалось в три глотка разделаться с напитком, подхватить трость и котелок, пружинисто спуститься с лестницы и вступить на мостовую с намерением все так же легко и пружинисто пересечь ее.

Тем же вечером министр Луис Риарт несколько раз тупо перечитал заметку в «Асунсьонском вестнике», врученном ему на пороге министерства дежурным капитаном. Он никак не мог поверить в произошедшее, и лишь последующий доклад офицера убедил министра в невероятном. Увы, на этот раз газеты не лгали, оповестив обывателей, а заодно и сильных града и мира, к числу которых, несомненно, относился сам Риарт, о происшествии: *«Сегодня утром возле столичной гостиницы «Гран Отель-дель-Парагвая» был насмерть задавлен экипажем британский коммивояжер мистер Арнольд Чарльз Бьюи, прибывший в Асунсьон примерно год назад по коммерческим делам и проживающий в вышеупомянутом отеле. Покойный переходил улицу. Возница и свидетели случившегося в один голос утверждают — внезапно понесли лошади. Представители полиции так же не сомневаются — имел место несчастный случай, о чем они уже оповестили корреспондентов столичных газет и официальных представителей Британии. Тело мистера Бьюи находится в морге клиники Санта-Мария»*.

Дежурный капитан несколько напрягся, когда начальник откликнулся на его сообщение довольно странным образом.

— Падуб, — лихорадочно выпалил мистер Риарт. — Да, да, то самое дерево... Черт подери, падуб.

Из ступора дона Луиса не могло вывести даже известие о наконец-то задымивших трубами на главной водной артерии страны столь долгожданных, заоблачно дорогих канонерках, вселяющих броней и орудиями в будущих защитников Центрального Бореаля самые нешуточные надежды.

Вдалеке от Асунсьона, где произошло столь прискорбное событие, два боливийских летчика, чей аэроплан свободно барражировал над сельвой после того, как аэродромы военно-воздушного флота Боливии вплотную приблизились к границе, чудом разглядели в черно-сером мессиве туч синий просвет. Еще одним чудом было то, что любопытство взяло верх над усталостью и страстным желанием обоих повернуть к далекому дому. Поглощающий авиационный бензин с жадностью Гаргантюа учебный «Кодрон» С97 поднырнул под облака и, отметив своей тенью не одну сотню пальм, внезапно оказался над водой. Оба разведчика заорали от неожиданности и надолго умолкли, со страхом и восхищением наблюдая простирающийся на целые мили водный массив. Нанесение координат стало делом нескольких секунд. Впрочем, радость лопнула, как перегоревшая лампочка, когда они обнаружили мыс с тремя казармами. Раскраска трепещущего на флагштоке знамени красноречиво говорила о том, как их здесь встретят. И словно прочитав мысли летунов, высыпавшие из казарм парагвайские

«босяки» разом вскинули винтовки. Летчики — народ чрезвычайно сообразительный: чуть ли не вертикально подняв взревевший «Кодрон», они сочли за благо вновь лицезреть беспросветную облачную пелену.

Не привыкший верить на слово полковник Оливейра признал полное поражение только после того, как ознакомился с аэрофотосъемкой. Немец Курт Беске, безудержной лихости которого завидовал сам риттмайстер Рихтгофен, не зря ел хлеб на боливийской службе. Во время Первой мировой этот верный кандидат в покойники на спор сбил шасси своего самолета фуражку с головы еще одного потенциального самоубийцы, однополчанина лейтенанта Зиббса — чем и прославился. Наемнику сам черт был не брат, вот почему пальба (почти в упор) всех огневых единиц вражеского гарнизона, окопавшегося на проклятом озере, его нисколько не смущала, пока неторопливо стрекотала камера. Севший на одном из земляных аэродромов северного Чако «фоккер» безумного Курта заставил техников схватиться за голову, зато снятые кадры оказались настолько четкими, что отображали даже ярость на лицах парагвайцев. Но все это было уже неважно! Мельком взглянув на казармы и протянувшуюся от мыса к сельве тропу, по которой, несомненно, доставлялись тяжелые грузы, Оливейра захлопнул папку с надписью «Озеро» и убрал ее с глаз долой. Его не оживило известие, прилетевшее следом за вояжем сумасшедшего немца, хотя оно было весьма любопытным. Обитающие на боливийской территории Бореаля гуарани, непонятно зачем шнырявшие в чакской сельве, при возвращении обнаружили там некую хижину, а в ней и возле нее человеческие и лошадиные останки. Рядом с покинутым строением индейцы подняли из травы истощенного, едва способного шевелиться человека. Так и не приведя бледнолицего в чувство, гуарани захватили его с собой и сумели доставить живым в один из тех полевых госпиталей, которые предусмотрительный Кундт, готовясь к войне, приказал развернуть на границе. Затем найденный был перемещен в приграничный с Бразилией город.

Оливейра, занятый выше горла, предпочитал не думать о таинственном пациенте клинической больницы Пуэрто-Суареса. Однако в один из июньских, особо хлопотных дней 1932 года, накануне Чакской кампании, прошлое само напомнило о себе, явившись в приемную разведывательного ведомства, и у полковника не оказалось веских причин не позволить ему войти. Опытному ловцу человеческих пороков и слабостей было достаточно взглянуть на пришельца. Глаза материализовавшегося призрака запали столь глубоко, что буравили полковника словно бы из туннелей. Прошлое молчало. Впрочем, и ему не собирались задавать вопросов. Одной из самых удивительных вещей в этом мире является то, что милосердие иногда стучится и в сердца подобных дону Серхио христиан. Оливейра немного подумал, не сводя взгляда с Рамона Диего Санчеса, выдвинул ящик своего необъятного стола и протянул мексиканцу увесистую пачку боливиано.

Министр Риарт сдержал данное своему советнику слово: у Беляева появился шанс осуществить мечту. Но, увы, светлое будущее белогвардейского «колхоза», оказалось миражом: разругавшиеся между собой после нескольких лет существования общины, русские колонисты разъехались по разным странам и континентам.

А вот тлеющий, как торф, конфликт в Центральном Бореале занялся настолько споро, что стало жарко не только в Асунсьоне и в Ла-Пасе, но и во многих других столицах южноамериканского континента. Патриотизм, захлестнувший боливийских крестьян, на которых мешком висела новенькая форма, был несомненен; у офицеров желание драться перевешивало порой здравый смысл; хлебнувшие лиха с германцами на Великой войне, выходцы из России одними из первых вскочили в седла. Эрны

(Николай, Сергей, Борис), Чирков, Зимовский, Канонников, Салазкин, Керманов, Флейшер, Касьянов, Ширкин, Штенберг, Гольдшмит, Леш, Малютин, Бутлеров, Ходолей, Серебряков, братья Оранжеевы, а также еще десятки и сотни других есаулов, штабс-капитанов, подполковников и полковников наводили на подопечных Кундта артиллерийские батареи, сжигали боливийские танки, сбивали аэропланы и в совершенно денисдавыдовском стиле совершали партизанские рейды по тылам противника во главе лихих эскадронов.

Беляеву было предложено возглавить парагвайский Генштаб. Результатом его неустанной деятельности на этом посту явилось то, что отправленный после войны в отставку и коротавший пенсионные дни в Швейцарии генерал Кундт до конца своей жизни старался не вспоминать о Толедо и Нанаве. Попытки лобовых атак на созданные Беляевым позиции (в укреплении которых не последнюю роль сыграли квебрахо и густо усеянные минами поля), привели к феерическому разгрому боливийских бригад, в результате которого ведомые все теми же русскими сорвиголовами парагвайские пехотинцы, распевая «соловья-пташечку», перешли границу и, взбивая пыль голыми пятками, замаршировали к Вилья-Монтесу. Лишь только крайнее утомление отечества, истощившегося физически и материально, заставило их поставить винтовки в козлы. К тому времени в плену оказалась почти вся вражеская армия, и до подписания перемирия воинственные парагвайцы были вынуждены кормить лагерной баландой около трехсот тысяч человек.

Награды посыпались позже. Беляев стал Почетным гражданином Парагвая. Первооткрывателю таинственной Питиантуты, этнографу, географу, антропологу, лингвисту было предложено возглавить Национальный патронат по делам индейцев. Набросав пьесу об участии гуарани в Чакской компании и организовав индейский театр, дон Хуан выехал с разнаряженной в перья труппой в Буэнос-Айрес, где снискал лавры режиссера и драматурга. После этих камланий никого уже не удивило, что организатор и участник одной из самых невероятных экспедиций двадцатого века стал Генеральным администратором индейских колоний на территории столь полюбившейся ему страны.

Иван Тимофеевич Беляев оставил этот дивный мир, полный тихого шелеста псковских лесов и криков сельвы, грохота трехдюймовок и бодрого ритма индейских песен 19 января 1957 года, немало удивив этим своим поступком гуарани, давно вознесших Сильную Руку на уровень богов. Трехдневный общенациональный траур — самое малое, что могли сделать асунсьонские власти. Когда выносили гроб, столпившиеся на площади перед православной церковью индейцы стройным хором, поразившим всех присутствующих, запели «Отче наш» на языке чимакоко. Прежде чем ожидающая возле пристани баржа приняла тело почившего касика, гроб был пронесен индейцами по главным улицам парагвайской столицы. Местом упокоения неугомонного Алебука была выбрана низина в пятидесяти километрах от Асунсьона — там проживало одно из племен гуарани. Индейцы поклялись охранять домовину до скончания века.

P. S.

Но все это было потом, а в июне 1932 года, накануне Чакской войны, дражайший Иван Тимофеевич гостил у недавно женившегося и перебравшегося в собственный домик капитана Экштейна. В патио, над которым скользили краснеющие вечерние облака, заметно располневшая Киане, в юбке и кофточке с глубоким вырезом, в

котором серебрился маленький крестик, угощала их заваренным особым индейским способом мате.

Перед тем, как мужчины приступили к ужину, речь зашла о Френсисе Фримане. На обратном пути, уже накануне встречи путешественников с парагвайским патрулем британца ужалила какая-то неведомая ползучая тварь. Укус мгновенно вызвал гангрену, и по настоянию Киане, сразу оценившей глубину катастрофы, Фриман был подвергнут жестокой и крайне опасной, но жизненно необходимой операции — недрогнувший Серебряков раскаленным добела на костре топором отхватил ему руку по локоть. В Пуэрто-Касадо несчастного встречал профессиональный хирург. Несколько месяцев восстановления прошли под пристальным надзором врачей. Все это время Иван Тимофеевич нешуточно волновался за судьбу британца, однако тот на письмо Беяева предпочел не ответить, а затем и вовсе как в воду канул...

Экштейн завел разговор о так и не увиденных ими морос:

— До сих пор слышится мне тот крик в ночи. Даже сейчас, как вспомню, мурашки по коже.

— У сельвы свои законы, — заметил Беяев. — Надеюсь, голубчик, вы не обижаетесь на меня за то, что я вовлек вас в эту авантюру? А что касается страха перед дикарями — вы молоды, в ваши годы все плохое вытесняется из памяти очень быстро.

* * *

Появившиеся июньским утром 1932 года в аргентинском порту Мар-дель-Плата двое в штатском вежливо попросили однорукого господина, уже ступившего на трап парохода «Вива», на несколько минут задержаться на берегу. Их безупречный английский сыграл свою роль — разглядев в просителях соотечественников, тот согласился.

Господин был тщательно выбрит, ухожен и, судя по тому, с какой ловкостью подхватил рюкзак и кожаный футляр с карабином, переместив их за спину, он явно привык управляться со всем одной рукой. Немногочисленные посетители небольшого кабачка неподалеку от пристани стали свидетелями той короткой встречи.

— Нас интересует лишь один вопрос, — обратился к будущему пассажиру рейса «Мар-дель-Плата — Портсмут» один из навязавшихся джентльменов. — Что вы хотели сказать тогда мистеру Бьюи?

Однорукий помолчал, рассматривая будничную портовую суету за окном: к трапу трехпалубного лайнера уже выстраивалась пестрая очередь. Но, судя по всему, ответ на этот вопрос был у него давно готов:

— Только то, господа, что война за овладение Чако будет бессмысленной. Если там и найдут нефть, в чем я сильно сомневаюсь, то разве что в далеком будущем. Сейчас же не стоит и дергаться: лишние хлопоты, лишние траты. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Его собеседники обменялись взглядом.

— Как вы думаете, есть шанс остановить приготовления к бойне? — в свою очередь спросил их человек, которого на второй палубе «Вивы» ожидала скромная, но достойная каюта с санузлом, откидным столиком, вентилятором и удобной койкой.

Ответ был не менее честным:

— Застопорить машину, уже набравшую ход, может разве что Господь Бог. Но Он обычно не вмешивается, предпочитая, скорее, наблюдать, чем действовать.

— Жаль, — сказал Френсис Фриман. — Жаль.

КОНЕЦ

Анна Русс

Из твоей головы

* * *

Маленькие журавлики,
Вы прилетели из Африки?
Анечка, мы не из Африки
Мы из твоей головы

Сложенные, бумажные
Важные или неважные
Сложные и тревожные
Крылышками машете вы

Не воробьи, не соловушки
Тесно вам в этой головушке
Некуда вставить слова
Некуда полететь

Не скакуны шальные вы
Вы мои дети больные вы
Что с вами делать, родные?
Дети, куда вас деть?

В сердце нам будет не тесно нам
В сердце там много же места там
— Где оно?
— Нам не известно.
Нам-то откуда знать.

И трепыхаются, вертятся
Стенки цапают, сердятся
Где ж его взять, это сердце?

Сердце, где тебя взять?

Русс Анна Борисовна — поэт. Родилась в Казани в 1981 году. Окончила Казанский государственный университет, училась в Литературном институте им.А.М.Горького. Автор книги стихов «Марежь» (М., 2006). Лауреат премий «Дебют», имени Бориса Соколова, «Открытая Россия», «Звёздный билет» и др. Живет в Казани.

В «ДН» печатается впервые. В подборке сохранена авторская пунктуация.

* * *

...Из леса выходит старик
А глядишь — он совсем не старик
Напротив, совсем молодой
Красавец, но зрелый на вид
Пожалуй, он даже старик

...А глядишь — он совсем не старик
Напротив, зелёный юнец
Мальчишка, но взгляд его мудр
Недетский такой, да и сам
Сутулый, на вид пожилой
Морщинистый, древний старик

...А глядишь — он совсем не старик
Да ладно, какой там — пацан!
Румяный, пушок на щеке
Но согнут, как будто старик

...А глядишь — он совсем не старик
Салага ещё, карапуз
Но смотрит по-взрослому так
Как будто в натуре, старик

...А глядишь — он совсем не старик
Напротив, совсем молодой

Красавец
Дубровский

Собачий зуб

Сняли куртки сели
Я заказал сырных шариков и вина
Прости
Внезапно спрашивает она
Но что бы ты выбрал:
Ответственность
За смерть безгрешного человека нести
Или продаться в рабство на много лет?
Может быть на всю жизнь?

А она такая обыкновенная
Классная
Нежный цветочек губ
Кепка рубашка
Мой любимый жилет
С узором «собачий зуб»
И на шее пятно голубое от пятничного засоса

Отвечаю: нет
Ну уж нет отвечаю
Что за постановка вопроса?
Это ты уже ощущаешь себя убийцей
А я ничего пока что не ощущаю

Спроси, что я выберу: рабство или свободу

Наверное я был немного резок
Немного груб
Но мне было страшно
Я-то не знал никакого безгрешного человека
А вдруг он там слабоумный или калека
Спрашиваю: будешь вина?
Мне нельзя говорит она
Мне пожалуйста

Минеральную воду

* * *

Он в квартире без балкона
Себе места не находит
Он внутри как йоко оно
А снаружи как бандерас
Он и логос он и эрос
Он и танос и хуарес
Он набычился как парус
Полные карманы бури
Он выходит из вагона
Он всегда идёт налево
Он внутри как йоко оно
А снаружи как траволта
Для тебя сияют звёзды
И вокруг всё стало жёлто
И твои мослы и кожа
Стали чем-то там прекрасным
Ты на сон его похожа
Для тебя он сцедит кровь всю
Досуха, всю кровь и семя
Слёзы, пепел, ил и лаву
Он себе находит место
Он жених майора шолто
Он тебе напишет песню
И вокруг все стало жёлто
Слёзы, ил и лава-лава
Ты сегодня королева
Всё всегда идёт налево
Даже если это право

Алекс Тарн

Томик в мягкой обложке

Рассказ

Сжатый темной теснотой, туго спеленатый вместе с другими точно такими же, как он, Юрий Андреевич сначала не чувствовал ничего — вообще ничего. Неудивительно: чтобы чувствовать, вспоминать, жить, надо по меньшей мере отделиться от общей массы, стать самостоятельным субъектом, а до этого, видимо, было еще далеко. Кроме того, он плохо понимал по-английски. Обрывки немногих реплик, доносившиеся сквозь несколько слоев толстой оберточной бумаги, звучали совершеннейшей абракадаброй, поэтому Юрий Андреевич счел за благо не вслушиваться и отключился до лучших времен.

Потом его, опять же, как и других, грубо ворочали, швыряли, переворачивали — и так, и эдак, до тошноты, до полного отупения. Внешний мир проявлял себя то дробной дорожной тряской, то воем стартующих авиационных двигателей, то жутким холодом багажного отделения. Трудно сказать, как долго их перетаскивали, перевозили, перебрасывали с места на место. Но вот наконец послышался треск разрываемой обертки, и в глаза Юрию Андреевичу ударил яркий электрический свет.

— В мягкой обложке? — сказал кто-то по-немецки.

Немецким и французским Юрий Андреевич владел более-менее свободно.

— Как показывает опыт, твердые обложки все равно отрывают, — отвечал другой голос.

— Отрывают? Зачем?

— Легче спрятать. Бывает, вообще, расчлениют на четыре-пять кусков...

— Дикость какая...

— Так что, берете?

Первый взял Юрия Андреевича в руки и бегло перелистал. Это было неизъяснимо приятное чувство, острое ощущение начавшейся личной жизни, самостоятельной, отдельной от двойников — товарищей по пачке.

— Я практически не читаю по-русски... — брюзгливо проговорил листающий. — Как объясню, если задержат на таможне?

Алекс Тарн — поэт, прозаик. Родился в 1955 году. Жил в Ленинграде, откуда репатриировался в 1989 году. Автор нескольких книг. Стихи и проза печатались в журналах «Октябрь», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал». Живет в поселении Бейт-Арье (Самария).

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Шабатон» (2020, № 8).

— Вы ничем не рискуете, — возразил его собеседник. — Самое худшее, что может произойти — отнимут и отпустят. Никто не бросит вас в тюрьму за найденную в багаже книгу нобелевского лауреата.

— А если не отнимут? Кому потом...

— По вашему выбору. Там и сориентируетесь, прямо на симпозиуме.

— Хорошо... — с явной неохотой согласился первый.

Он захлопнул маленький, карманного формата томик и сунул его в портфель, где уже находились — как видно, на более законных основаниях — две пухлые папки с тесемками, огромная монография по физике твердого тела, дневник-календарь в роскошном кожаном пальто и плоская фляжка, распространявшая едва уловимый аромат отдыха от трудов и забот.

— Коньяк? — приветливо поинтересовался Юрий Андреевич.

— Скотч, — помедлив, булькнула фляжка. — А вы, судя по акценту, француз?

— Русский.

— Пфуй...

Последнее презрительное междометие принадлежало твердотельной монографии, которая явно считалась здесь за главную. Не удовлетворившись этим кратким, но емким выражением недовольствия, она тяжело навалилась на Юрия Андреевича жестким дерматиновым боком. Он попробовал было сдвинуться ближе к папкам, но те в ответ еще больше распухли — теперь уже от возмущения. Фляжка тоже замолкла и отвернулась, вжав в плечи блестящую бескозырку. Что касается дневника, то тот и вовсе ни на кого не смотрел ввиду крайней занятости.

«Ну и черт с вами, — подумал Юрий Андреевич. — В пачке еще тесней было, а ведь как-то выжил. Справлюсь и теперь...»

И действительно, вскоре его перенесли в чемодан — к тщательно отглаженным брюкам, галстукам и рубашкам. Впрочем, Юрию Андреевичу досталось место попроще, в другом, менее упорядоченном углу, рядом с туфлями, электробритвой, одеколоном и таблетками от изжоги. Хозяин чемодана аккуратно заполнил пустоты туго свернутыми носками и прикрыл сверху слоем трусов, под которые после некоторого размышления засунул упаковку презервативов. Получилось, хотя и не нарочно, но не очень хорошо: прямоком на мягкую обложку — можно даже сказать, на лицо Юрия Андреевича, — на что тот отреагировал обычным образом, чрезвычайно характерным для целомудренной натуры идеального российского интеллигента: то есть сначала задохнулся от возмущения, а затем, поняв принципиальную бесплодность борьбы, постарался перенести вопрос в философскую сферу.

— Ну вот, опять! — фыркнул флакон одеколона. — Зачем он каждый раз это берет? Какой смысл? Потом ведь все равно обратно повезет.

— На всякий случай, — пояснили трусы, относительно новые, но уже много повидавшие. — А чего не взять-то? Места не занимает, не то что некоторые...

Все посмотрели на довольно объемистую электробритву, но та не ответила, ибо обрела дар речи лишь при подключении к розетке.

«Народ, простой народ со своими насущными проблемами... — меланхолически думал Юрий Андреевич, прислушиваясь к разговору соседей. — Проблемы жизненной скученности, судьбоносной случайности, проблемы пропитания и смысла...»

Снаружи звучало радио, шумела городская улица, ревели двигатели аэроплана, перекрикивались грузчики — сначала по-немецки, а затем и на родном русском наречии. Чемодан с Юрием Андреевичем и его попутчиками бережно несли, поспешно катили, немилосердно швыряли и снова катили, и снова несли неведомо куда, и в этой

внешне бессмысленной и непостижимой тряске трудно было не усмотреть продолжения все той же в чем-то трагической, а в чем-то вполне заслуженной судьбы социальной прослойки, к которой всем своим существом принадлежал Юрий Андреевич.

«Я всего лишь прослойка, — думал он. — Пропахшая этим проклятым попутным одеколоном прослойка, прижатая к бритве толстым слоем трусов. Ведь залог нашего интеллигентского бытия — терпение. Терпение, несмотря ни на что, невзирая на любые испытания — даже самые неприятные, какие судьбе угодно навалить нам на плечи, или, как в данном случае, на лицо. Потому что так хочет народ, так хочет история...»

И все же Юрий Андреевич вздохнул с облегчением, когда хозяин чемодана, обосновавшись в гостиничном номере, переложил книгу в знакомый портфель. Теперь здесь было куда просторней — ни тебе папок, ни тебе монографии — только чванливый ежедневник, который Юрий Андреевич мысленно окрестил «комиссаром» за его кожаную тужурку, и плоская фляга, совершенно опустошенная долгой дорогой, а потому не расположенная к беседе.

Там, внутри, Юрий Андреевич провел несколько томительных дней. Время от времени слышался плавный шелест замочков, и клапан откидывался — широко и щедро, как и полагается солидным портфелям. «Неужели меня?» — с замиранием сердца думал Юрий Андреевич, но всякий раз обманывался в своих ожиданиях. Чаше всего на выход приглашалась фляга, иногда — «комиссар». Случалось, что рука хозяина задумчиво касалась и мягкой обложки Юрия Андреевича. Касалась, медлила, словно сомневаясь, стоит ли вытащить томик наружу, и минутой-другой спустя, так и не отважившись на это, вновь захлопывала клапан.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды портфель не остался открытым. По характеру проникавшего внутрь прохладного света можно было догадаться, что он стоит возле окна — по-видимому, на широком подоконнике. Неверной рукой пошарив внутри, хозяин вытащил уже наполовину пустую флягу.

— Давайте попьём за ваш здоровье! — проговорил он на ломаном русском. — Профессор! Пожалуйста! Прелестный скотч!

— Что вы, господин Мозер, — отвечал кто-то другой с оттенком беспокойства. — Прямо здесь, в коридоре?

— Почему нет? — повысил голос немец. — Я улетаю сегодня, а мы так и не попили!

— Ладно, давайте... Прозит!

Послышалось бульканье, и после непродолжительной паузы фляга вернулась в портфель.

— Я хочу спросить про этот роман, — сказал хозяин. — Вы читаете его?

— Не понимаю, о чем вы, — отозвался его названный профессором собеседник. — Какой такой роман?

Немец принужденно рассмеялся:

— Вы знаете какой... Так читаете? Или нет?

— Нет, господин Мозер, — сухо ответил профессор. — У нас подобные вещи в книжных магазинах не продаются.

— Это не есть проблема, — рука снова нырнула в портфель и выудила оттуда Юрия Андреевича. — Вот, пожалуйста. Подарок...

Глазам Юрия Андреевича предстал длинный учрежденческий коридор — странно безлюдный, хотя время было явно дневное, урочное. Вдоль внешней стены тянулась шеренга окон с наглухо заделанными, грубо покрашенными, залепленными

пожелтевшей позапрошлогодней бумагой рамами и широченными старорежимными подоконниками. А за окнами... за окнами мерцало низкое северное небо, поблескивала сталью река, а за рекой, словно подчеркивая господствующую вокруг серость, сиял неожиданно яркий золотой купол.

«Петербург, — подумал Юрий Андреевич. — Или, как его сейчас называют, Ленинград. Жаль, конечно. Я предпочел бы Москву и москвичей. Но выбирать никто не предлагал...»

— Вы что мне предлагаете? — словно подслушав, прошипел ленинградский профессор. — Вы с ума сошли! Немедленно уберите эту гадость!

Его серое обрюзгшее лицо в обрамлении неопрятной седины качнулось туда-сюда и отпрянуло. Немец жалобно пискнул, тщетно пытаясь найти слова самооправдания, но профессор уже повернулся к гостю спиной и твердым шагом маршировал вдоль ровного строя окон, подобный генералу, наотрез отказавшемуся капитулировать.

— Черт бы тебя побрал... — перейдя на немецкий, пробормотал хозяин.

«Неужели опять в портфель?» — уныло подумал Юрий Андреевич.

— Черт бы тебя побрал... — подняв книгу ближе к глазам, повторил немец, и Юрий Андреевич понял, что проклятие адресовано вовсе не профессору.

Широкими шагами миновав коридор, господин Мозер ворвался в уборную, и с полминуты колебался, прикидывая, куда выбросить опостылевший томик. Унитаз не подходил из-за опасности засорения, открытая форточка — из-за угрозы здоровью прохожих, мусорной урны в туалете не наблюдалось. Не найдя ничего лучшего, немец пристроил Юрия Андреевича под окно и, облегченно вздохнув, исчез навсегда вместе с портфелем, пустой флягой и надменным ежедневником.

В уборной стояла застарелая сортирная вонь, и Юрий Андреевич с тоской вспоминал тонкие запахи чемодана и портфеля, искренне не понимая, как можно было жаловаться на соседство с флаконом одеколона. Но вскоре, приняхавшись и попривыкнув, он опять же решил взглянуть на происходящее с философской, почвенной точки зрения. В конце концов, нет ничего более застарелого, чем почва, с ее живительным перегноем, с ее диалектикой вечной утилизации мертвых тел во имя новых и новых рождений. Юрий Андреевич уже собирался развить эту мысль, надеясь добраться в промежуточном итоге и до частного случая интеллигента в общественной уборной, но тут хлопнула дверь и вошел молодой мужчина в бороде и синем лаборантском халате, отчего Юрий Андреевич немедленно — и наверняка несправедливо — окрестил вошедшего «Синей Бородой». Насвистывая простенький мотивчик, Синяя Борода вытряхнул папиросу из пачки, закурил и подошел к подоконнику с явным намерением на него взгромоздиться.

Сердце у Юрия Андреевича екнуло. Продолжая насвистывать, бородач уселся поудобнее, подобрал томик, открыл его на середине, полистал, скользя равнодушным взглядом по густо посаженным строчкам и, уже собравшись было отложить, добрался-таки до титульного листа. Свист резко оборвался, сменившись изумленным безмолвием. Синяя Борода закрыл книгу, вернул ее на прежнее место, спрыгнул с подоконника и несколько раз прошелся взад-вперед, заглядывая в кабинки и зачем-то всматриваясь в углы давно не беленого потолка.

Завершив этот странный обход, лаборант остановился перед затаившим дыхание томиком и, качнув головой, произнес длинную матерную тираду, куда более замысловатую, чем те, которые Юрию Андреевичу приходилось слышать за все время Гражданской войны, включая пребывание в таежном партизанском отряде. В коридор

они вышли вместе: бородач — поминутно оглядываясь и продолжая вполголоса материться; Юрий Андреевич — в кармане синего халата, вплотную к грубоватой папиросной пачке, которая пахла махоркой, то есть тоже весьма народно и почвенно, хотя и не в такой степени, как уборная.

Синяя Борода, по паспорту — Геннадий Восьмёркин, был аспирантом с кафедры минералогии, уроженцем промышленного уральского города. К моменту знакомства с Юрием Андреевичем Восьмёркин проживал в университетском общежитии. Как раз за неделю до описываемых событий ему существенно улучшили условия, переселив из густонаселенной шестикоечной комнаты в другую — поменьше, зато на двоих. Новым соседом Гены оказался старик на вид лет шестидесяти. Старика звали Мигулёв, и он учился на четвертом курсе истфака, восстановившись на факультете после лагеря, штрафбата, повторного срока и последующей реабилитации. На самом деле ему не было еще и сорока.

К художественной литературе Гена Восьмёркин относился сдержанно и, если б не скука и скученность общежития, вряд ли вообще брал бы в руки какую-либо книгу, кроме, конечно, учебников. За Юрия Андреевича он взялся сугубо из любопытства, побужденный к тому невиданной страстью, с которой газеты прорабатывали преступного автора. Увы, к разочарованию Гены, роман не содержал ничего интересного — сплошные разговоры ни о чем, а действия чуть. Втайне Восьмёркин всерьез рассчитывал на сцены насилия и порнографии, которыми, как известно, пестрит порочная капиталистическая культура, и, не обнаружив их, чувствовал себя обманутым вдвойне. Зачем он как дурак рисковал, пронося крамолу через проходную? Зачем таился от соседа, захлопывая книгу всякий раз, когда тот оказывался в опасной близости?

Впрочем, последнее не помогло; наметанный глаз бывалого зека без труда определил причину Гениного смущения.

— Ты вот что, парень, — сказал Мигулёв, помешивая черный-пречерный чай в мятой кружке, которая вместе с алюминиевой ложкой составляла весь набор имевшейся у него посуды. — Не знаю, кто ты сам будешь, но меня за стукаря не держи. Я к куму по своей воле не хаживал, только под конвоем. Что там у тебя? Оруэлл? Авторханов?

— К-кто? — оторопев, выдал Восьмёркин, никогда до того не слышавший прозвучавших имен. — Какой орел? Каких ханов?

— Хватит в дурочку играть, — усмехнулся сосед. — Передо мной-то не надо. Не хочешь — не говори.

— А ты... откуда... как ты...

Мигулёв насмешливо подмигнул.

— Как-как... зеленый ты совсем, необученный, вот как. Во-первых, жмешься, как малолетка. «Граф Монтекристо» так не читают. Во-вторых, формат у книжечки не наш, бумага тоненькая, шрифт другой. Короче говоря, сразу видно: тамиздат.

— Да я не нарочно, — еще больше смутился Гена. — Я это в сортире нашел, на подоконнике.

— Само собой! — подхватил отставной зек с выражением искреннего сочувствия. — Верю! Конечно, в сортире. Они ведь там грудками лежат, такие книжки. На подоконнике. Говорят, их там же и печатают.

— Да ну тебя! — разозлился Восьмёркин. — Не хочешь — не верь. Дурак я, что взял. Ничего интересного. Правильно его в газетах ругают. За что там Нобелевку давать? Скука такая, что скулы сводит...

— А ну-ка... — Мигулёв поставил кружку на тумбочку и, перегнувшись через проход между койками, выхватил томик из вялых от неожиданности рук соседа. — Не возражаешь? Та-ак... Этого я еще не читал.

— Оставь себе, — с облегчением проговорил Гена. — Я ж говорю — скучища. Едва до половины дотянул...

— Оставлю, спасибо, — задумчиво кивнул сосед, перелистывая тоненькие странички. — Эх, Гена-Геночка-Геннадий... Раньше ты только за хранение шел, а теперь вот еще и за распространение... Да не напрягайся ты так, я ведь шучу. Шучу я...

Юрий Андреевич слушал этот диалог с нарастающим разочарованием. Он никак не ожидал, что знакомство с ним вызовет у Синей Бороды такую откровенную неприязнь. И не просто неприязнь — скуку! И это — первый его читатель, незабвенный для всякой книги, подобно первой любви для всякого человека! Его первый интимный контакт с теплой рукой, сжимающей раскрытый томик, с нетерпеливыми пальцами, поглаживающими страницу, с дыханием — ровным или участвовавшим в такт описываемым событиям, с улыбкой, сопровождающей удачную шутку, фразу, каламбур... И вот — скука! Скука?!

И, что самое обидное, бородатый Восьмёркин казался поначалу таким своим, таким близким Юрию Андреевичу. Ученый-аспирант, то есть заведомый интеллигент. Грубоватая повадка, низкосортные папиросы, синий халат, матерщина, то есть явная связь с простым народом. Происхождение из российской глубинки, то есть из мест, не столь уж удаленных от Юрятина... Все сходится! Почему же скука?! Да еще и такая, при которой отбрасывают книгу, не дочитав?

Зато Мигулёв с его каторжными замашками оказался довольно внимательным читателем. В отличие от Восьмёркина, легкомысленно пропускавшего абзацы, а иногда и целые страницы текста, он не испытывал затруднений даже в тех местах, которые выглядели скучноватыми и с точки зрения самого Юрия Андреевича. Вот только дружба с бывшим лагерником никак не завязывалась, а Юрию Андреевичу хотелось именно этого — теплых человеческих отношений, взаимопонимания, поддержки... Более того, если судить по хмурому выражению лица и недоуменному, а часто и презрительному фырканью, здесь, скорее, имела место откровенная антипатия, в лучшем случае — неприязненное равнодушие.

Книгу Мигулёв таскал с собой, в комнате не оставлял, резонно опасаясь чужих глаз — на то ведь оно и общежитие, что двери тут всегда нараспашку. Наученный горьким опытом, он вообще мало кому доверял не только в университетской среде, кишашей стукливыми дятлами, но и в принципе, по жизни. Одним из этих немногих был его старый научный руководитель Артамонов, тоже посидевший, хотя и коротко, в первой соловецкой волне конца двадцатых годов. Они успели съездить вместе в экспедицию еще до войны, и это давнее знакомство связывало их, как мост, протянувшийся над черной, на полтора десятилетия, дырой мигулёвской отсидки.

Нельзя сказать, что Юрию Андреевичу нравилась свалившаяся на него кочевая жизнь. Назначение книги — пребывать в руках читателя, на его столе, а в остальное время — на полке, в покое и ожидании. А непрерывная тряска в сумках, портфелях и карманах подобает разве что кошельку с медяками. Но и в комнате, где постоянно бубнила радиоточка, он чувствовал себя не лучше. Уж больно часто это неумолкающее радио говорило о нем — чрезвычайно скромном, в общем-то, человеке, никогда не любившем находиться в центре внимания.

За что его кляли и ругали с такой неистовой силой? Чем он провинился? Кого обидел он, тихий интеллигент, принципиально старавшийся жить по-христиански, то есть так, чтобы не обидеть никого? Вот и сейчас... — другой на его месте непременно бы оскорбился, стал протестовать, хлопать дверьми, стучать кулаком по столу... А он? Разве он оскорбляется, хлопает, стучит? Нет. Он привычно терпит, беззвучно глотает

боль, безропотно сносит несправедные наветы. Молчит, как Тот, из стихов в конце томика, отданный на суд подонкам и юлящим, как лиса, фарисеям. Ведь если даже Тот отказался без сопротивления, то осмелится ли поднимать голос протеста он, Юрий Андреевич?

И все же он радовался, когда Мигулёв, уходя из комнаты по своим делам, доставал его из-под подушки, чтобы сунуть в карман плаща или в потрепанную наплечную сумку — портфелем этот дважды студент так и не разжился. К несчастью, проклятое радио было включено повсюду — в квартирах, в конторах, в магазинах. От него нельзя было спрятаться даже в трамвае, даже на улице, где на фонарных столбах тут и там виднелись огромные раструбы, на весь мир возглашающие стыд и позор безответному томику в мягкой обложке.

Работало радио и в квартире доцента Артамонова, куда Мигулёв время от времени приходил обсудить предстоящие раскопки в приволжских степях, а заодно и подхарчиться. Как-то раз Юрий Андреевич уже приготовился вытерпеть очередную передачу о своем подлом предательстве, как вдруг Мигулёв, чертыхнувшись, поднялся со стула и выдернул из розетки шнур репродуктора. В квартире воцарилась тишина, хотя, если поднапрячь слух, можно было услышать звук той же трансляции из соседних квартир.

— Осточертело! — махнул рукой Мигулёв в ответ на удивленный взгляд своего руководителя. — Сколько можно? Долдонят одно и то же.

— А, ты об этом... — сообразил Артамонов.

— Об этом, об этом, — мрачно повторил студент. — Самое неприятное, что во многом они правы. Я ведь это сочинение совсем недавно проштудировал. Думал, будет что-то необыкновенное, если уж рабочие и колхозники так настоятельно рекомендуют не читать. Что-то типа «Войны и мира».

— Ну и как?

— А никак. Хрена лысого! Рыхло, слабо, бесформенно, непонятно зачем и о чем. Главный герой какой-то малахольный, ни рыба, ни мясо. Ходит, как бледная тень... вернее даже, не сам ходит, а ветер его носит. Туда — сюда, туда — сюда. И при этом благородный до карикатурности. А хуже всего — истертые банальности на каждом шагу. Любимая по долгу совести жена. Любимая по зову страсти любовница. Неумолимый рок, то разлучающий их, то сталкивающий снова — и опять же, без малейшего сотрудничества со стороны героя. Ну разве это не пошло, не безвкусно, не пережевано многократно обычным бульварным чтивом? Представляете, Алексей Алексеевич, есть там даже адвокат, совратитель малолеток, нечто среднее между Свидригайловым и порочным злодеем из оперетты. В общем, я еле-еле до конца дотянул, да и то потому лишь, что ждал и надеялся: а вдруг под занавес проявится какое ни на есть откровение. Поэт-то он все-таки хороший. Дудки. Финал — как вода в песок. Пустая вода, даже не зашипело.

Артамонов рассмеялся.

— Ну, Лёва, эк ты его растоптал... Человеку как-никак Нобелевку дали. Значит, были причины.

Мигулёв пожал плечами:

— Верно, дали. И причины, наверно, были. Только вот мне они не видны. Может, вы разберете, Алексей Алексеевич? Хотите, дам почитать? Или даже подарю — мне это великое творение все равно девать некуда. В общежитии такую книгу на полку не поставишь, да и не нужна она мне на полке.

— Спасибо, Лёва, но я уже прочитал.

— Прочитали? И что?

Артамонов помолчал, задумчиво глядя на стол с разложенными там бумагами и фотографиями. Юрий Андреевич, затаив дыхание, ждал его ответа. Он слышал весь разговор из сумки, которая висела здесь же, на спинке стула, и жестокие слова Мигулёва задели его намного сильнее, чем ежедневные потоки радиогрязи. Своему первому читателю он показался скучным — что, как выяснилось теперь, было далеко не самым обидным. Безвкусица, пошлость, банальность... — это уже звучало смертным приговором. Неужели доцент согласится? По возрасту он казался ровесником Юрия Андреевича и, значит, видел в жизни примерно то же, что и тот: почивший в сытости век больших надежд, Первую мировую войну, революцию, гражданскую, двадцатые годы... Уж такой-то человек должен кое-что понимать — в отличие от недалекого Восьмёркина или озлобленного жизненными невзгодами Мигулёва.

— Думаю, ты прав: роман слабый, — проговорил наконец Артамонов. — Проза хороша, словом он владеет мастерски, видно, что поэт написал. Но для романной формы этого маловато. Должна быть жизнь, объем, натуральное дыхание, а там в этом смысле плоско, как на плакате.

Сердце Юрия Андреевича упало. Это он-то плоский, плакатный, неживой?

— Но иначе, видимо, и быть не могло, — развел руками доцент. — Потому как евреем написано.

Мигулёв удивленно поднял брови.

— Что вы имеете в виду, Алексей Алексеевич? Что, еврей не может писать про русских?

— Может, конечно, может. Но правдиво при этом получится только в одном случае: если он пишет с позиции еврея. А тут автор пытается писать о русских как бы изнутри, как бы с точки зрения воображенного им русского писателя.

— Не уверен, что понял, — покачал головой Мигулёв.

— Смотри, Лёва, — сказал Артамонов. — Возьмем ситуацию наоборот. Как пишут о евреях русские? Гоголь, Пушкин, Достоевский, Тургенев... Пишут отстраненно: когда грубо, когда насмешливо, когда с презрением, когда с жалостью, когда с отвращением. Но всегда именно так, глядя со стороны. Это и есть правда, потому что евреи на Руси — посторонние люди, чужие, непонятные.

— Ну, допустим. И что?

— А то, что представь теперь другой вариант, когда тот же русский писатель берется описывать евреев как бы изнутри, как бы с точки зрения самих евреев. Может ли получиться у него что-либо другое, кроме сусальной банальности, вранья, ерунды на постном масле? Нет, не может, поскольку предмета он знать не знает, чувствовать не чувствует. Русские за это не берутся, и правильно делают. Потому что известно: не в свои сани не садись.

— Вы хотите сказать, что автор сел не в свои сани?

— Именно! Что видит реальный еврей, когда смотрит на реального русского? Видит угрозу, видит неприязнь — где открытую, явную, а где интеллигентную, спрятанную под внешней вежливостью. Видит чужого, враждебного, в лучшем случае — равнодушного человека. А что видит еврей, который непременно хочет заделаться русским и со временем даже уверяет себя и окружающих, что это ему удалось? Такой еврей видит совсем-совсем другого русского — эдакого идеального Юрия... как его?

— Андреича, — подсказал Мигулёв.

— Вот-вот. А то, что подобного Юрия Андреича в природе нет и быть не может — об этом наш еврейский кандидат в русские и слышать не хочет. Ведь это означает, что он сам потерпел неудачу, что он так и не стал русским. Хотеть-то хотел, а вот стать — не стал... Знаешь, что? Если уж ты непременно хочешь пристроить эту книжечку в чью-то библиотеку, отдай ее какому-нибудь интеллигентному еврею, а еще лучше — еврейке. Им должно понравиться. У тебя есть такие знакомые?

Мигулёв кивнул:

— У кого нет... А почему еврейке лучше?

— Женщины реже стучат, — улыбнулся доцент. — Ладно, вернемся к нашим курганам...

И они вернулись к своим курганам, оставив Юрия Андреевича в тягостном недоумении. Это его-то не существует в природе? Чушь какая-то... Как и idiotское утверждение, будто еврей не может писать о русских. Почему не может? Разве автор не вырос в лоне русской культуры, под перезвон православных колоколов? Разве не общался он с русскими людьми? Как уверяла Лариса Фёдоровна, у любого русского, если он городской житель или человек умственного труда, половина знакомых — из числа евреев!

Хотя, честно говоря, Юрий Андреевич предпочел бы, чтоб их не было вовсе, этих знакомых, чтобы они исчезли, бесследно растворившись среди других — таких вот, как он, интеллигентных благородных людей. К несчастью, евреи упорно отказывались освободиться от самих себя, от верности своему потерявшему значение допотопному наименованию, от своей бесполезной и губительной позы, от приносящей одни бедствия обособленности. Юрия Андреевича сердило их ироническое самоподбадривание, будничная бедность понятий, несмелое воображение... — все это раздражало, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. И даже когда их громили и убивали, Юрию Андреевичу трудно было отрешиться от ощущения постыдной двойственности, от сознания, что его сочувствие — наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.

Да, он сочувствовал избиваемым евреям, чтобы отделить себя от погромщиков, чтобы не называться дурным, недопустимым для интеллигента словом «антисемит», а неприятный осадок оставался оттого, что на самом деле сочувствия не было и в помине; вернее, было, но стыдное, обращенное совсем к другой, избивающей стороне, выражающей по сути, хотя и в дикой непозволительной форме, то же самое подспудное желание Юрия Андреевича видеть окончательное исчезновение с лица земли этой бесполезной, а значит, вредной народности упрямцев. Их крикливое, назойливое, нелогичное и потому абсолютно незаконное с точки зрения здравого исторического смысла присутствие беспокоило и мешало жить. По этой причине Юрий Андреевич предпочел бы не замечать их вовсе.

Что было, конечно, невероятно трудно ввиду особенной активности евреев и их непропорционально большого участия буквально во всех важных событиях. Трудно, но возможно... Юрий Андреевич мысленно пролистал страницы романа и, к своему удовлетворению, обнаружил там всего двух представителей лишней нации: Сашу Гордона, полностью разделявшего концепцию бесследного растворения, и безымянного старика, над которым подшучивал казак, делая это, впрочем, беззлобно и необидно, что не мешало Юрию Андреевичу сурово выбрать шутника.

Всего двое — считай, что и нет... Может, в этом-то и проблема? Может, их отсутствие в книге зияет, подобно черной дыре, создавая ощущение недосказанности, неполноты, неправды? Но ведь история и назначила им неминуемо провалиться в эту

черную дыру — и чем скорее, тем лучше... Значит, эта неполнота — вовсе не неправда, а напротив, выражение высшей, будущей правды, где нет ни элина, ни иудея. Нет! Сколько в романе элинов? Ни одного! А вот чертовых иудеев — сразу два, то есть ровно на два больше, чем надо!

Почему же старый доцент Артамонов с такой уверенностью отправляет его к евреям? «Им должно понравиться!» Это попросту несправедливо! Роман писался вовсе не для евреев!..

Эти горькие сомнения мучили Юрия Андреевича в течение нескольких недель, так что он почти не обращал внимания на происходящее вокруг. Мигулёв избавился от него уже на следующий день после разговора с доцентом — просто сунул в карман случайно встреченному на улице бывшему зеку, знакомому по Карлагу. Знакомый полистал-полистал, да и передал томик дальше, кому-то другому. Поглощенный своими проблемами, Юрий Андреевич не всматривался в лица новых хозяев. Да он и не считал их хозяевами. Его просто перекидывали из рук в руки, как бездомную дорожную проститутку, кочующую из кабины в кабину — без любви, без тепла, без собственного угла, куда можно было бы вернуться, чтобы перевести дух.

Даже у зачитанной библиотечной книги есть свое законное место на полке, есть формуляр, есть строка в каталоге — ее и ничья другая. Он же пребывал в постоянном движении, в принципиально временных, не предназначенных для отдыха обиталищах: в карманах вместе с табачными крошками и трамвайными билетами, в набитых черт знает чем дамских сумочках, под подушками и матрацами, в выдвижных ящиках и бельевых корзинах...

Теперь Юрий Андреевич старался не вслушиваться в читательские мнения на свой счет — они лишь усугубляли степень его обиды. Особенно удручали похвалы, которые обычно выглядели хуже ругани, поскольку сразу сворачивали на посторонние темы, не имевшие никакого отношения к литературе, — на скандал, на политику, на «борьбу с властями». Борьба с властями... — надо же придумать такое! Он в жизни не боролся и не собирался бороться ни с какими властями — зачем же его силой и обманом сделали символом этой бессмысленной, бесполезной возни?! Зачем его, всегда ненавидевшего шумиху — даже шумиху успеха — превратили в позорную притчу на устах у всех?

Так ли уж много ему требовалось, в самом-то деле? Всего лишь крошечку искренней теплоты, участия, живого чувства... Увы, Юрий Андреевич уже не надеялся, что кто-то влюбится в него или заплачет над его судьбой, или хотя бы чуть-чуть пожалеет, как это сплошь и рядом случается с героями других, куда менее известных романов и пьес. Неужели он действительно настолько бесцветен, что не задевает ничьей душевной струны?

Потеряв счет времени, Юрий Андреевич уныло ждал конца; в самом деле, сколько может протянуть в таком беспощадном режиме маленький томик в мягкой обложке, давно уже изношенной, засаленной, измятой? Он не сразу обратил внимание на явную перемену в своем положении: теперь Юрия Андреевича почти не прятали, все чаще и чаще оставляли неприкрытым, передавали друг другу без оглядки, а какой-то студент даже осмелился читать в переполненном метро на глазах у всего вагона! Скорее всего, это свидетельствовало о снижении накала скандальных страстей; видимо, власти наконец осознали, что нет смысла преследовать того, кто даже в мыслях не покушался на их державный авторитет.

К сожалению, утратив интерес со стороны карательных органов, Юрий Андреевич не приобрел ничего нового в плане читательского внимания. Хуже того, отныне его

пролистывали не столько из любопытства, как раньше, сколько для галочки, как неотъемлемую часть культурного минимума интеллигентской фронды, что и вовсе превращало чтение в удручающе казенный, школьный процесс. Поэтому Юрий Андреевич почти обрадовался, когда измочаленная обложка отлетела, сигнализируя о близком конце мучений. К тому времени он уже знал о судьбе, постигшей большую часть тиража: эти томики просто забрасывали в окна автобусов, перевозивших членов советской делегации на Венском фестивале молодежи и студентов. Трудно было вообразить более глупого способа. Все эти книжки пошли впоследствии под нож еще в невинном, никем не читанном состоянии... Что ж, так они были хотя бы спасены от страданий, которым подвергался сейчас их несчастный одинокий близнец Юрий Андреевич, вынужденный отдуваться едва ли не за всех...

Но предчувствие конца оказалось ошибочным: как выяснилось, пожилой отец очередной хозяйки Юрия Андреевича, выйдя на пенсию, увлекся переплетным делом. Скептически осмотрев принесенный дочерью томик, пенсионер сказал, что готов довести его до ума, но с одним условием: книга останется в домашней библиотеке. Еще не поднатворевший в новом ремесле старик слишком ценил свой труд, чтобы пустить его плоды по чужим рукам. Женщина согласно пожала плечами — когда ей давали распадающегося на куски Юрия Андреевича, речи о возврате не шло.

Так Юрий Андреевич нежданно-негаданно обрел дом. И пусть причиной тому стали не его предположительно бесцветные личные качества, а любительский неумелый переплет, факт оставался фактом: впервые в жизни окрепший и даже как будто помолодевший Юрий Андреевич стоял на полке в ряду других книг! Да-да, на самой настоящей книжной полке в настоящем книжном шкафу, бок о бок с синеньким собранием сочинений Чехова, тяжеловесным Шекспиром в желтоватой суперобложке и черно-красно-золотыми томами неизвестного Юрию Андреевичу, но наверняка чрезвычайно солидного немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.

Юрия Андреевича не очень огорчало, что пенсионер и его дочь не торопились познакомиться с ним поближе посредством чтения. Первого он интересовал исключительно как объект для переплета; вторая, школьная учительница русского и литературы, была до смерти задергана проверкой тетрадей, подготовкой к урокам и нелегким бытом матери-одиночки. Ну и что? Глаза б его не видели этих читателей! Теперь Юрий Андреевич наслаждался совсем другими вещами: долгожданным отдыхом, солидным статусом и восхитительным духом книжного шкафа — запахом типографии, пыли, кожи и сухого картона.

Наконец у хозяйки выдался относительно свободный вечер, и она, укрывшись пледом, улеглась с книгой на диван под незатейливым светильником чешского стекла, именуемым еще отвратительно бранным словом «бра». Как и ожидал Юрий Андреевич, интерес читательницы угасал с каждой страницей; час спустя она зевнула и перескочила прямиком в конец книги, к стихам.

Нужно сказать, что Юрий Андреевич не любил эту часть томика. В романе утверждалось, что автором этих двух дюжин недюжинных стихотворений был именно он, мало на что претендующий скромняга. Трудно было вообразить большее несоответствие реальному положению дел — ну разве он мог написать такое? Где-то за год до обретения переплета Юрий Андреевич узнал, что в Голливуде сняли фильм, где его — некрасивого, курносого, привычно тушующегося человека играл записной оболъститель с внешностью неотразимого героя-любownika. Вот и со стихами выходило примерно то же, только еще хуже. Ну почему, почему его вечно вынуждали выставять себя самозванцем — лауреатом, красавцем, поэтом?

Судя по всему, женщина читала эти стихи и раньше — возможно, как и роман.

— Миша! — позвала она. — Иди сюда, мальчик. Послушай, как это хорошо...

Подошел сын — подросток лет десяти или немного старше.

— Сюда, сюда! — сказала мать, откидывая край пледа.

Мальчик прилег рядом, прижавшись щекой к ее плечу. На тумбочке рядом с диваном негромко тикал будильник, слегка подавленный прихлопнутой еще утром кнопкой звонка. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись другими. Со сна прожурчала что-то батарея отопления и смолкла, снова погрузившись в дремоту. Чешское бра экономно, по-европейски, освещало страницы, принципиально не размениваясь на плюшевую мглу, свернувшуюся в углах комнаты.

— И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу... — вполголоса читала женщина, и звуки раскачивались на длинных качелях, навешенных на огромные буквы А, и мальчик, смежив веки, заворуженно следил за их взлетом, внешне свободным, но на самом деле накрепко скованным неременной обязанностью возвращения в жесткую рамку строфы.

Снежная тьма за окном, журчание батареи, мягкий плед, ласковый полумрак, неопасные домашние тени на стенах и потолке, мама и ее мальчик... — от всего этого веяло таким теплом и уютом, что сердце Юрия Андреевича сжалось от внезапного, незнакомого ощущения счастья. Именно этого он хотел, об этом мечтал с того самого момента, когда его собственную маму забросали мерзлой кладбищенской землей — тогда ему было столько же, сколько этому десятилетнему счастливцу. Такого вот живого тепла, родства, ласки он ждал от людей всякий раз, когда они брали в руки этот маленький томик, — ждал и наконец дождался. И пускай стихи принадлежали совсем не ему — или, что точнее, не совсем ему — какая разница? Ради таких дорогих минут не возбранялось даже немного сжульничать...

Потом мальчик Миша вырос и уже сам стал снимать Юрия Андреевича с полки. Теперь их двоих навсегда связывал тот незабвенный зимний вечер под пледом и под маминым боком. На взгляд из книжного шкафа, жизнь текла размеренно и легко, без видимых проблем — ну разве что люди по ту сторону застекленных дверей старели чересчур быстро. Дед в последние годы стал настоящим профи, мастером своего дела; в итоге он и умер за столом, положив голову на незаконченный заказ. И хотя старик так и не удосужился открыть спасенный им томик на предмет чтения, Юрий Андреевич даже не думал обижаться на него за это: как-никак, именно дед подарил ему вместе с переплетом дом и семью. Мама-учительница к тому времени вышла на пенсию и на общественных началах работала в библиотеке при местной жилконторе.

Потом Миша привел жену; Юрий Андреевич одобрил его выбор прежде всего потому, что девушка очень напоминала Мишину мать, которая, кстати говоря, довольно быстро последовала за дедом-переплетчиком, уйдя так же тихо и безропотно, как он, будто боялась обременить домашних неприятными больничными проблемами.

В дом приходили друзья, велись умные разговоры; Юрий Андреевич всегда прислушивался к ним с определенной тревогой. Он по-прежнему входил в список интеллигентского культурного минимума и оттого вынимался из шкафа намного чаще какого-нибудь Шекспира, который, как старая дева, стеснялся неразрезанных страниц во многих своих томах. С одной стороны, подобное внимание льстило Юрию Андреевичу; с другой — он опасался не вернуться домой, к Мише. С некоторыми книгами это действительно случалось: зачитают и поминай как звали...

Лучше всех ему запомнился Слава Кричман, Мишин друг еще с института.

Запомнился потому, что их последний, самый яростный спор коснулся непосредственно Юрия Андреевича.

— Но зачем? Зачем? — недоуменно мотая головой, вопрошал Миша. — На черта тебе сдалось это крещение? Да еще и добровольное! Кантонистов крестили силой, другие шли на это ради карьеры... — но добровольно, искренне? Ты ведь в курсе, что по мешумадам принято сидеть шиву, как по покойникам?

— Было принято, — возражал Слава, делая ударение на первом слове. — А теперь никто не сидит. Теперь нас много. По сути, это логичное официальное закрепление уже существующего порядка вещей. Ну какой из меня еврей? Я родился и живу в русской культуре, в русской традиции, мой язык — русский, мой ассоциативный мир наполнен православными символами... Почему бы тогда не сделать последний шаг? Это выглядит честным признанием реальности, не более того.

«Опять! — с неудовольствием подумал Юрий Андреевич. — Сколько можно обсасывать одну и ту же тему? На все эти вопросы давно дан ясный недвусмысленный ответ: евреи должны исчезнуть, раствориться... Странно, что Миша возражает...»

— Это подлость, — негромко проговорил Миша. — Я могу понять твоё желание забыть, что они делали с нами на протяжении столетий: страшная память о таких муках не каждому под силу. С чем я никак не могу смириться, так это с переходом на сторону мучителей.

Слава возмущенно фыркнул.

— Подлость? Подлость? Да вот же твой любимый поэт... пишет... где это?..

Он шагнул к шкафу и, скользнув взглядом по корешкам, вытащил Юрия Андреевича на свет Божий.

— Где же это... а, вот! Слушай! «В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей... Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира...» — Слава захлопнул томик и торжествующе потряс им в воздухе. — Ну? Что скажешь?

— Что скажу? — усмехнулся Миша. — Что скажу я, не так уж и важно. Важно, что говорят твои новые единовольцы. «Жид крещеный, что вор прощенный» — слышал такое?

Слава всплеснул руками:

— Ну вот! Теперь ты говоришь устами черносотенцев! Почему я должен ориентироваться на эту мразь, а не на нормальных культурных людей?

— Ориентируйся на историю. Если она чему-то и учит, так это тому, что любая попытка, как ты говоришь, «раствориться» приводила к еще большей волне погромов. А что касается мрази... Мразь говорит открыто, а культурная публика — шепотком, среди своих, в частных письмах. Еще неизвестно, что хуже.

— История меняется, это факт, — возразил Слава. — И публика меняется тоже. И вообще, это вопрос интеллектуальной честности. Человек должен делать то, что кажется ему правильным, и не поддаваться давлению других. Какая разница, кто что говорит? — он снова сильно потряс томиком, едва не вытряхнув оттуда Юрия Андреевича. — Вот он слушал только свою совесть. И совесть привела его к христианству. На каком основании ты называешь этот выбор подлостью?

Миша молчал. Юрий Андреевич неловко ежился в руке Кричмана. Ему хотелось назад, в шкаф, к Чехову и Шекспиру, подальше от этого крайне неприятного спора, от вдруг нахлынувших воспоминаний о прежней безумной мягко-обложной, жестко-

обычной жизни. Доцента Артамонова, наверно, уже нет в живых; как он сказал тогда Мигулёву? «Отдай эту книгу евреям, им понравится...» — что-то в этом духе. И вот он, результат: Юрий Андреевич и в самом деле прижился у них, у евреев. Прижился не по своему выбору — такова была воля судьбы, пославшей ему старика-переплетчика.

В какой-то степени это извиняло Юрия Андреевича. Он и в дальнейшем, как мог, старался игнорировать приметы огорчительного еврейства приютившей его семьи — благо, таковых было совсем немного — ну, разве что у деда, который любил напевать за работой старые песенки на идише. Он и переплетным-то делом увлекся не просто так, а в память о своей семье, в течение нескольких поколений державшей такую мастерскую в еврейском городе Проскурове. Ну так что? Проскуров давно уже перестал быть еврейским; теперь он назывался Хмельницким, и это переименование лучше всего отражало необходимость забыть, исчезнуть, раствориться. В конце концов, Мишина мама учила детей не Шолом-Алейхему или... кто там еще у них был?.. — а Пушкину и Толстому. А Миша и вовсе был обычным школьником, студентом, инженером, ничем не отличавшимся от миллионов других, русских людей. Откуда же, из каких темных омутов всплыли теперь эти странные слова, значения которых Юрий Андреевич не знал, но при этом нисколько не сомневался в их пагубном, чуждом происхождении. «Мешумад», «шива»... — да, это явно не на санскрите...

— Пришел к христианству?.. — задумчиво, без прежней запальчивости, проговорил Миша. — Скорее, к тому, что он называл христианством. Перечитай его стихи, Слава. Ну что там от православия, кроме частично схожего набора слов? Ни следа от мутного гностического дуализма, от дьявола и его искушений, от всех этих мучеников, раскаяний, отпущения грехов, иконопоклонства и прочей лабуды, составляющей сердцевину твоей новой религии. Есть идея любви, но главное — идея всеобщности. Его мир огромен и неделим: природа, предметы, люди — всё объединено в одном гигантском божественном облаке. Если и есть тут христианство, то лишь экуменическое, да и это вряд ли. Потому что неделимость мира — идея чисто еврейская, еще в Моисеевых заповедях закреплённая. И креста, в отличие от тебя, он на шею не вешал. Так что побереги звание подлеца для реальных мешумадов...

— Боже, что он несет... — в ужасе прошептал Юрий Андреевич.

Слава повернулся, чтобы вернуть томик на полку. Рука его заметно подрагивала, так что в щель между Чеховым и Шекспиром Юрий Андреевич протиснулся лишь с третьей попытки. Больше он Кричмана не видел, а неприятный разговор постарался забыть, что удалось довольно легко из-за начавшейся вскоре неразберихи, связанной с переездом Мишиной семьи на другую квартиру.

Переезд — дело серьезное не только для людей, но и для книг. Как объяснил Юрию Андреевичу его бывалый сосед, обитатель синего томика Иван Петрович Войницкий, только перед переездом хозяевам библиотек приходит в голову шальная мысль перебрать содержимое книжных шкафов на предмет обнаружения «лишнего». Последнее слово склонный к меланхолии Иван Петрович произносил с особенно горестной интонацией.

— Лишнего! — говорил он, добавляя к горечи еще и привкус возмущения. — Как будто книги бывают лишними... Так или иначе, Юрий Андреевич, смею вас уверить, что на новом месте мы не увидим значительную часть наших нынешних товарищей по шкафу. Если сами при этом уцелеем. Да-да, не удивляйтесь: сейчас все должны чувствовать себя в опасности. Кроме, конечно, обладателей самых красивых корешков...

И Войницкий со значением косился в сторону роскошных суперобложек Шекспира, которого презирал за излишнюю плодовитость.

Так оно и случилось; из довольно объемистой семейной библиотеки хозяева упаковали в дорогу не больше трех сотен томов. Остальное распродали или раздали, включая, кстати, и Шекспира — так что в этой части своего предсказания Иван Петрович ошибся. Зато Юрия Андреевича, к его радости, уложили в картонную коробку вместе с Войницким, который, тем не менее, продолжал недовольно ворчать.

— В коробки-то мы попали, Юрий Андреевич, — говорил он, саркастически, — да вот когда из них выберемся? После переезда книги распаковывают в самую последнюю очередь. Сначала всегда берутся за кухню, а пища духовная — шут с ней! Душа — не желудок, душа подождет... Эх, недотепы...

Но даже завзятый пессимист Иван Петрович не мог предположить, как долго им выпадет кантоваться в этой чертовой картонке из-под хозяйственного мыла, проложенной со всех сторон газетой от сырости и перевязанной крест-накрест крепкой бельевой веревкой. Сначала они дурели от тряски и качки, от грубых грузчиков, от жестких рук и тугих ремней. Потом целую вечность ждали перемен и мечтали о новом шкафе — пахнушем свежими досками, лаком и морилкой — взамен надоевшего старого, скрипучего, щелястого, изъеденного жучками. Затем, потеряв счет месяцам и годам, впали в анабиоз и уже не думали ни о чем; лишь один Войницкий время от времени встрепенувшись, бормотал свое унылое «Мы отдохнем... мы отдохнем...», как будто кто-то здесь действительно нуждался в отдыхе, а не в избавлении.

И вот оно пришло — внезапно, как заново обретенная жизнь. Пали застарелые оковы бельевых веревок, рухнули гофрированные стены темниц, слетели к чертовой матери пожелтевшие газетные покровы. Знакомые Мишины руки подняли Юрия Андреевича из пучины отчаяния, вынесли на свет дня — такого ослепительного, что пришлось ждать, пока привыкнут глаза. За прошедшие годы хозяин сильно изменился, постарел, но в ладонях его ощущалось прежнее тепло, идущее напрямик оттуда — с памятного вечера на диване под боком у мамы, под пледом и под светильником чешского стекла.

— Ну что, заждались? — ласково сказал Миша, обращаясь ко всем книгам сразу. — Пока то да сё... Только сейчас и собрались шкаф заказать. Сами понимаете — переезд.

Юрий Андреевич перевел взгляд за окно, где сияло непривычно синее и непривычно высокое, без единого облачка небо. Дом стоял на склоне горы; под ним виднелись городские районы, разбросанные между холмами, подобно выстроившимся перед большим сражением гренадерским полкам. А еще дальше, ближе к горизонту, блестел золотой купол — как тогда, возле совсем другого окна, в самом начале жизни.

«Нет, это не Исаакий, — подумал Юрий Андреевич. — И небо другое. И дома какие-то слишком белые. Впрочем, такое солнце что угодно выбелит. И чего-то явно не хватает... Вот только чего?»

Не хватало реки. Все знакомые Юрию Андреевичу города стояли на берегах рек. Впрочем, как заметил Иван Петрович, шут с ней, с рекой, главное, что был шкаф — именно такой, о каком мечталось: новый, пахнущий свежестью, с крепкими прямыми полками и застекленными дверцами. Они снова были вместе, бок о бок, спаянные перенесенными трудностями и гордые ощущением избранности. Хотя, если честно, иногда Юрий Андреевич скучал по прежним товарищам — даже по высокомерному Шекспиру: в его отсутствие не над кем стало посмеиваться из-за неразрезанных страниц...

Со временем он обратил внимание и на другую деталь: шкаф теперь почти не открывали. Оставалось заключить, что Юрий Андреевич, как и все его однополчане,

то есть соседи по полкам, отчего-то выпали не только из пресловутого культурного интеллигентского минимума, но и из обычной школьной программы. Это еще можно было пережить — куда больше Юрия Андреевича беспокоило другое: впервые подмеченные им признаки Мишиной старости.

К сожалению, люди недолговечны; зато книгам назначено жить намного дольше, переходя в семье от поколения к поколению. В этом не было ничего из ряда вон выходящего: умер дед-переплетчик, за ним — Мишина мама, скоро настанет и черед Миши. Другое дело, что так же — от поколения к поколению должно передаваться и самое важное: живой контакт между человеком и книгой, их взаимное тепло, участие, сплетенье душ, судьбы сплетенье... И всего этого можно добиться лишь одним способом: сняв книгу с полки. Снять книгу с полки, открыть ее в нужном месте и, откинув край пледа, позвать ребенка:

— Иди сюда, мальчик...

Чтобы запомнил этот вечер на всю жизнь, чтобы вернул его потом со своим сыном, со своей дочерью. В теории это казалось Юрию Андреевичу необыкновенно простым. Вот ведь его томик — здесь, на полке, всегда под рукой, всегда готовый раскрыться на любой странице. А вечер... неужели трудно найти хотя бы один, подходящий? В году их аж триста шестьдесят пять, выбирай по вкусу. Но это только в теории. На практике же получилось, что из-за проклятого переезда Миша упустил драгоценное время. Дочка выросла, вышла замуж и теперь оставалось рассчитывать только на внуков.

Внуки — два сорванца-погодка — жили в другой квартире, но часто навещали Мишу. В стеклах книжного шкафа то и дело мелькали отражения их постоянно улыбающихся физиономий. Мальчишки переговаривались, вернее, трещали без умолку на каком-то тарабарском наречии. Дед отвечал им по-русски, что позволило Юрию Андреевичу спустя пять-шесть лет освоить тарабарщину настолько, чтобы через пень-колоду понимать почти все сказанное.

Снег в этом городе выпадал редко, но однажды выдался по-настоящему зимний вечер. В новостях говорили об огромных по здешним понятиям сугробах, о заваленных дорогах и остановившемся транспорте. К оконному стеклу слетались из темноты крупные хлопья снега, прилипали, таяли, сменялись новыми, и это живо напомнило Юрию Андреевичу другие времена и другие комнаты — с журчащей батареей, клетчатым пледом и экономным светильником со странным именем «бра».

Как видно, и Мишу посетили те же самые мысли, потому что он, постояв у окна, вдруг обернулся и взглянул в сторону шкафа. Сердце Юрия Андреевича забилось сильнее.

«Ну же! — почти закричал он. — Давай! Сейчас самое время!»

И действительно, хозяин снял с полки томик в дедовском переплете и, присев на диван, позвал внуков. Мальчишки прибежали немедленно: в квартире было прохладно, а места под боком у деда обещали и уют, и ласку.

— Послушайте, как это хорошо, — сказал Миша и стал читать, вполголоса, как некогда мама: — «Мело, мело по всей земле...»

— Что такое «мело»? — прервал его младший внук, Дани.

— Фамилия, — авторитетно ответил старший, Амит. — У меня в классе есть один такой: Рами Мило.

— Он что, русский? — поднял брови Дани.

— Да какое там русский! — отмахнулся брат. — Мама у него марокканка, а папа поляк.

— Э, ребята, так не пойдет, — вмешался Миша. — Правильно не «русский», «марокканец» и «поляк», а «выходец из России», «выходец из Марокко»... и так далее.

— Это слишком длинно, саба, — снисходительно заметил Дани. — Проще так, как мы.

— Саба прав! — оборвал его Амит. Исключительное право противоречить деду принадлежало здесь ему и только ему. — Наша учительница говорит, что скоро вообще не будет никаких «русских» и «марокканцев».

Дани недоверчиво усмехнулся:

— Куда же они денутся?

— Исчезнут. Растворятся... — Амит для убедительности прищелкнул пальцами. — Вот так: растворятся без следа. И останутся одни евреи. Правда, саба?

Миша захлопнул книгу.

— Правда, — сказал он, прижимая к себе обоих внуков. — Растворятся без следа. Где-то я уже слышал эти слова...

— От Малки? — догадался Амит.

— От какой Малки?

— Ну, от моей учительницы...

— Ах, да. Нет, не от Малки, — рассмеялся Миша. — Что ничуть не отменяет ее оглушительную правоту. Кто тут хочет пиццу?

Сопровождаемый восторженными воплями мальчишек, он вернул томик на полку и пошел доставать из холодильника пиццу. Юрий Андреевич, не веря своим ушам, ошеломленно взирал на происходящее сквозь стеклянную дверцу шкафа. Неужели это всё? Почему столь многообещающий контакт завершился, едва начавшись, на первой же строчке, неправильно к тому же понятой? Ерунда какая-то... А уж замечания по поводу растворения русских и вовсе ни в какие ворота не лезли. В честь чего это он, Юрий Андреевич, должен где-то растворяться? А как же все мысли веков, все мечты, все миры, всё будущее галерей и музеев? Куда денется это богатство, где пропадет?..

Хотя, если подойти к вопросу по-философски, то нельзя не признать определенную правоту учительницы Малки. В конце концов, Саша Гордон и Лара говорили ровно то же самое. Правда, они полагали, что растворятся евреи, а останутся русские, в то время как новая интерпретация расставляла сливаемые воедино народы в обратном порядке. Но разве перемена мест слагаемых может повлиять на сумму? Ведь главной целью по-прежнему остается глобальное единство людей, их универсальная культурная основа, выход за рамки узколобой национальной обособленности. Если нет ни эллина, ни иудея, ни русского, то неважно и каким словом назовут этот результирующий всеобщий народ — хоть евреями, хоть зулусами, хоть чертом в ступе. Важен сам процесс слияния, растворения — разве не так?

Утомившись от судьбоносных раздумий, Юрий Андреевич решил поделиться своими сомнениями со старинным приятелем из синенького томика. Выслушав соседа, Иван Петрович отрицательно покачал головой:

— Растворяться? В евреях? Ну, это вы хватили через край, батенька. Вот уж чего не хотелось бы.

— Почему, Иван Петрович? Вы же сами как-то замечали, что в России только они и читают. Что, не будь этих еврейских юношей и девушек, пришлось бы повсюду закрывать библиотеки...

Войницкий пожал плечами.

— Библиотеки библиотеками, а табачок все-таки врозь. Помимо всего прочего, они ведь так чудовищно безвкусны, Юрий Андреевич... Ну посудите сами: разве не оскорбляют ваше эстетическое чувство все эти... — он состроил уморительную гримасу и прошепелявил, довольно точно копируя нелепый еврейский акцент: — ...все эти фармацевты, цестные еврейчики и прочая шволочь?.. А эта их ужасная страсть к

наживе? Копят и сами не знают, для чего копят. Нет уж, вы как хотите, а я в такой мерзости растворяться не буду.

На том пока и порешили.

За стеклянными дверцами снова потекла размеренная плавная жизнь — во всяком случае, так казалось обитателям шкафа, который теперь открывался лишь на предмет смахивания пыли. Иссущающая жара сменялась холодными ливнями, а ливни — жарой. Ничего-ничего, успокаивал себя Юрий Андреевич. Удел домашней книги — ждать своего часа. Как говорит Иван Петрович, мы еще увидим небо в алмазах...

Предсказания Войницкого обычно сбывались, хотя и не полностью. Так произошло и на этот раз. Как-то утром в комнату вошли Амит и Дани, превратившиеся за это время в здоровенных красавцев-мужчин, очень похожих на исполнителя роли Юрия Андреевича в голливудском кино. Младший был в армейской форме с тремя полосками на погонах.

— Сабы уже нету, — сказал он, явно продолжая начатый раньше разговор, — а кроме него кому этот хлам нужен...

— Может, все-таки библиотека возьмет? — спросил старший.

— Я узнавал, — со вздохом ответил Дани. — Ни в какую. Говорят, место в хранилище кончилось. Причем, везде и всюду. Переводят на электронные носители.

— Ну тогда... — Амит распахнул дверцы шкафа. — Я беру эту полку, ты следующую...

— Похоже, опять переезд, — озабоченно шепнул на ухо Юрию Андреевичу проснувшийся от внезапной качки Иван Петрович. — Вот ведь недотепы...

Десять минут спустя все обитатели шкафа уже стояли несколькими высокими стопками на асфальте по соседству с какими-то дурно пахнущими зелеными ящиками, а над ними вместо верхней полки сияло бесконечно глубокое голубое небо — всё в алмазах, как и обещал Войницкий. Из-за ящика вышла поджарая остромордая кошка, понюхала книги и чихнула.

— А ведь это, похоже, помойка, Иван Петрович... — сказал Юрий Андреевич.

— Глупости, — сердито отвечал сосед. — Говорю вам, переезд. Причем, слава Богу, близкий, поэтому и в коробки не упаковали. Сейчас подъедет машина и погрузят, вот увидите.

Машина действительно подъехала — огромная, с ковшом позади и двумя смуглыми поджарыми парнями, повадкой напоминающими давешнюю кошку. Спрыгнув с подножек, парни споро покидали книги в грязную прорву ковша. Затем туда же полетели пластиковые мешки с мусором.

— Что это... — задышавшись от вони, пролепетал Юрий Андреевич. — Зачем?

Мусоровоз тронулся с места и тут же, устрашающе скрежеща, пришел в движение ковш. Пакеты лопнули; в лицо Юрию Андреевичу плеснуло омерзительной гнилью. Надвинулась стальная плита, прессуя содержимое камеры в единый неразделимый мусорный ком. Вокруг пыхтела гидравлика, скрипели, ломаясь, книжные переплеты, страницы сминались в липкую бумажную массу; растворяясь в ней, бесследно исчезая, мелькнула страшно расчлененная фигура Войницкого, а следом — все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи, всё великолепье цветной мишуры, все праздники, все золотые...

«Вот и растворились...» — подумал Юрий Андреевич и перестал быть.

Максим Васюнов

В кайф

Два «дымных» рассказа

Фабрика игрушек

...сразу удар в голову, еще один в живот, трое повисают на мне, как шимпанзе на огромном клоуне. Реприза — «Свали лоха». Костяшки прокуренных кулаков царапают переносицу и щеки, рвут спецовку, кеды вязнут в грязи.

Надо отбиваться, работать руками, ногами. И дышать. Дышать. Но в нос бьет кислый воздух — рядом дымит коксохим.

Всё против меня.

Отбиваюсь и начинаю ржать — побочный эффект быстрого выброса адреналина, ржу оттого, что несколько крепких гопарей не могут меня завалить.

Реприза не удастся. Невидимые зрители мучаются от стыда.

И смешно, и страшно: если свалят, то запинаят до реанимации, но главное — вытащат телефон, а мне никак нельзя его терять — денег на новый заработаю нескоро. За телефон и стою.

— Кабан, сука, — рычит кто-то из кодлы, я даже не вижу его лица, бью наотмашь. По хрусту, который по неопытности можно спутать с треском сухой ветки под ногами, понимаю — зарядил в переносицу. Гопарь утыкается клювом куда-то в кусты, орет благим матом.

Трое других не теряют надежду закопать меня прямо здесь.

...И зачем я согласился пойти за пивом среди ночи? Лучше бы лег спать. Бригадир — бывший афганец — предупредил еще в первую мою смену: «Запомнить надо только два пункта. Пункт первый — если увижу, что спишь, даже когда нет работы, — выпну».

Про «бухать» он не говорил ни слова.

Мы делали пленку, наш завод занимал первые два этажа бывшей фабрики игрушек — панельного здания размером с современный торговый центр. Сама фабрика была трехэтажной. Но что было над нами, мы не знали — второй пункт

Максим Васюнов — журналист, автор документальных фильмов, участник Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Проза и публицистика печатались в журналах «Знамя», «Юность», «Наш современник» и др. Живет и работает в Калужской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

бригадира звучал так: «Никогда не вздумай подниматься на третий этаж, увижу — ушатаю».

Однажды я все-таки не выдержал и поднялся. Это случилось часа за два до того, как мы с напарником пошли за пивом.

Напарник мой — имя уже забыл — на тот момент только недавно откинулся. Сидел за разбой. Мы с ним почти подружились. Вместе мотали и резали пленку. Когда нас окрикнули по пути из магазина — друган мой скромно и уверенно отошел в сторону. Его будто не заметили.

До сих пор удивляюсь — как так долго мне удавалось устоять под таким катком. Я часто восстанавливал в памяти тот махач, пытался увидеть все со стороны. Узкая улица, идущая в горку. Параллельно слева тянется бетонный забор, он заканчивается у продолговатого здания нашей фабрики. Часть ее освещена единственным горящим в округе фонарем. Правая сторона улицы заставлена двухэтажными бараками. Они и днем-то безликие, ободранные и засеревшие, а ночью — даже не понять, кто кому дарит тень: бараки ночи, или ночь баракам. Лишь в одном окне, обклеенном газетой, помню, горел яркий свет. За мелкими буквами и черно-белыми фото располагался известный здесь дешевый бордель.

Еще помню акации. Они отделяли шлакоблочную старую дорогу от тротуара, на котором дыр было больше, чем на поеденной молью бабушкиной шали.

В те акации и закатился один из чертей, когда я залепил ему в переносицу.

В этой мизансцене я почему-то вижу себя ободранным медведем или раненым йети. Он мечется в небольшом квадрате, отмахивается от мелких людишек, а те прилипли и с настырностью детей пытаются посадить медведя на колени.

Но реприза по-прежнему в провале.

...Сил все меньше, воздух уже не глотаю, а всасываю, подламываются ноги и грудь вот-вот проломится. Стою. Пытаюсь вырваться. Пока не получается. Пацаны бросаются мне под ноги, прыгают на меня, и уже почти рыдают от бессилия.

Почти рыдаю и я. Но показывать слабинку перед кодлой — не по понятиям.

...Понятиям я научился на фабрике игрушек. Здесь было много пересидков, которых никуда больше не брали. Выдувать пленку тоннами, сматывать в гигантские — два-три метра толщиной — крепкие, плотные рулоны, а потом резать их под нужную ширину практически вручную — от такой работы отказываются даже самые нуждающиеся. Поэтому берут всех.

Я попал на фабрику игрушек из-за возраста — в свои семнадцать мне нелегко найти другую работу.

Ночами, когда нам не подвозили гранулы — из них выдувается пленка, — мы пили чай на посту, так называлась небольшая будка, приподнятая над уровнем пола метра на три. Из ее окна хорошо просматривался весь наш цех, заваленный рулонами, заставленный станками. Посередине стояла «выдувка», — внушительный аппарат с конусами, из которых по специальным рельсам ползла пленка — сначала метров на восемь вверх, потом — метров десять параллельно потолку и, наконец, плавно опускалась вниз, здесь ее подхватывали рабочие и набрасывали на вертящуюся балку. На этой балке наматывалась очередная «бомба». Катушка стояла на неровном полу, поэтому ее то и дело носило из стороны в сторону, из-за чего пленка ложилась в рулон неровно. Самой тяжелой работой было удерживать катушку. Это обычно делали новички. Из новичков. Металлические ножки катушки то и дело отпрыгивали на бедро, отдавливали ноги, били под колени.

Так вот, когда гранулы — мы их называли «зернами» — не приходили, мы коротали ночи за болтовней под цифир. Я был самым молодым в бригаде, поэтому все считали своей обязанностью поучить меня жизни.

Старшим в нашей смене был Рома, мужик лет тридцати, низкого роста, в спортивном костюме и в толстенных очках. Он походил на тренера женской волейбольной команды или на пациента больницы, на деле же на Роме висел срок за налет на магазин.

— Слушай сюда, — начинал он свой урок. — Пьяному море по колено, пьяному можно все, бить бухого не по понятиям. Не прав по-любому тот, кто бьет бухого.

— Я знаю, — осаживал я Рому дерзко, по-подростковому.

— Да не х.. ты не знаешь. Вот попадешь — понюхаешь. Сюда слушай, говорю.

Однажды старший рассказал, что прыгать в драке толпой на одного тоже не по понятиям.

...Хрустнувшая переносица снова блестит в метре от меня — черт выкатывается из акации, рядом с ним блестит еще что-то. Нож.

То ли страх смылся в ночь, поняв, что здесь ему ловить больше нечего, то ли кто-то из шимпанзе перебил мне нервы, но ножа я не боюсь. Я уверен и спокоен, как канатоходец.

Спокойствие прекрасно, но не в драке с отбросами.

Я не замечаю, как этот ублюдок пыряет мне в бочину.

Снова — хруст. И это не ветка под ногами. Лопается — внутри меня. Звук — будто трамвай поворачивает на крутом повороте по ржавым рельсам.

Дальше — тишина. Глаза ищут в темноте ответ — что, правда? Вот так сдохну? — и нашаривают фонарь над фабрикой. Свет по-прежнему забирает у ночи кусок фасада и забора. Я замечаю трубу на крыше. Из трубы, неуверенно подергиваясь, вываливается густой дым.

Дым шумит.

...В ночную никто особо не вкалывал. Наматываем рулонов пять, и хватит. А в ту смену и двух не сделали. Старший поругался с женой — веская причина остановить цех. «Че-то нет настроения, ребзе. Ну ее нах, дневные доделают», — и в будку.

Снова слушать базар за жизнь, глотая вязкий дым, не хотелось. И я — решил побродить по огромному зданию фабрики. Конечно, меня тянуло на верхний этаж. Где-то там когда-то делали игрушки, и это как минимум необычно. Там сейчас явно не пустые стены, иначе бригадир не запретил бы туда подниматься.

К лестнице на третий этаж вел широкий темный коридор. Знакомый до равнодушия. А вот сама лестница пугала своей неизвестностью, как высокая малоизученная гора. Дойдя до ее подножия, я с трепетом шагнул на первую ступеньку. Откуда-то сверху сразу повеяло запахом старых подвалов.

Я прошел один пролет, впереди оставались еще один и поворот направо. Я понимал, там тоже должен быть широкий коридор, а в конце его... Дверь? Закрытая? Решетка? Или путь в цех был свободен?

Взбежав на третий этаж, я достал карманный фонарик. Может быть, сейчас преувеличиваю, но тогда мне показалось, что от луча темнота как бы отшатнулась, как бы испугалась света с непривычки, будто давно ее никто не тревожил. Стало страшно. Беспокойно. Луч царапал бетонный пол, стены, иногда задевал настенные плакаты — мишки олимпийские, мишки белые. Возникла мысль: содрать один на память — это же какой раритет, друзья сойдут с ума от зависти — но адреналин уже делал свою работу, гнал вперед.

Дверей в цех не оказалось, даже решетки, вообще ничего. Только гигантский куб темноты, которая за годы уже, кажется, настоялась и спрессовалась — по крайней мере, врезавшись в нее, я обронил фонарь. Он потух и больше не зажегся, как я ни крутил его, ни жал на кнопку и ни долбил его пластиковой ножкой о бетонный пол.

Не меньше минуты понадобилось, чтоб попривыкли глаза и я смог хоть как-то сориентироваться.

Слева, метрах в пяти от меня, просвечивали огромные панорамные окна. И это меня удивило. Во-первых, в нашем цеху таких не было, во-вторых, свет был уж очень ярким — на его фоне прорисовывались прожилки и коросты оконной грязи.

Стереть копоть годов было невозможно, даже пытаться не стоило, но так хотелось посмотреть, что так светится!

Стал прощупывать оконные рамы — как-то ведь проветривали раньше это помещение. Осторожно шагая вдоль окон, я пару раз наступил на что-то хрустящее, похожее на стекло, несколько раз от моих кед что-то отлетело в сторону... Наконец наткнулся на какую-то выступающую из рамы железяку. Тут я только заметил, что рамы эти были вовсе не деревянными, а металлическими, алюминиевыми. Такое я видел впервые. И уж конечно, мне пришлось долго ощупывать необычный шпингалет, прежде чем я удивился еще раз. Шпингалет этот не надо было поднимать вверх, а всего лишь следовало повернуть — что далось не так уж просто, с годами система заржавела. Я даже подумал, что и окно не растворю — наверняка всё уже припаялось друг к другу. Но как только шелкнуло в задвижке, окно поехало, не влево, не вправо, а вверх.

Меня тут же обдало холодным воздухом. На узкий подоконник, зависший между стеклами и темнотой, пролился свет, затем он проскользнул на пол, на мои кеды и стал двигаться по мне вверх, параллельно поднимающемуся окну.

Вместе со светом в фабричный цех попал и запах коксохима, гнили, мокрого железа...

Я не смог дождаться, пока рама остановится и, поставив локти на подоконник, выглянул в ночь.

Но ночи за окнами не оказалось.

На горизонте открывалась панорама металлургического завода. Гигантская площадка с десятками цехов, железной дорогой, мощными домнами и сотнями труб, из которых выбивалось пламя или дым, местами красный, местами желтый, но в основном белый. Если на эту картину посмотрит ребенок, то он наверняка спутает завод с тортом, где вместо коржей слои металла, кирпича и бетона, а вместо свеч — трубы.

И все это освещается миллионами киловатт.

Я заворожено смотрел вперед. Индустриальная мощь лишила меня дыхания. Да что там дыхания, мне показалось, что я потерял смысл жизни. Настолько моя личная судьба на фоне этой горящей махины, этого монстра, показалась тусклой. Потухни она сейчас, здесь, никто и не заметит. И даже если душа вылетит из меня самой яркой звездой, то над этим горящим городом она промелькнет маленькой искринкой. Промелькнет и упадет в одну из заводских печей.

Потому что домны в нашем городе топят душами, — говорила мне бабуля. Она прожила здесь почти семьдесят пять лет.

«И совсем не важно, как умирает человек — от простуды, от рака, под трамваем или в драке со шпаной. Душу — в топку». «Зачем, бабуля?» «Для очищения, чтобы оттуда вместе с дымом улететь в небко. Спи, спи, Маковка».

Под моей ногой что-то треснуло. Рядом с подошвой переливалось оттенками синего какое-то раскошенное стекло. Я присел на корточки, чтобы пощупать находку, и тут увидел вокруг себя десятки разноцветных шаров, бус, стеклянных зайчиков, мишек, круглых часиков, звездочек, дедов морозов, снегурочек...

Это были елочные игрушки. Быть может, за последние лет двадцать они впервые увидели человека. Уже потом я узнал, что фабрику закрыли еще в девяностые, оборудование вывезли, а последнюю партию новогодних украшений забрать забыли, или она оказалась никому не нужна.

Мне захотелось рассмотреть весь цех, для этого я попытался открыть другие окна, но они уже не поддались. Зато открылись окна в прошлое. Глядя на груды елочных игрушек, меня захватили воспоминания детства.

Детство я провел с бабушкой, мы жили по другую сторону металлургического завода. В промышленном районе. Из нашего окна было видно всего пару труб и гигантский факел. По утрам район оглушал заводской гудок. К вечеру дышать становилось практически невозможно — куряга-завод гордо и бессовестно убивал горожан своим «никотином». Убил он и мою бабушку, — онкология. Это случилось за год до того, как я устроился на фабрику игрушек — нежные воспоминания были еще свежи.

Я перебирал игрушки и вспоминал, как мы двадцать седьмого декабря доставали маленькую искусственную елку, ставили ее на кухонный стол, потом бабушка снимала с антресоли заветную коробку — в ней лежали стеклянные герои Нового года, украшения и много-много ваты, которую закладывали у основания пластмассовой ели.

Помню, бабушка ставила меня на стол до тех пор, пока я не стал выше елки. Потом я развешивал игрушки с табурета. Наряжали мы всегда в одном и том же порядке. Сначала — стеклянные шары, синие, красные, в горошек, и просто бесцветные, потом за ветки цеплялись зайчики, олимпийские мишки, звездочки, бородатые мужики, женщины с коромыслами, продолговатые зеленые и фиолетовые сосульки, птицы, петушки, часы, маленькие теремки... Затем из коробочки доставались длинные-предлинные бусы, ими можно было в несколько раз обмотать всю елку. Потом мишура, дождик. И вот наступало время для самого сокровенного.

Бабушка отщипывала от большого куска ваты маленькие пушинки и посыпала ими нашу красавицу. Они снежинками падали на игрушки, на бусы, на ветки... В этом простом действии было столько волшебства, что я не мог оторвать взгляда и сам не сразу решался взять свою шепотку ватного снега.

Затем нарядная елка переносилась из кухни в залу и ставилась на телевизор. До старого Нового года игрушки с нижних веток перемигивались с горящим черно-белым телеэкраном.

...Всполохи огня за окном фабрики высвечивали все больше игрушек. И целое море стеклянной разноцветной крошки на полу. Ни в одном театре, ни в одном кино не смогли бы сделать столь необычных декораций, в каких оказался я в ту ночь. Семнадцатилетний парень. Зависший между сказочным детством и безнадежным — как казалось мне тогда — будущим.

Время шло. Меня, должно быть, уже хватились внизу. Пора было возвращаться. В тот момент я пообещал себе, что еще не раз вернусь сюда и уж, конечно, перетаскаю отсюда все игрушки. На первый раз я подобрал с бетона синий шарик, с одной стороны его были нарисованы куранты, с другой — кремль. Точно такой же часто гостил на нашей елочке, а один раз мы установили шар вместо рождественской звезды.

Игрушку я положил во внутренний карман спецовки.

Никому в цеху о своих открытиях я не сказал. Было жалко делиться чувствами. Хотелось молчать. Наверное, еще и поэтому я так быстро согласился сходить за пивом.

Я часто думаю, что на самом деле — каждый сотрудник нашего цеха не раз бывал наверху. Бывал в одиночестве. И каждый из них предпочитал никому об этом не рассказывать.

...После удара ножом гопари спрыгивают с меня и окаменевают. Первым столбенеет черт с лицом зэка, отмотавшего лет тридцать.

Зэка смотрит дико, тупо. Не удивлюсь, если он сейчас мочится.

— Ты нах его бахнул? — наезжают на черта его дружки.

Но тот не слышит. Чувства тоже отказали — нож падает ему на ногу, а он, кажется, даже не замечает.

Всю эту драматичную сцену обрубая я. Ударом все в ту же переносицу. Ударяю и срываюсь с места, быстрее гоночной машины.

Воздух режет мне ноздри и заливается холодом внутрь. Ко мне возвращаются сразу и силы, и мысли. Смех сменяется слезами. Я бегу на единственный горящий фонарь фабрики. На дым из трубы. За мной — мой напарник. Он кричит: «Да стой ты, они отстали». Но я бегу.

У проходной напарник стучит мне по спине: «Катафалку зовем?» Он видит мои слезы, облизывается, на мгновение теряется, облизывается снова.

— Больно?

Я расстегиваю спецовку, ныряю правой рукой во внутренний карман и достаю оттуда осколки елочной игрушки.

Напарник ржет.

Убегая от дыма

Эта история началась со слов, с которых в наших краях начинаются драки: «А я тебя помню». Только в этот раз к драке ничего не располагало. Я пил с друзьями в местном кабаке; когда друзья вышли покурить, ко мне подсел седовласый пенс, до этого в одиночестве хлеставший коньяк за соседним столиком. Я давно обратил на него внимание: старики — нечастые посетители подобных заведений.

«А я тебя помню, мы тебя с твоими товарищами задержали после матча», — и тут он озвучил точную дату матча, названия команд и даже то, что в тот день сыграли вничью.

Я помнил, за что нас тогда задержали, помнил, чем все удивительно для нас закончилось, но этого пенса, как ни старался, из памяти не выудил.

— Да ты не напрягайся, я же так просто подсел, лицо знакомое увидел, — тон его был доброжелательным, мягким. И после он разговаривал со мной, как с любимым зятем.

— Из ментовки?

— Начальник. Той самой, куда вас увезли. А уазик перевернутый помнишь? Это тоже наш уазик был. Задоев моя фамилия.

Ё-моё, полоснуло меня где-то там, докуда в черепной коробке обычно поднимается коньяк. Задоев был грозой местного района. Все боялись или бандитов, или Задоева. Я его никогда не видел, да и мало кто видел. Я вспомнил, что он

представлялся мне обычно огромным горцем чуть ли не с саблей и почему-то с одним глазом — очень злым. Бабай, короче. А тут маленький старичок с добрыми глазенками. Понятно, что с тех времен прошла тонна лет, но все же...

— А что за уазик? — я реально не сразу вспомнил.

— Ну как же? Вы еще там написали свое акаб, All Cops Are Bastards, — расшифровал Задоев на хорошем английском и тут же на полупьяном русском перевел: — «Все копы ублюдки». Кажется так, да?

Разговор мне начинал нравиться. Еще больше мне понравилось, что он быстро подкурил мою сигарету и больше ничего не говорил.

Бьюсь об заклад, что он в тот момент вспоминал — старики легко поддаются на провокации памяти. Я тоже вспоминал — это было время, о котором вспомнить не грех.

В дверь постучались. Задоев кашлянул. Майор из угрозыска открыл двери: его глаза смеялись — только что он увидел что-то очень забавное.

— Григорич, привезли. Иди глянь, я валяюсь! — майор заржал и пошел в сторону выхода, дверь за собой не закрыл.

Во дворе стояла привезенная от стадиона милицейская машина. Задоев сразу же вслух на нее выругался: «Шалава» (с тех пор эту машину так и называли все милицейские, до самого списания). В оценке Задоев был точен. Именно так выглядят пойманные в ночных рейдах шалавы — с подбитыми глазами (машина была без фар), с царапинами по всему телу (железо уазика знатно покоцано), с глубокой раной от ножа или розочки в районе живота (вмятина в водительской дверце говорила, что машина упала на каменную урну или на шлакоблок), с наколкой на плече или на голени (на правой дверце красовались выписанные черным баллоном четыре английские буквы).

Задоев ничего не говорил, курил молча, соображал, что теперь делать. И с машиной, и с той шпаной, что так ее расхерачила. Он уже знал, что задержать пока никого не удалось: ребята работают, конечно, но кого там выловишь, если даже сами эти ребята не запомнили лиц. Можно, конечно, повязать тех, кто уже известен из этих так называемых «ультрас», но тогда надо найти причину. Сказать, что за перевернутый уазик — нельзя, смеху будет на всю область, да и вопросы от начальства прилетят — куда смотрели?

Один экипаж на целый стадион — это и правда тупость. Но кто ж знал-то.

В тот день на матч пришел практически весь движ. Даже новеньких полно было. Все знали — на дерби всегда весело. Наши играли с командой из областной столицы, там фанатя раз в десять больше. И все они приехали к нам. Сто тридцать километров — не расстояние, как в соседний район на выезд сгонять.

Уже с утра весь парк у стадиона был наполнен парнями с розами и на брендах. То есть, с шарфиками цветов любимой команды и в одежде котируемых в околфутбольных кругах фирм.

Пили пиво, пели песни, скандировали кричалки, гоняли местную гопоту и разводили телок на приятные десятиминутки тут же в кустах, особо романтические уходили куда-то к пруду на другом конце парка.

В общем, ничего вызывающего не происходило. Довольно в мирной атмосфере ждали матча.

Первый тайм тоже прошел спокойно, красиво даже. Секторы гостей и мы накрылись широченными цветными баннерами, на которые к концу матча дождем падали искры зажженных файеров. Заряжали здраво: от наших скандирований временами дрожал дым заводских труб — за нашим сектором начиналась промзона. В общем, и на стадионе мы были молодцами, перед гостями — не в грязь лицом.

Откуда только появилась эта тетка в форме, с жопой, как мешок с футбольными мячами! Никто не вспомнил потом, с какой стороны трибун она подошла — может, сверху упала.

Был перерыв, половина разбежалась под трибуны.

— Вам, — говорит, — по сколько лет всем? Несовершеннолетние, — говорит, — есть? Сюда подходите!

Ага, разбежалась! А что касается несовершеннолетних, то тут только такие и были. У нас движ молодой, только-только начали тогда в группировку сбиваться.

— Я что, не по-русски говорю?

— А вы что, другие языки знаете? — съязвил Лещ. Он уже на первом курсе универа учился, о чем всем рассказывал, особенно после двух-трех банок пива.

— А ты что, самый умный? — наехала бабища.

— Да, в университете учусь.

— Сюда подошел! — заводилась бабища.

— На х..й иди, — заводился Лещ. Ему не понравилось, что какая-то шмара на него орет. Да и кому понравится такое в семнадцать лет?

Милая женщина со стройной фигурой (как потом выяснилось — из отдела по делам несовершеннолетних) сама была виновата во всем случившемся после.

— Вы у меня отсюда не выйдете, все поедете в обезьянник, там я вас буду посылать! — кипела дама.

— Как мы поедем, если не выйдем? Вы где учились? — продолжал язвить Лещ под дикий хохот заполняющегося сектора.

И ведь не обманула. Обиделась, вероятно, сильно. После матча у выхода нас ждал автобус, почему-то ПАЗ, хотя нас человек сто шей было. И человек триста приезжего фанатя — тоже молодого, наглого, пьяного. Помимо всего прочего, они были на выезде, а значит — гораздо смелее.

Автобус упал как-то вдруг сразу. Хорошо, водителя не было — курил рядом. Тяжелый грохот стукнувшего об асфальт железа и разбивающегося стекла подбавил нам адреналина. Над парком понеслось дружное сплоченное скандирование всех сотен шей: «Мусора, сосать!» Зажглись, будто специально оставленные для этого случая файеры. И, как по команде, дружно полетели в стоящий тут же милицейский уазик. Водитель включил сирену, выбежал из машины. Странно, что он никак не отреагировал, когда упал автобус. Да и теперь особо на рожон не лез — наши парни прямо на его глазах раскачали и уронили его «рабочее место». Заряды «Мусора, сосать!» повторялись все чаще.

Тут кто-то увидел в окне раздевалки под трибуной ту красотку, что испортила всем настроение. Вмиг окно было осыпано градом бутылок и камней. Особо рьяные хотели даже залезть в раздевалку, но их остановили — потасовка потасовкой, но не бить же морду бабе, пусть даже такой тупой?

Когда где-то с дороги послышались сирены, все четыре сотни парней подорвались и довольно быстро рассосались по большому парку, а кто-то сразу подался в сторону промзоны.

Я был один из тех, кто знал эти места — сам жил в том районе, — и потому сбежал через завод.

Задержали в тот день только несколько человек из приезжих, но тут же отпустили — потому что, конечно, они сказали: «Ё-моё, мы сами в шоке от этих дебилов, спасибо, что вы хоть быстро приехали. А то мы думали, всё, кранты нам! Спасибо, ребят, честное слово, спасибо!» Тогда еще наши менты не были знакомы с околоспортом, им можно было заливать все что хочешь — они верили самым глупым, наигранным интонациям и выражениям лица. Даже если бы кто-то плакал и в это же время рисовал маркером на рубашке мента член, то его бы вряд ли задержали.

Были времена!

— Да, были времена, — следовало продолжать разговор с Задоевым. Я подсел к нему поближе, чтоб не перекрикивать клубные басы и визжащих на танцполе баб. — Ну, вы же не в обиде?

— Да что ты! — отмахнулся Задоев. — Теперь есть хоть, о чем вспомнить. А то одни ушлепки да бытовуха.

— Тогда за встречу! — и мы опрокинули по стопке.

— А я тогда долго думал, что же с вами делать, — стал закусывать воспоминаниями Задоев. — Да если честно, тогда не знал, за что и хвататься. И людей не было. Время, сам помнишь, какое. Нарколыги, разбой, разборки. Нет, конечно, если бы вы просто кого побили из наших, мы бы сорвали весь город, но за машину позориться не хотелось. Сами разберемся.

Пенсионер начал разгоняться — оказалось, что он чересчур болтлив. И не так интеллигентен, как рисовался до этого.

Впрочем, эта болтовня будила ностальгию. Я курил и слушал. И мне было хорошо.

— Водила с расхераченной шалавы сказал, что через неделю снова матч. И что типа там будет драка. Не на самом матче, а до или после. Тут-то я только и узнал, от него же, что есть, оказывается, в городе своя группировка футбольных хулиганов, и что они даже регулярно забиваются с теми, с кем у них...

— Война.

— Ну да, с кем контры. А я-то до этого, лопух, отвечаю, думал, такое только по телику. А тут у меня на районе, перед носом. И, прикинь, оказалось, пол-отделения знали об этом, но всем было пофиг. «А что, они никого не трогают. То, что огни жгут — это проблемы стадиона, но от руководства клуба заявлений не поступало!» Понял? Вы-то думали, поди, что мусора-ублюдки просто фишку не секут, поэтому не напрягают. А всем на вас было просто пофигу! Вот и просрала тачку!

Задоев говорил все это так, как будто рассказывал байку — весело. Ни обиды, ни злобы. Даже не хотелось ему сказать, что «Вы сами мудаки, мы уже к тому моменту года два существовали, весь район на ушах держали в дни матча, а вы, только когда вас отмудохали, заметили! Ну не идиоты ли?» В другой раз, при других обстоятельствах и интонациях, я бы все это сказал, но здесь хотелось обнять этого наивного старика!

Но с наивного тона он вдруг перешел на философский.

— А я ведь тогда так подумал — не надо пытаться понять, кто они, надо понять, почему они делают это. Я запросил в местных СМИ фото и видео с вашего сектора. Нет, конечно, мы могли, повторюсь, кого-нибудь вычислить, расколоть, посадить пару-тройку, но я тогда решил понять — по-че-му. А посадить мы всегда успели бы!

— Очень интересный поворот! — резюмировал я.

— Так вот, Максим...

Так, стоп... Мы же не знакомились! Выпили, но не познакомились. Хотя, может, он помнит мои репортажи на местном ТВ, я там работал когда-то.

— А вас как зовут по батюшке?

— Рустам Григорьевич! Так вот, Максим, я рассмотрел ваши фото тогда и понял, что имею дело с необычной бандой!

— Да мы и не банда, это же...

— Знаю-знаю. Движение, группировка, никому плохого не делали, кроме ментов и хачиков, знаю. Но для меня-то вы банда. И не такая, как все. Я видел, что вы хорошо одеты, что глаза у всех умные. Были, конечно, среди вас и отморозки, но больше было умных парней. Я в людях разбираюсь. И вот тогда я снова стал думать — почему, зачем им все это? Все эти кричалки, файера, мордобои?

Задоев замолчал. Я бы мог ответить ему, но это было бы неприлично. Он, может, всю жизнь хотел об этом с кем-то поговорить. Искал того, кто поймет. Пусть думает, пусть выговаривается. Тем более что наши из компании уже давно зависли на танцполе.

— Это была не мода ведь, так? Да и дико это все было для нашего городка. Кругом заводы, тюрьмы, тут живут по понятиям, тут кругом режут за телефон, в лучшем случае — за баб. Но не за футбол же. Не за какую-то там честь клуба. Или города. Или банды. Ну не по понятиям все это. Не по-нашему как-то. Откуда же это всё?

И он опять замолчал. Закурил. Но не ждал ответа, а собирался с мыслями.

Мы в тот момент обо всем этом не думали. Откуда, зачем, почему? Вопросы для нудных стариков. Нам было просто в кайф. Помню, мой приятель как-то сказал: «Вот еду в трамвае, смотрю на людей и думаю, а вы ведь даже не знаете, что есть футбольные хулиганы и что это гораздо круче, чем бухать и курить под телевизор, — и такое почувствовал превосходство!» Не все, конечно, шли в движ из-за чувства превосходства над другими, хотя...

В основе нашего движа человек двадцать было. Пара лидеров, как полагается — харизматичных пассионариев. Им бы секту свою открывать, а не морды бить после футбола! Остальные были так, уходящие-приходящие: примыкали скинхеды, примыкали нацболы, просто сочувствующие и просто спортсмены. Лишь единицы задерживались на пару или даже несколько лет. Текучка в фанатских кадрах — это проблема посерьезнее маленького бюджета футбольного клуба! Стабильность только в основе движа. Состав команды может меняться сколько угодно, как и главные тренеры, но костяк фанатя неизменен. Да и плевать хулиганам на этот состав, они стоят за цвета клуба, за название, за идею.

Александр Невский, любимый герой околوفутбола, бился за веру, хулсы — за цвета. Эти цвета — их религия, их иконы, их хоругви. С потерявших банера или шарфики снимали голову. Можно потерять девственность с бомжихой, это не стрёмно, стрёмно — потерять шарфик даже во время драки, позор адский.

Адреналин? Конечно! Адреналин гнал на матчи, особенно когда ментов на стадионе стало больше, чем фанатя; адреналин гнал на выезды, откуда было столько же шансов не вернуться, как подцепить сифилис от бомжихи. Добирались до города назначения на электричках (это называлось тогда «на собаках»), за дорогу не платили, перебегали по перронам. Уехать так могли и за тысячу километров — без документов, без денег. В городе тоже не факт, что найдешь вписку, не факт, что не столкнешься с местными гопниками. А если у вас война с местными хулсами, то еще веселее!

Поездка превращается в спецоперацию — добраться целым до стадиона и отбиться после. А лучше вальнуть соперника!

Адреналин гнал в драки! Двадцать на двадцать (фейр-плей) — это уже была бойня. Минуты две — на большее никого не хватало — мясорубки; перед тобой такой же, как ты, паренек — в модной одежде, руки в бинтах. И ты знаешь, что он классный, ты с ним даже после махача побратаешься, может быть. Но сейчас он твой злейший враг, и тебе перед ним надо самому себе доказать, что все твоё фанатье — не пурга, не говно, что ты ради этой вот секунды живешь. И сейчас ты его должен опрокинуть и прыгнуть на следующего — тоже неплохого человека! И вот прыжок, удар! Картинка рассыпается, мыслей ноль, дыхание остановлено — только слюни и кровь, и тыща шансов захлебнуться от удовольствия. Это же, как оргазм! Даже если получишь по щам сам — все равно кончишь!

Постель и фейр-плей — лучше мест для оргазма просто не существует.

Даже не ищите.

Вот и весь ответ на вопрос — почему! Но Рустам Григорьевич пошел по-другому пути. Станный какой-то.

— Я думаю, что вы не просто сумасшедшие. Я думаю, что для вас это бегство от дыма, так скажем.

— О, как! Поэтично! — говорю же, странный.

— Нет-нет, не смейся. У меня ведь философское образование. Одно из трех моих высших. И вот есть такое понятие — «бегство от дыма». Оно для нашего города тем более подходит. Не тебе рассказывать. Это когда в депрессивной местности, где наркомания, алкоголь, бандитизм, проституция, панки, эмо, прочие недолюбленные... так вот, кода во всем этом вдруг появляются такие, как вы. Или даже просто тренажерный зал, где молодежь железо тягает с утра до вечера. Или какой-нибудь народный театр, который сам образовался, не по разнарядке. Или какой-нибудь фонд благотворительный. Или экологический. Или даже СМИ независимое. То есть когда люди посреди разрухи чего-то созидают, вокруг чего-то объединяются. Понимаешь? Всё в дыму, в серости, в тумане, но появляется просвет.

— Что же вы тогда нас гоняли?

— Да никто вас не гонял. Даже не посадили никого. Я же отслеживал.

— Я только не понимаю, чего мы созидали? Вы точно про фанатье говорите?!

— Конечно, вы созидали себя.

И вот это простое «вы созидали себя» прозвучало так, как если бы в тот момент в кабаке вырубил музыку и откуда-нибудь сверху раздался голос Бога или сатаны.

Меня бы, наверное, так же пробрало. И я бы онемел на какое-то время.

— Да-да, вы себя созидали. Посреди шпаны, которой тогда было, как саранчи, посреди всей этой жизни по понятиям для вас это был единственный шанс стать другими. Выйти в люди, чего-то добиться, что-то изменить. А так вы бы в лучшем случае стали работягами на заводе. И многие из вас стали, но по профессии, а по духу — вы все равно все другие. Я же знаю, кто-то из ваших в политику ударился, кто-то в прессе, кто-то даже в церкви поет. А так бы — вон, как твои собутыльники — были бы бандитами.

Тут я растерянно посмотрел на танцпол. Я-то знал прекрасно, с кем пришел в кабак, но сейчас как-то неловко за них стало. Впрочем, те, кто дрыгался с ними рядом, тоже были не шахматистами.

— Слушайте, я вам честно скажу. Я обо всем этом не думал. Мне кажется, вы глубоко копаете. Всё проще.

— Я же все осмыслил. Меня так учили — осмыслять. А так всех бы вас пересажал, если бы мозг не включил. Я бы мог, — и пенсионер снова улыбнулся, как улыбаются дедушки внукам. Правда, тут же ударил по столу кулаком: — Ладно, давай выпьем. За тебя. Я же слежу за тобой. Когда из маленького города кто-то где-то выстреливает, всем известно становится. Ты молодец. Давай, за тебя!

Мы опрокинули по коньяку. И у меня родился еще один вопрос. Он долго мучил меня в той, прошлой уже, жизни. Грех было его не задать под закуску. Тем более, мои друзья-бандиты возвращаться не собирались — кто-то топтал на танцполе, а кто-то курил у бара.

В нашу сторону они даже не смотрели.

На следующую домашку мы уже шли под конвоем «космонавтов». Нас снимали с трамваев, с автобусов, с маршруток, ловили по дворам, загоняли в один строй и провожали до сектора. наших соперников, парней из другого города, встретили прямо на вокзале. И тоже под конвоем через весь город отвели на стадион. Никаких баров, магазинов, парков и даже туалетов. В общем, началась взрослая жизнь. Все, как у других — там, где околоспорт уже давно заметен.

Вокруг нашего сектора на стадионе живой цепью в три ряда выстроились ОМОН, курсанты школы милиции, даже солдаты-срочники. Все это было для нас как большая лесть. Нас признали? Нас испугались? Мы крутые!

Конечно, кордоны не смущали нас, и мы практически весь матч скандировали оскорбительные кричалки. Файеры летели прямо в каски. Мы нарывались на драку. Чтоб уж совсем как у всех.

Но тупые «космонавты» уперлись. И даже никого не пытались выхватить из сектора после запущенных в их сторону дымовых и прочей пиротехники. Фаеры бились о резиновые дубинки и щиты, вслед за фальшфейерами летели оглушительные крики, под сотню шей заряжало «Мусора, сосать!» и «All Cops Are Bastards». Но мусора даже не двигались. Ноль эмоций.

Еще мы кричали модную тогда песню «Нас не догонишь». И почему-то мне кажется — это было про то, о чем говорил Задоев.

Куражились, как могли. Сходили с ума от своей силы и безнаказанности. Одно выводило — накрылся наш махач с дерьмом, — так ласково мы называли движ соперника. А мы ждали этого полгода! И следующая встреча теперь только в следующем круге. Придется ловить их по другим городам, накрывать или даже договариваться — но это уже не так срывает башню, как махач по расписанию. Не та атмосфера, не та доза адреналина.

Однако — спасибо, князь Александр Невский! — это, похоже, наш день! После финального свистка «космонавты» стали строем отходить. Они ретировались со стадиона слажено и четко, как на показательных учениях.

Мы не могли в это поверить! Нас так распирало, что мы на радостях прыгали друг на друга, орали благим матом, обливались пивом и умывали лица искрами фаеров, как Благородным огнем.

И конечно, тут же забились с дерьмом встретиться в соседнем дворе, минут через сорок, когда кузьмичи (обычные болельщики) и менты рассосутся.

«Пока мы едины, мы непобедимы!» — орали мы хором и, обнявшись, скакали по своему сектору.

Через минут двадцать начало щекотать под сердцем, в мускулах и в паху. Так

приходит страх. Но его надо сразу гнать — иначе он защекочет тебя до того, как ты успеешь сделать шаг навстречу дерьму, скует, обессилит.

Совсем жесть — если щекотка зацепит почки...

«По-ка мы е-ди-ны мы непобедимы!» — забалтывали мы собственный страх по дороге во двор, на место «встречи». Встречать гораздо опаснее, чем накрывать. Тот, кто бежит на тебя, имеет больше силы — его труднее остановить, он может смести. Но если правильно выстроиться, то в рот компот всех этих накрывальщиков.

...Арка, через которую от стадиона во двор вел короткий путь, сотряслась от хора сорока-пятидесяти молодчиков, выкрикивающих какую-то нечленораздельную муть, из-за их спин прилетел звук выбитого стекла. Дерьмо вытекало из арки, как из горлышка бутылки, и выстраивалось напротив наших рядов. Где-то в голове пошел обратный отсчет, и мы все знали, что считает теперь каждый — и одновременно. На счет четыре мы дружно выпалили заряд — скандировали название нашего движа, на счет два — где-то в задних рядах зажгись фаеры. На один — файры полетели в соперника.

Строй понесся на строй.

...Но в этот раз до оргазма не дошло.

За день до матча в районном отделе милиции много пили и много спорили офицеры, отвечающие в районе за безопасность в день футбола и «операцию по наказанию борзых молодчиков».

— Надо их брать на подступах и вести сразу к нам. Так проще, тут их ребята обработают.

— Тогда может подняться скандал. Родители, адвокаты, журналисты — с чего вдруг мы их повязали? Если в рамках дела, то какого? Почему всех? Почему родителей не предупредили, ПДН?

— Да кому они нужны? Никто не будет впрягаться. В три часа всех повязали, в четыре раскололи, подержали до конца матча, дальше только зачинщиков оставили, другие пусть гуляют.

— А приезжих вообще предлагаю дальше вокзала не пускать. Пусть на следующей электричке сразу и валят. И отправить без остановок.

— А если все-таки выйдут? Сорвут стоп-кран, окна побьют, а если на вокзале не удержим, разнесут же всё!

— Да хер с этими, пусть приезжают. Нам бы со своими разобраться, ушлёпки. Чтоб знали, на кого руки поднимать!

— Так, значит, — спокойно посреди всего этого шума сказал начальник. — Делаем следующим образом. Чтоб все было шито-крыто. Приводим на стадион обе группы, на стадионе не трогаем, не провоцируем, только фиксируем. Спокойно уходим.

— Да как?!

— Спокойно уходим, я сказал. Отъезжаем, чтоб нас не видели. По соседним дворам расставляем в штатском людей, и как только начинается драка — вяжем всех вместе. И потасовку предотвратим, и сразу на несколько уголовков получим фактуру. Они за свое «акаб» будут годами сидеть.

— Стоит ли так все усложнять, Григорич?

— Лучше мы усложним, чем потом нам...

— А если они не пойдут во дворы, а забьются где-то в другом месте? Или вообще не будут?

— Не волнуйся, будут!

На том и порешили. Ровно через сутки в изолятор временного содержания набилось больше сотни парней, накрытых мусорами, едва начался махач. Стена «космонавтов» была плотной, убежать даже никто не пытался. Да и набежало их намного больше — даже больше, чем на стадионе, поэтому прыгать на них тоже резона не было.

Теперь все стояли, плотно прижавшись друг к другу, в темной холодной камере. И напевали Есенина: «Да! Теперь решено. Без возврата». В камере, помимо нас, были еще какие-то гопники из блатных. «Вы кто, мля?» — спросил один. «Хули разорались?» — спросил второй. Третий даже не успел рта открыть — гопники были втопаты в пол, хотя места для них там не было.

Мы били морду гопарям, пели стихи, задыхались в перегаре, потели и глотали последнюю слюну, чтоб только не сдохнуть и не выпасть из хора — и не было до той поры для меня момента счастливее. Реально — не было...

Я помню свои те ощущения — мне было абсолютно наплевать, что будет дальше. При этом был уверен, что нас долго не продержат. А когда мы выйдем, то весь район — мой родной район — будет только и говорить о нашей массовой драке. И не будет мне проходу в ближайшие дни во дворе и в школе. Не то чтобы такая слава меня прельщала, но попробовать ее хотелось!

Только не хотелось, чтоб за меня беспокоились мама и бабушка. Они ждали меня после каждого матча, как из военного похода.

«Шум и гам в этом логове жутком», — стройно тянули мы любимую всеми фанатами песню. И никто в этот момент не думал о войне. Теперь для всех нас соперник был другой — менты. «Но всю ночь напролет до зари».

Двери внезапно открылись. И здоровенный дядина в форме спросил: «Кто тут старший, с кем разговаривать?»

Вышел один из наших. Он не был лидером. Не был старшим. Просто любил поговорить. Потрепаться с ментами ему было в прикол. Вот и пошел.

А когда вернулся, то всех нас освободили. Мы даже не успели допеть в очередной раз начатого Есенина. Обидно, мля.

— Слушайте, а я так и не понял, почему вы нас тогда отпустили? — спросил я, когда мы чокнулись и выпили уже, наверное, по седьмой рюмке.

— А помнишь, от вас вышел один паренек? Его ко мне привели. Я долго смотрел на него. Молчал. Он смотрел на меня не как нашкодивший наркоман или кто из шпаны, но и без гордости смотрел, без надменности. Просто смотрел как на человека, как человек на человека. Вот как мы с тобой сейчас. А это важно, понимаешь.

— Я вам так скажу, — говорил во мне кто-то пьяный, — такого необычного мента я еще не видел. — Можно я о вас напишу?

— Так вот я и говорю — мы сидели в тишине. А потом я спросил, зачем вы это делаете.

— Так... — заикнулся я.

— Подожди, не перебивай. Дай доскажу. И вот он мне знаешь, что ответил? Он, кстати, потом ведущим на радио работал, этот парень, и свадьбу вел моей племянницы, но это неважно, а тогда, знаешь, что он ответил? «Мы просто семечки не любим». «Всё, — сказал я, — вопросов больше нет. Уведите». И отпустил всех. Там за хулиганку штраф взяли с вас. И всё.

Я вспомнил, как в темной и тесной камере мы вытряхивали из карманов мелочь. Штраф был небольшой, быстро наскребли. Но это все такая мелочь. Об этом я бы даже не вспомнил.

— То есть, ваша теория получила подтверждение?

— Давай еще по одной! — и Задоев вдруг сразу повеселел. От его серьезного тона, который бывает у стариков, рассказывающих внукам скучные истории, не осталось и следа.

Сквозь дым очередной сигареты я смотрел на мигающий разноцветными огнями, платьями, коктейлями танцпол и думал — а ведь никто из них даже не догадывается, о чем мы сейчас тут говорим.

Спустя годы я узнал другие подробности. Никакого наива в действиях Задоева не было. И философии тоже было немного. На самом деле он все-таки по фото и съемкам, которые предоставили СМИ, вычислил одного из лидеров нашей группировки. Провел с ним работу — кажется, это так называется. Этот лидер и договорился забиться во дворе, прекрасно зная, что последует дальше. Он же стучал потом. Еще были, как я теперь знаю, и другие осведомители. А я-то все думал, почему так часто срывались наши акции, нас постоянно накрывали, постоянно встречали и уж слишком просто находили, когда мы устраивали самые закрытые бойцовские клубы. Или печатали в подвалах листовки, как сказали бы сейчас, экстремистского содержания.

При этом многое мы делали безнаказанно, никого из нас не посадили, хотя какие-то дела заводились.

Выйдя на пенсию, Задоев долго преподавал в академии. Защитил докторскую. Тема диссертации звучала примерно так: «Методы работы правоохранительных органов с закрытыми молодежными движениями».

Я иногда думаю — лучше бы в тот вечер слова «А я тебя помню» закончились, чем обычно.

Андрей Фамицкий

Одно из ремёсел

* * *

бестолково толкаться боками,
как шары бильярдные, здесь.
а вот были бы мы облаками —
расстарайся и небо завесь.

и пролейся на головы людям
бестолковым июньским дождём...
ну а если мы ангелы будем, —
приземлимся и рядом пойдём.

* * *

а рядом, лёжа, сын читает книжку,
он пожиратель книг.
храни Господь вот этого парнишку,
позволь жить напрямик.

поменьше бед, любовей, приключений,
о чём так молит он,
лишь тихий сад, шезлонг ежевечерний,
молчащий телефон.

Ты был отцом, когда в глухой пустыне
Твой возносился глас,
Ты заклинал молитвенно о сыне,
но кто его не спас?

Фамицкий Андрей Олегович — поэт, переводчик, главный редактор литературного портала «Textura». Родился в 1989 году в Минске. Автор четырех поэтических книг, среди них — «Жизнь и её варианты» (М., 2019) и «minimum» (М., 2020). Живет в Москве.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

отец-то был большой бунтарь
и маленький поэт
он заставлял зубрить букварь
и больно бил в ответ

когда я путал мягкий знак
кулак был твёрдым как
вы угадали твёрдый знак
«иди сюда дурак»

теперь я сам во многом спец
жи-ши ать-ять зи-си
когда мы встретимся отец
пошады не проси

* * *

батя вернулся с войны
«вольно, — сказал, — пацаны
не для того я вернулся
чтоб вы надули в штаны»
и на меня оглянулся

я мастерил самострел
он на меня посмотрел
«значит ещё повоюем?
дай обниму пока цел»
сдобрил скупым поцелуем

старой пахнуло землёй
тёмной избой нежилой
чем-то чужим и колючим
«значит характер взрывной?»
и наклонился к онучам

«ты не смотри что мертвец
я всё равно твой отец
и никакая кончина
не помешает малец
быть им и это причина»

Господи сколько свинца
Ты посылаешь в сердца
смерть есть одно из ремёсел
так умертви мертвеца
он и живой меня бросил

* * *

привидится чертовщина
в четыре часа утра,
как будто уже мужчина,
но всё ещё сирота.

что будущее безбожно,
а прошлое есть и есть.
а всё-то идёт как должно —
встаёшь на работу в шесть.

* * *

любовь как кладбище. могила
уже присыпана снежком,
а за ночь столько навалило,
что впору ждать того, с мешком.

ты драгоценный мой подарок
хранишь, как самый лютый страж.
то, для чего я перестарок,
ты всё никак мне не отдашь.

Давид Маркиш

ТИЛЬ-МИТИЛЬ

Рассказ

Мока Гринберг был человек, достойный подражания — дурных дел за ним не водилось, нравом он отличался тихим и покладистым, хотя панибратство и не приветствовал — считал его дурным тоном. Почему «Мока», вот ведь вопрос! Не Миша, не Мойше, даже, на худой конец, не Мика, а именно «Мока». Почему? Откуда это взялось и к Гринбергу прилепилось как банный лист? Никто, начиная с самого Моки, этого не сумел бы объяснить. В Воронеже, где он появился на свет, его нарекли именем «Миша» и так и записали в метрике: «Гринберг Михаил Исаакович, год рождения 1960». Коротко и ясно. Но урожденное имя недолго продержалось. Как видно, в семье папа с мамой сызмальства называли сыночка Мокой — по причинам, затерявшимся в недрах времени. Ну, Мока так Мока; не зря, нет, не зря русские люди, включая сюда краешком и евреев, почерпнули бадьей из колодца народной мудрости: «Назови хоть горшком, только в печку не сажай». Его никто никуда и не сажал, но люди, знакомые и вовсе ему незнакомые, дивились: «Что это за имя такое!» А тридцать лет назад, по приезде в Тель-Авив на ПМЖ, он с удовольствием сердца узнал, что одного знаменитого израильского героя и адмирала тоже зовут Мока.

Родители Моки, как говорится, «академиев не кончали» и звезд с неба голыми руками не хватали, как картошки из кострища, — то были простые воронежские люди, зарабатывавшие на хлеб унылым трудом и дальше ближайшего понедельника не заглядывавшие. Партийный Исаак с разводным ключом в руке для обнаружения неполадок обходил жэковские котельные свердловского района, а мама орудовала шваброй и половой тряпкой в родильном доме имени Павлика Морозова. Неполадок в изношенных котельных было пруд пруди, а в роддоме новые папы дружно дули водку на лестничных площадках, курили и плевали на пол; до гигиены тут было не близко. Так что тем ученым специалистам, которые в еврейском национальном меньшинстве сплошь видели городскую интеллигенцию, в семье Гринбергов нечего было искать.

Но и этому паскудному выживанию, которое, по въевшейся в душу привычке, Гринберги принимали за достойную социалистическую жизнь, в бедовые 90-е, с наступлением эпохи красных пиджаков наступил конец. Котельные пришли в полное обветшание, а родильный дом имени Павлика Морозова перестал платить зарплаты и

Маркиш Давид Перецович — прозаик, поэт. Родился в 1939 году в Москве. Автор более двух десятков книг. Участвовал в арабо-израильской войне (1973), был советником премьер-министра Израиля И.Рабина по связям с русскоязычной общиной. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Израиле.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 10.

перешел на самотек. Чтобы не пропасть, Гринберги поменяли направление своих жизненных усилий и заделались вольными предпринимателями: занялись сбором и продажей металлолома. К несчастью, они оказались не одни в этом диком поле, где железяки — эти останки минувшего времени — валялись порой совершенно безнадзорно. Бандюки, тучно расплодившиеся к тому времени, взяли прибыльный и к тому же не требовавший вложений железный промысел под свой контроль, и воспрянувшие было духом Исаак с женой, собственным чаяниям вопреки, оказались конкурентами опасных людей. Конкуренция, как к ней ни подойди, прямым путем ведет к конфронтации и размахиванию кулаками, ну а дальше как карта ляжет... Карта Гринбергов легла плохо: однажды они со своих поисков не вернулись, а их «бизнес» перекочевал в руки тех, кому они дорожку перешли. На все запросы Моки, куда пропали родители, милиция выражала понимание, но пожимала плечами: сбор металлолома рискованное занятие, случается, что и со смертельным исходом; хорошо бы в моргах поспросить. Но и в моргах Гринбергов не оказалось, надо было их искать в недрах городской свалки или под бетоном дороги.

Оставшись сиротой среди бела дня, воронежский уроженец Мока Гринберг решил, не откладывая дела ни на день, ни на час, ехать в Израиль на постоянное жительство. Хватит!

Надо сказать, что в жизни каждого еврея возникает в свой час, подобно знаменитым огненным письмам «Мене, текел, фарес» на вавилонской стене, неумирующий вопрос: ехать или не ехать? Куда ехать — это не требует наводящих вопросов и ясно без подсказок: на историческую родину, вот куда! Вопрос появился две тысячи лет тому назад и тлел и дымил, пока в советской России не занялся ярким пламенем, а после того, как большевиков прогнали от власти, и вовсе полыхнул на воле: «Поехали!» Но поехали не все, Гринберги не тронулись с места, следуя вязкой поговорке: «Где родился, там и пригодился». Да и как могли подняться и ехать *все*! Так не бывает: всегда объявится тот, кто пойдет против течения; на том держится мир.

К тому времени в жизни Моки случилось немало вещей: он окончил кулинарные курсы, отслужил в армии, женился и развелся. Разведенная жена по имени Фаня, уехала с новым мужем на Дальний Восток и исчезла из вида, а разведенец, погоревав умеренно, приступил к жизни молодого одиночки на собственной жилплощади, в комнате запущенной коммуналки на воронежской окраине. В загул, освободившись от семейной узды, он не пустился по причине ровного склада характера, пить он по-настоящему не пил — а ведь мог и запить, и загулять как мужчина в расцвете сил. Кулинарная ночная работа, державшая Моку Гринберга в ласковых руках, оберегала его от загула и запоя — он, как ни странно это может показаться окружающей публике, нежно любил свое занятие и находил в нем предначертанье Бога, в которого не верил, но чье существование иногда непостижимым образом допускал. Божье дело, исполненное такой красоты, от которой и лошади плачут! Как же его не любить...

Мока был пекарь. Печь хлеб — что может быть важнее и почетнее среди людей! Хлеб — царь стола, картошка — царица. Ни военный маршал, ни министр с кожаным портфелем пекарю и в подметки не годятся. Дать человеку хлеб — значит, дать ему жизнь, а стрелять в него из автомата, значит, жизнь эту отобрать; вот и вся недолга.

По прибытии на историческую родину Мока Гринберг долго без работы не ходил: пекарь повсюду востребован — хоть на исторической, хоть на доисторической. Работа для него обнаружилась в придорожном, в окрестностях Тель-Авива, мясном ресторанчике самообслуживания с непонятным никому названием «Тиль-митиль». Ни арабы-шашлычники за стойкой, ни еврей-хозяин за кассой понятия не имели, что это за «митиль» такой, что он обозначает и на каком таком языке. Единственное, что дотянулось до наших дней из отдаленного прошлого — это поблекшая ссылка на то,

что на этом самом месте стояла полвека назад покосившаяся забегаловка, где жарил сочные свиные стейки Бородатый Роман — русский человек, похожий на разбойника с большой дороги. Этот Роман, уверявший, что уровень содержания алкоголя в его крови приближается к восьмидесяти процентам, по неведомой причине называл свою неприметную, без вывески забегаловку «Тиль-митиль», и благодарные посетители тоже ее стали так называть. Можно не сомневаться в том, что жизнелюбивый Роман о Метерлинке никогда не слышал, и узнай он расчудесным образом, что название его шалмана повторяет имена героев неведомой ему «Синей птицы», сильно удивился бы. Но он не узнал... А когда восьмидесятипроцентный Роман умер — пришел его час — и покинул наш круг, его придорожное мясное заведение сменило хозяина и обновилось по всем статьям. Под старым красивым названием оно расцвело пышным цветом; от посетителей не стало отбоя, особенно по субботам. Ну что ж: толерантность правила бал за окнами задумчивых синагог, свиноеды перестали считаться изгоями и вышли из тени на свет. Широта взглядов во всем проявлялась, вот только свинина, как и прежде, жеманно называлась «белое мясо» или, в лучшем случае, «другое мясо»; но ведь и у толерантности, в конце-то концов, тоже есть границы.

На своей новой работе Мока, как и в Воронеже, трудился по ночам: утром, к открытию заведения, свежий теплый хлеб должен быть в достатке. Едоки брали хлеб из деревянного ларя — кто сколько пожелает; «Тиль-митиль» славился не только «белыми» стейками с жареным луком, с огня, но и душистым хлебом. В ларе, вперемешку, были насыпаны по самую кромку средиземноморские питы, иракские лепешки, армянский лаваш и грузинский хлеб-пури, печь который Мока научился много лет назад в кутаисской пекарне «Багратиони», куда его занесло прихотливым ветром жизни. Не было никакого другого места во всей земле обетованной, где желающий получил бы почти настоящий грузинский пури, кроме как здесь, при дороге, в «Тиль-митиль». И в низкой подсобной пристроечке, где Мока собственноручно соорудил круглую тандырную печь, уже под утро, когда хлеб созревал и поспевал в красной жаре тандыра, воцарялся Божий счастливый аромат грузинского хлеба.

Здесь же, в подсобке, на выдавшем виды просиженном диване Мока и спал в свободные часы. Была у него и собственная крыша над головой — полученная от государства однокомнатная квартирка в Яффе, в неблагополучном районе, в доме для пожилых эмигрантов-одиночек. Там, под замком, хранил он пожитки, привезенные из России: зимнее драповое пальто, в нашем климате ни к чему не пригодное, и коричневый фибровый чемодан с разными памяtnыми вещами — фотографиями, письмами, трудовыми грамотами, галстуком в полоску и заботливо завернутым в папиросную бумагу, выточенным из дерева макетом летающей тарелки, размером с две сведенные ладони. В Яффу он навещался нечасто, раз-другой в месяц: делать ему там было решительно нечего. Море, плескавшееся под боком, его не манило, а приятелей среди пожилых соседей-одиночек по коммунальному дому он так и не завел.

Куда интересней жить было в пекарне мясного заведения «Тиль-митиль», при дороге. С утра к полудню поток посетителей прибывал, мясоеды рассаживались в кормовом зале ресторанчика за легкими пластмассовыми столиками на тонких алюминиевых ножках или во дворике, под сенью сросшихся кронами вековых эвкалиптов. За разносолами сюда не ездили: опущенные жирком стейки, доставленный из арабских деревень хумус, жгучий турецкий салат, йеменская перечная приправа и пиво; и это все, и этого достаточно. А кому недостаточно, несут с собой бутылку горячительного напитка, а то и две, и тогда под эвкалиптами, вместе с водочкой, привольно льется родная русская речь, иногда переходящая в песню.

Отдохнув на своем диване после ночной работы, Мока выходил в зеленый дворик и усаживался на одинокой лавочке, не отведенной для посетителей мясного заведения.

Ему нравилось там сидеть, в тени деревьев, и разглядывать утоляющих голод людей — они с наслаждением жевали сочное мясо и макали пышный хлеб в мясной сок в своих тарелках. Хорошая аура насыщения витала в воздухе, и Моке казалось, что перед ним не площадка двора, а островок добродушной легкости в море вялотекущей жизни. Глядя на беззаботных едоков, Мока гадал, кто они и чем заняты за пределами харчевни; он отделял в этом пиршественном ковчеге бережливых неимущих от непомерных богачей, местных от туристов, конторских чиновников от базарных торговцев. Все здесь были, и женщин приводили с собой для полноты удовольствия.

Разбираться, кто есть кто за столами, Моке помогал его приятель Ярослав Лифшиц, лет тридцати без малого, вятский уроженец. Этот Ярослав, в обиходе Слава, прибыл на мамину историческую родину лет десять назад по сионистским убеждениям и гулкому зову крови, наполовину славянской; родители, немного подумав, последовали за сыном. И если Мока, накануне отъезда из Воронежа, достоверно знал об Израиле, что там апельсины растут в лесу, как елки или березы, то Слава Лифшиц обладал знаниями более глубокими: например, царь Давид с пращой в руке представлялся ему фигурой вполне материальной. Приехав молодым, вятчик быстро выучил иврит, вполне поладил с новой средой и растворился в ней, как соль в супе. У мамы с папой, осевших в кибуце на юге, он бывал наездами, редко, ракеты из Газы там сыпались на головы, как град с небес, а сидение в бомбоубежище противоречило вольнолюбивому настрою Славиной души. Этот великолепный настрой не позволял ему задерживаться надолго на одной какой-нибудь работе. Оседлый труд был ему противопоказан, и он сменил немало занятий: подметал улицы и помогал слесарю, выгуливал собак и таскал ящики на рынке, пел песни в подземном переходе и даже писал заметки в русскую газету, в раздел «Из жизни бомжей».

В «Тиль-митиль» Слава Лифшиц заглядывал, чтобы поесть хлеба и, сидя с Мокой Гринбергом на лавочке, обсудить политические новости, до которых бывший вятчик был большой любитель и знаток. В своих критических оценках Слава не жаловал ни правых, ни левых, ни богатых, ни бедных, ни дураков и ни умных. Жуя хлеб, он подавал советы, адресованные мировым лидерам — как побыстрее добиться всеобщей справедливости, будто у этих лидеров, по обе стороны океана, да и у нас в Иерусалиме, других забот не возникало. Обладая завидной зрительной памятью, Слава без колебаний опознавал в едоках политических деятелей и народных депутатов, знакомых ему по газетным фотографиям и телевизионному экрану, и указывал на них пальцем своему приятелю. Весьма возможно, что критикан допускал ошибку, но это не приходило в голову Моке Гринбергу — он и от хозяина, стоявшего за кассой, слышал, что в его заведение нередко наведываются известные люди. Что ж, смачно откусить от запретного плода, в спокойной обстановке, под эвкалиптами, всякому человеку заманчиво. Ну, почти всякому.

А что до поисков всеобщей справедливости, то тут, определенно, возобладала еврейская половина Ярослава Лифшица: нам свойственно, вплоть до головной боли и ломоты в костях, отстаивать идею этого пустого поиска и даже принимать участие в кровопролитных за нее битвах, бесперспективных, как ловля золотокрылой жар-птицы. Это наша неизлечимая болезнь, и ничего с этим нельзя поделать.

К счастью, и Мока Гринберг, и его вятский приятель-полукровка такую национальную хворобу переносили в скрытой, неагрессивной форме — не то можно было бы ожидать появления нового Льва Троцкого или хотя бы террористки Фанни Каплан. Но эти заметные персонажи покамест не появлялись в публичном пространстве. Другие появлялись.

В перерывах между обсуждением политических новостей всплывали и прочие актуальные темы. Как-то раз пекарь без нажима поинтересовался у своего собеседника,

видел ли он когда-нибудь в жизни летающую тарелку. Вопрос был далеко не праздным: Мока Гринберг верил в летающие тарелки, как иные люди верят в существование фигуративного Бога с длинной седой бородой и лохматыми бровями. Сам Мока тарелку никогда не видал, но со смиренным терпением дожидался ее появления и возлагал надежды на встречу с инопланетянами: они на день-другой заберут его на свой корабль — познакомиться, а заодно вылечат от повышенного давления и болей в ногах и пояснице.

— Тарелку не видел, — ответил на вопрос Слава. — Они у нас в Вятке не летали, а сюда, говорят, прилетают часто.

— Да, я тоже слышал, — сказал Мока. — Ждать надо...

Так, размеренным шагом, проходило время мимо служебной скамейки пекаря Моки в ресторанном дворике придорожной харчевни «Тиль-митиль», пока не пришло известие о нападении на человеческую расу смертоубийственной орды под названием «Корона». Эта новость не отменила обсуждений Мокой и Славой политических новостей, но существенно их потеснила. Посиживая на лавочке, под шапками эвкалиптов, приятели не без уныния вглядывались в близкое будущее — в эпоху всеобщего маскарада, когда мир нацепит защитную маску по самые глаза, а китайскую инфекцию сначала объявят эпидемией, а затем и пандемией. Спору нет, смаковать уморительные проделки Трампа с Путиным и нашего Биби было куда интересней и живей, это же ясно.

Посетители придорожной харчевни от наступления ужасной орды ничуть не дрогнули и не поубавились в числе — как ходили, так и продолжали приходить. «Тиль-митиль» располагался на отшибе от главных магистралей и культурных центров, полиции там не видели отродясь, а контролеры — да, те навевались, но получив карманную мзду, без задержки раскланивались и ехали дальше по своим делам. А масочный режим здесь строго соблюдали — для борьбы с заразой и на всякий случай, и этот маскарад добавлял толику нелепицы в картину увлеченно жующего дворика. Все тут были в масках — гости, арабы у мангала, хозяин за кассой и Мока с Ярославом на своей лавочке. Все.

Так они сидели и в тот тихий день, ничем не отличавшийся ни от вчерашнего, ни от позавчерашнего.

— Тут ведь что важно, с этой заразой... — начал Слава Лифшиц и замолчал, ожидая, что Мока вступит в разговор и тоже выскажется насчет важности заразы. Но Мока молчал, не отводя рассеянного взгляда от жующих.

— Конец света, может, подходит, вот что важно, — продолжил Слава, — а им хоть бы хны: жуют себе, и всё. Бараны.

— А что они могут делать? — отвлекся от наблюдений Мока Гринберг. — Плакать, кричать? Колотить себя сковородкой по голове? Они едят хлеб с мясом посреди чумы и короны, и им хорошо... Как моя покойная мама говорила: «Лучше неприятности с фаршированной рыбой, чем неприятности без фаршированной рыбы».

— Это да, — согласился Слава. — Лучше с рыбой... Но если дело так пойдет, весь мир может заразиться, и мы все выйдем к чертовой матери.

— Тут уж ничего не поделаешь, — заключил Мока. — Ты же газеты читаешь: никто не знает ничего. Только языками трясут.

— Не знают, — подтвердил Слава. — И мы не знаем. Трубку нам с тобой засунут в глотку, мы и будем лежать.

— Каждый делает, что может, — не стал возражать Мока. — Я хлеб пеку, ты в газету пишешь и с собаками гуляешь.

— Хак пришел, — оживился Слава Лифшиц. — Гляди! С тёлкой!

— Хак? — переспросил Мока. — Это кто?

— Член Кнессета, — объяснил Слава. — Сокращенно.

Во дворик, натягивая маску повыше и надвигая темные очки, вошел средних лет мужчина в черном костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротником. С ним рядом шла женщина с короткой задорной стрижкой, в зеленом узком платье, подчеркивавшем стройность молодой фигуры. Пара заняла столик, потом мужчина поднялся и отправился к кассе делать заказ. По уверенности его действий можно было предположить, что он здесь не впервые.

— Ну, а чего! — одобрил Мока. — Раз пришел — значит, нравится ему. Человек-то живой пока! И девушку привел.

— Но он же хак! — усомнился Ярослав Лифшиц.

— А им нельзя, что ли? — спросил Мока. — Запрещается?

— Ничего им не запрещается, — сказал Слава. — Но, если его тут засекут, может быть шурум-бурум: белые стейки, и к тому же с тёлкой.

— Ну, вот ты в газету и напишешь, — сказал Мока. — Мой хозяин тебе спасибо скажет — нам только реклама.

— Ну да, — охотно согласился Слава. — Такая новость покруче короны будет. А то к заразе все уже начинают привыкать понемногу.

— Те, кто еще не заболел, те и привыкают, — меланхолично заметил Мока. — Это, получается, как на войне: солдат надеется, что пуля не в него попадет, а обязательно в соседа.

— А пуле-то на это наплевать, — поддержал разговор Слава Лифшиц. — Пуля — дура, как в Вятке говорили. А штык молодец.

— Главное, чтоб всех подряд до единого не зашибло, — прикинул Мока Гринберг. — Но это уж как там решат, — и он указал пальцем в небо, где инопланетяне летали на своих тарелках. — Как они решат, так и будет.

Слава не стал пускаться в спор, хотя не вполне разделял фатальное пророчество пекаря.

Тем временем на площадке появилось новое действующее лицо — приземистая тетка в черной шляпе, стремительно двигавшаяся и бесцеремонно высматривавшая, кто сидит за столиками над едой.

— Гляди, гляди, сейчас начнется! — настраивая мобильник для съемки, пригласил Слава Лифшиц своего собеседника. — Сейчас она ему покажет как родину любить!

Добравшись до хака, тетка хищным движением сдернула с его лица маску, шваркнула ею о стол, а затем сбросила тарелки с едой на землю.

— Маску напялил, пес поганый! — толкая стол, закричала тетка во весь голос. — Очки надел! Свиноед! Я этот бардак прикрою! Сожгу дотла!

— Накрыла мужика! — фотографируя, воскликнул Ярослав в большом возбуждении. — Вот это да! Поджечь грозитя!

— Пекарню огонь не возьмет, — ничуть не озабочился Мока. — Моя подсобка — дом хлеба; святое место.

Полыхнуло сразу с трех сторон, перед рассветом. Дикий огонь скоро добежал и до подсобки, где в ожидании летающей тарелки безмятежно спал пекарь на своем диване.

И она прилетела, в дыму и огне! Последнее, что запомнил Мока Гринберг на своем веку, это были похожие на пожарных инопланетяне, в скафандрах и шлемах, выносящие его тело из подсобки на волю.

Александр Бушковский

Чудо

Рассказ

Великий Искандер Двурогий, стремясь властвовать над миром, к тридцати годам покорил почти всю Ойкумену, землю, известную путешественникам и мореплавателям. Не потерпев ни одного поражения в бесчисленных битвах, неся культуру эллинов на своих сариссах, его фаланги прошли всю Европу, Малую и Среднюю Азию, Северную Африку и Ближний Восток.

За бескрайними песками африканских пустынь земля кончалась, пересекать их не имело смысла, это было известно любому уважающему себя ученому. На севере Европы в вечных снегах и льдах тоже нет людей, там живут лишь колдуны и косматые звероптицы с медвежьими головами, орлиными крыльями и человеческими ногами. Ближний Восток обрывался в бесконечный океан, в нем плывет весь обитаемый мир, это знают даже дети. Оставался только восток дальний, где лежат и дремлют полусказочные Индия и Китай.

О Китае царю было известно лишь то, что за огромной каменной стеной там живет несметное количество желтолицых людей с раскосыми глазами, что носят они удивительные одежды и прически, что все они грамотеи и пишут непонятными черными значками на хрупкой белой материи.

А Индия и вовсе была дикой и таинственной. Она окружила себя горами со снежными шапками, и вершины самых высоких спрятались в облаках. В Индии, по слухам, полно чудес. Здесь живут слоны и драконы, цари владеют несметными богатствами, волшебники-йоги могут ходить по воде и углям, не бояться сабель и стрел, а мудрецы знают, как устроен мир. Они владеют величайшими тайнами жизни и судьбы, но никому не открывают этих тайн.

Искандер желал покорить весь мир без остатка и узнать секрет мироздания. Блестящий полководец, завоеватель и любознательный ученый, он не хотел смириться с тем, что на свете есть вещи, неизвестные и неподвластные ему. Уже была заложена Александрия с ее библиотекой, уже разрублен Гордиев узел, уже сложил оружие властелин огромной империи Дарий, и побежденные народы называют Искандера

Александр Бушковский родился в 1970 году в селе Спасская Губа Кондопожского района Карелии. Окончил Санкт-Петербургскую юридическую академию МВД РФ. Публиковался в журналах «Север», «Октябрь», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др. Автор трех книг прозы. Лауреат премии журнала «Вопросы литературы» (2011). Живет в Петрозаводске.

Великим и сравнивают с солнцем, а покоя и удовлетворения все не было. «Чем большим владеешь, тем сильнее жажда владеть всем остальным», — знал он. Царь устал и ожесточился, но не останавливался. Ведь никто до сих пор не смог оказать ему настоящего сопротивления. Значит, именно он должен стать властелином миров. Но сила власти — это еще не все. Знание — вот истинная сила. А корень знаний — философия. Искандер жаждал найти ответы на мучительные вопросы, растущие в его голове, как пыльный ком на чердаке. Он искал нового учителя и надеялся, что в Индии есть такой.

Гефестион, друг Искандера, командир ударного крыла фаланги, видел эту жажду, хоть и не испытывал ее. Он был солдатом, и его философия заключалась в преданности царю и вере в короткий меч. Это прекрасная философия. Она наполняет душу адепта покоем, а тело его делает похожим на окованный медью таран, каким ломают ворота осажденных городов.

Каждый вечер и каждое утро Гефестион обходил посты вокруг царского шатра. Искандер с войском уже достиг предгорий, разбил маленькие армии местных раджей, рассеял смуглых низкорослых индусов по джунглям, но тут муссоны с океана принесли тяжелые душные ливни. Стало невозможно двигаться вперед. Хрустальные горные ручьи превратились в ревущие потоки цвета глины, катящие вниз валуны и стволы деревьев. Оползни утаскивали в ущелья размокшие палатки солдат, колесницы с лошадьми и навьюченных верблюдов. «Откуда в небе и в горах столько воды?» — недоумевали солдаты, привычные к летним засухам и не желающие жить по колено в грязи. Гефестион прислушивался — солдаты роптали. Чего хочет царь? Почти весь подлунный мир в его руках, десять лет битв, десять лет побед, не пора ли начать царствовать, править мудро и гуманно? Молчали только гвардейцы охраны, по мрачным лицам которых струился дождь. Время шло, царь медлил, войска терпели ливень, темнели ржой и набухали сырой кожей.

«Искандер ждет доброго знамения, — думал Гефестион, — а нам нужен хотя бы один солнечный день. Ведь солнце сильнее дождя, дождь не может идти вечно. Пусть только выглянет солнце, и я найду царю этот знак».

И конечно, солнце вышло. Его сияющие лучи загнали реки в берега, оградили крокодилы болота мостовыми засыхающего ила, и джунгли предгорий задышали горячим паром сохнувшей листвы. Ранним утром было уже жарко, и Гефестион, уйдя подальше от лагеря, спустился к реке, чтобы смыть с себя ночную духоту и испарения жирной земли.

На берегу ручья, бегущего к реке, в молитве стоял на коленях худой и темный старик, весь голый, только тряпица на чреслах, и протягивал к солнцу руки. Солнечные лучи сверкали в седых волосах, будто золотой венец, а тело старика, как сухая ветка, дрожало в знойном воздухе.

«Ну, что ж, вот он, — спокойно решил Гефестион. — Царь говорил, что хочет найти нищего мудреца, о котором рассказал ему Аристотель, и поговорить с ним. Судя по занятию этого старика, он вполне может оказаться мудрецом. Возьму его к царю».

Гефестион вброд перешел ручей и остановился за спиной старика, присевшего у воды на корточки и умывающего лицо. «Эй!» — позвал воин, и старик обернулся. С длинной бороды стекала вода, но в выцветших глазах не было испуга.

— Идем со мной! — сказал Гефестион и поманил старика пальцем. Старик внимательно посмотрел в лицо воину и, прежде чем тот повторил жест, встал и пошел за ним. Он оказался высоким, спину держал прямо, а двигался легко. Они шли рядом,

могучий воин и высохший старец, и оба были спокойны. Войдя в лагерь, Гефестион велел позвать толмача.

Увидев старика, молодой толмач-шудра почтительно склонился и сложил ладони перед лбом. Старик улыбнулся одними глазами.

— Спроси его, кто он? — велел Гефестион.

— Это мудрый человек из касты брахман, — ответил толмач робко, — здесь все о нем знают.

— Хорошо. Как его зовут?

— Когда его спрашивают об этом, он отвечает, что очень стар и не помнит имен. Люди зовут его Гуру.

— Почему ты отвечаешь за него? — удивился Гефестион. Толмач испугался:

— Все здешние люди это знают, господин, я не хотел отнимать его и вашего времени вопросами, на которые знаю ответ.

— Чем же он мудр? — Гефестион не сердился, он был доволен тем, что ему, возможно, удастся заинтересовать царя.

— С любым человеком он находит общий язык, вселяет надежду и знает ответы на трудные вопросы.

— Спроси его, не боится ли он?

Толмач перевел. Старик все это время стоял, опустив руки вдоль тела, и внимательно слушал. На вопрос толмача он просто слегка мотнул головой.

— Почему? — заинтересовался Гефестион.

Старик сказал несколько слов мягким голосом.

— Он думает, что для чего-то нужен вам, господин.

— Пожалуй. — Гефестион пожал плечами и повернулся к стоящему неподалеку гвардейцу: — Ступай к царю, Патрокл, и попроси его принять меня. А ты, — он снова обратился к толмачу, — спроси этого мудреца, кто сильнее всех на свете. Посмотрим, что он ответит.

Толмач перевел. Старик взглянул на воина и произнес две короткие фразы.

— Он говорит — вы и сами это знаете, — смущаясь, сказал толмач и, не давая господину времени рассердиться, продолжил: — Он говорит, это человек. У него, и более ни у кого, есть разум для осознания цели и воля, чтобы ее достичь.

— Значит, богов он не признает? Кому же он тогда молился? Интересно, — усмехнулся Гефестион, — что знает он о нашем царе?

Старик выслушал толмача, улыбнулся и сказал несколько слов. Испуганный шудра-толмач не сразу решился перевести.

— Говори истинные слова! — предупредил его Гефестион.

— Он слышал, что это умный молодой человек, и Гуру надеется ему помочь.

— Скажи ему, что если мудрость его так же глубока, как старость, а удача равновелика дерзости, царь достойно отблагодарит его.

Слушая, старик задумчиво качал головой.

Вернулся Патрокл.

— Царь сейчас сам придет, — вполголоса сказал он, обращаясь к Гефестиону, и добавил, отвечая на его вопросительный взгляд: — Он воодушевлен.

Появился Искандер в сопровождении двух телохранителей. Он был свеж и бодр, в легкой тунике, сандалиях и с непокрытой головой. Лишь на поясе висел короткий меч. Один из сопровождающих нес кожаный барабан. Остальные гвардейцы выстроились кольцом на расстоянии достаточном, чтобы не слышать и не мешать.

Гефестион склонил в приветствии голову и прижал правую ладонь к сердцу. Толмач глубоко поклонился. Старик сложил ладони перед грудью и опустил голову. Царь поднял руку и, улыбаясь, хлопнул друга по плечу.

— Садитесь, как удобно, — весело сказал он и уселся на подставленный барабан.

Гефестион с толмачом остались стоять, а старик сел на траву, поджав ноги и положив руки на колени.

— Приветствую тебя, старик, — быстро начал Искандер, — я слышал, ты мудрец, и здешние люди зовут тебя Гуру.

Толмач перевел. Старик поклонился и молча смотрел на царя. Не дождавшись ответа, Искандер продолжил:

— Я ишу знаний и мудрости. Но что есть мудрость?

Старик коротко ответил.

— Мудрость у каждого своя, — перевел толмач. — Гуру считает, что мудро следовать велениям сердца, когда прислушаешься к нему в тишине.

— Какова же твоя мудрость? Что велит тебе сердце? — спросил царь.

— Сердце велит ему радоваться солнцу и терпеть дождь, никому не мешать жить и стараться помогать тому, кому плохо.

Искандер выслушал и задумался.

— И все? — произнес он наконец. — Мне мало этого. Спроси его, что он думает о войне?

Старик ответил с улыбкой.

— Он говорит, война — дело молодых, лекарство против морщин.

— Думал ли он о том, что будет, когда я окончательно завоюю эту землю?

Старик выслушал и сказал всего три слова. Толмач побледнел.

— Говори, не бойся, — велел царь.

— Он... говорит, землю завоевать нельзя.

— Почему же?

Старик сказал еще несколько фраз.

— Он говорит, силой оружия и денег можно заставить некоторых людей делать то, что тебе хочется, но земля здесь ни при чем. И люди, и муравьи для нее одинаково малы.

— Тогда поговорим конкретно о нем, — в улыбке Искандер прищурился, — ведь его жизнь в моих руках. Как он поступит, если я сделаю его своим рабом? Жизнь раба может оказаться невыносимой...

Старик ответил спокойно. Испуганный толмач с трудом искал слова для перевода. Искандер ждал с каменным лицом.

— Гуру говорит, — начал толмач, заикаясь от страха, — что уже достаточно прожил на свете и кое-чему научился. Его жизнь в его руках, и он может остановить свое сердце, если придется. Тебе, великий царь, достанется лишь его сухое тело. Зачем оно тебе? А жизнь раба невыносима, это верно.

— А он не думал о тех, кто ему дорог? О своих земляках, мужчинах, женщинах и их детях, тех, что хотят жить? Они ведь не желают умирать и становиться рабами?

— Но ведь ты, царь, за этим и пришел сюда? — перевел толмач. — Ты желаешь завоевать эту землю и поработить ее народ, не так ли? Или у тебя другие цели? Может быть, ты считаешь культуру своего народа выше здешней? Ты пройдеши с войском по этой стране, разрушиши города, плениши или погубиши множество людей, но путь гнева никуда не ведет. Чего ты добьешься? Ненависти к себе. Ты только еще больше

ожесточишь свое сердце и запутаешь мысли. Знаешь ли ты, чего действительно хочешь? Власти? Богатства? Все это есть у тебя...

Искандер долго молчал.

— Я хочу знаний! — сказал он наконец. — Знаний о том, как устроен мир. Для чего он? Как он возник? Кто его создал? Для чего в нем я? Знаешь ли ты, мудрец, что центр мироздания, земля, ни на чем не держится, а просто висит в пространстве и имеет форму шара?

— Он говорит, что никто не знает, как устроен мир. Никто не знает, для чего он. Никто не знает, как он возник и кто его создал. Можно лишь принять удобную для себя веру и следовать ей. Каждый человек сам решает, для чего он в этом мире, — проговорил толмач и изумленно добавил: — Гуру считает, что земля не центр мироздания и вращается вокруг солнца, а вокруг чего вращается солнце, он не знает, но думает, что вокруг чего-то вращается.

— Это невозможно представить! — воскликнул Искандер.

— Мудрец говорит, представить невозможно, но можно принять. Он верит, что ты, царь, готов к этому. Но, возможно, он ошибается.

Искандер мрачно молчал. Нетерпеливо взмахнув рукой, он произнес:

— Из этого следует, что мир бессмыслен и все наши поступки и мысли так же не имеют резона. Это не укладывается в голове!

— Гуру говорит, что его учитель считал этот мир шуткой бога, одним из проявлений его самодостаточности.

— Но этот бог непостижим...

— Бог, которого можно понять, — не бог, а деревянный идол. Мы можем только радоваться и терпеть.

— Я не вижу причин для радости и не желаю терпеть бессмысленного бога! — гневно заключил царь. — Если ты, старик, истинный мудрец, ты обнажишь для меня божественную суть, хотя бы для этого тебе пришлось сотворить чудо. Если нет, ты остановишь свое сердце!

Старик помолчал мгновение и кивнул.

— Он готов сотворить чудо, — сказал толмач, — но для этого всем нам нужно спуститься к реке. Туда, где он молился.

Искандер молча встал, махнул рукой гвардии и зашагал вслед за стариком. Тот привел всех на берег, туда, где ручей, вытекающий из зарослей густой и высокой, в два человеческих роста, индийской конопли, впадал в медленную и мутную воду Брахмапутры.

— Ты, наверное, слышал, великий царь, о том, что йоги могут ходить по воде и раскаленным углям, но сам лично этого не видел и навряд ли веришь? — спросил толмач.

Искандер ждал, положив ладонь на рукоять меча. Гвардейцы выстроились вдоль реки.

— Гуру надеется, что теперь ты поверишь в чудо, — закончил переводить толмач и повернулся к старику.

Старик закрыл глаза и тихо стоял у воды с опущенными вдоль тела руками. Шли секунды. Солдаты в ожидании чуда опустили оружие. Слабый ветер шевелил белую бороду Гуру. И вдруг он сделал длинный шаг, потом еще один, и скрылся за частоколом конопляных стволов.

— Взять его! — прошептал сквозь зубы Искандер.

Солдаты бросились в кусты с обнаженными мечами и тоже исчезли. Только стук железа о жесткие ветви доносился из зеленого сумрака. Бледный царь стоял без движения.

Через мучительно долгое время из зарослей выбрался Гефестион, весь бурый от пылицы и со вздувшимися на шее и руках жилами.

— Эта трава жесткая, словно кольчуга! — тяжело дышал он. — Так мы будем долго возиться! Надо выкурить лису из норы...

— Сжечь! — процедил Искандер. Бледное лицо его покрылось красными пятнами.

Гефестион выкрикнул команду. Гвардейцы выбрались из зарослей, принесли огонь и подожгли поле с разных сторон. Конопля долго не хотела заниматься, но наконец ветер вытолкнул из травы первые желтые клубы ядовитого дыма. Солдаты кашляли и терли глаза кулаками. Огонь разгорался, сладкий дым плыл над рекой, то чернел, то синел, и с поля, заглушая треск сухих семян, слышался высокий и хриплый голос старика.

— Надеюсь, ему хуже, чем мне, — проговорил Искандер шепотом и спросил толмача:

— Что он кричит?

— Воины, вернитесь домой! — тихо ответил толмач. — Там ждут вас супружеские постели, почет соплеменников и покой. Война сменяется миром, как ночь расцветает днем.

Казалось, солдаты поняли без перевода. Они садились и ложились на землю, вонзали в нее мечи, вытирали их о траву, смеялись и размазывали светлые слезы по закопченным лицам. Искандер искоса взглянул сквозь дым на Гефестиона. Тот раздувал ноздри и сдерживался, чтобы не улыбаться.

Огонь выжег коноплю дотла. В раскаленном небе летал пепел. Гвардия не нашла тела Гуру на пожарище. Когда весь черный Гефестион сжал кулаки и собрался идти доложить об этом царю, царь вдруг пошатнулся, обхватил голову ладонями и неуклюже сел на барабан, а потом сполз с него на землю. Взгляд его стал бессмысленным, в уголках побледневших губ засохла пена, пальцы задрожали. Царя сразил удар. Телохранители подняли его на краповом плаще и понесли в шатер.

Наутро войска повернули назад и двинулись вниз по течению реки. Десятилетний поход Искандера Двурогого окончился.

Илья Мамаев-Найлз

Words Unsaid

Рассказ

Все началось в Израиле, в душном минивэне с закрытыми окнами. Машина тащила сквозь толпу торгашей, они стучали по стеклам раскрытыми ладонями. Не косточками пальцев, как стучат по двери, а мокрыми бледными щупальцами, оставляя на окнах отпечатки — короткие линии жизни, любви и успеха.

От ужаса Артём забывал моргать. Его семья молча отказывалась от безделушек, продавцы злились и кричали проклятия. Артём хотел зажмуриться и заткнуть уши, но не мог пошевелиться и беспомощно впитывал чуждые звуки. Но зарычал двигатель, и все пропало. Спереди раздалось жужжание, щелчки заевшего механизма стеклоподъемника, и в салон дунуло раскаленным городом. Желтые стены домов сливались с желтым песком и желтым солнцем. Артём вдохнул, и обжигающий воздух вошел в легкие, оттуда — в кровь, через которую во все клетки тела проникло отчаяние. Состояние требовало темноты и холода — козырька кепки, опущенного до носа, чтобы никто не заметил, как капли пота смешиваются на щеках Тёмы с каплями слез от попыток удержать рвоту внутри глотки. Соленые ручейки бежали вниз, распухшую кожу щипало, но он не протирал лицо — руки лежали неподвижно, как будто у него все было хорошо, как будто он просто уснул.

Нога до сих пор болела — он подвернул ее в пещере Рождества.

Хотя Артём мало что знал о вере и человечестве, он почувствовал, что находится в месте невероятной исторической важности — в точке отправления. И люди вокруг вели себя так, словно зашли в вагон метро: не смотрели друг на друга и молчали. Огромный пласт тысячелетней культуры в виде нависшей тишины качнул их вагон, Артёма пошатнуло, и он неправильно шагнул на ступеньку. Боль резко ударила лодыжку, и захотелось взвыть, но он не издал ни звука. Отец заткнул ему рот.

Слезы, пот и сопли смешивались и скатывались по его сжатым бледным губам. Артёму нужно было попросить воды или, может, остановить машину, сказать, что его укачало, но он не мог. Нет, в его семье плохое остается несказанным. Машина влетела на кочку, водитель вскрикнул что-то на иврите, но Артём уже этого не слышал: его

Илья Мамаев-Найлз родился в 1996 году в Йошкар-Оле. После окончания школы поступил в Марийский государственный университет на специальность «учитель английского и немецкого языков». На втором курсе ушел из дома путешествовать автостопом и жить в машине. Ставил танцевальные спектакли в театре. Работал учителем английского языка в школе и бариста в кофейне. Живет в Санкт-Петербурге.

В «Дружбе народов» его первая публикация.

несказанные слова не удержались внутри и вслед за взлетом автомобиля ринулись вверх, и Тёму вырвало на только что купленную икону из Вифлеема. Это было самое начало 2000-х, и Артём еще даже не пошел в школу.

Икону поставили на комод в столовой к другим сувенирам: деревянный Будда, Эйфелева мини-башня, монеты разных стран, вязаный член из Исландии (он долго не простоял), разные игрушки и японская кукла Дарума. Она исполняет желания: загадываешь, закрашиваешь один глаз, а когда сбывается, закрашиваешь второй. Артёму ее подарили в расчете на то, что он загадает хорошие оценки или мобильный телефон — что-то понятное и выполнимое. А Артём загадал, чтобы все люди были счастливы.

Потом мама узурпировала икону — поставила на свою прикроватную тумбочку. Она начала ходить в церковь и решила создать филиал в спальне. Никто не возражал. То есть никто и не заметил: учитывая обстоятельства, до Богородицы с младенцем Иисусом никому не было дела.

Папа изменил жене с инопланетянкой: в телефоне любовница была записана как «УФО». Сколько Артём ни ломал голову, он не мог вспомнить знакомых тетей с такими инициалами. И он не понимал, как отец мог променять маму, которую звали Любовь, на какую-то Фаину или Фёклу. Когда между отцом и сыном состоялся первый и последний мужской разговор о женщинах, папа сказал, что восточные женщины очень привлекательны в молодости, но в старости ужасно угловатые. Артём тогда испугался, что ее могли звать Фарида.

Они с сестрой никогда не обсуждали произошедшее. Нельзя назвать полноценным обсуждением единственную реплику сестры: «Понимаешь, они ведь разведутся!» и «Как это? Этого не может быть! А как же мы?» — написанное на лице маленького Тёмы. Тем не менее он знал наверняка, на чьей Моника стороне. Она всегда была папиной дочкой. Хотя ей тоже было непросто, она не плакала.

Хладнокровность и прагматичность — она переняла эти качества у отца и развила их, как иные школьники до максимума прокачивают в компьютерных играх первое оружие. Для отношений с людьми оно было губительным, но для работы с лошадьми, с которыми она проводила большую часть дня, — самое то. Моника представлялась Артёму неуязвимой, как Ахиллес, то есть настолько же уязвимой: с одним лишь слабым местом — холодной головой, которая не дала ей утонуть во время развода родителей.

Они остались вместе. Это не соответствовало правде даже территориально: мама осталась в родительской спальне, а папа навсегда переехал в гостиную. Постельное белье сняли с дивана только когда к ним приехала журналистка местной газеты. В городе проходил конкурс «Лучшая семья года».

— Скажите, вы счастливы? — спросила журналистка у Моника.

— Ой, конечно! У нас прекрасная семья! Мы много путешествуем и... ездим по разным странам!..

— Чудесно-чудесно... У Вас необычное имя. Назвали в честь Моника Беллуччи? — подмигнула журналистка родителям.

— Да, — ответил отец.

— А Вы, Артём, как живется Вам?

— Очень хорошо... — ответил он, обдумывая, как бы ему незаметно удалить свою последнюю запись ВКонтакте: «Пистолет к виску — и все проблемы решены...»

— А что это за необычная куколка?.. Китайская, да? А почему только один глаз закрашен?

Words Unsaid. Артём тогда подрабатывал на заводе, собирая открытки. Огромный цех с воздухом, переполненным мелкими частицами блесков. Оказалось, что у Артёма на них аллергия: он начал кашлять и чихать. Работники жаловались, что «производственные условия могут привести к заболеваниям дыхательных путей». Но другого пути у Артёма не было: он хотел накопить на гитару. Вокруг него сидели женщины и слушали РетроFM. Артём подсматривал за ними. Хотя его самого выворачивало от попсы, он видел, что людям нравится. И не просто нравится — эти грубо склеенные слова, пафосные и пошлые, типа: «Я... люблю-ю-ю тебя до слё-ё-ёз... та-та-та-та-та-та... каждый вздох, как в первый раз-з-з» заставляли работниц о чем-то задумываться, вспоминать, и их лица преображались скорбью, становились теплее и счастливее. И тогда Артём понял, как все исправить. Посыпал одну открытку двойной порцией блесков и, пока все отвлеклись на «На-деж-да — мо-ой компас земной...», сунул настоящую надежду себе за пазуху. Она грела по пути домой, Артём не мог дожидаться, чтобы подарить открытку родителям. На ней были нарисованы два лебедя, розы, сердечки, и написано:

Сегодня с годовщиной свадьбы
Спешим поздравить вас, друзья.
Пусть будет крепкой и счастливой
Большая дружная семья.

Годовщина была не скоро, и Артём сразу вручил подарок. Родители улыбнулись, поблагодарили, положили открытку на комод к сертификату победителя «Лучшая семья года» и разошлись спать в разные комнаты.

Несчастье оказалось их фамильным проклятием. Такая успешная, чудесная, несчастная семья. Директор завода. Директор школы. Директор конюшни. Переводчик порно. Как иных кровных родственников объединяет нос картошкой, их объединяла общая судьба.

— Послушай, ну, я могу ошибаться, но в общем-то так оно и есть, — рассуждал Артём в душевой. — У мамы может начаться рецидив, сестра развелась со вторым мужем. Они вообще читали значение имени, когда ее называли? Одинокая. Как корабль назовешь... Черт! — он повернул ручку душа в другую сторону. — Вот почему смыывают наверху, а ошпаривает меня?! Ладно... Папино счастье в том, чтобы все были счастливы — ха! А я — что? А я хожу в душ с открытой дверью потому, что моя жена в любой момент может взять на кухне нож.

Все тихо. Хотя, может, ее просто не слышно из-за потока воды. You never know, подумал Артём.

Поначалу он тайно лелеял надежду на свою исключительность. Да, он свято верил, что идиотская порча обойдет его стороной, если он сбежит из семьи и будет жить по-другому. Словно несчастье — это не судьба, а заразная болезнь, от которой можно уберечься, если не контактировать с зараженными.

Поэтому на первом курсе он ушел из дома, жил в машине в полях с гитаркой, парой книжек, горелкой и купленной на последние деньги сковородкой. Однажды они случайно встретились с сестрой у магазина, и Артём еле сдержал смех: Моника в новом пальто, только из парикмахерской, в руке — эко-пакет с эко-продуктами. Она оцепенела и разучилась говорить, когда увидела брата-бомжа и беспорядок в салоне авто. С хаосом они боролись по-разному: Моника упорядочивала карандаши и тетради на рабочем столе, а Артём бил о стену бутылки. Или садился на крышу автомобиля

и кричал вдаль все, что раньше не мог произнести вслух. Я смотрю «Ранеток»! Вы лицемеры! Тушеные овощи — это невкусно! Долбанный мир! Я хочу родиться заново!

— Эй, парень, ты больной?! — раздался сзади голос.

— Нет-нет, я здоровый, спасибо, — ответил Артём, повернувшись вполоборота к мужчине в полицейской форме. На дороге стояла машина ДПС.

— А ты чего тут делаешь? Травку куришь?

— Никак нет. В поле кричу.

— Зачем это? — спросил офицер, чувствуя, что его пытаются как-то надуть.

— Черт его знает! Нравится!

Артём достал сигарету и закурил. Одумавшись, предложил полицейскому, тот, хоть и уверенный, что его обманывают, плюнул и взял. Мальборо Красный как никак.

— Товарищ офицер, разрешите спросить? — тот от неожиданности поперхнулся дымом, раскашлялся и заплакал. — Вы вот всё всегда честно говорите?

— Кхе-кхе. Ну, не вру, ясен пень, но и чистосердечные не даю. Я ж не преступник. Хе-хе-кхе-кхе-кхе.

— В Библии вот сказано: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». А мы вот разве не врем, когда говорим, что кого-то любим? Хотя только и делаем, что хотим побыстрее сбежать. Или ладно, другой пример, — когда недоговариваем. Это тоже лукавство, хитрость, тоже неправда выходит, когда говоришь только половину правды. Типа говорим: «Я тебя люблю», а на самом деле думаем: «Я тебя люблю, но иногда хочу, чтобы ты сдох».

Полицейский улыбнулся — чуйка не подвела: парень псих и хочет кого-то убить.

— Да, да, да... — забормотал он, обдумывая план действий.

Артём повернулся к нему.

— Да что вы мне да-да-да?! Нет-нет-нет! Уж сделайте милость, скажите, что я неправ.

«Прав, прав, — думал офицер, — я прав, чокнулся».

И все принимали Тёму за сумасшедшего, когда он решался сказать правду. Нет, конечно, есть этикет (он еще есть?), нормы морали и прочее — но ведь молодой человек и не говорил ничего аморального. А если и говорил, то ответственность едва ли лежала на нем, ведь аморальность была в самой правде. И в конце-то концов, как же, «лучше горькая правда, чем сладкая ложь»?

— Милая? — окликнул жену Артём, выключив воду в душе.

Она не отвечала.

— Солнце? Даша?

Доносился шум — видео американского блогера, жена смотрела их в свободное время. Артём не понаслышке знал, что значит «сердце чуть не выпрыгнуло» и «сердце в пятки ушло». Оно и прыгало, и уходило, и разрывалось, и обливалось кровью, когда Артём представлял, как сейчас найдет на кровати телефон с включенным Ютубом и окровавленную жену. Облажался, облажался, повторял про себя Артём, не надо было ходить в душ, от меня еще даже не воняло!..

— Даша, ты где? — спросил он судорожно.

Шум шел из спальни. Ноги подводили Тёму, ступали кривовато пятками, выворачивая колени, и он чуть не упал. Дверь была приоткрыта — дурной знак: именно через приоткрытую дверь он видел папу с другой женщиной; маму на коленях, сложившую руки для молитвы, зажженные тощие свечи на прикроватной тумбочке и через секунду — рыдающую несчастную женщину.

— Даша? — пробормотал Артём.

— Чего? — ответила она весело. Очередной выпуск был смешным.

— Эй, ты чего это?

Только сейчас Артём осознал, что стоит голый и сырой.

— Я... прости, я забыл взять свежие трусы.

— Так а чего не позвал, кош? — она достала пару с его полки и вложила ему в руку.

— Спасибо, — пробормотал он и пошел обратно.

«Ой, наследил-то! Тут прямо лужа! Полотенцем бы хоть вытерся!» — раздавалось у него за спиной. Неважно. Сердце вернулось на место, и он снова начал дышать. Все хорошо. И нет, Артём не почувствовал себя счастливым. Апокалипсис просто перенесся на попозже. Он так и подумал: not today.

Конец света проваливался у них чаще, чем у Свидетелей Иеговы, но последние его жаждут, потому что после смерти их ждет счастье, а Артёма — нет. Его единственный шанс быть счастливым — это не Иисус, а Даша. Но жена сказала Артёму, что ее в этом мире не держит ничего.

— Как же ничего? А я?

Она покачала головой. Что-то внутри него тогда треснуло и так никогда и не восстановилось. Следующие раз восемь Артём перенес не легче, но потом, как старый волк, научился на собственных ранах и перестал совершать главную ошибку — надеяться.

На что он только ни уповал: взаимная любовь, секс два-три раза каждый день, психологическая незрелость жены (потому что тогда можно было надеяться, что однажды она-таки созреет), вкусный горячий ужин — он просто надеялся на хорошую жизнь. Говорят, надежда умирает последней, но жене с суицидальными наклонностями удалось ее пережить.

Без надежды жить стало проще. Пару недель он даже испытывал радость невротиков — безразличие ко всему. Но оно оказалось затишьем перед страшной бурей. Тёма стал ипохондриком.

— Что? Что опять не так?! — спрашивала жена во время перекура у куртки с опущенным капюшоном.

— Ничего, кош, все нормально, — отвечала куртка, а человеческая нога продолжала отбивать ритм хауса по стенке. — Мне утром трудно живется.

Утром его подводили и тело, и дух, и сам бог. Артём вставал с комком мокроты в горле и напрочь забитым носом, отчего, едва проснувшись, сразу чихал и, спотыкаясь, бежал в ванную с горстью соплей в ладошке. Жена старалась прожить еще один день, а он мешал, сильно мешал.

Однажды Артём высморкался в раковину и ужаснулся: из него вышли не сопли, а комки невысказанных слов. Он проглатывал их, когда молчал с родителями, сестрой и женой. И ведь слова-то не самые большие и тяжелые, русские как никак, не немецкие, но тут одно, там одно — и набралось столько, что его грудь пронзило страшной болью, и легкие начали свистеть. Этот свист только убедил Тёму в его теории. Как говорил Чехов, если человек свистит, ему есть что сказать.

Ему всегда было что сказать. Артём стал насвистывающим Дарт Вейдером. Жена, конечно, заметила новую особенность мужа: засыпать стало трудно. Она взяла подушку и легла валетом.

— Что такое, солнце? Зачем перелегла?

— Ты свистишь.

— Нет.

— Свистишь! Я что, не слышу, что ли.

— Не свищу я. Дышу просто.

Но Артём замолчал, потому что «да», «свищу» склизко спустились вниз к остальным товарищам, и на грудь словно положили кирпич. «Такой короткий разговор, — подумал Артём, — а я уже еле дышу... надо освободить немного места, чтобы уснуть».

— Да, я свищу.

— Спи уже.

Как и любой ипохондрик, он всегда думал, что чем-то болен. Болезни представлялись ему воплощением аспектов духовных, поэтому и лечить их нужно было не лекарствами, а, например, молитвами, как мама. Именно с их помощью мама и поборолa рак, хотя врачи отводили две недели и не советовали начинать курс химиотерапии, чтобы не мучиться в последние дни.

Месяцами мама молчала о том, что ей трудно подняться на пятый этаж. Потом на четвертый. На третий. Второй. И только когда она уже не могла встать с кровати, мама решилась сказать, что ей не здоровится. Десять процентов — врачи обычно говорят процент надежды на жизнь, но в мамином случае они сказали: «Девяносто процентов на этой стадии умирают». «И ведь справилась, — думал Артём, — с помощью слов». Высказанных слов. Как когда он кричал в поле, задыхался и чувствовал, как в груди бьется сердце — пульсирует жизнь, которая, как ему казалось, не может быть трагичной и бессмысленной.

Внутри него накопилось слишком много слов. У него заканчивались силы. Работать, ходить, даже вставать — все ему теперь давалось трудно. Поэтому новость о том, что вечером состоится семейный ужин в ресторане в десяти станциях метро от его квартиры, не могла радовать.

Это был редкий случай: вся семья в сборе. Съехались из разных городов, чтобы увидеться — только поэтому. Никаких причин типа: «по работе», «отдохнуть», «на выставку» и прочих. Нет, увидеться и поговорить. «О чем же нам говорить», — думал Артём.

— Как вы здесь поживаете? — спросила мама, как только они сели в рестораничке за Казанским.

— Мам, ты сначала выбери, что поесть.

— Да я... — она замолчала. — Я... мне... что ты сказал?

— Говорю, надо заказать сначала. Нас ждут, — и Артём показал на улыбающегося официанта.

— Да, конечно... мне вот это, пожалуйста, — мама показала на первый попавшийся салат.

— Мне тоже, — сказала Моника, поправляя вилки. — Я ведь йогой начала заниматься. Стараюсь не есть жирное.

— И мне! — добавила Даша.

— Принесите мне кровавый стейк, — сказал отец.

— А мне «Молчание ягнят», — сказал Артём и отдал меню официанту.

— Даша, ты начала учиться на психолога?

— Да! Я вдруг поняла, что самое важное в жизни — люди. Я хочу им помогать. Знаю, звучит тривиально, но я правда...

Артём случайно кашлянул, и Даша уцепилась за него под столом.

— Как замечательно!..

— А расскажи, как у вас проходит...

— О!

— Ничего себе! Вот это здорово!

— А потом мы, представляете...

— А-ха-ха-ха-ха-ха...

— Бывает же, да!..

Артём слушал жену и пытался представить себе ту счастливую жизнь, которую она описывала. Никаких попыток себя убить, угроз развода, напоминаний о том, что он переводчик порно — депрессивный лох, никаких обвинений в том, что он отравляет ей жизнь. Спокойствие.

По-настоящему Артём испытывал его давным-давно, перед пещерой Рождества. Он лежал на родительской кровати в отеле. Еще не было ни начала, ни слова. Артём дремал на груди отца так долго, что щека нагрелась и приклеилась. Он засыпал и просыпался под глухие удары бьющегося сердца папы и морские переливы его внутренних жидкостей. Артём мог видеть, слышать и ощущать, но не думать. Не облекать мир в слова. Почему мы не могли остаться там, думал теперь Артём. Отец сказал сыну, что пора на экскурсию. Они вышли на улицу, и тот номер в гостинице, как и все, что с ним было связано, навсегда остался позади.

— ...в общем, нам с Артёмом очень хорошо. Ходим гулять в парк, а когда сидим дома, смотрим смешные видео на Ютубе...

— Нет! — вырвалось у него. — То есть да, мы это делаем, но есть еще столько всего... черт побери, плохого! Каждый день, каждую...

— Артём... — попытался остановить его отец.

Но было поздно. Все слова, залежавшиеся внутри, поперли вверх: он припоминал все на свете, не стал фильтровать неудобные факты — словам не терпелось вылететь наружу, они спотыкались, сцеплялись и выпрыгивали комками. Артём раскашлялся, хлынули слезы, и мир поплыл. Когда Артём протер рукавом глаза, то увидел, что оплевал всю семью малиновыми сгустками крови.

Мама странно на него смотрела. Как на «Девятый вал», когда они ходили в Русский музей. В ее взгляде было интимное понимание, сопричастность. Артём повернулся к картине и увидел нарисованные волны, оторванную мачту, людей. Страдания и прочее. Ничего необычного. Кроме одного — это была не трагедия людей, а торжество моря. На кресте — на вере — побежденные; люди, борющиеся за свою жизнь, хотя нет никаких шансов выжить в такой шторм. Aren't they us, tum? Подумал тогда Артём.

Все сидели тихо. Голос разума нашептывал ему, что и он должен, но задыхаясь, Артём продолжил говорить. Еще и еще, пытаясь выговорить опухоль, выплюнуть ее на тарелку и разделаться с ней наконец. Это уже была не речь, а бормотание, полифонический свист. Он почувствовал необычное — пустоту внутри, ветерок вдоха, свободно пролетающий вглубь. Артём боялся упустить это ощущение. Боялся, что, если замолкнет, — перестанет бороться — все прекратится. Он прекратится.

Моника всхлипнула, моргнула, и на щеке заблестела тонкая полоска пробежавшей слезы. Артём замолчал. Эта капля словно упала в него, и внутри все вспыхнуло. Голос отца закружился эхом в голове. Слова распались на звуки, Артём попытался собрать их обратно, но забыл формы. В полудреме Артём вспомнил странное чувство. Словно сердце — магнит. И пока он тонул все глубже и глубже, грудь раздирало зудом.

Его тянуло вверх.

Сухбат Афлатуни

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

Сколько имён у счастья

Молчаливая Пасха

как больно светит свет — как больно
шумят деревья — каждый звук
царапина
сознания

в тот апрель земля умолкла — люди
гнездились по домам —
в телевизор в дисплей

церкви стояли — сгустки пустоты
никто никто
только священники — и свечи

старухи протирали пол
и пахло хлоркой
.....

в этой тишине Он был распят
гвозди тишины
бесшумно — пол в крови — протрут

никто никто
удар удар
и шёпотом: лама сававахани?

распятый тишиной висел Он
никем не снятый —
карантин

Сухбат Афлатуни (псевдоним; настоящее имя — Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Живет в Ташкенте. Постоянный автор «ДН».

только Иосиф из Аримафеи
тайком ползком
с маской на лице

.....
под личную ответственность
.....

а утром было счастье
внезапное
и чистое как воздух

(в те дни машины
почти не ездили
воздух был прозрачен)

и утром
было утро

* * *

сколько имён у счастья — счастье-дуб
счастье-лужа (свет) счастье-река
загибаю пальцы — расту — губы
погружаю в тёмную нутрь облака
втягиваю пламя — бледнеет дуб
счастье-лодка вдоль счастья-реки
от ладоней
мальки

сколько имён у счастья — сколько имён
у воздуха — дышишь и
превращаешься в солнце — слышишь случайный звон
берег уже пронесли
мимо — как полосу перемен
дуб исчезает — и из воды
не вынуть руки
весь день

* * *

каждое утро
мои нерождённые дети
стоят под окном и молчат

каждое утро
мои ненаписанные стихи
стоят под окном и молчат

каждое утро
мои невыполненные обещания
стоят под окном и молчат

постояв и покурив
уходят

* * *

когда умирают мужчины
почему-то расцветают цветы
она это давно заметила

вдруг решает цвести
почти сдохшая фиалка
восковой плющ
покрывается маленькими
хищными звёздочками
а запах

и роза — розы у неё обычно не стоят
а тут на тебе — две недели

она боится
остался один сын
пьющий стареющий злой
пусть будет такой
не надо
не надо
ну не цветите же

* * *

глаза
взмахнув ресницами
улетают с лица

нос
сползает с лица
уходит ковыляя

уши
напрягшись и покраснев
спрыгивают

только рот
остаётся на лице
до конца

говорит и говорит

как будто

всё видит без глаз
чует без носа
слышит без ушей

всё знает

Турсун Али

С узбекского. Перевод Сухбата Афлатуни

Из цикла «Внутренний пейзаж»

* * *

Долго смотрю из окна.
Кого ищу?
Чего высматриваю?
Напрасно.
Беспределный мир
пуст,
как моё сердце.

* * *

Луна стареет,
Солнце состарилось,
Земля одряхла.
Мир стар.
Послушай,
мне нужно сказать тебе что-то...

* * *

Твоё письмо так кратко,
сырой листок из тетради;
умру — хватит на саван.

Из цикла «Ночь»

* * *

Всю ночь — лай собак.
Не темноту они грызли —
сердце моё.

* * *

Ночь. Пробудился
от шороха
бродившей за окнами луны.

Турсун Али (Турсунали Урмонов) — поэт, переводчик. Родился в 1952 году в Кувинском районе Ферганской области. Окончил филологический факультет Ташкентского университета, работал в СМИ. Автор многочисленных поэтических сборников. Переводит на узбекский язык русскую, японскую и китайскую поэзию. Живет в Ташкенте.

* * *

Тяжесть в груди —
сыч тревожно кричит,
а роща ещё зелена.

Из цикла «Холод»

* * *

Как ты прекрасна, вдова;
прижавшись к дереву
гляжу — безязыко, бессильно.

* * *

Точно нервы твои спутались,
от июльского ветра —
в мурашках озноба душа.

* * *

Голос мой постарел;
может,
постарев раньше тела,
ты сгораешь, как осень,
мой сильный когда-то голос?

* * *

*Читая рассказ Назара Эшанкула
«Чёрная книга»*

У него нет глаз
нет бровей
но
есть сердце
тёмное как пригар на казане

Человек без глаз
он
когда ты ходишь как алиф¹
когда смеёшься как волна
светлеешь как луна
видя это
не видит

¹ Первая буква арабского алфавита в виде вертикальной линии; в классической арабской, персидской и тюркской поэзии — символ стройности.

Без глаз
без век
без лица
человек
пьёт себя
клюёт себя
пережёвывает себя.

Из цикла «Одинокий человек осенью»

* * *

Муравей,
иди сюда,
скоро полночь,
давай-ка отдохнём.
Каким
будет завтра?
Знаешь?
И я
не знаю.

* * *

Внутри меня
скулит собака.
Когти
царапают грудь.
Рано или поздно
ухватит за сердце.

* * *

В полночь
человек не спит,
думает всё:
как ночь-то длинна,
как луна высока.
В полночь
человек не спит,
погасит свет,
снова зажжёт.
Снова встанет,
свет погасить.
Как бы достать
до луны?

* * *

Всю ночь
по садам
гулял ветер пьяный.
Утром
мотает стройное дерево
растрёпанными волосами.

* * *

Покидало рошу старое солнце.
Опускались волнами-волнами
птицы на плечи деревьев.
А ночью — иней,
лежишь, зябнешь...

* * *

На ветке урючины — ржавый серп;
видно,
кто-то забыл.
Может,
садовник, тоскующий по лету.

* * *

Странно,
в саду торчит
колышек старый.
Вбили его
для скота.
А сегодня
ворона на нём отдыхает.

* * *

Пятнистая ночь,
нет сна.
Как змея, извертелся, извился.
Рядом —
тихо спящий нож.

Из цикла «Глаза дня»

* * *

Ветер, угомонись;
даже вполсилы не дуй —
пусть в тишине расцветает джида.

* * *

Куда идёшь, муравей?
Груз на спине — как гора.
Бедные мои кости.

* * *

Сынок, хватит спать, проснись!
Видишь, в окно глядят
светлые глаза дня.

Татьяна Шапошникова

Созданы друг для друга

Повесть

1

Катя понимала, что немилосердно тянет с выздоровлением. Будучи врачом, она знала, что здорова, но всячески оттягивала наступление момента, которого так ждали ее родные и те немногие из друзей, еще не забывшие ее после того, что произошло: когда она понемногу, шаг за шагом, начнет возвращаться в прежнюю жизнь. Возвращаться к ним. Надо сказать, что сама себе она напоминала пациента из травматологии после масштабной автокатастрофы: на ноги встала после нескольких месяцев полной фиксации в хирургической кровати — и застыла в нерешительности и беспомощности: сделать этот хрестоматийный первый шаг или все-таки не стоит? Рухнуть обратно в койку?

Не следовало вставать — вот что.

Нет, родные и друзья пока еще не знали, а вот она знала, что никогда больше не вернется. Но как объяснить им — двадцатисемилетнему сыну, тринадцатилетней дочери, — что она не способна стать прежней, и ей просто ничего другого не оставалось, как продолжать симулировать.

Поначалу Коссович взял на себя абсолютно все. Он вместе с ней ел, спал, менял ей белье, причёсывал, следил за одеждой, обувью, настаивал, чтобы она принимала ванну — и при этом крутился где-то поблизости: контролировал. Просто поразительно, как мгновенно в их квартире на Непокорённых сломались задвижки в туалете и ванной, а потом друг за другом стали исчезать колющие и режущие предметы — Коссович тоже свою профессию знал на «отлично»! И ходил он в первые недели с ней вместе. Повсюду. За руку.

После приема пищи подсовывал ей «таблеточки». Катя мотала головой:

— Не нужно. Я справлюсь.

Она бы, может, и попробовала эти «таблеточки» — узнать бы, чем всю жизнь потчевала своих подопечных, — только ей претил сам факт, что Коссович вот точно так же в свое время протягивал точь-в-точь такие же «таблеточки» своей жене, а потом и дочери.

Шапошникова Татьяна Викторовна родилась в Ленинграде. Редактор, переводчик, прозаик. Окончила Северо-Западный институт печати. Печаталась в журналах «Звезда», «Аврора» и др. Лауреат премии журнала «Звезда» за 2016 год. Автор сборников рассказов «По чёрным листьям» (М, 2017), «Последний аргумент» (М, 2018). Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Чтобы «справиться», в ход пускалось белое сухое вино — почти каждый вечер. Но дозу свою она знала, спиваться не собиралась. Скорее, наоборот, она искала способ обрести некоторое равновесие, чтобы возобновить работу мысли: необходимо додумать кое-что очень важное (оно было, это важное, оно сидело у нее в голове, она ощущала его почти физически), но пока она не могла ухватиться за это столь необходимое, основу основ, облечь ее в слова и вывести, так сказать, на печать — увидеть глазами: мозг не слушался, а с эмоциями что-то случилось, они больше не захлестывали, как когда-то, не били через край, не побуждали к поступкам — смелым, дерзким, отчаянным. Пока думалось только отрывочно, фрагментарно: всё вместе в картинку не собиралось, нужные мысли не находились, сколько бы она их ни искала. Правда, она не слишком торопилась.

Со временем, понемногу, Коссович стал «доверять» ей — оставлять одну. В конце концов, он вынужден был выйти на работу, необходимо было кормить семью. И ей приходилось подолгу оставаться одной. Правда, он и тогда ее контролировал — звонил каждые два часа. А мог нагрянуть среди дня на обед, зажав под мышкой пакет с фастфудом.

Пользуясь свободой, Катя принялась разнообразить свое существование. Нет-нет, она вовсе не утратила интереса к жизни: то, что зовется скукой, тоской, одиночеством, ее, как ни странно, совсем не тяготило — она отдыхала, когда оставалась одна.

Это только в самом начале, выпроводив Коссовича, она ложилась на диван и часами глядела в потолок. Изучала на белом полотне вмятину, оставшуюся от малярных работ, желтоватое пятно после какой-то протечки, трещин, отлетающих от него по касательной, свисающую с потолка нитку пыли. Она начинала раскачиваться, эта нитка, если приоткрыть форточку. И тогда Катя глаз с нее не сводила, словно та была не досадным упущением хозяев дома, а рыбкой с золотистым плавником в потолочном аквариуме.

Теперь же Катя норовила с утра, вслед за Коссовичем, выскользнуть из дома, сесть в любой понравившийся автобус — все равно — и ехать по неведомому маршруту до конечной, и там долго гулять по каким-то окраинам, где панельные дома в конце концов заканчивались и начинались перелесок или промзона, и уж только потом, достигнув *края земли*, повернуть обратно: на табличке какого-нибудь дома прочитать название улицы и вызвать такси.

Могла зайти в районную библиотеку и там долго, почти целый день, листать журналы по ландшафтному дизайну. Могла часами сидеть в кафе и пить кофе, уставившись в книжку и лишь иногда переворачивая страницы. Могла сходить на бесплатное пробное занятие по кройке и шитью, познакомиться с мастерицей (и тут же забыть ее имя-отчество), посмотреть на машинки, на девушек и женщин, пришедших сюда вместе с нею, чтобы научиться шить, поулыбаться им в ответ.

И это было хорошо. Никто не лез к ней с вопросами, никто не знал, кто она и почему тут. Никому не было до нее никакого дела.

В своей квартире она появлялась чаще уже вечером, предварительно насидевшись с Коссовичем в машине у подъезда, выжидая момента, когда никого из соседей не будет в радиусе пятидесяти метров. Тогда она быстро выскакивала из машины с зажатым в пальцах ключом, не смея хлопнуть дверцей (а может, инстинктивно оставляя ее незакрытой, чтобы проще было впрыгнуть обратно — если что), опрометью кидалась на свой второй этаж и почти врывается в квартиру, замирая от ужаса, потому что ясно слышала, как на площадке третьего этажа кто-то распахнул дверь, хлопнул ее, прошелся по площадке и уже шагнул на лестницу... Дома она сразу же проходила в кухню, садилась за стол, ей придвигали тарелку, и она ела, делая вид, что не замечает

на лицах матери, дочери и сына одного и того же вопроса: когда? Когда она к ним вернется? Когда будет жить вместе с ними? Начнет решать с ними их проблемы? Ну или когда, в конце концов, швырнет эту тарелку в стену, ее содержимое вязкой массой медленно потечет по обоям, и она закроет лицо ладонями и шумно разрыдается?

Никто не знал, даже Коссович, но Катя ни единой слезы не пролила в то утро, которое изменило до неузнаваемости все вокруг, — ни в тот день, ни после. Должно быть, такова была ее природа: она помнила, что в последний раз плакала, когда родила Полю, своего третьего ребенка, а Коссович не слишком-то торопился записывать ее на себя — не то что уходить от своей идиотки-жены. Так, даже не заплакала, а всплакнула для вида. Плакала она навзрыд, она хорошо это запомнила, в Крыму, когда ей было семнадцать и она прощалась со своей первой любовью. Стоял последний день лета: он уезжал в Симферополь в ПТУ, а она вместе со своими интеллигентными родителями, делающими вид, что им ничего неизвестно о первом романе в жизни дочери, возвращалась в Ленинград после очередного отдыха под Карадагом.

То необъятное, оглушающее и темное, что захватило и поработило ее, не могло излиться слезами. Теперь с ней происходило другое. Она плакала по заказу, как актриса, но что примечательно, заказ этот исходил от нее самой. Иными словами, плакала она сама для себя. Без зрителей! Вечерами в квартире на Непокорённых, когда Коссович задерживался допоздна, занимаясь частной практикой на дому у пациентов, она вываливала на ковер семейный альбом — свой или Коссовича. Слезинки начинали щекотать ресницы в конце второго бокала «Виуры» — и было все равно, на кого она глядела в тот вечер, на своего Зайца или на его Селёдку. Дальше все зависело от количества спиртного. Эта выпивка по сути являлась для нее процедурой. Думать все равно не получалось, но подобной терапией она поддерживала в себе то некое свойство, которое в прошлой жизни ее друзья и близкие называли, кажется, человеческим теплом — в переносном смысле, разумеется. А может, ввали.

Время от времени Василин строчил пулеметной очередью в экран Катиного телефона, небось целясь Кате в самое сердце: «Ты сука-сука-сука-сука-сука-сука-сука»... Она настолько привыкла к этим всегда одним и тем же посланиям, что уже давно не воспринимала их. Они просто говорили ей о том, что Василин все еще жив и что в данный момент он находится в запое никак не меньше трех дней.

Вот это, пожалуй, и все, что связывало ее с прошлым.

Не зная, как вести себя, все еще упрямо желая выиграть для чего-то время, она и продолжала тот образ жизни, который освоила последние полтора-два года. В чужой квартире, с сумкой и чемоданом, тем самым, из Дублина, будто только вчера из аэропорта. Коссович заново покупал ей какие-то вещи, предметы гигиены, но все они легко терялись в недрах чужой квартиры. И у нее по-прежнему не было ничего своего. Но ничего и не нужно было.

Однако, похоже, все-таки наступал конец ее привычному бездумному существованию. Известие о том, что девятнадцатого, кажется, числа (она не переспросила) прилетает Селёдка, всколыхнуло Катю больше, чем ей бы хотелось. Селёдка, что бы она ни сделала, что бы ни сказала, даже просто посмотрела (хотя нет, «просто» смотреть на Катю она не смотрела, она всегда смотрела так, словно хотела убить ее — и не только взглядом) — это было всегда потрясение. Событие, скандализирующее всю Селёдкину семью.

Но Катю ведь больше ничто не могло потрясти — после того, что с ней случилось? И все-таки Селёдка должна была ясно увидеть, что Катя уничтожена — только так Селёдка обретет второе дыхание и сможет улететь обратно в свой Лондон, до следующих каникул. В свои двадцать один та еще не понимала, что Кати и так уже не было. Приходилось делать вид, что есть.

2

Значит, Селёдка... А Катя-то в последнее время совсем осмелела. Расслабилась. Повадилась снимать квартиры посуточно в высотках. На одиннадцатых этажах.

Выбирала на сайте квартиру с лоджией, бронировала, в нужный час встречалась с хозяином, делала вид, что осматривает, платила, выслушивала ценные указания, а когда дверь за хозяином захлопывалась, подкрадывалась к лоджии, открывала окна и, облокотившись на подоконник, смотрела вниз как завороченная. Часами. Устав смотреть на улицу, придвигала кресло к окну и глядела то в небо, то на раскачивающийся на ветру тюль.

Да, это был плохой симптом, она знала это как никто другой. И она тщательно скрывала эти свои похождения от Коссовича.

Внизу было интересно. Многоуровневые гаражи, сверкающие шлагбаумы, блестящие машинки, веселые разноцветные детские площадки, набережная, синяя на солнце полоска воды, но под окном — обязательно асфальт — новехонький. Все крохотное, чистенькое, игрушечное с такой-то высоты.

Она возвращалась к островку асфальта под окном и думала о том, что станет с человеком, если ему вступит в голову броситься вниз. О том, как выглядел ее сын, прыгнувший с одиннадцатого этажа. И думать об этом можно часами. Никогда не надоедало. Сколько крови было на асфальте, как именно пробит череп и сбиты кости, что осталось от лица и как его смог опознать вечно пьяный Василин? Как назавтра выглядела черная лужа крови? Послезавтра? Через неделю? С ума это ее не сводило, как ни странно.

...Они с Коссовичем кочевали по провинциям Ирландии, катили и катили в каком-то минивэне с экскурсионной группой, когда во время очередного перекура зазвонил телефон и в окошечке высветилось: «Василин». Подозревая, что тот, как всегда, пьяный в стельку, так и не смилившийся с присутствием в ее жизни Коссовича (уже много лет оформленный к тому времени развод для Василина был ничего не значащей бумажкой, которую он прилюдно разорвал в клочья и втоптал в песок в своей обычной манере поморского мужика, — всегда прибавляла Катя к рассказу об этом эпизоде), — она не стала брать трубку. Тем более, что Василин отлично знал, где она и с кем. Хотя, может, и забыл в подпитье. Через какое-то время ей позвонила дочка, и тут что-то случилось со связью: ничего было не разобрать, кто-то ревел, выл и, кажется, икал — Катя органически не переносила истерик. Но потом, когда на том конце невидимого провода вдруг стало тихо, близко-близко возник голос матери и отчетливо произнес, как отрезал, что их Алёша покончил с собой, похороны в субботу.

Катя опустилась прямо в изумрудную траву посреди достопримечательностей под открытым небом — мимо нее проходили смеющиеся попутчики, кто-то открыл большую бутылку кока-колы и, подмигнув Кате, кивком предложил угоститься. Катя отвернулась. Потом, стоя спиной к ветру, она трясущимися руками нажимала на кнопки в телефоне, чувствуя себя как в дурном сне, когда необходимо, например, бежать, чтобы спастись, но ноги отказываются, и потом все-таки накрывает догадка, что это сон, а не явь, что это не всерьез... Кажется, она пыталась набрать Алёшкин номер.

Катя не поверила им: дочери-подростку и матери-старухе.

Зато Коссович поверил. Он сразу же переговорил с гидом, взял Катю за руку и повел ее через одинаково зеленые поля на трассу, чтобы двинуться автостопом в обратном направлении. Потом в каком-то поселочке Коссович купил билеты на автобус в Дублин, и уже вечером того же дня они стояли перед огромном табло в

аэропорту. Рейса, конечно, вот так сразу, немедленно, на Санкт-Петербург не было. Коссович связался с всемогущим Аркадием: была одна возможность, на послезавтра, с двумя пересадками, но билет стоил больше, чем весь их тур по Ирландии на двоих. Всемогущий Аркадий моментально сделал перевод.

Оглушенная, вне времени, Катя сидела в номере на постели, не сдвигая белоснежного покрывала, потом в зале ожидания, потом в аэропорту, и еще, а когда ее последний самолет уже стал кружить над Пулково, вдруг поняла, что домой не поедет — поедет на Непокорённых к Коссовичу (ключ у нее был), телефон выключит и на похороны завтра утром... не пойдет.

Она хорошо помнила, как дотянула до вечера следующего дня — с ногами в кресле гостиной и с выключенным мобильником в потных ладонях. Не расставаясь с телефоном ни на минуту, она смотрела в его выключенный экран и иногда — в черный экран телевизора напротив нее. Для того чтобы получить известие от Коссовича, мобильник все-таки пришлось включить — и на нее градом обрушились сообщения. Она не читала — скорее-скорее пролистывала, боясь их как огня, но глаза все равно выхватывали имена (очень много имен) тех, кто имел ей что-то сказать по поводу случившегося. Через несколько дней, включая трубку, она научилась удалять сразу все, что накопилось за сутки на этом маленьком, но таком опасном аппарате, не читая, и сама звонила Володе и — изредка — дочери. «Я сама позвоню», — говорила она всем: Володе, дочке, матери, сыну. Все другие больше не имели к ней никакого отношения — так она решила.

А потом, примерно через неделю, купила себе новую сим-карту — когда догадалась дойти до стекляшки ближайшего оператора. Теперь ее новый номер знали только Коссович, сын, дочь, мать и Елена, подруга еще с института, самая близкая. Позже до него докопался, конечно же, и Василий.

Василин был человеком эсэмэс: звонил он редко, все больше писал, так уж повелось с начала эпохи сотовой связи, когда звонки еще стоили дорого и люди жили в мире моментальных спутниковых сообщений, кидаясь к телефонам, слышав заветный сигнал. Так что все эсэмэски у Кати теперь были одинаковые, от одного и того же абонента: «Ты сука» и «Я тебя убью». И никаких больше субботних информирований из супермаркета о распродаже свинины, окорочков со скидкой тридцать процентов, никаких напоминаний успеть выбрать себе что-нибудь из осенне-зимней коллекции магазина такой-то марки.

По поводу похорон она поговорила лишь один единственный раз с Еленой — только несколько слов. Но все было ясно и так. Катя словно видела этот экшн своими глазами. Василий, тряпка, на похороны явился качаясь, распугал всех Алёшкиных друзей, потребовал открыть гроб... Ему открыли. Он припал к тому, что скрывалось за атласом и парчой — и отдавать сына не собирался. Елена, заручившись поддержкой присутствующих мужчин, потребовала прекратить «этот кошмар»: Василина подхватили сразу несколько рук и оттащили. Последнее, что, видимо, отпечаталось в его воспаленном мозгу и что он без устали перебирал в своих последующих бесконечных откровениях с посетителями рюмочных, так это то, как Поля подошла к еще открытому гробу и вложила туда пакетик с чипсами. «Брату в дорогу», — обливался пьяными слезами Василий в своих рассказах... Потом Василий, уложенный, словно ковер, в конце автобуса, неизвестно каким образом воскрес, никем не контролируемый прилепился к хвосту колонны, добрался-таки до вырытой ямы, там рухнул и очнулся, лишь когда гроб закопали. Тогда он зашелся ревом и принялся, как обезумевшее животное, расшвыривать цветы и песок, так что побежали за могильщиками — тремя крепкими парнями, и только с их помощью и с помощью новой порции алкоголя Василина удалось снова нейтрализовать.

Да, может, это и правильно, что Катя не пошла на похороны. Василий вполне мог ее убить...

Алёшка заболел в мае, в разгар зачетов. Просто не пошел однажды утром в университет. Катя не придавала этому значения и забыла. Только когда выяснилось, что зачетная неделя прошла и к экзаменам сын не допущен, состоялся неприятный разговор. Сын молчал, пряча от нее глаза, и твердил только одно: ему «больше не хочется жить».

О, вот с такими выкрутасами Катя справлялась на раз! Таких пациентов у нее была тьма! Ни минуты не раздумывая (не было времени на размышления: май месяц на дворе, уже начался период отпусков, главный опять на конференции, у самой Кати Ирландия на носу), она определила его к себе в клинику. Поговорила с коллегой, который будет его вести. Все это нервы, нервы и еще раз нервы — перед экзаменами. А как же, третий курс, самая тягомотина. Наверняка и без девицы дело не обошлось... Так говорил коллега. Катя считала точно так же. И улетела, как было запланировано, с Коссовичем в Ирландию — все равно своих не лечат. Да и чем она поможет Алёшке, если останется?

Накануне отъезда позвонила Василину, объяснила ситуацию, и он обещал навещать сына каждый день, в очередной раз обругав Катю сухой, которая не в первый раз уезжает, бросив больного ребенка на произвол судьбы. А когда Алёшку выпустили, как водится в психиатрических клиниках, домой на выходные — Василий отъехал по делам фирмы, кажется, в Иматру, всего на несколько часов... И в этот день для Кати почему-то все закончилось.

3

Селёдка... Впервые Катя увидела дочку Коссовича, когда той только-только исполнилось восемь. Катя уже родила Полю, Василий от нее съехал и подал на развод, и Коссович принялся открыто жить на две семьи.

Коссович вез Селёдку через весь город, по пробкам, к какому-то врачу (у девочки были нескончаемые проблемы со здоровьем), а Катю нужно было подкинуть с Васильевского домой. Так они и встретились — в машине. Кате, специалисту экстра-класса, трех минут хватило, чтобы поставить диагноз: расстройство личности у девочки было налицо, причем из тех, которые не лечатся. Вялое, тщедушное тельце, беспокойные черные глаза — и целый букет комплексов.

Коссович сто раз на дню говорил «дочка», имея в виду свою Селёдку, а дочь от Кати как-то не воспринимал. Поля не была «дочкой». Поля развивалась в соответствии со своим возрастом и не имела никаких проблем, а если какие-то трудности и возникали, они вовремя и успешно разрешались. Поле не нужен был массаж в элитной клинике, остеопат с американским дипломом, гомеопат из Москвы, семейный психолог, средства по уходу, выписанные из Испании, двухлетняя подготовка к поступлению в лучшую гимназию города. Требовалось только раз в месяц выдавать Кате некоторую сумму на ее содержание (весьма, кстати, умеренную), а при встрече потрепать девчонку за щечку, сказать «привет» и «ну ты крутышка!» — пожалуй, это все.

Настя была дочкой. Единственной. Долгожданной. Законнорожденной. Центром вселенной, вокруг которой крутилась жизнь героя-любовника Володи Коссовича. Да, Коссович, как ни смешно, действительно явился исключением из длиннющего ряда хрестоматийных женатиков, беззастенчиво уверяющих свою очередную пассию, что не разводятся «только ради ребенка». Этот не разводился не только из-за ребенка, но еще и из-за жены, потому что «она этого не переживет». И скептически настроенные зрители этой нескончаемой мелодрамы напрасно хмыкали, в конце концов так оно и произошло: жена Коссовича Кати не пережила.

Но именно Селёдка была истинной соперницей Кати, а вовсе не Наташа, ее мама.

На Наташу Кате было наплевать. Наташа была слишком ничтожной как

личность. Она даже не вызывала интереса — не то что сочувствия. Так Катя привыкла думать и говорить, однако... Однако Катя делала все, чтобы Коссовичу с Катей было очень-очень хорошо, а с Наташей — очень-очень плохо. Искусство завоевания чужого мужа к тому времени Катей было отточено до филигранного превосходства и уже не требовало сверхусилий, как когда-то. В ситуации с Коссовичем она использовала все свои трюки, распотрошила весь имеющийся в ней потенциал, невозможное сделала возможным, и все-таки... И все-таки некая злонамеренная сила не выпускала Коссовича из семьи, не отдавала Кате в полное распоряжение. Коссович держался, держался иногда из последних сил — невесело усмехалась Катя и закусывала губу.

Каждый день Коссович возвращался домой и не знал, что выкинет его обезумевшая от ревности жена. То, что жена двинулась по фазе в результате бесконечных измен мужа, сообщало Коссовичу особенное чувство вины и, похоже, именно оно явилось гарантом Наташиного брака — и, одновременно, защитой Коссовича от пресловутого слабого пола в лице Кати... Наташа чувствовала новую женщину в жизни мужа заранее, еще до ее появления, и изводила себя заранее — и мучила мужа заранее. Она все время грозила ему, что покончит с собой, и он всю дорогу лечил ее, а заодно и подрастающую Селёдку — та вообще без истерики дня не могла прожить, используя ее и как защиту, и как нападение, и как необходимую эмоциональную встряску.

А потом, вне всякой логики, так, по крайней мере, считала Катя, когда они втроем прожили с десяток лет, Катя, Коссович и Наташа, — разводиться этот стойкий семьянин по-прежнему не собирался, и Катя уже примирилась с мыслью о том, что ей не удастся пройти с Коссовичем под марш Мендельсона — Наташа все-таки сделала это. Выполнила свою угрозу.

И сразу же в доме Коссовича заголосила, забесновалась, угрозила самоубийством другая женщина — шестнадцатилетняя дочь. Коссович даже не успел передохнуть.

Селёдка ходила за Коссовичем по пятам и требовала упечь Катю за решетку по статье «доведение до самоубийства». Оповещала всех и каждого в социальных сетях о том, что Катя, доктор Екатерина Александровна Медиевская из такой-то клиники, — убийца, слала и слала без конца письма частным лицам и в организации, и даже накарябала на двери в Катину квартиру масляной краской: «Убийца». Она и до милиции дошла и попыталась подать заявление. (Чтобы нейтрализовать последствия этого обращения, Коссовичу пришлось здорово потрудиться.) Селёдка являлась на Непокорённых в «любовное гнездышко» Кати и Коссовича, трезвонила и стучала без остановки, отец рано или поздно открывал дверь, и дочь протягивала Кате горсть таблеток. Когда же Селёдка обманом проникла к Кате прямо в отделение, где та работала, это оказалось последней каплей. Коссович, за которым послали, в результате этого грандиозного скандала, начавшегося в кабинете заведующего и продолжившегося в холле второго этажа на глазах у всех его насельников и сотрудников, «порвал» с Катей, как этого требовала дочь, взял дочь под локоток, посадил в машину, но повез не домой, а к врачу частной практики.

Конечно, он продолжал встречаться с Катей. «Тайно». Селёдка один день верила в то, что они расстались, другой день — нет: вторая Наташа, они и внешне были очень похожи. Как только дочь окончила школу, он отправил ее учиться в Лондон — ее уровень английского после лучшей гимназии города позволял это. Уровень доходов Коссовича тоже: он сдавал две материны квартиры и три раза в неделю допоздна дежурил у постели с капельницей на квартире какого-нибудь запойного алкоголика или наркомана. К тому же на карточку ему каждый месяц капала зарплата из больницы, где он работал. На собственно жизнь давала мать.

4

Стоило Кате закрыть глаза, как ей грезилась работа. Свой собственный кабинет с массивным столом какого-то породистого дерева и столешницей зеленого сукна, стационарным телефоном семидесятых годов с витым проводом, с цветами в горшках, которые так любила Старшая (Катя не запоминала их названий), на широченных подоконниках, с окнами, выходящими в заросший сад... Раскладывающийся кожаный диван, подаренный заводом, старый тяжелый эстонский шкаф с домашним постельным бельем и парочкой непременно свежесглаженных и даже накрахмаленных белых халатов с синими манжетами... Она и захотела в пятом классе стать врачом из-за такого вот белого халата. Ну а в десятом сообразила, что врач, особенно врач в больнице, — он всегда начальник, в подчинении у которого человек двадцать больных и весь младший медицинский персонал в придачу.

— Кто здесь главный, вы или я? — весело, иронично, смеясь одними глазами, спрашивала она упиравшегося напротив нее больного, готового разреваться от несправедливости жизни и личной несправедливости ее, Екатерины Александровны, к нему. — Я, — с нескрываемым удовольствием отвечала она. — Так что идите обедайте, в шестнадцать у вас групповая психотерапия, а завтра еще раз обсудим вашу ситуацию самым подробным образом, но немножко с другой точки зрения.

Эта клиника была для нее больше, чем домом.

Она невесело хмыкнула, вспомнив Василина, который рассказывал всем, готовым его слушать, что она была «психиатром, что называется, от Бога». Будучи уже совсем в тумане, на самой глубине интимных откровений с собутыльником, он сообщал, что именно из-за Катиного профессионализма земля еще носит ее, из-за него, этого чертова профессионализма, ей многое будет прощено *там...*

Недавно она приходила посмотреть на свою больницу. Тайком, не доходя двух домов, остановиться на противоположной стороне и посмотреть из-за угла подворотни на фасад старого здания, проходную, крыльцо, арку с перекрытием во втором этаже, вход во двор... Почти два года прошло, как она взяла отпускные, помахала своему отделению ручкой, пообещала главному подарок из Ирландии — бутылку виски, у нее даже было где-то записано — какую.

Она ни разу не была здесь с того самого майского солнечного дня. Даже не знала, по какой статье ее уволили и уволили ли, и цела ли еще ее трудовая книжка, и где она. Безусловно, весь персонал больницы вместе с главврачом и даже больные, которые, конечно же (конечно!), тоже были в курсе, теперь знали, что она такая же сумасшедшая, как и ее трагически погибший сын.

Почему, ну почему она не смогла заставить себя прийти и уволиться как нормальный человек?! Ведь многие тогда совершенно искренне ей соболезновали, наверняка! Она договорилась бы о каком-нибудь неурочном времени, когда бы ее никто не увидел из врачей, персонала, больных (подруга сделала бы это для нее, и потом она бы вычеркнула эту подругу из памяти, как ту же Елену) — и ей пришлось бы (всего-то!) пройти только через завод, кадровика и бухгалтера. Максимум.

Но ей была нестерпима мысль о том, что даже эти два-три человека, тщательно подготовив специально для нее взятые напрокат трагические маски и слова соболезнования (искренние, искренние наверняка!), вопьются своими взглядами в ее лицо, увидят ее такую — совсем не победительницу, не уверенную в себе женщину, не красавицу, властную, ироничную, смелую, — увидят и задавят своим соучастием, которое на самом деле никогда не бывает искренним. Не может быть искренним. Не может, и все.

Ей нестерпима была и мысль о том, что в чьих-то глазах она получила по заслугам. «А будь на свете справедливость, ей бы досталось еще пуще!» — с мрачным удовлетворением воскликнули бы они.

Она все еще временами вставляла на несколько минут в телефон свою прежнюю сим-карту. Эти, из больницы, звонили ей долго, много-много месяцев. Еще бы! Такая несуразица! Не исключено, что они даже приезжали к ней по адресу прописки, просто дети ничего ей не сказали...

Подняв воротник тренчкота, она быстрым шагом прошла вдоль фасада клиники, свернула на набережную и теперь оттуда, из-за поворота, принялась подглядывать за жизнью клиники, в которой проработала двадцать лет. Из проходной выскакивали молоденькие медсестры, новенькие, какие-то незнакомые врачи (откуда они взялись, черт их побери? Это же элитная психиатрическая клиника на четыре отделения, и кого попало сюда не берут — только по знакомству, по согласованию «сверху»)... Больные так же, как и всегда, празднично шатались у арки, заходя в здание через вертушку, либо во двор клиники, а там сразу в калитку налево — в монастырский сад. Значит, знаменитое подворье, с которым они некогда воевали по коммунальным спорам, с его романтически запущенным садом, снова разрешило руководству клиники в определенные часы прогуливать там своих клиентов? Стайка каких-то женщин (о, ей достаточно одного взгляда, чтобы признать в них своих подопечных, а отнюдь не кумушек из числа прихожанок) вспорхнула, щебеча, со ступенек отреставрированного собора, прошелестела мимо Кати, и никто (никто!) не узнал в ней грозной и блистательной Екатерины Александровны, вершившей некогда их судьбы!

А Катя как раз узнала одну из них. «Биполярное расстройство личности по смешанному типу», — писала она ей в карту. Очередная дура, которая возомнила о себе лишнее и никак не желала прислушаться к голосу рассудка. Или хотя бы к голосу супруга, который все не оставлял ее своими заботами вместо того, чтобы давно плюнуть на нее и... Нет, плевала на него она — зубной пастой — и гостила здесь, в клинике, каждый год по два месяца. Железно.

Женщины прошли, оживленно обсуждая какого-то врача, имя которого Кате ничего не говорило, и нового настоятеля подворья, завернули за угол, а Катя, подумав, наоборот, вошла в церковь. Как же она изменилась! Ремонт был, похоже, полностью закончен, храм божий сиял, играя красками, солнцем и светом. Катя бродила по нему, как по картинной галерее, задрав голову.

Неужели правда, все они забыли и Катю, и ее сына, и даже лежавшую в отделе кадров ее трудовую книжку — и никому не было до нее ни малейшего дела?! Ни врачам, ни персоналу, ни пациентам?! Как давно все забыли о ней? Через два месяца после «трагедии» (она не воспринимала это слово в силу своей профессии, оно было для нее пустым звуком, даже теперь)? Через шесть?

Катя вышла из церкви в то время, когда зазвонили к вечерне. Вероятно, пять часов. Точно! Из ворот клиники выплыла бухгалтерша, проработавшая здесь не меньше Катиного, ее рабочий день заканчивался в пять, — и вдруг увидела ее, Катю! Увидела и узнала, потому что слишком уж пристально, по-особенному, она вцепилась взглядом в Катю, а потом, кажется, ахнула и даже шагнула в ее сторону, как будто желала получше взглянуть в ее лицо... Катя метнулась от ее жадных глаз, аханий и вопросов назад на широкую набережную, рванула вперед, обогнала каких-то туристов, а когда обернулась, конечно, никакой бухгалтерши не было. Никто не думал ее преследовать. А может, Катя обозналась? Померещилось со страху?

Всем было все равно. Для всех ее история была окончена два года назад и сдана в архив.

Сдана в архив?

Нет-нет, постойте! Подождите!

Ей же проходу не давали в этой клинике! Одних только «просителей» сколько поджидало ее каждый день на улице перед входом, в вестибюле нижнего этажа, в коридорах, в курилках на лестницах, в галерее-перекрытии второго этажа на пути к ее кабинету и, наконец, на площадке возле самого кабинета! Они просили убрать «ту жуткую таблетку, которая все портит», кланчили дополнительные два сеанса массажа, разрешения съездить домой, перебраться в другую палату. Пациенты, выписанные домой, молили о консультации, выпрашивали рецепт, как будто для этого не существовало врачей по месту жительства! Но больше всего «просителей» было из числа родственников: они уговаривали ее повлиять на положительное решение отборочной комиссии, взывали о помощи при переводе сюда из «настоящей» психушки, в которой творится незнамо что, умоляли о визите в частном порядке, «просто поговорить» с дочерью или сыном, у которых проблемы... Да мало ли о чем они просили?! «Екатерина Александровна!» — эти два слова, произносимые различными голосами и на разные лады, подкарауливали ее всегда и всюду. Они и во сне ей слышались. Больные подходили к ней даже в городе! В кофейне на Невском, где она сидела за столиком с подружкой, или в Эрмитаже, где она гуляла с детьми. Один раз к ней умудрились подкатить даже на рок-концерте, где впотьмах, под градусом и в оглушительных децибелах вообще было ничего не разобрать... Но в туалете! Сообразительный парень — он подкараулил ее у дамской комнаты клуба!.. А еще они ей звонили! Всякими правдами и неправдами добывали ее телефон — и звонили! Это было хуже всего, потому что по телефону их речи, торопливые, заискивающие, путанные, порой просто бесили.

Она же была лучшим врачом в этой клинике! Она была богиней этого маленького сообщества на двести человек больных и тридцать персонала. У нее все получалось. Она шла на своих шпильках по коридору в развевающемся халате, расстегнутом на все пуговицы (так рекомендовали психологи в работе с душевнобольными), и все буквально сворачивали шею ей вслед. Неважно: мужчины, женщины, пациенты, родственники, гости.

Она была чаровница, когда сажала больного напротив себя, их разделял только стол (она никогда не пользовалась историями болезней, все бумаги писались ею дома или на суточных дежурствах), и, не спуская с него своих зеленых колдовских глаз, обведенных слоем густых прямых, словно стрелы, черных ресниц, с легкостью, блистательно, всего в несколько ходов, добывалась того, чтобы пациент сам докопался до сути своей проблемы и сам (ну ладно, пусть не сам, пусть вместе с нею) выбрался из лабиринта своего недуга на свободу.

Она была благодетельница, когда состряпывала кому-то освобождение от армии и не брала за это денег, если знала, что платить нечем. Или когда открывала больничный какой-нибудь истерзанной болезнями тетке с копеечной зарплатой, чтобы та смогла передохнуть, отдышаться.

Она была спасительница, когда вдумчиво и грамотно подбирала схему лечения мамаше, чей ребенок погиб под колесами машины, и вызывала ее к себе в кабинет каждый божий день. Через месяц такая мамаша могла есть, через два — говорить, через три — выходить на улицу. Через полгода она уходила из больницы. А через полтора являлась в гости в отделение к Екатерине Александровне — предъявить ей вновь родившегося у нее младенца и, конечно же, плача, поблагодарить «за все».

Она была истиной в последней инстанции, когда давала замученной матерью девке путевку в жизнь, подарив дурнушке парочку модных журналов и отдав свою косметичку с некоторым содержимым. Стареющая девушка преображалась и иногда (иногда!) ей удавалось вырваться из оков материнской любви. Девушка делала себе стрижку, после которой ее не узнавала родная мама (и, если совсем везло, не пускала на порог), покупала себе новое платье, находила новую работу, создавала семью (или не создавала) — но больше сюда не попадалась.

Она была музой художника, который переживал в стенах этой клиники глубокий творческий и личностный кризис. Платоническая любовь во все времена горы передвигала. Художник выкарабкивался из ямы, а на холсте появлялась мадонна с Катиным ликом. Правда, после выписки из больницы художник возвращаться в лоно семьи не спешил, предпочитая семейному уюту жизнь взаперти в своей мастерской. Катя на какой-то период всерьез увлекалась живописью и дома только ночевала. Но это была уже совсем другая любовь.

Она была любимой женщиной писателя, своего вчерашнего пациента — и становилась прототипом главной героини его романа, а сам писатель — рабом своей неожиданной и всепоглощающей страсти.

Она была стерва и гадина, когда весело потирала руки и спрашивала молодую женщину, оказавшуюся у нее в отделении впервые: «Боятесь, что муж бросит?» А старые девы, великовозрастные маменькины дочки, нервические дамы за пятьдесят с уже полетевшей соматикой?! Те, что продолжали носиться со своими маменьками, которым в свою очередь было под восемьдесят, лечили их и себя уже практически от одних и тех же болезней и ходили с ними всюду за ручку — Катя презирала их от души! А ведь они, эти неудачницы, которые потом оставались без маменек, одни-одинешеньки на свете, и уже в связи с этим снова и снова проходили лечение у Кати, проживали остаток жизни под грузом случайно оброненных Екатериной Александровной пары-тройки небрежных, но уничтожающих слов. И, кто знает, умирали в конце концов, раздавленные ими.

Она была мерзавка, когда, качая головой, говорила одинокой женщине под сорок, испробовавшей все способы зачать и свихнувшейся на почве бесплодия: «Дети должны рождаться от любви». У несчастной расширялись зрачки, и она покидала кабинет только с одним желанием — повеситься.

Она была преступница, когда объявляла поэту или артисту, или музыканту, что «их отношения исчерпали себя и не приносят ей ничего нового». И дальше поэт, артист, музыкант, лечились уже от Кати — в другой клинике, посерьезнее. А Катя передавала подружкам письма и стихи, которые они присылали ей, все еще на что-то надеясь, чего-то ожидая. «Творчество душевнобольных», — произносила она с непередаваемой интонацией, в которой насмешка вполне, впрочем, по-доброму сочеталась с приличной дозой умиления, словно Катя целых полгода проработала в цирке, и только к концу этого срока ее подопечные все же справились с программой и сумели сорвать аплодисменты...

У нее было много ролей в этом театре, и все — главные.

Но не только эти исполненные с блеском заглавные роли являлись сутью ее жизни. Здесь, в стенах клиники, она по-настоящему освоила свою профессию — изучила людей изнутри. Постепенно узнала все их тайны, пороки, страсти, высокие и низменные, самые заветные желания, то, чем они живут изо дня в день. Узнала все об отношениях между людьми — вот что ее сделало сильной, приподняло над миром и позволило благодушно, одними глазами, посмеиваться над горсточками людей, расположившихся в кабинетах на планерке, смеющихся и подшучивающих друг над другом в курилке, сидящих за столиками ресторана на набережной. Она не только по праву должности занимала позицию сильного, но и по праву мудрого! И всегда знала, как поступит тот или иной человек, если на него воздействовать так-то и так-то — пациенты не в счет, на них она только училась, речь шла о полноценных противниках. Она наперед знала их поступки, слова и даже мысли! И это приносило ей несказанную радость, дарило ощущение божества, царящего внутри нее. Богини мудрости. Многие мужчины долгие годы и впрямь считали ее богиней, имея в виду, правда, богиню любви, — но она была богиней мудрости, о чем мало кто подозревал, и напрасно.

И театр этот был ее! И все люди в нем — ее. Особенно когда заведующая разъезжала по заграницам, а вторая врач сидела дома со своим вечно болеющим

ребенком. Ее Старшая, две процедурных (больные звали их за глаза Толстая и Тонкая — обе Анны Петровны) с графиком два через два, сестра-хозяйка с необыкновенно прямой спиной, словно ее только что треснули по этой спине палкой — выпученные неживые глаза на рыбьем лице усиливали эту иллюзию, — четыре постовые, четыре палатные — сутки через трое. Санитарок вот у нее не было: часы санитарок сестры делили между собой по своему усмотрению.

Буфетчица. Ее буфетчица. О, у нее было изумительное имя: Руфина Георгиевна. Катя сама принимала ее на работу лет этак ...дцать назад. Необъятных размеров, со слоновьими ногами, однако на самом деледвигающаяся точно, плавно и даже как-то танцевально, с халой под косынкой, с зычным в меру контральто, в мгновение ока умеющая переключать его на нежнейшие мелодичные интонации — когда видела начальницу. «Катериночка Алексанна», — звала она Катю нараспев, оставляя для нее все самое лучшее: и горячее, и холодное — с полной сервировкой в буфетной на столике для врачей, а когда Катя должна была есть без нее — всегда накрывала тарелку салфеткой ручной работы. Если она была тут же и Кате приходило на ум за чем-то подойти к раковине с посудой, Руфина Георгиевна со сдержанным достоинством хозяйки теснила ее в сторону, не позволяя замочить рук. Кстати, для рук она ловко подсовывала Кате влажное полотенце, словно студент-медик — профессору-светилу.

До больницы Руфина Георгиевна трудилась домработницей в частном доме, пока его хозяевам не пришла в голову счастливая мысль отправиться по контракту в глубоко провинциальный французский городок Мужен.

— Я потому только и запомнила его название: мужи жена — Мужен, — говорила она.

Хозяева звали Руфину Георгиевну с собой, но она не поехала, объяснив отказ невозможностью оставить родину. Руфина Георгиевна оказалась не в состоянии похоронить себя заживо в каком-то завалищем городишке, которого и на карте-то не сыскать, в котором и поговорить-то не с кем.

Она не принадлежала среде, что называется, тётшиного советского сервиса, но в систему вписалась замечательно.

— Фамилия! — грозно, требовательно, колоритно вопрошала она одиноко мыкавшегося у окошка на раздаче больного, прошляпившего обед.

— Моя? — машинально и испуганно бормотал несчастный, съезживаясь на глазах, не понимая, какое значение в данном случае имеет его фамилия.

— Свою я знаю! — резала Руфина Георгиевна, и у того отвисала челюсть.

Однако не воровала.

Катя гордилась, что из ее отделения никто ничего не выносит сумками, вообще не выносит — ну разве что пару рецептов, пустых, за Катиной подписью и с круглой личной печатью. Или вату, которой снабжали в изобилии, или антигриппин... Сама Катя несла только писчую бумагу, немного, чтобы было на чем написать детям объяснительную в школу.

И только один раз ей не повезло за двадцать лет пребывания здесь: не удалось подсадить старенькую заведующую, которая собиралась на пенсию еще с тех самых пор, когда Катя впервые переступила порог отделения. Катя честно исполняла все прихоти старухи, одна держала круговую оборону, постоянно замещая ее и исправляя ее ошибки — и вдруг, когда старуху все-таки сразил удар и ее-таки вынесли ногами вперед, на это вожаденное место назначили не ее, уже лет десять исполняющую обязанности заведующей, а человека пришлого, чужака.

С другой стороны, что значит «не повезло»? Этот новый заведующий, не совсем врач, скорее, энергичный делец от медицины, постоянно таскался со своими степенями и сертификатами по комиссиям, по министерствам, по международным конференциям, писал статьи и книги одну за другой — и не только не мешал Кате работать, но и щедро платил ей. Гораздо, гораздо больше, чем она получала раньше.

— Люблю вас, Катерина Александровна, так, что жена скоро из дому выгонит, —

говорил он ей с веселой улыбкой, целовал ей пальчики и вручал в очередной раз букет красных роз с конвертом внутри.

Они действительно сработались. Ни разу он ее ни в чем не подвел.

Да что там! Они даже сдружились. В сочельник одевались Дедом Морозом и Снегурочкой и вместе скакали по этажам, одаривая каждого встречного шуткой, шоколадкой и приглашением на дискотеку в первое отделение. Он потом уезжал к семье, а Катя продолжала лихо отплясывать в кругу персонала и больных.

5

Еще в школе подружки обижались на Катю, что все свободное от учебы время она тратила на «парней». Тогда еще никто из них не отдавал себе отчета в том, что Катя от природы обладала недюжинной способностью нравиться. Поначалу этого и сама Катя не осознавала. Просто ее, озорную, смелую, непоседливую, неудержимо влекло на гаражи, пустыри, промзоны с заросшими рельсами и всякие «заброшки», а там ее товарищами могли быть только мальчишки. С ними она лазала по деревьям, играла в войнушку в болотистом березняке возле станции, стреляла из брызгалок (пластиковая бутылка из-под болгарского шампуня с проделанной дыркой в крышке; вода наливалась здесь же, в болоте, или на квартирах участников битвы), громче всех вопила «За родину, мужики!» Могла осенью, пробегая мимо водоема, в котором и летом-то запрещено купаться, на спор с товарищами залезть в воду да еще и вовлечь за собой остальных «на другой берег», в результате чего на завтра вся компания прогуливала школу на законном основании: все заболели.

Набегавшись по гаражам с брызгалками (Убит? — Нее. — Убит!! — Саня мухлюет, ребя! — Не задел! — Ранен! Я видел!), можно было просочиться в булочную на углу вместе с соседским Лёхой, с заинтересованным видом поизучать витрину, а потом, уловив, как им казалось, подходящий момент, схватить четвертинку черного с прилавка — и броситься наутек. Ни разу не поймали, хотя та бабища, продавщица, уже с порога смотрела на них как на врагов народа... А иногда, будто специально, брезговала смотреть — и они удирали, пряча добычу под рубахой.

А еще они с Петькой, одноклассником, «угнали» трактор — водитель оставил кабину открытой и отбежал куда-то, они залезли в нее и... Еще б чуть-чуть — и удалось прокатиться! За этот подвиг оба засветились в детской комнате милиции. Впрочем, без последствий.

Последствия были дома. Оставшись наконец без свидетелей, мать, у которой давно уже чесались руки, в сердцах замахнулась на Катю французской булкой; Катя, зараза этакая, увернулась — мать швырнула элитную булку в стену и весь вечер проплакала на кухне, в голос. Отец сидел за столом в гостиной с газетой «Известия» в руках, уткнувшись в колонку, и долго не прерывал молчания, а когда заговорил, как всегда не повышая голоса, — то просто запретил Кате гулять неделю: из школы домой, из дома — в школу. А потом еще месяца два родители требовали являться ровно в девять, словно Катя какая-то малолетка. С матерью можно было препираться сколько угодно, выторговывая свое, но отец, стоило ему только один раз выразительно взглянуть на часы, — желания отца выполнялись беспрекословно.

А когда им сравнялось четырнадцать, Катя вдруг заметила, что ноги у нее красивее, чем у остальных девчонок, и фигура под школьным фартуком очень ладная, и мордашка не просто хорошенькая, а очаровательная — взрослые так говорили. И она догадалась, почему так сильно не нравится девочкам — оттого что нравится мальчишкам! Это открытие побудило ее сделать несколько основополагающих для жизни выводов. И только потом, много позже, до нее дошло, что девочек, как и мальчиков, тоже можно использовать, и так же успешно: ведь все-таки очень важно, выражаясь языком изостудии, которую она посещала по желанию отца, каким композиционным пятном

ты являешься на фоне своих подруг, причем фон этот, кстати, как и пятно, всегда можно корректировать. С выгодой для себя, конечно.

Но это так, глупости.

На самом деле Катя еще в средней школе решила, что будет врачом. Тогда впервые ее отцу поставили неутешительный диагноз, и Катя вознамерилась стать знаменитым кардиологом.

И поступила-таки в медицинский. Однако в те годы она изучала главным образом физиологию — с мальчиками в общагах Первого меда, Лесопилки, Политеха. Постоянно где-то тусила, бегала на рок-концерты, в кино. С грехом пополам доучилась до пятого курса и вдруг обнаружила, что в интернатуру на кардиологию ее не берут: троечникам и прогульщикам предлагали в тот год акушерскую гинекологию и психиатрию. Ковыряться в женском лоне было противно ее природе, а вот рыться в чужих мозгах, но только шито-крыто, не как нейрохирурги, без кровавых подробностей... Опять же, и ошибки недоказуемы...

На практику ее распределили в стройотряд где-то неподалеку от Усолья-Сибирского. Там она и встретила Василина — импульсивного, пылкого, рискованного, как она сама. Они даже поженились не думая, расписались в первую же субботу по возвращении в цивилизацию, в Ленинград. Если бы их заставили ждать месяц, как всех, если бы не василинская наглость, напористость, обаяние, произведшие впечатление на теток из ЗАГСа (и на Катю), совершенно неочевидно, что свадьба бы эта состоялась.

Только уже через полгода Василин, поселившийся у Кати и ее родителей, стал тяготить Катю. Нельзя сказать, что он разонравился ей, что она разочаровалась или он делал что-то не так, только она поняла, что это большая разница — огненный секс в сибирской избушке с парнем, в которого она влюблена, и присутствие его в ее жизни двадцать четыре часа в сутки — да еще в качестве равноправного члена семьи.

А еще через полгода Катя влюбилась. Как оказалось, по-настоящему. Он был уже опытным доктором в их скворешнике, а она — дурочкой, только-только из института, не способной связать двух слов в телефонограмме, а ее вынуждали надиктовывать их по две штуки, при всех, в ординаторской. Мучительно краснея, она пыталась произнести нужные слова в нужном порядке, они путались у нее в голове, исчезали, она лихорадочно подыскивала другие, и все они никуда не годились, в руках дрожала история болезни, которая совсем не помогала ей, потому что оказывалась «не та!». Мужики, много-много мужиков (всего пятеро на самом деле), устроившиеся вокруг длинного стола, почти после каждой Катиной фразы многозначительно хмыкали, но смотрели каждый в свои бумаги, а стоящая напротив Кати заведующая — безжалостно, через приспущенные очки, прямо на Катю... Наконец Пал Палыч, не выдержав, с другого конца стола начинал громким шепотом подсказывать Кате — но он диктовал не то, не то! Мужики смеялись, заведующая, бросив в сердцах на стол пачку историй, которую до этого прижимала к груди, кричала: «Вы что тут мне устраиваете на режимном объекте?! Вечерняя школа, весна на Заречной улице?!» Телефонограмма была сорвана. Катя, пунцовая, чуть не плакала.

Это потом Катя всему научилась. У него, у Арбенина.

Роман у них вышел головокружительный.

Пьяный Василин плакал в рюмочной, уткнувшись в чье-то плечо:

— Всего месяц я был на сборах, понимаешь?! Месяц! И эта сука подложила мне... — Тут Василин опрокидывал внутрь то, что оставалось в стакане, заказывал еще и, не дождавшись, засыпал, но и у выключенного у него сквозь ресницы текли слезы...

Сын, названный по моде того времени Димоном, в силу известного закона природы в отношении незаконнорожденных детей, с первых же недель ясно выдавал свое происхождение.

Роман с Арбениным оказался не только головокружительным, но и

продолжительным, что до некоторой степени свидетельствовало о серьезности чувства Арбенина (сама Катя думала только о нем и мучилась почти физически, когда его не было рядом) и о накале страстей в целом и в частности.

Про второго сына, рожденного с интервалом в три года, Катя, «пофигистка этакая», по выражению подруг, независимо пожимая плечами, говорила:

— А я не знаю, от кого у меня Алёшка.

Это была неправда. Алексей являл собой копию Василина, во всяком случае — внешне. И имя свое получил от Василина в честь Человека Божьего. Просто уж очень Кате хотелось выйти за Арбенина. Но Арбенин оказался принципиальным товарищем. Какие только запрещенные вещи ни использовала Катя, как ни клялся Арбенин в любви к ней, какие бы глупости ни вытворял, какие бы обещания ни давал — все равно он каждый вечер, если только они с Катей не дежурили вместе, возвращался, словно лошадь, в стойло.

А потом, сам собой, наступил головокружительный разрыв.

Катя месяцами выгадывала, как ей лучше поступить, но так ничего и не придумала. Ладно второй ребенок, хотя обидно до слез, до истерики, оттого что Арбенин вообще никак не соотнес его с собой, он его не видел и действительно имел основания сомневаться в своем отцовстве, но Димон... Димону шел пятый год — и он ни разу, ни единого разу, не спросил о нем. В ответ на Катины рассказы про первенца, осваивавшего первые ругательства в садике, Арбенин молчал или, того хуже, принимался говорить про *своего* сына. А там обязательно доходило и до *Наташки*. Какой такой Наташки?! Кто это?! Какое отношение она имела к тому, что было у него с Катей?! Катя сменила тактику. Говорила о младенце и обо всем, что связано с ним, а о Димоне, наоборот, ни полслова. Арбенин давал рекомендации относительно маленького, дельные рекомендации — но Димона как будто не было на этой земле.

Ревность, скандалы, выяснения отношений втроем — с его женой, вчетвером — с его женой и Василичиным... Охлаждение временное или напускное — было уже не разобрать... И Катя испугалась. Испугалась, что это всё. Предпоследнее свидание, последнее, потом, при помощи ее слез и изворотливости, последпоследнее... Испугалась так, что прямо на корпоративе порвала с Арбениным и уехала вместе с заведующим девятым отделением. А потом быстро уволилась из больницы, никому ничего не объяснив и оставив Арбенина в недоумении и с обидой в сердце... Впрочем, это решало его проблему под названием «Димон», кажется, навсегда.

В новой клинике, в новом коллективе, среди новых задач и планов, Катя восстала из пепла. И стала тем, чем была последние двадцать лет, — всю свою жизнь.

Что ж. После Арбенина у нее было очень много романов, и среди них довольно яркие. Но только всегда Катю в них любили больше, чем сама Катя. В таком раскладе она видела весьма большое преимущество. Используя его, она оттачивала мастерство матерой хищницы. Обольстить мужчину уже не составляло труда — это и не труд был, а удовольствие: это была ее стихия. Вот пробудить всепоглощающую страсть, которая заставила бы его забыть обо всем, пойти за ней на край света, — совершить то, что оказалось невозможным для Арбенина, — вот на какую вершину она карабкалась в своем мастерстве. И у нее получалось. Почему? Вероятно потому, что, выстраивая стратегию победы, она, сама не мучимая страстью, будучи в ясном рассудке, ни разу нигде не ошибалась, методично и последовательно шла к своей цели, и рано или поздно жертва вязла в ее сетях с концами. Мужчина отдавался ей полностью, без остатка, ни долга перед семьей, ни совести для него уже не существовало. Ведь Катя была, по словам Василина, «потрясающая давалка», для нее не существовало ни критических дней, ни беременностей, ни каких-либо запретных мест — и впрямь необыкновенная женщина. Она дарила мужчинам настолько острые и незабываемые ощущения, что их тянуло к ней снова и снова. Они боготворили ее.

— От хорошей жены муж не уходит, — с милой, доброжелательной улыбкой

повторяла она приятельницам, слушавшим про ее похождения с открытым ртом, и этой спокойной улыбкой, может быть, чуть печальной, она как бы подтверждала правомерность своих слов — истину, которую не она придумала, которую открыли мудрые люди задолго до нее и внесли в историю жизни как данность.

После того как Катя морально и психически опустошала своего противника (а иначе она к мужчинам и не относилась), она давала ему отставку. Но как изысканно! Она плакала и говорила в пространство, забыв про зажженную сигарету в пальцах (дым причудливыми кольцами закручивался в потолок), что не может с двумя детьми уйти от мужа, и просила, нет, умоляла остаться друзьями... Или так: она не способна дать то, что он хочет, но потерять его — выше ее сил... Так что все они, эти мужчины, так или иначе продолжали присутствовать в ее жизни. Возникали из ее памяти, вытаскивались на свет божий за какой-нибудь надобностью по первому же звонку, а потом снова исчезали на годы.

Василин же, черт его подери, существовал каждый божий день. Он старался не остаться перед Катей в долгу. Глубокой ночью Катя возвращалась домой после бурной личной жизни (дети на даче) — и заставляла Василина в их супружеской постели с другой. Или он поджидал ее с бутылкой на кухне — и с рассказом, как провел время с Катиной подругой, в подробностях. Если Катя слушать не желала, поколачивал ее.

Расстаться с Василиным Катя не решалась. Статуса разведенной женщины ей не хотелось. Чья-то жена всегда слаще, чем голодная отчаявшаяся разведенка, готовая повиснуть на первом встречном, кто на нее взглянет.

— Сколько лет живем, столько лет разводимся, — говорила она «в минуту откровенности» новым друзьям, которые знали Василина лишь с ее слов.

Коссович явился последним в ряду Катиных мужчин. На нем она остановилась и, так получилось, никем его уже не сменила. И поначалу все развивалось по уже пройденному сто раз сценарию. Коссович оказался довольно опытным бабником — и при этом стойким семьянином, таким же высококлассным специалистом, как она, как Арбенин, и поработить его было трудно. А еще он по-настоящему нравился Кате. Ей иногда случалось задумываться, следовало ли второе из первого или же нет, но ответа она так и не нашла. Просто, наверное, пришла пора влюбиться еще раз.

И все-таки иногда, глядя на Коссовича, Катя удивлялась причудливости своего выбора: Коссович выглядел таким обремененным, таким трусоватым, даже жалким — дома у него была настоящая клиника, как выражалась веселая медсестрица Светка Казарчик, дослужившаяся в конце концов до Старшей. Иногда являлась мысль о том, что он только с ней, с Катей, и становился пылким, героическим, неутомимым любовником, личностью, способной повести за собой других, стать душой компании, заступиться за слабого, сцепиться с кем-нибудь из коллег на планерке и выиграть это сражение, забрав себе чужого ахового больного и поставив его на ноги.

Смешно однажды получилось на рок-концерте. Катя без боязни появлялась с Коссовичем на публике, она любила вести себя как свободная женщина. Коссович же свободным мужчиной не чувствовал себя никогда. В толкотне на танцполе мелькнули его знакомые, и прямо на глазах Коссович, и без того невысокий, как будто уменьшился в росте, скользнул к черной стенке — и словно вжался в нее. Катя нехорошо усмехнулась про себя — от души смеясь на публике, уже в процессе многократного пересказывания того эпизода.

Но это только добавило жару в погоне за ним. В то лето ей исполнилось тридцать семь, и она решилась на еще одного ребенка.

Однако, даже родив Полю, Катя своей цели не достигла. Коссович, ничтоже сумняшеся, жил на две семьи. Мол, и тут негодяй, и там. И тут должен — и там.

Жили они так, жили, и вот однажды наступил такой день, когда Катя перестала вытягивать Коссовича из семьи...

Может быть, она просто научилась его любить?

6

Когда Кате удалось обуздать свою самость, что-то изменилось в глубине ее, изменилось к лучшему. Она вдруг, безо всяких причин, вышла из состояния холодной войны, сбросила с себя ее изматывающую, непосильную ношу, отказалась от каких бы то ни было претензий, плюнула на завоеванные ранее позиции — и вдруг ощутила, как по ее внутренностям будто бальзам живительный растекся: ей правда было очень хорошо с этим человеком, как-то по-особенному хорошо. Взрослые сыновья, подрастающая дочь, еще не старая мать, поселившаяся с ними вместо Василина и готовящая на них на всех, — это была жизнь, ничем не обремененная, нужная, интересная, любимая, — как и работа, — и ведь сколько радости она несла в себе!

Катя с Коссовичем бродили по выставочным залам, заваливались в бани, открывали для себя новые рестораны, ходили на фестивали классической музыки, ездили в Новгород, в Пушгоры.

Они катили на его машине вроде бы за грибами, но дорога их так захватывала, новые повороты, а за ними поля, леса, фермы, хутора, реки, церквушки, — что они уже планировали поездку по Европе на автомобиле.

Под Краковом, по причине того, что их бронь в гостинице таинственным образом испарилась — не иначе как по мановению палочки злого вэб-волшебника, не отрегулировавшего систему онлайн-бронирования, они заночевали в лесу в машине, и за это их арестовала местная полиция. Словно хулиганы, они провели остаток ночи в участке, а следующий день, на пальцах изъясняясь по-польски, потому что никакого другого языка краковская полиция решительно не понимала, — следующий день потратили на то, чтобы уплатить штраф, и по ошибке заплатили его дважды — к вящему удовольствию панов. Приключения поджидали их и дальше: спесивые краковские пейзажи не хотели показывать дорогу, но Катя и Коссович совсем на них не сердились. Смеялись и перемигивались, как студенты, и ехали себе дальше.

Катя отказалась от борьбы за Коссовича, но вот Наташа, жена Коссовича... Механизм, запущенный Катей когда-то, оказался из тех, что не останавливается. И сработал он, когда не ждали.

Катя очень легко пережила Наташино самоубийство. У нее никогда не возникало жалости к слабым существам, а уж суицид вообще расценивался как непростительная глупость. (Пьяный Василин на кухне в половине первого ночи терзал ее по третьему разу, заикаясь: «А если я п-п-покончу с с-собой?») Она отвечала с легкостью, без запинки, ведь она была хорошим специалистом: «Я сумею вытеснить это»). Только досада. Только ненависть — ведь теперь судьба ее отношений с Коссовичем висела на волоске.

Коссович тогда не появлялся у Кати целых семнадцать дней. Он даже Поле не звонил. Он просто выпал из их жизни. Катя, стиснув зубы, считала часы и крепилась, никак не проявляя себя: эта внезапная вынужденная схватка была очень важна, но в то же время Катя понимала, что эта борьба не на жизнь, а на смерть — последняя.

В те дни Катя почти не выходила с работы, набрав себе суточных дежурств. Даже в душ ходила в больнице. Злилась. Ведь она отказалась от борьбы, чтобы не потерять его — и вот что из этого вышло... Она злилась, потому что по всем расчетам на этот раз *должна была* проиграть... Но снова почему-то одержала победу: Коссович не выдержал и позвонил. А потом и приехал. И Катя утешила его. Мастерски.

И жизнь, их жизнь вдвоем, могла бы встать на совсем новые рельсы, если бы не...

Похоронив жену, Коссович только и делал, что занимался дочерью.

Селёдка отказывалась от пищи, не ходила в школу, не встречалась с подругами, не реагировала на новые шмотки и девайсы, валялась целыми днями на родительской

тахте в комнате с зашторенными окнами и старалась не отпускать от себя отца ни на минуту. Одному только богу известно, сколько всего она ему кричала. Катя представляла себе, как Коссович сидел возле нее на стуле и слушал ее, опустив глаза, — и соображал, что из всего этого теперь знают соседи.

Одному богу было известно, сколько раз Коссович ходил в дирекцию школы, как подолгу униженно просил, объяснял, дарил, пускал в ход все свои связи. Сколько денег он извел на домашних учителей...

Через полгода Селёдка вернулась в класс.

7

Некоторое время спустя после своей болезни (надо же, с какого-то момента Катя стала называть вещи своими именами) она заметила, что все время чего-то ждет. Какого-то события, которое никак почему-то не наступает. Время шло, месяц за месяцем, неделя за неделей, день за днем — одно и то же: приготовленный Коссовичем завтрак, кофе с молоком и тосты, «свободное время» в виде валяния в постели, приготовление обеда из полуфабрикатов, звонки Коссовича по часам («Я звоню тебе просто так»), поздний ужин вдвоем, вечерняя гигиена, укладывание в постель любовников, которые давно уже ничего не имели по отношению друг к другу, кроме долга... Но ведь это же еще не все? Должно было что-то еще произойти — так оставаться больше не могло! (Романная фраза, дурацкая, но ужасно прилипчивая.) Могло. В этой жизни и, самое главное, в Катиной жизни, как оказалось, могло случиться все что угодно... Только ничего из того, что приходило на ум, не имело смысла, а смысл в Катиной жизни был во все времена, даже когда казалось, что его нет.

Ненаступление этого события, которое должно было схватить ее за плечи, встряхнуть с такой силой, чтобы слова и мысли перетасовались в ее одеревеневшем мозгу, потом наверняка швырнуть их оземь (вместе с Катей), потому что они никуда не годились и Катя сама тяготилась ими, — но события, которое бы все расставило по своим местам, — превращало Катину существование и жизнь вокруг в бессмыслицу.

Она с растущей тревогой ждала, что этим событием станет приезд Селёдки из Лондона. Селёдки, ожидающей, что Катя вернет долг — покончит с собой. Желательно, на глазах у Селёдки. И наверняка со съемкой на камеру, чтобы швырнуть потом эту бомбу в Сеть.

И только совсем недавно Катю осенило, что «события» не будет, что ждать от жизни больше нечего, кроме... смерти. Оказывается, ни за чем ей не нужно было время, которое она хотела выиграть, и потому вела игру «в большую»: нечего было вспоминать, нечего постигать, нечего совершать! Она ждала ее, смерти, по остаточной слабости делая вид перед кем-то невидимым, что надо что-то додумать, кому-то что-то объяснить, кому-то что-то добавить.

Что и кому она может дать? Сын вырос, она ему не нужна. Дочь ее ненавидит, потому что, когда она была ей необходима, Катя занималась собой и Коссовичем.

На что же она могла потратить время, отпущенное ей?

А ведь она еще могла быть полезной. Потрудиться по специальности. Сколько душ из числа ее пациентов были искусственно сделаны хрониками?! А сколько их, настоящих клиентов, бродило по улицам, рассиживало в учреждениях, вершило чьи-то судьбы? Она же профессионал, она все это видела тысячу раз. Мужчин с ненормальным блеском в глазах, подсматривающих за малолетками. Ребят из хирургии, делающих надрез чуточку больше, чем надо, намеренно задевая почку, — и все это совершенно безнаказанно...

Но пусть даже не работа. Селёдка! Можно объяснить ей, что никакого умысла не было. Необходимо объяснить.

Катя хорошо, очень хорошо знала, как все тогда вышло.

Много лет Наташа сидела на транквилизаторах, нейролептиках и антидепрессантах. Как давно? С тех самых пор, когда Коссович женился на ней, тоненькой, застенчивой, черноглазой девочке, пугливой, как птичка. А женился Коссович по сильной любви и даже страсти, которая полыхала в нем катастрофически оттого, что возлюбленная его оказалась закомплексованной девственницей и на все его настойчивые попытки овладеть красавицей, выплеснуть часть сжигающего его пламени, отвечала отказом. Однако дождавшись свадьбы, Коссович не смог преуспеть в правах мужа еще несколько месяцев. Вне стен спальни новобрачная имела трогательно-решительное намерение исполнить свой супружеский долг, оказавшись же с мужем в четырех стенах наедине, она плакала, царапалась, и в самый ответственный миг Коссович сдавал назад. Жалел. Все-таки он ее очень любил. Собственно, именно в те дни он и узнал, что любит... Убедившись, что жена его больна, — словно хирург, провел необходимую для супружеской жизни операцию. Наркозом послужили таблетки. На этих колесах любви Коссович и въехал рай.

В дальнейшем все свои проблемы с женой Коссович решал с помощью таблеток. Он не был негодяем, и никто из коллег не назвал бы его плохим специалистом. Значит, без лекарств было не обойтись. О маниакально-депрессивном психозе в семье Наташи ничего известно не было. Что ж, такие семейные тайны тщательно скрывались во все времена...

В те последние недели Коссович перевел Наташу на антидепрессант новейшего поколения — одна таблетка в сутки. И Наташа чувствовала себя преотлично. Накануне рокового дня она, перебирая вещи в кладовке, наткнулась на свою зеркалку, загорелась, настроила ее и решила воспользоваться немедленно. Зашла за Настей в гимназию. Смеющаяся, та выпорхнула с девочками. Все вместе они высыпали в парк. Стояло бабье лето — не слишком теплое, но солнце сверкало озорно и весело, золотило все вокруг. Девчонки дурачились, кривлялись, подбрасывали охапки листьев в небо, картинно падали, как подстреленные, на разноцветный ковер. Наташа впервые подумала о том, какие же они красивые в этой новой школьной форме. Начало учебного года: ни юбки, ни жакеты из черного добротного сукна с крупными модными пуговицами в два ряда им еще не приелись, и все комплекты были в безукоризненном состоянии. Кроме того, Наташу всегда завораживало, когда людям нравилось сниматься, а не быть снятыми. Фотографировались, построившись по росту и вытянувшись во фронт — Селёдка самая последняя из четверых. В коротких пальто мужского кроя, без пальто, с букетом из золотых листьев, кокетливо выставив одну ножку на носок, а рукой как бы невзначай чуть отодвинув юбку вверх, и у кого-то оказались видны кружева чулок. И Настя, конечно, мартышка, повторяла за всеми... Раньше было неясно, станет она красавицей или все-таки нет. Слишком узкая, слишком болезненная (безгрудая — злорадно думала Катя). А теперь видно, что уже, пожалуй, красавица. Быстрая, черноглазая, с длиннющими черными волосами... Только вот слишком беспокойная, и огня в глазах слишком. Улыбки слишком, слез слишком. Всего слишком... Наташа шелкала и шелкала затвором в погоне за сменой настроений этих вчерашних детей, за пластикой и красотой, а придя домой, выложила все это брызжащее великолепие в Сеть (она давно там не была, и ее распирало от чувства гордости за дочь). И подписывала, подписывала без усталости: «Моя Селёдка», «Моя Селёдка».

Потом Наташа отправилась по магазинам — захотелось купить Селёдке что-то еще к началу учебного года. И она купила: разные мелочи — ей, себе... Настроение из приподнятого, праздничного, *рабочего*, стремительно шло на убыль, но она даже не

вспомнила про крохотную розовую таблетку. Селёдка уехала к подруге с ночевкой, Коссович якобы возился на даче у матери. Наташа решила не уходить вот так, сразу, из торгового центра, не сдаваться — день-то какой замечательный — сходить, например, в кино. Она там в последний раз была, кажется, с мужем — лет двадцать назад. В кино показывали *жизнь как чудо*, но чем дальше, тем быстрее *ее* собственная жизнь вертелась перед нею бессмысленным калейдоскопом, так что не терпелось остановиться, прервать этот видеоряд. Сойти. Ее затрясло. Она вышла из зала и вызвала такси. Не дождавшись машины, села в трамвай, забыв посмотреть на номер — этот не шел до ее дома. В конце концов добравшись до квартиры, новых таблеток она не нашла, достала старые и приняла сразу две, ведь это была раньше ее суточная доза. Но тут, против ожидания, мозг поглотила тьма, совсем как безлунная ночь — улицу за окном, и вдруг почему-то Наташа всерьез решила, что Селёдке и Коссовичу будет лучше без нее, а для нее лучше... просто не быть, раствориться в ночи, которая теперь была не только за окном, но и в комнате — и внутри нее. Она вытащила какие-то другие таблетки и выпила их все до одной. Она сделала это по наитию. Так поступали старые или больные люди первобытных времен на страницах учебника ее дочери — в последний раз присев к костру в кругу сородичей, они поднимались и шли в лес, чтобы принять смерть от стихии или диких зверей, потому что становились обузой для всех — и для себя тоже...

Но что из этого можно объяснить двадцатилетней девчонке, живущей надеждой на справедливость? С помощью каких волшебных слов Катя могла бы воздействовать на ту наглухо запертую для нее дверь? Да и хотелось ли на самом деле, чтобы ей отворили? Ведь к моменту, когда самолет Селёдки приземлится в Пулково, кажется, девятнадцатого числа, Катя, наверное, выгорит до тла...

В силу житейских обстоятельств Катя заняла место жены Коссовича, по иронии судьбы превратившись в ту самую жену — женщину тяжело больную, которую нельзя тронуть ни единым словом, ни единым жестом, о которой нужно постоянно заботиться. И которую очень сложно любить. И которая, кстати, не может позволить себе выздороветь — ведь иначе муж покинет ее ради другой. Закон жизни свершился.

Для Коссовича смена партнера ничего не изменила: он по-прежнему возвращался домой, не зная, что его ждет. И боялся. И медлил. Его маршрутный лист с адресами алкоголиков и наркоманов все время увеличивался. Поставив капельницу, он не спешил ехать дальше. Дежурил у постели пациента иногда до поздней ночи.

Загадка не поддавалась разгадке в лабиринте Катиных мыслей. Катя заплатила за самоубийство Наташи ненавистью Селёдки — самого дорогого существа для Коссовича. Предала своего сына. Еще раньше, давно, когда полюбила чужого мужа, чем любого из своих детей. И это была любовь? Любовь?!

На этой земле параллельно с нею блуждали три человека, у которых она была в неоплатном долгу: Поля, Василин и Селёдка. Странно, что вина перед Селёдкой в ее глазах превышала вину перед собственной дочерью. Это было несправедливо и необъяснимо, но это было так.

Коссович виртуозно врал Селёдке, что Катя — так, ничто, просто больная женщина, да, грех, да, любовница (бывшая!), но теперь-то ее нельзя бросить, ее надо спасать. Как маму.

— Как мама, пусть она засунет голову в петлю, — отвечала дочь.

Коссович морщился, словно от зубной боли. Всем было известно, что его жена отравилась таблетками.

Событием, которого так ждала Катя, должны были стать те самые картинки из морга и с похорон — вот что! Недостающие паззлы в изображении ее подлинной жизни (той, о которой никто ничего не знал) — снимки, от которых она отказалась, и теперь их при всем желании не выкрутить, потому что их не было, не существовало в природе

вещей: гроб и то, что не видел никто, кроме, наверное, Василина, — раскроенная голова, незакрывающийся глаз, черные запекшиеся губы. Не было опускания гроба в могилу, песочного холмика, заваленного цветами выше человеческого роста, длиннущего поминального стола с фото в черной раме, десятков, сотен людей, подходивших к ней в порядке живой очереди, чтобы выразить словами невыразимое, — всего того, что она никогда не видела наяву, но много раз проигрывала внутри себя в различных вариациях. А через год — осевший холмик, памятник, не отличающийся от соседних, — и людей совсем никого.

8

Итак, она не явилась на похороны собственного сына.

Тогда ей даже в голову не пришло, что этим поступком она как будто оставила себя навсегда там, в Ирландии, чужой, непонятной, никогда не нравившейся ей стране. Как же она додумалась до такого?! Неужели ее хваленый ум ей изменил? Или у нее попросту не хватило времени сообразить, что к чему? А она-то была уверена, что все рассчитала как надо.

Ну почему, почему она не пошла на похороны собственного ребенка?! Только так она мыслила сохранить себя, остаться прежней, выжить и прожить ту жизнь, которая ей отмерена, не дать развалиться целое на части, чтобы потом не собрать — или мучительно собирать годами и в итоге получить несостыковку. Чтобы не погибнуть. Чтобы оградить себя, наконец, от различного рода конфликтов души и тела, которые обязательно рано или поздно проявят себя — уж ей ли не знать. Это было неправильно, рассуждала она — увидеть свое дитя мертвым, в гробу, увидеть, как чужие люди, по долгу службы, утилизируют разлагающийся биоматериал ее сына.

О, они всю жизнь были занозами в ее жизни: мамыши, у которых ребенок утонул в бассейне, ушел на тхэквондо и не вернулся, наступил на оголенный электропровод, заполз в построенную вместе с ребятами пещеру из песка «что-то подправить» и конструкция рухнула, поехал на соседской машине и водитель не справился с управлением... Сколько раз она просила завотделением не давать ей, матери двоих здоровых мальчуганов (Поля тогда еще не родилась), таких дамочек — брать себе... Слишком уж тяжелая эта работа — мамыши погибших детей. Даже если дома мамашу ждал второй ребенок. Даже если женщина не вышла еще из репродуктивного возраста. Всегда это оборачивалось ходячим кошмаром на все отделение.

И вот теперь ее возили лицом по земле и принуждали вступить в когорту таких мамаш: не спать ночи напролет, выть и кататься по полу, всюду развешивать фотографии, гулять по кладбищу с цветами в руках и с дурацкой расслабленной улыбкой на лице разговаривать вслух. Воцерковиться и начать благодарить за все сами знаете кого. Нет-нет, все это не имело к ней никакого отношения!

Будучи человеком сильным, здоровым и успешным, и даже не без основания считая себя выше других, она никогда *по-настоящему* не верила, что когда-нибудь будет лежать в деревянном ящике на глубине двух метров утрамбованной земли, засыпанная сверху еще тридцатисантиметровым слоем снега, и у людей, вынужденных перетаптываться вокруг этого сугроба, будет только одно-единственное желание: еще чуть-чуть — и скорее в тепло! И тем более — что вместо нее там, на глубине двух метров, может лежать ее ребенок. Сын. Такого уж точно не должно было случиться с ней — ни при каком раскладе! Ее жизнь, избранная, неприкосновенная, лежала как на ладони — простая, ясная, просчитанная на десятки лет вперед!

Конечно, она не любила своего сына. Как не любила никого из своих детей. Она любила себя, вот ту себя — красивую, уверенную в себе стерву, которая просто перестала бы существовать, если бы очутилась там, посреди толпы взбудораженных

трагической новостью, первой в их молодой жизни, студюзов с Алёшкиного факультета, других факультетов, пришедших, чтобы так же впервые поглазеть на *это*. А ее друзья, соседи, знакомые? Они насиловали бы ее своими взглядами, искали на ее лице то, что таилось у нее внутри, — и упивались бы этим. Она, красавица и умница, не могла им этого позволить — изнасиловать себя.

Катя подошла к зеркалу и, кажется, впервые посмотрела на себя за два года, на себя, а не на пробор в волосах, не на зубы, не на трещину в середине нижней губы, которая все никак не заживала... Из зеркала на нее смотрела совершенно незнакомая личность... Напрасно она так шифровалась. Нет, не может быть, чтобы бухгалтерша Тамара Петровна узнала ее...

А еще она не пошла на похороны, потому что Алёшка попросту предал ее, так легко расставшись с жизнью, которую она ему подарила. Он единственный из ее детей был Василин, только Кирилл, тряпка, упивался вусмерть, потом опохмелялся и жил себе дальше в свое удовольствие, а Алёшки не хватило в этой жизни даже на самое малое.

Для нее никогда и ни в какой мере, так считала она, не существовало мещанской морали. Алёшки больше не было — и все. Незачем было идти на шоу под названием «похороны». И потом, было даже модно на Западе — не являться на похороны своих близких. Не провожать в последний путь, если не хочешь. Не отдавать долга! Потому что не было тут никакого долга. Тем более последнего.

М-да, это был поступок.

«Ты сука, сука, сука, сука, сука, сука!» — разряжал в нее обойму Василин, когда еще мог нажимать на клавиши. «Забыл твой номер телефона, взял у Аркадия, чтобы написать тебе, какая ты сука!» А потом приползал, плакал и целовал ей руки. И уверял, что никогда не убьет, потому что ее любил Алёшка...

— Маленькая моя... — говорил он, как говорил ей всегда, всю их совместную жизнь. Снимал очки и брал ее лицо в свои ладони, вглядываясь безоружными глазами... А мог вмазать по этому любимому лицу. Мог завалить на постель и заниматься тем, чтобы делать ей больно. Больно, больно, больно. И Катя крепилась, не кричала. И после он снова шептал: «Маленькая моя». А когда потом видел, как из ее глаз катятся слезы и как это красиво, обзывал ее шлюхой и уходил. Навсегда.

А потом снова эсэмэс: «Ты сволочь. Господи, я даже не знал, до какой степени ты сволочь. Тебе не следовало вообще становиться матерью. Будь ты проклята».

Догадка (разгадка!), внезапная, ослепительная, как вспышка, потрясла ее. Похороны! А ведь это был самый кассовый спектакль ее жизни! И она отказалась от главной роли в этой постановке, возможно, самой яркой и блистательной, какая только могла быть! Добровольно отказалась от своего триумфа!

О, она сыграла бы эту роль так, что обеспечила бы себе бессмертие. Она бы осталась в памяти целого поколения, вон тех, молодых, ничего не понимающих шенков, Алёшкиных товарищей, навечно. Они до конца своих дней не смогли бы изгнать из своей памяти сцену из этой древнегреческой трагедии (не забудьте еще Василина) и рассказывали бы о ней всем подряд, даже своим детям и внукам — про эту неземную смесь жути, красоты и смерти. И еще что-нибудь про два оттенка горя — трагедийного классицистического и подлинного человеческого, первое из которых щекочет ресницы от непонятного, неуместного восторга, а второе не в состоянии отразить на лице ничего, кроме усталости.

Но самое главное, Катины писатели и художники написали бы с нее, с растоптанной музы, новые портреты. Вот там могли бы получиться холсты и тексты, которые останутся в истории, настоящие, без лжи, без прикрас... И редкому зрителю пришлось бы на ум, что растоптанная Катя — тоже игра.

9

Настал день, когда Катю охватила злоба. Охватила не сразу, сначала подкралась, постояла рядом, прежде чем обнаружить себя, — Катя даже не поверила: она привыкла думать, что знакома с этим чувством только понаслышке. Осторожно дотронулась, постаралась попробовать на вкус, на цвет. Но это была она. Настоящая первосортная ненависть.

Она поняла: Алексей, Человек Божий, заманил ее в ловушку своей дурацкой гибелью и похоронами, потому что, забаррикадовавшись в чужой квартире, она вычеркнула себя из той блестящей, такой необходимой ей жизни, отказалась от всего, что было завоевано — все отдала без боя, без возражений. И стала никем и ничем. Жизнь кончилась — поэтому она ждет смерти. Почему кончилась? Из-за кого? Из-за Алёшки? Но почему?! Она уже призналась, что не любила его так, как следовало. С той минуты, когда она заперла себя в четырех стенах, разве она думала о нем? Нет, о себе. И так обмануться! Она погубила себя, не заметив этого...

Как странно...

Как странно, или ей только показалось, но ее стало немного тянуть к Василину, этому жалкому пропойце, давно утратившему человеческий облик... Только Василин видел Алёшку мертвым. Только Василин помнил Катю девчонкой, той, что впервые надела белый халат, прежде чем подойти к нему, к своему первому пациенту, там, в стройотряде под Усольем-Сибирским. И в голове у нее тогда не было ничего другого, кроме танцев в пятницу в местном клубе и юбки-восьмиклинки, которую необходимо выпросить у подружки Таньки. Только он, Василин, видел ее горящие глаза, с жадным любопытством молодости рассматривающие огни дискотеки и людей, людей. И очень скоро всю эту дискотеку заслонил он, Василин, первый из лучших, потому что она собралась за него замуж.

Василин...

Катя знала его наизусть.

Стопки, рюмки, бокалы уже давно утратили свое назначение: он пил, не различая форму и содержимое, сутками. В начале запоя Василин был просто несчастным человеком, у которого трагически погиб сын. (Правда, до трагической гибели сына Василин тоже был глубоко несчастным человеком, потому что у него «все так плохо сложилось с Катей».) На второй и третий день Василин тяжело болел своей невыносимой любовью к Кате. Катя кривила губы, оттого что любовь к ней Василин формулировал как болезнь, да еще с бутылкой в руке, и она сыпала соль Василину прямо на рану: «Любовь — светлое, радостное чувство; если любовь — болезнь, то это уже не любовь», — повторяла она слова какого-то своего писателя. На четвертый и пятый день Василин напивался до полного отупения, перебирая в воспаленном мозгу все Катины измены, все ее больно режущие слова, подлости, лицемерие и эту последнюю мерзость, сказанную доброжелательным тоном сочувствующего человека (она сочувствовала ему, алкоголику, — все равно что одному из своих психов!), — и одновременно она стояла напротив него, как живая, ясноглазая, зовущая, всеми желанная красавица с нежным изгибом губ, с его кольцом на безымянном пальце. (Она всю жизнь проносила советское кольцо желтого золота; больше никак не украшала своих рук — они и так были прекрасны.) На шестой день организм Василина не выдерживал, приходилось делать паузу, но на следующий день на опустошенного физически и морально Василина нисходил философический дух: он пил обязательно с интеллектуальным собеседником, дозированно, и спорил о текстах Набокова, называя себя «набоковедом», хоть и не признанным, но экспертом, более того, он искренно полагал, что, прожив два года в Лондоне, владеет оксфордским английским,

в городе на Неве таких людей, как он, по пальцам одной руки пересчитать... Естественно, возражения не принимались, самокритика отсутствовала. Дальше, по мере возрастания градуса, разговор с великого Набокова возвращался к великой василинской любви, которая оказалась всего лишь сухой обыкновенной. Василий тут же, при собутыльнике, доставал телефон и, верный себе, строчил: «Ты сука-сука-сука-сука-сука-сука». Потом падал замертво, или его отвозили и он падал замертво — и неделю приходил в себя.

К концу недели он, шатаясь, брел к ближайшему фастфуду, а еще через пару дней шел в магазин и мог даже сготовить себе первое и второе на неделю (много ли одному надо), чтобы потом разогревать в микроволновке. По вечерам две поллитровки пива в стекле от известного производителя. Волшебный экран. Там, на просторах фейсбука, Василий просил у людей работы — почему-то обязательно с детьми и «желательно с английским языком». Никакого опыта работы ни с детьми, ни со студентами у Василина никогда не было, все друзья это знали. Это был знак, послание к тем, кто способен понять, к избранным, что его желание работать с детьми вызвано тем, что у него больше нет ребенка... Его притязания на оксфордский английский, ничем не подтвержденные, впечатления не производили — тем более что Василий периодически надолго выпадал из жизни, сводя на нет вновь созданные контакты, которые могли бы поспособствовать в поиске работы.

По воскресеньям Василий старался держаться. Только это не было связано с Господом или церковью. Просто по воскресеньям ему звонил Димон и просил прийти помочь с ремонтом, который у них в доме почему-то никак не заканчивался. Уже нечего было ремонтировать, но Димон каждый раз звонил и звал. Это радовало: все-таки Димон, так до сих пор и не узнавший толком подробностей своего происхождения, пошел не в папочку и не в мамочку. Однако заканчивал «ремонт» Василий опять-таки на бровях.

Перетравав в отместку Кате всех Катиных подруг (он ненавидел и их, ведь они тоже поучаствовали в его судьбе: сколько раз Катя за чашкой кофе болтала с ними о своих новых увлечениях и обсуждала, разводиться с Василиным или нет, когда разводиться, и как часто его, алкоголика, допускать к детям), теперь, после смерти сына, он во второй раз вздумал пройтись по тому же порочному кругу. Смерть Алёшки потрясла всех, и уж конечно, женщины не могли отказать ему во внимании. Он приглашал их, по очереди, в ресторанчик рядом с домом. (После развода он счел необходимым поселиться в соседнем от Кати и «детей» квартале. «М-да, у него и правда поехала крыша», — покачала головой Елена, услышав об этом. «Ну, человек, который не признает себя больным, не вылечится никогда», — авторитетно ответствовала Катя, про себя торжествуя, что после семнадцати лет скандалов, рукоприкладства и выяснений отношений Василий перестанет жить в одних с ней стенах...) Василий и его спутница потягивали белое сухое вино, ели пищу с превосходной красной рыбой, а потом он принимался излагать суть трагедии, которая произошла у него с Катей. «Она слишком заигралась», — повторял он слова из какой-то книги. Описывал похороны Алёшки и вдавался в сумрачные детали своего нынешнего состояния, из которого ему не выбраться.

— Я могу бросить пить, когда захочу. Мне совершенно не нужно подшиваться. У меня все это здесь, — говорил он и тыкал пальцем в лоб.

Гостья неуверенно кивала и все же не могла уйти, не предложив несчастному помощь.

— Брось пить. Устройся на работу. Без алкоголя тебя возьмут везде.

Надо сказать, что Василий, до того как окончательно скатиться в яму под названием «Катя» и сесть на содержание отца, владельца небольшого заводика в

Тульской области, трудился финансовым директором, носил костюмы за несколько тысяч долларов и назывался не иначе, как только Кирилл Константинович.

Некоторые из женщин даже настаивали на своей помощи: энергично рассуждали о том, что ему всего пятьдесят, у него отменное здоровье сибиряка, грех зарывать талант в землю, Господь его для чего-то держит, может, какая-то женщина уже ждет его, просто он пока этого еще не знает...

Среди подруг Кати встречались разные: иные изначально шли к Василину в постель, ресторан был только прелюдией, другие считали, что *тот единственный раз* был ошибкой, остался в далеком-далеком прошлом, и просто шли поддержать морально человека, который попал в беду, но те из них, которые оставались безмужними или разведенными (а таких оказывалось большинство), — почти все покупались на обещание Василина бросить пить и построить семью... Были среди них и такие, которых Василину *тогда* не удалось уложить в койку по тем или иным причинам, но вот *сейчас*...

И Василин сноровисто, со знанием дела, расставлял сети. Сначала они сидели друг против друга за ресторанным столиком, Василин воспламенялся, ораторствовал, читая лекцию по зарубежной литературе, потом пересаживался к своей подруге рядом, крепко, до боли, сжимал ее запястье, заглядывал в глаза (она уже верила ему всецело), спрашивал: «Ты правда мне поможешь?» — и вел себя, как ребенок — испорченный, измученный болезнью ребенок. А когда они выходили на улицу, он становился мужчиной — и добыче уже было не уйти.

Одной дурехе он даже пообещал сделать ребенка — их общего ребенка, девочку! Конечно, девочку! Он даже заплакал тогда вместе с ней!..

Все заканчивалось постелью на один раз. Потом Василин, человек эсэмэс, присылал сообщение, в котором признавался, что «все-таки Катя единственная». Если эти женщины снова появлялись на горизонте его жизни (на пороге его квартиры), желая продолжения, — пьяный, больной, он кричал им, как некогда Кате: «Прочь из моей жизни!» И выталкивал за порог.

Конечно, у Василина были и «свои собственные» женщины, никак не связанные с Катей. Одна из них была, можно сказать, постоянной, москвичка. Она завелась у Василина со времен его частых командировок в Первопрестольную. Но так у них ни до чего и не дошло, даже когда Василин освободился от уз брака: они по-прежнему гостили друг у друга по неделе, в Петербурге и в Москве, но не больше.

Всеякие они были: женщины-вамп, бизнес-леди, красотки барби с волосами до попы, простушки-разведенки, не закрывающие рта, даже студентки филфака с фарфоровыми личиками... Но ни одна из них не могла заменить Катю, и все они рано или поздно в воспаленном мозгу Василина оказывались блядами и стервами. Наверное, он подсознательно искал таких, только такие ему и были интересны — из-за Кати — так рассказывал он подвыпившим слушателям... Даже тихие матери-одиночки, преданно заглядывающие в глаза и замирающие в надежде прислониться к его плечу... Почему бы не осчастливить одну из них? Нет, в конце концов, и они оказывались точно такими же, как его разлюбленная женоушка — манипуляторы даже почище нее! И всем им мстил Василин особенной, болезненной, подленькой радостью, когда шептал свое излюбленное: «Маленькая моя...»

Однако подлинная трагедия жизни Василина, о которой, возможно, он не догадывался, но которая не шла у Кати из головы, состояла в том, что и он, как она, своего Алёшу не любил. Он слишком рано появился (Василину было двадцать четыре) и при весьма болезненных обстоятельствах. Он долго сомневался в своем отцовстве, прежде чем уверовал, что Алёша его. Но даже убедившись, что Алёша его, все силы Василина целиком шли на то, чтобы оказаться лучше Арбенина, лучше Коссовича. Он занимался Алёшей так же мало, как и Катя. Все дело в том, что он полюбил Алёшу

мертвого. А уж когда он называл Алёшу ангелом, к месту и не к месту — Кате хотелось провалиться сквозь землю.

В противоположность Василину Катя не способна была питать любовь к мертвому.

Алёша, ее Заяц... Очень удобный ребенок, в отличие от Димона. Незаметный. Ничего не кланчил, не настаивал на своем, не требовал, именно ему Катя забывала по утрам, перед школой, дать десятку на пирожок в школьной столовке: он, этот мечтатель не от мира сего, забывал попросить (или не решался?) — а она забывала дать. Терпеливо дожидался обещанных подарков и легко прощал невыполненные обещания или незаслуженные обиды. Учился самостоятельно, выполняя все, что от него ожидали. Особенным его качеством являлась, казалось бы, бравшаяся ниоткуда способность радоваться — просто так, всему подряд, любой пустяк мог сделать его счастливым! Он обожал «Макдоналдс», дурацкие походы в кино всей семьей и игры в суперменов. Круглый отличник, перед ним простиралось большое будущее.

Совсем недавно, будучи дома, *как в гостях*, Катя потихоньку спросила Полю про похороны.

Поле было почти четырнадцать, и, похоже, она действительно ненавидела мать. Нет, она не жалела Катю — еще очень далеко до того возраста, в котором девочки научаются любить и жалеть своих мам. Да и что могла рассказать Поля про похороны в закрытом гробу? Ничего не видела — с некоторым злорадством сообщила она. Да, положила чипсы, и все.

Катя, в очередной раз устроившись на ковре с бокалом в руке, смотрела альбом. Но теперь оказывалось, что она смотрит уже не на Зайца, не на Селёдку — на себя молодую, на те кадры, которые были пропущены на этих страницах, и видела она то, что никто не знал о ней, — ну, может, если только Василин. И заглядывала она в себя от скуки, потому что в этом последнем зале ожидания ей нечего было делать. Ничто уже не могло ее удивить. Все пройдено, и не по одному разу. Свою жизнь она упустила: Селёдка сбежала за кордон, а от Поли она отказалась добровольно.

Катя была совершенно свободна. Абсолютно. Свобода... Кто только не писал о ней из великих. «Да уж не смерть ли это?» — вдруг догадалась она.

10

Селёдка прилетала не девятнадцатого, а двадцать второго, в среду утром...

Когда Катя гуляла, каталась в автобусах и рассматривала людей вокруг себя, прислушивалась к их дурным историям, которые они рассказывали, перебивая друг друга, она всегда, по привычке, искала у них диагнозы — и находила. Истерики либо невротики, каждый четвертый. И каждый третий — ее потенциальный клиент. Если жизнь за него хорошенько возьмется, тряхнет... И всегда в том же автобусе можно было отыскать бессловесную скотину — агнца, за счет которого перебивались все кому не лень, а он всю жизнь выгребал за ними и, тихонько вздыхая «ничего, как-нибудь проживем» (Алёшка, как есть ее Алёшка!), в конце концов отдавал жизнь за тех других, даже не поняв этого. Жаль, что жертвоприношение было напрасно. И дело не в том, что те другие недостойны его жертвы, просто вовсе не этого им требовалось в жизни.

Кондукторы пользовались особенным ее вниманием. Это были очень своеобразные люди. Инвалиды, уроды, неудачники, они собачились с пассажирами, уклоняющимися от уплаты проезда, или, будучи на пике зашкаливавших эмоций, подшофе, во всеуслышание выражали свое мнение по тому или иному поводу или, ко всему безучастные, сидели, притулившись к развешенной на спинке кондукторского места оранжевой жилетке, но все они одинаково считали минуты до окончания

рейсов, потому что только в депо можно сходить в туалет и перекусить, и с животной тоской выжидали окончания смены, наверняка давая себе слово, что эта смена — последняя. Но на завтра выходили снова и вырывали друг у друга «бойкие» маршруты...

Глядя на них, Катя вновь убеждалась, что не только не утратила интереса к жизни, но даже сохранила вкус к ней. Как и к профессии.

Убить время — так выражался кто-то из ее знакомых по прошлой жизни. Дикость какая! Как можно его убивать, если оно составляло саму суть, завораживало больше, чем любая стихия, — и его всегда катастрофически не хватало!

Она заходила в «Пятёрочку», где в прайм-тайм перед кассой выстраивался народ. Взмывленная, покрасневшая кассирша, чуть не плача, сражалась с «программой», которая не желала пробивать товар как надо, на вызов помощника никто не отвечал, очередь прибывала, волнение усиливалось, перебранка и ругань конкретно в адрес кассирши имели, как водится, прямо противоположный эффект: несчастная уже ничего не соображала. Дрожащими пальцами снова нажимала на кнопку вызова подкрепления. Безрезультатно. Тогда она выхватывала из кармана телефон и, не попадая в нужные кнопки, пыталась позвонить, чтобы кто-нибудь из служебки вышел в зал... Катя созерцала подобные минуты жизни без малейшего раздражения, наоборот — с любопытством ученого к процессу и сочувствием к подопытному.

А еще Катя попробовала, глядя на Василина, пуститься в народ — походить по кабакам (да-да, ее влекло к нему, сомнений нет). Было интересно, способна ли она поговорить с человеком по душам — с незнакомым, который ничего не знал о ней. Послушать его сетования, посмеяться над его чаяниями, сбывшимися или несбывшимися, посочувствовать его беде, дать совет (если попросят), рассказать что-нибудь о себе... Все ли выгорело в ней? Возможно это или нет, чтобы что-то живое отозвалось внутри нее, если не пробилось наружу? Может, с новыми людьми ее ждут какие-то новые открытия?

Снова, снова Катя использовала людей.

В одном дешевеньком баре подседа к какой-то тетке без возраста — не бомжичка, нет, но едва уловимый, кисловатый запах тления уже завладел ею. На куртке еще не было дыр, но манжеты, локти, бока вытерлись до блеска. Катя угостила тетку портвейном. Та легко выложила перед ней всю свою жизнь — разменную монету.

Был ребенок, мальчик, родился вроде здоровым, и в семье у них все здоровые, и не пила она тогда совсем, ни-ни, что вы, зачем? Муж таксовал, она переплетчица в типографии. Но... Инвалидность, а потом интернат — сил не осталось терпеть его припадки: когда его *накрывало*, мог разнести всю квартиру. Мать он уже не узнавал. Муж? Исчез давным-давно, почти сразу же, как только поставили диагноз. Мать, тетка, подруги — все как один твердили: «Сдай на попечение специалистов и начни новую жизнь, пока еще не поздно». Ей ведь было тогда всего тридцать шесть. И батюшка из церкви, отец Александр, сказал: раз не узнает мать, набрасывается на людей, то сдавайте, нет тут греха. И она сдала — ради новой жизни. Сдала — а новая жизнь так и не наступила. Почему-то не получилось. Работа — дом, дом — работа. Потом еще заболела тетка — шесть лет они с матерью по очереди дежурили у ее постели. Потом мать разбил инсульт. Обманула ее эта новая жизнь! И теперь вот ни матери, ни тетки, ни ребенка-чудовища. Если бы хоть он — было б к кому возвращаться каждый вечер... Вот и ходит она сюда, в этот притон. Потому что больше некуда.

Тут женщина некрасиво заплакала и придвинулась к Кате:

— А ты что скажешь, я предала или нет?

— Конечно, нет! Священник правильно сказал. Не думайте об этом больше.

Женщина, почему-то поверив Кате, мгновенно успокоилась. Катя заказала еще, и они выпили.

Тетка подмигнула: ей оставалось перекантоваться как-нибудь это лето, а дальше нужно устраиваться на работу — деньги заканчивались.

— Не ждите окончания лета, устраивайтесь в начале августа: больше возможностей найти стоящее место.

Глаза у тетки оживились, она заулыбалась щербатым ртом, принялась бестолково благодарить.

Была бы Катя героиней фильма, сидящая сейчас напротив нее тетка явилась бы ее спасением: она бы вытянула эту несчастную из ямы, из которой та тщетно карабкалась всю свою жизнь, и, как водится, излечилась бы сама. Хэппи-энд. Бестселлер, хотя сюжет и не нов. Однако драматизм ситуации, подлинный, закулисный, состоял в том, что эта тетка никогда не бросит пить. И работа ей нужна только для того, чтобы было на что приходить сюда. Она никому ничего не простила и на самом деле новой жизни уже не хочет и не примет. И этот задрипанный бар, больше напоминающей дешевую рюмочную, — ее последний зал ожидания.

Разговор перешел на Катю.

Катя говорила медленно, подбирала слова: дети выросли, мальчик и девочка, живут сами по себе, а ее друг овдовел, ну, они и сошлись. Тоже пока нигде не работает.

— Он при деньгах, что ли?

— Он врач. У него квартир несколько, он их сдает.

— Во подвезло-то! Богатенький наследник? Ты извини, если что.

— Нет-нет, все нормально. Это квартиры его матери. У него мамаша всю жизнь проработала в психоневрологическом интернате с бесхозными стариками, так что отхватила порядочно, — сказала Катя, не подумав.

— ?

Катя попробовала вернуться в прежнюю тональность и объяснить:

— Ну, просто есть такие пациенты, которые много лет лечатся, и врач становится для них самым главным человеком, другом, и они, бывает, оставляют квартиру ему, а не кому-то из родственников. Ведь зачастую родственники действительно бросают больного на произвол судьбы и вспоминают о нем только после его смерти.

Тетка смотрела на нее по-прежнему странно. Как будто не верила ни одному слову. (Катя и сама себе не верила в ту минуту.) Невозможно представить, что только три четверти часа назад эта самая тетка, громко шмыгая носом и размазывая по красному опухшему лицу слезы, умоляла Катю сказать, предала она или не предала своего сына, и от Катиного ответа, казалось, зависела ее жизнь.

И Катя испуганно пробормотала, враз протрезвев:

— Но есть пациенты по-настоящему одинокие, не имеющие родственников...

М-да, в последние два года она вела образ жизни, о котором мечтали миллионы в этой стране. И добрая половина ее пациентов. Просыпалась, когда хотела, шла гулять, куда хотела, занималась целыми днями, чем хотела — ничем — и при этом все ее счета оплачивались... А ведь было время, когда Катя (молодая еще) спорила, с Пал Палычем например, убеждала его всерьез, что если устроить всех пациентов в качестве реабилитации на интересную, хорошо оплачиваемую работу, — количество рецидивов сократится раз в десять, и более половины своих больных она больше не увидит... Пал Палыч ничего не отвечал, только улыбался и приглашал Катю на следующий кофе.

Ее всегда интересовали больные. Уйдут ли они от судьбы и от диагноза, поставленного ей, Екатериной Александровной, блистательным диагностом, — или все-таки нет? Смогут ли? Посмеют ли? Выкинут ли что-нибудь эдакое, чтобы все вокруг ахнули — здесь, в стенах больницы, или потом, в рассказе про очередной эпизод своей жизни... Уж слишком все было предсказуемо. Двадцать пять невротиков. Из них только семь или восемь с необратимым расстройством личности. Иногда кто-то попадал к ним случайно — раз в жизни всякое может случиться с человеком. И ни

одного буйного на отделении! Так она рассказывала друзьям и уверяла, что скучает по настоящей работе — с сумасшедшими, однако трех суицидов в год (и трех уголовных процессов с сопровождающими их шумихой, возней и истерикой в отделении) ей было вполне достаточно, чтобы будни не казались пресными.

Нет, редко кому удавалось отклониться от своего пути, вырваться из системы... Те, кто кончали с собой, одним рывком порывая с жизнью и с диагнозом, на самом деле никакие не победители.

Так что же в итоге? Неужели правда не было ничего больше в этой жизни, что оставалось бы ей неведомым? Бога она не боялась раньше — не побоится и теперь. Особенно теперь, после *остатков* ее сына, которые не идут у нее из головы — и никогда не уйдут, потому что она их не видела... Да и поздно уже бояться кого бы то ни было.

Но, может, все-таки осталось еще что-то, что способно ее задеть, захватить, закружить от восторга, как когда-то? Воспоминания? Вот разве что, пожалуй... Пожалуй, плотный прозрачный воздух, когда она открывала окно своего кабинета, выходящее в монастырский сад, после ночной смены, около шести утра — еще до того, как жизнь на подворье приходила в движение и начинали собираться к заутрене: близко-близко к ней, только руку протяни, оказывались ветки дуба, липы, рябины... И листья едва уловимо дрожали в заколдованном беззвучном пространстве, заставляя откликнуться таким же дрожанием какие-то потаенные пружины внутри нее, Кати... И кружка с горячим растворимым кофе, которую она держала обеими руками и вдыхала аромат, — иногда ей казалось, что именно в этих простых действиях следует искать ключ к жизни — к этой ужасно прекрасной тайне.

Крым. Там можно было укрыться не то что от Селёдки — Крым обладал способностью исцелять душу — так считал ее отец, так привыкла думать она сама. Тридцать часов плацкарта, выход в Джанкое, с рюкзаком за спиной выше себя и... обойти полуостров их молодости по береговой линии, как когда-то? На каком-то повороте встретиться (и соединиться) с собой — настоящей? Со своей первой любовью? Нет, не с белокурым мальчиком по имени Сергей Рада, из-за которого она некогда рыдала в три ручья в саду у подножия Карадага, а с Крымом. Они — дети, рожденные в шестидесятых, — Крым был их первой любовью. Сколько бы морей потом они ни узнавали, но когда болели — им снился Крым. Если б можно было, не оглядываясь, ни перед кем не отчитываясь, уйти с тропинки, забраться в горы, припасть к сухой земле, впитать терпкий и горький аромат трав, вдохнуть воздух тех берегов — страстный, бескомпромиссный, единственный!

Нет, если она и отправится в Крым, то уже только «туда», без обратного билета.

11

С утра Коссович дежурил в аэропорту: вылет задерживали.

Катя ждала дома, приготавливаясь к мерзости. Ей надлежало припомнить в деталях все предыдущие Селёдкины мерзости и заранее накрутить себя, чтобы в нужный момент отреагировать необходимым образом — криком, дракой, обмороком, если получится, уходом из дома — выбежать, в чем была, хлопнуть дверью на весь подъезд и не возвращаться.

Прошлогодней мерзостью стал разодранный голубь в коробке из-под торта, нарядной, с бантом, как будто только-только из магазина. Вес «торта» и запах сомнения не вызывали, разодранная птица была утрамбована остатками бисквита, кремом, сливками, цукатами. Улучив момент и схватив Катю сзади за шиворот, Настя попыталась пропихнуть кровавые ошметки ей внутрь. Из-за Коссовича у нее этого не

получилось — зато получилось смачно плюнуть Кате в лицо и попасть в глаз. В самое яблоко...

И если Кате снились кошмары, они никогда не были связаны с Алёшкой, в них она дралась с Селёдкой. Дубасила ее. Долго, отчаянно, не до первой крови — до конца. А конца все не наступало... Разнимальщик Коссович не появлялся, пробуждение тоже не торопилось. Ее спасало только то, что она почти всегда знала, что это сон.

Среди дня Коссович позвонил, ничего толком не объяснив, — проконтролировал Катю.

Вошел в квартиру он ближе к вечеру. Один. Двинулся в спальню и там, не раздеваясь, опустился на тахту.

Катя присела рядом. Она ждала мерзости. На этот раз мерзость была, а Селёдки не было. Катя гадала не что случилось, а что страшнее — так, как раньше, или так, как сегодня? Лицо Коссовича приобрело сероватый оттенок.

Катя терпеливо ждала, когда он заговорит, и думала о микроинсульте. Где лежал прибор для измерения давления — она не знала. Погладила его по руке, поближе к запястью, и попыталась незаметно нащупать пульс. Он убрал ее руку, покачав головой, и наконец произнес, с трудом выговаривая слова:

— Ты представляешь, она там, в этом идиотском Лондоне, замуж вышла. И прилетела с ним. Студент с параллельного потока, тот еще дизайнер. Видела бы ты его! — Он непонятно повел рукой. — Какой-то Джой. Или Джей. — Катя не была уверена, но ей показалось, что в его глазах блеснули слезы. — Прилетели всего на три дня, она будет показывать ему город, остановились они у матери. Мы ее больше не интересуем.

Он договорил и прикрыл глаза.

И Катя ухаживала за ним этим вечером, будто они поменялись ролями. Выходило, что никакой мерзости с Коссовичем не случилось, и ни с кем не случилось, — просто его дочь наконец пошла на поправку. Только он почему-то тихо умирал на тахте.

— Давай поженимся, — вдруг произнес Коссович поздно вечером в постели. Торшеры еще горели, и они оба как будто читали. — Мы же созданы друг для друга.

Катя осторожно завернула верхний уголок правой страницы на развороте, пригладила его указательным пальцем и медленно поискала глазами, куда бы отложить книгу. Прикроватная тумбочка оказалась вся заставлена барахлом. Она молча раздумывала о том, что сподвигло Коссовича: обе эти фразы, столь несвойственные мужчине, всегда ассоциировались у нее с весьма дурным вкусом. Впрочем, Коссович никогда не читал хорошей литературы. Некогда было. Она улыбнулась.

Коссович, человек долга, обретший сегодня наконец свободу, сказал то, что она хотела услышать. В той, прошлой, жизни. Но ведь жизнь на самом деле, она убедилась в этом, бывает только одна.

О чем тут думать? Расписаться с Коссовичем означало снова победить. И все теперь знали, что если Коссович женится, то это до гробовой доски. Но Катя не была более женщиной и не боялась остаться одной. Не являлась она более и его пациенткой — с сегодняшнего вечера.

Ему пятьдесят. Всего-то навсего. Он мог полюбить снова. Особенно теперь, когда его дитя возвратилось к жизни. Что тогда она станет делать? По-прежнему молча пить свой кофе, смотреть в книгу, не переворачивая страниц, и думать о дочери? О Селёдке? Об Алёшке? Но она должна была сказать «да». Ей хотелось сказать «да». Ему хотелось, чтобы она сказала «да». Ни с кем ей не было так хорошо и покойно. Ни ради кого он не опускался так низко. В конце концов, это было бы даже логичным завершением их истории — пожениться.

Она сказала ему «да» мысленно, улыбнувшись одними глазами, и поняла, что он понял. Вот так «да», без слов, без вскриков, без объятий и поцелуев. Но она взяла его за руку и пожала ее.

Ничего не случилось. Все оставалось по-прежнему. Наталья и Алёшка давно уже сравнивались с землей и стерлись из памяти. Где-то там, в рюмочных и кабаках вокруг Лесной, наматывал свои круги ада Васи́лин. Селёдка и Поля, каждая по-своему, в одиночку, вступали в схватку с жестоким, бездушным миром, учились держать удар, сливались с ним, с этим миром, в яростной борьбе, торжествовали, когда думали, что прогнали его под себя, скулили, когда становилось больно. Задача Кати была оставаться в тени и ничего не испортить ни той, ни другой, а задача Коссовича — оплатить им последствия их неудач.

Кате предстояло покончить с миром съемных квартир и с парой чемоданов, на одном из которых до сих пор красовалась наклейка дублинского перевозчика, — завершить тот тур, в который она отправилась однажды майским днем. Перестать быть странницей, у которой нет ничего своего, как у больной, поступившей в стационар с улицы по «скорой», которой соседки по палате одалживают то шампунь, то мыло, а нянечка — халат и тапки, — и потихоньку стать в этом доме хозяйкой.

Она снова научится вскакивать с постели по утрам, облекаться в китайский шелковый халат, бежать на кухню готовить мужу завтрак. Вставать на цыпочки, чтобы достать с верхней левой полки геркулес, потом открывать нижнюю дверцу холодильника и наклоняться за бутылкой молока, проворно наливать апельсиновый сок в хрустально-прозрачные стаканы, не забывать оставлять молока Коссовичу для чая — Селёдка приучила его пить на английский манер. Ходить в магазин, аптеку, на рынок у станции. На родительское собрание в школу. Она станет как все.

Димон, Арбенин, оба респектабельные и благообразные, никакого отношения к ней нынешней, настоящей, как это ни странно, как ни удивительно, не имели... Все остальные люди, бывшие в жизнях Кати и Коссовича, у которых они, увы, только брали, ничего не давая взамен, обманывали, предавали, — тоже. Но вот они, Катя с Коссовичем, лежали в одной постели, рука в руке, и, что бы там ни говорили моралисты и правдоискатели, как бы ни поражались случившейся с этими двумя несурзнице, действительно были созданы друг для друга.

Алексей Малащенко

Тяжело в ученье, нелегко в бою

Арабистами не рождаются

На подлете к базе ВВС Арабской Республики Египет, неподалеку от городка Бильбейс, у египетского лейтенанта на Су-7 что-то пошло не так. Полет был боевой. Сажу я в наушниках возле руководителя полетами подполковника Геннадия Владимировича Коноплева и слушаю, на что летун жалуется. И ничегошеньки на его родном арабском не понимаю. И как уразуметь, когда за спиной четыре курса Института восточных языков при МГУ им. М.В.Ломоносова, а знаний по авиационным терминам — ноль.

Подполковник проговаривает какие-то цифры, а я как правильно эти цифры произнести — забыл.

— Не знаю, не понимаю, — бормочу.

Коноплев, мужик спокойный и доброжелательный, смотрит на меня.

— Понимаешь. Все понимаешь, — говорит он и добавляет, — ты ж комсомолец.

И пока тот бедолага, кандидат в покойники, заходил на третий круг, цифры вспомнились. И стал я что-то переводить. Последние мои слова были «ихбат» (по-арабски «садись») и «е.т.м.» (это по-русски). Он сел, а Коноплев сказал:

— Вот. А твердил, что все забыл.

Случился этот позор летом 1972 года. Бильбейская база была одной из двух крупнейших — первая находилась в Жанаклисе, на севере страны. Наша — ближе к Суэцкому каналу и Синайскому полуострову, где чаще всего египетско-израильские столкновения и происходили. Раскройте карту. Там и сейчас неспокойно. Там продолжает джихад созданный в 1987 году ХАМАС (Исламское Движение Сопротивления). Хамасовцев во всем мире, кроме России, считают террористами, и в Москву они часто навешиваются поговорить насчет урегулирования арабо-израильского конфликта.

...Расстался я с Геннадием Владимировичем и отправился в отведенный мне на базе чуланчик, размышляя о собственном ничтожестве. Как же так — четыре года учил язык, сдавал зачеты, полгода протрудился переводягой в учебном центре в городе Мары, а как дошло до настоящего дела, облажался.

И зачем вообще связался я с этим языком? Как это все случилось?

Первый шаг по дороге к бильбейскому аэродрому

Но прежде нужно понять и согласиться с тем, что арабский, как и другой восточный язык, это — другая жизнь, чудо, соблазн, кошмар. Прикоснувшись к нему, оторваться невозможно. Услышав его, копаясь в его закоулках, чувствуешь себя

Малащенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. Постоянный автор «ДН».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 8.

другим. Так ощущают себя китаисты, японисты, кореисты, те, кто заиклен на хинди, ну и арабисты.

К арабам у меня симпатия с детства. В 1956 году мы — папа, мама и я — переехали с Новослободской улицы, из коммуналки в другую коммуналку, на Третьей Тверской-Ямской.

В новой восемнадцатиметровой комнате было просторно. Стояли пианино, диван, папин секретер, столик, на нем — белое пластмассовое радио с одной-единственной первой программой. Вот с 1956-го и начал слушать радио, по которому передавали новости со всего мира. В октябре означенного года с утра до вечера вещали про Ближний Восток. Я тогда узнал три новых понятия — арабы, Суэцкий канал и израильская агрессия (что израильтяне — это всего-навсего евреи, не догадывался).

Много говорили про Гамаль Абдель Насера. Телевизора у нас не было, и в лицо я его не знал. Но имя запомнил. В году этак 60-м увидел Насера по недавно купленному черно-белому «Знамени»: добрый такой, улыбчивый. В 1972 году в Каире я приехал к его усыпальнице — высокой арке, в проходе которой стояла его гробница. Приставленные к ней часовые меня поначалу не заметили и гонялись вокруг святого места, покаявая друг друга пиками. Увидев одинокого посетителя, они немедленно доскакали до своих постов и вытянулись в струнку. Один из них неожиданно меня приветствовал. «Мархаба» (привет), — пробормотал он. «Мархабатеин», — ответил ему я и подумал: порезвились бы так стражи мавзолея Ленина...

Бежало время. Карту мира я выучил наизусть, и Ближний Восток сохранялся на ней каким-то личным кусочком. Я уже сообразил, что израильтяне и евреи не одно и то же. Евреи — свои — каждый день в гости ходят, а израильтяне чужие, плохие. Вот арабы — все хорошие, однозначно.

До арабского языка было еще далеко. Его призрак стал появляться тогда, когда лет в 12—14 надо было хоть отдаленно, но задумываться над вопросом «кем быть». Подростком потянуло в мир искусства — отец и мать были артистами: папа тогда трудился в Театре Маяковского, а мама в Центральном Детском, а еще была ведущей сверхпопулярной в те времена радиопередачи «С добрым утром».

Однажды пригласили меня сниматься в кино, на главную роль (в фильме «Рыжик»). Мама не пустила — до сих пор не знаю почему. Что оставалось? Сидеть, уткнувшись в карту. Тут еще попала в руки открытка «Вид города Каира» — красивые машинки, дома высокие, темно-голубая река Нил. Шел от той картинки запах волшебный. Опять уткнулся я в карту мира, ее ближневосточный кусочек. А там в 1967 году — «шестидневная война». То, что любимые арабы продули ее за несколько суток, было обидно. Непонятно. Особенно если верить советской пропаганде, твердившей, что они становятся все сильнее и сражаются за правое дело. Зато как интересно!

Короче говоря, заявил я дома, что буду учить арабский язык и отправлюсь на Ближний Восток. Так был сделан первый шаг по дороге к бильбейскому аэродрому.

Чудо, соблазн, кошмар

...В Московский Государственный институт международных отношений (МГИМО) меня не допустили, потому что не хватило комсомольского стажа. Для поступления туда в 1968 году требовалось пребывать во Всесоюзном Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи не менее двух лет, а я накопил только год. Все, что Господь ни делает, все к лучшему. В том году арабского отделения в МГИМО не было. В Институте восточных языков МГУ — было. И долгий комсомольский стаж не требовался. ИВЯ тоже считался престижным, хотя не до такой степени. В ИВЯ на арабское отделение я и поступил.

1-го сентября пришел на первое в жизни занятие по арабскому языку. Первая арабская группа состояла из восьми человек, среди которых была лишь одна худенькая и напуганная девушка по имени Аврора. В комнатку, где сидели, вошел темноволосый мужчина в очках, а с ним красивая женщина с настороженным лицом. Мужчина

представился доцентом Грачьею Михайловичем Габучаном, а его спутницу звали Людвиг Иванова.

Пробежавшись взглядом по нашим физиономиям, Габучан обратился к своей спутнице:

— Людвиг Иванна, вам не кажется, что опять набрали идиотов, посмотрите на них (Грачья говорил в нос с армянским прононсом).

Такого не может быть, — не верили мне знакомые, когда я рассказывал про первый урок в университете. Я и сам стал подумывать, мол, это все мне померещилось. Решил проверить. Два моих однокурсника Олег Гущин и Виталик Расницын слово в слово повторили слова Грачьи.

И стали мы учить арабский язык. Громом обрушился он на нас, оглушив своими «нелепостями»:

— писать надо справа налево;

— у каждой буквы по четыре написания — в начале слова, в конце слова, в середине его и отдельно;

— десять пород глаголов (что такое порода, не скажу — все равно не поймете);

— двойственное число;

— про падежи и говорить нечего, их хоть и не так много, как в русском, но все равно путаются в голове.

От той нашей группы из восьми человек на белом свете осталось только трое. Не все ребята пали в сражениях за свободу арабов. Просто так случилось. Арабистика — дело нервное.

Была еще одна, вторая арабская группа. В ней, между прочим, учился будущий посол России в Тунисе Серёжа Николаев. Группа отличалась от нашей, первой, — половину ее составляли девушки, и кроме того, там, помимо арабского, проходили французский. В первой группе учили английскому. При этом в первой нас, франкофонов, выпускников французских спецшкол, было большинство. Когда в аудиторию впорхнула моложавая «англичанка» и поприветствовала нас: «Хэллоу, бойз», мы, не сговариваясь, хором ответили: «Бонжур, мадам».

У меня английский не заладился с самого начала. Я и теперь-то, после 20 лет, проведенных в Московском центре Карнеги, прожив почти три года в Штатах, в нем барахтаюсь. В арабской переводческой карьере английский мне пригодился только однажды. Дело было в алжирском городе Батне в Военной школе боевого оружия (L'École Militaire des armes de combat), главном военном училище Алжира. Ее начальником был уроженец Батны, будущий президент Алжира (1994—1999) Аль-Амин Зеруаль. Вся военная техника была советского производства, советники — советские майоры, подполковники и полковники. Так вот, поступило в батнинское училище некоторое количество новейшей техники. К железу прилагалось его техническое описание. Открыли — а там все по-английски. Кто ж в Батне его прочтет? Тут-то я по дурости и брякнул, что, кроме арабского, учил еще английский.

Короче, подвели меня к одному ящику, достали бумажки на английском. Посмотрел я на то, что там написано, закурил и перевел надпись, гласившую «Destinated to Iraq». Много лет спустя, коллега-арабист, работавший в Ираке, услышав эту байку, прокомментировал: «Слушай, старик, а мы тогда “шилки” эти (техника ПВО) ждали-ждали».

Вернемся в ИВЯ. Первое домашнее задание было написать четыре страницы палочек справа налево. Я хмыкнул, а потом чертил их три или четыре часа, нажив кровавые мозоли на пальцах. Не верите — попробуйте сами.

И началось.

Арабский был изнурительным трудом, каторгой, бежать с которой почему-то не хотелось. Магия. На четвертом курсе, освоившись с арабским, я по ночам переписывал Коран, подпольно вывезенный из Египта между нестиранными рубашками. Мусульманином не стал, но в исламоведение незаметно погрузился.

Когда-то я написал «Мой ислам», легкомысленную, но честную книжку, про которую знаменитый мусульманский авторитет молвил: «Это его ислам». И был прав. Сейчас я пишу, о *моем* арабском языке, о моем Ближнем Востоке и, простите, опять немного о *моем* исламе.

Во втором семестре первого курса был диктант. После него в класс вошел Грачя, бросил на стол странички с диктантом и принялся нас обличать. Самый умный из группы, Митя Прокофьев, сделал всего восемь ошибок и получил три с минусом. Дмитрий действительно был одарен способностями к языкам (он потом выучил еще и иврит). Самый глупый сделал сорок восемь ошибок. Да, подумалось мне, прав был Грачя, когда сказал, что набрали идиотов. Главным идиотом оказался я.

Нас заставляли учить наизусть небольшие арабские тексты, некоторые из них запомнились навсегда. Как-то раз в Бильбейсе арабский капитан, послушав мой перевод какого-то авиационного регламента, с раздражением спросил: «Ты вообще правильно говорить умеешь?», и от обиды я продекламировал ему один из выученных на первом курсе текстов. Капитан обалдел, а потом промолвил: «Ты арабский знаешь, но учи термины».

На втором курсе мы переписывали тексты, написанные нашими предшественниками. Выяснилось, что лучше всех эти тексты писал и знал наизусть некий Витенька Посувалюк — так ласково называла его наша преподавательница арабского Людмила Григорьевна Ковалёва и ежесекундно ставила нам его в пример. Витеньку Посувалюка мы ненавидели дружно, всей группой.

Напрасно. Виктор стал выдающимся дипломатом, служил послом в Ираке, а затем стал заместителем министра иностранных дел РФ. Он слишком рано ушел из жизни, тем самым нанеся ущерб российской внешней политике. При сумасшествии, которое называется «арабской весной», после нее, Виктор наверняка добился бы большего, чем нынешняя российская политика.

Возможно, я неправ, но, похоже, нынешняя ближневосточная дипломатия, с точки зрения профессионализма, уступает прежней. Она слишком несамостоятельна, зависима от президентской администрации, является не более чем исполнительницей ее указаний. Нет фигур, сравнимых с Евгением Максимовичем Примаковым или с тем же «Витенькой» Посувалюком.

Упомяну в связи с Примаковым одну не лестную для меня историю. В бытность его директором Института Востоковедения АН СССР он принимал какого-то арабского деятеля. В этот момент я проходил по второму этажу мимо его кабинета. Какой-то негодяй-начальник велел: помоги, мол, там ему с арабским языком. И толкнул в кабинет. Когда я запереводил, ЕМ посмотрел на меня не то чтобы с брезгливостью, но с явным сожалением. Потом он и его гость продолжили разговор на чистом арабском языке. Легким мановением руки директор отпустил меня на все четыре. Примаков, вопреки тому, что о нем некоторые судачат, арабский знал очень хорошо.

Нас учили разные преподаватели, учили разным языковым аспектам. Самыми непонятными были занятия с Алкаином Альбертовичем Санчесом. Он толковал нам арабскую грамматику. Не имея ни малейшего призвания к лингвистике, я слушал его лекции, как эхо в сосновом бору. Красиво, но непонятно. Поэтому и разговариваю по-арабски с минимумом грамматических изысков.

Не могу не вспомнить добрым словом Элеонору Порфирьевну Бобылёву, пытавшуюся учить нас синхронному переводу. Быть синхронистом — артистический дар. Сделать синхронистом абы кого невозможно. Эленора Бобылёва это понимала и раздражалась. И все-таки какие-то первичные истины синхрона она в нас вдолбила.

Однажды Эленора Порфирьевна устроила дерзкий эксперимент: рассадила нас в наушниках по кабинкам и сказала, что включает на магнитофоне отрывок из Тургенева, который мы должны хоть как-то перевести на арабский. Далее планировалось публичное прослушивание получившегося перевода.

Так вот, сижу я в кабине, потею от ужаса, а из наушников: «По серому небу тяжко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел...» Пытаюсь «войти» в литературу, со страху забываю даже знакомые слова и... матерюсь, матерюсь — я ж здесь один, никто не слышит. Выпустила нас Элеонора Порфирьевна из кабинок, дала послушать, чего мы там наперевоносили, а потом сказала: если хотите послушать Малащенко, то пусть девушки выйдут.

Помимо нас, грешных, Бобылёва работала с разной публикой. Например, ставила арабское произношение хору, кажется, Приволжского военного округа, которому предстояло на гастролях в Египте исполнять песню «Родина моя» (что по-арабски — «биляди»). В быстром произношении первая «и» редуцируется. Представьте припев песни в исполнении сотни здоровых русских мужиков в военной форме.

И еще одно имя — Харлампий Карпович Баранов. Он у нас не преподавал. Мы его никогда в жизни не видели. Я о нем только читал в сделанной Институтом востоковедения книжке «Слово об учителях». Харлампий Карпович был нашим «злым гением». Он создал главное орудие пыток — арабско-русский словарь.

Словарь был нашей путеводной звездой, иконой. Без него понять и перевести что-либо с арабского языка было невозможно. Словарь был толст и огромен. У каждого порядочного арабиста он сохранился надорванным, измятым, даже изжеванным. На четвертом курсе у меня от него отвалилась обложка.

Много лет спустя мне подарили новый. И у меня оказалось целых два барановских словаря. Встал вопрос — зачем нужен старый? Выбросить рука не поднялась. До сих пор стоит на полке, без обложки.

Кроме арабского, нас учили истории. И хорошо учили. Древней арабской — Левон Исидорович Надирадзе, который через слово говорил «вообще так». Однажды он произнес главную кораническую мысль: «ля илля илля ля, Мухаммад, *вообще так*, расул Алла» (нет бога, кроме Бога, а Мухаммад посланник Аллаха).

Девятнадцатый век читал Николай Алексеевич Иванов, двадцатый — Наталья Сергеевна Луцкая и Роберт Григорьевич Ланда. Интересно было у всех. Они не только учили, но еще и привязывали к арабскому миру. Слушать их было все равно как читать интересную книгу — а что там дальше?

Лекции Ланды были интересны, умны и очень объективны, что в советские времена давалось непросто. С одной стороны, ничего, скажем, «диссидентского», с другой — огромное количество фактов, характеристик и некий подтекст: мол, вот какие были дела и какие люди. Из лекций Ланды становилось ясно, что все не так однозначно, и «мы» не всегда правы, и «они» не такие уж плохие и агрессивные. Его занятия были именинами сердца.

Перед экзаменами по арабскому языку всегда было страшно. На первом курсе экзамен шел несколько дней не то по семи не то девяти аспектам. Было чувство, будто продираешься сквозь чащобу и не знаешь, где в какую яму попадешь и какой сук свалится тебе на голову. Пересдача казалась кошмаром. Два раза восходить на лобное место... Кому-то пришлось проделывать это даже трижды. Остальные экзамены тоже не выглядели прогулкой по райскому саду, но на них можно было как-то выкрутиться. На арабском — никогда.

Впрочем, экзаменаторы не всегда были вампирами. Однажды великий Габучан во время экзамена вышел в коридор, повел вокруг очами и вдруг обратился к дрожавшему студенту Серёже Жилкину.

— Что, Жилкин, — спросил он, — боишься Грачью Михайловича?

— Боюсь, — тихо отвечал Серёжа.

— Ну, тогда пойдем выпьем коньяку, чтобы не боялся.

Габучан повел его в распложенный неподалеку от ИВЯ, на углу улицы Горького и Манежной площади, ресторан «Националь», где они выпили по хрустальной рюмке. Вернулись обратно, и Жилкин сдал арабский, если память не изменяет, на четверку.

У востоковедов, в особенности у арабистов, есть чувство корпоративности. Тем более, если они закончили один институт. Говорят, что сейчас это чувство размывается. Но у бывших поколений оно сохранилось. Помочь своему — это у нас в крови.

Не помню, чтобы кто-нибудь из наших плохо отзывался об ИВЯ. Те учителя, которых мы поначалу боялись, теперь вспоминаются самой доброй памятью. Все мы разбежались кто куда. Но на тридцатилетний юбилей института очень многие из нас выбрались. Праздник проходил на Ленгорах. Большой зал, президиум, шум. Называют ректора, при котором мы учились, завкафедрой арабской филологии профессора Сан Саныча Ковалёва. Все встают. Не договариваясь, каждый сам по себе. Овация. Не видел, были ли слезы на глазах у Ковалёва. У моего соседа они появились.

Но это потом. А пока мы, уча арабский язык, начинаем задумываться, что дальше. Наступил третий курс, а вместе с ним разговоры о студенческой практике, которая мыслилась не иначе как поездка за границу. Это сейчас все катаются, как хотят и куда хотят — были бы бабки. В наши времена пересечение госграницы было событием огромного масштаба. Для этого требовалась непонятная для современной молодежи «выездная виза».

Настал мой час. Пришла заявка (так, кажется, это называлось) на отправку на практику за рубеж, и получена с четырьмя — партийной, комсомольской, профсоюзной и административной подписями — положительная характеристика.

Как это было в Египте

Реактивный Ил-62 не походил на восемнадцатого «Ильюху», выглядел мощнее и торжественнее. Волнующий рев четырех расположенных в конце фюзеляжа движков, и... можно откинуться на спинку самолетного кресла.

В 1972 году была демократия: в самолетах курили. Люблю критиковать советскую действительность. Но прежний Аэрофлот вспоминаю с ностальгией. И кормили вкусно. Лучше, чем в американской «Панам» и французской Эр Франс, даже поили.

До Каира долетели незаметно. Сели. Трап, жара, бронемашины, мешки с песком. Сто метров пешком до здания аэропорта. Стеклопакетные двери. Возле них два человека со средним выражением лица: «Кто по линии Десятого управления?»

Я по линии этого управления. Сразу — в сторону. Ясно, мы на неформальной территории Советского Союза, рыпаться не надо — все будет правильно. Ведут... нет, не ведут — сопровождают до автобуса.

Первое, что я увидел на арабской чужбине, была птичка угод — по-арабски «худхудун», второе слово, выученное на уроках арабского языка. (Первое было «бэбун» — дверь.) Остроклювый худхудун ошеломил не меньше, чем увиденные впоследствии Лувр, Рейхстаг, Трафальгарская площадь, мавзолей Мао Цзедуна, Нью-Йорк после 11 сентября. С замиранием сердца постояв возле равнодушного к приезжему из Москвы удода, проследовал в автобус.

Автобус тронулся, и я попал не просто в дорогу для советского человека за границу, но в тот самый арабский мир с его арабским языком, который в муках изучал.

У разных арабистов самое первое восприятие арабского мира — различно. У тех, кто в юности попал туда с дипломатами-родителями или, например, на долгую учебу, оно иное, чем у тех, кто его «выстрадал». Одно дело, когда тебя привезли. Совсем другое — когда ты попадаешь туда один-одинешенек, беззащитный, без Грачьи Михайловича и не знаешь, что от тебя потребуется завтрашним утром. Один на один с арабским миром и его языком.

Арабский окружил и подавил меня с самого первого момента. Одно дело смотреть напечатанные на папиросной бумаге учебные тексты, другое — упереться взглядом хоть в магазинную вывеску. Отдельные буквы еще понятны, но слова...

Автобус катил нас по каирским унылым городским окраинам, а надежда — вдрут повезут через центр — истаяла. Привезли в спальный район «Мадинат Наср», где и

обитали советские советники. Этих мадинат-насров (еще их звали «наср-сити») было несколько штук, меня подвезли к шестому, самому отдаленному.

Вселили в 10-этажный дом с 10 (или 12) подъездами. На каждую круглую лестничную клетку приходилось 8 квартир. Я попал в 10-й подъезд на восьмой этаж. Там жили только наши.

Мне досталась комната в двухкомнатной квартире с каменными полами (на востоке полы везде каменные), где проживал майор из Череповца, с которым мы сдружились за считанные полчаса. Я привез водку, а у соседа в огромной банке была присланная из дому замечательная, с легким сахарным оттенком сельдь.

Стало душевно. На какое-то время я даже забыл, где я и зачем сюда притащился. Восточная экзотика отступила в тень.

На всякий случай подошел к окну, взглянул на Каир и расстроился. Расстилавшийся перед взором кусок египетской столицы был скучен, как первые Черёмушки. Слева — дома из еще не снятой «Иронии судьбы», прямо — одно-двухэтажные белые домики за глухими заборами. Справа — желто-рыжие холмы.

Меланхолия упрочилась по мере знакомства с жилищными условиями. В душе по потолку и стенам скакали жизнерадостные тараканы. Еще один таракан меланхолично устроился на моей подушке.

Стоило из-за этого годами зубрить арабскую грамматику.

Настроение улучшилось утром, когда на рассвете запел, призывая на молитву правоверных, муэдзин. Этот звук заполнял все пространство, возносился к небу и, отражаясь от него, разбегался за горизонт. Сказать, что он завораживал — ничего не сказать. Азан заполнил душу (это я как исламовед говорю). Подобное волшебное звучание я слышал потом только единожды — зимним утром в Казани, в Старо-Татарской слободе.

Тем же утром за мной приехал микробас и отвез в «Риас», где наше командование руководило нашим военным присутствием в Египте. Формально никаких советских войск в стране пирамид не было. Однако кое-что на глаза попадалось. Это вроде как сегодня Частная Военная Компания (ЧВК) «Вагнер», которой нигде нет — ни в Сирии, ни в Ливии, ни в иных африканских царствах-государствах. В советские времена ни о каких ЧВК и речи быть не могло. Зато в 1970-х был анекдот: что самое сложное для советских летчиков во Вьетнаме? — во время полета одной рукой держать раскосыми глаза, дабы походить на вьетнамцев. Впервые этот анекдот появился еще в 1950-е, когда наши летчики *не участвовали* в корейской войне.

Короче, заезжаем в ворота, а навстречу — строй, славянская рота в местной форме. Шагают в ногу. Раздалась команда — «Стой, направо!» Понятно без перевода.

Не то чтобы я слишком удивился присутствию в Каире Красной Армии. Но вот увидеть это воочию было необычно. ...Первым вопросом, который был задан мне начальником переводчиков всего Египта полковником Пеговым, был: в какой организации состоишь — в профсоюзной или спортивной? Вопроса я не понял. Состоял ли я членом «профсоюза студентов», не знал, а что касается спортивной организации, то промямлил, что спортом не занимаюсь, хотя играл в шахматы за институтскую команду.

Переводчиков начальник внимательно посмотрел на меня, в его глазах промелькнуло медицинское любопытство. Пегов переспросил в упор — ты в партии или комсомолец? Так я узнал один из главных не подлежащих разглашению военно-политических секретов СССР: в несоциалистическом зарубежье КПСС и ВЛКСМ переходили на нелегальное положение (ну, вроде как большевики-подпольщики в годы царизма или «молодая гвардия» при немецкой оккупации). «Спортсмен», — сознался я.

Мне сообщили, к какой группе я приписан, выдали 20 египетских фунтов и отправили домой, сказав, что скоро за мной придут и увезут на место работы. Ждать пришлось долго.

И вот почему.

В разгар конфликта

Судьбе было угодно, чтобы я появился в Египте в разгар конфликта между тогдашним египетским президентом Анваром Садатом и советским руководством. Тесных отношений, как и при Гамале Абдель Насере, тогда не было. Москва оказывала военную помощь, но достичь равенства с Израилем по боеготовности и умению воевать египтяне и остальные арабы не могли. Израильцы владели оружием с большей ловкостью. Да и не надо забывать: они сражались за собственное существование как государства. Им некуда было отступать.

Арабам неудачи казались временными, случайными, они были уверены, что обречены на успех. 100 миллионов арабов против 4 миллионов каких-то евреев, пробравшихся на арабские земли. И главный союзник арабов СССР обязан давать им *наступательное* оружие, его советники призваны учить арабов наступательному бою.

Русские же, возмущался Садат в 1972 году по телевизору, учат нас бою оборонительному. Их советники — «оборонщики», а оружие — «оборонительное». В Москве такой постановке вопроса удивились. Отличить оборонительное оружие от наступательного непросто. Вот штурмовик — это оружие наступательное. А стреляющие по нему зенитка или ракета это что — наступательное или оборонительное?

Короче, Садат заявлял, что Советский Союз сдерживает арабов в их справедливой борьбе. Не дает им развернуться. Надо признать, в Кремле и в самом деле не ведали, как разрулить арабо-израильский конфликт. Проигрывают арабы — плохо, потому как это подрывает авторитет СССР, побеждают арабы — кто знает, что им придет в голову. От лозунга «сбросить Израиль в море» никто не отказывался. Затяжной конфликт был на руку Москве, поскольку гарантировал ей присутствие на Ближнем Востоке.

Садату же была нужна победа, которая укрепила бы его власть, сделала его безальтернативным, единственно возможным лидером и в Египте.

Еще одна причина ухудшения отношений между Каиром и Москвой заключалась в том, что Анвар Садат никогда не приветствовал односторонней ориентации Насера на Советский Союз. Выражаясь современным политическим языком, он предпочитал многовекторность. И одним из векторов был Запад, прежде всего Соединенные Штаты. Он искал сближения с американцами, а одним из лучших путей к этому становилось ухудшение отношений с СССР.

Пройдет семь лет, и в 1979 году в Кэмп-Дэвиде Садат подпишет знаменитый мирный договор с Израилем, с тем самым государством, которое в знаменитой книжке Насера «Философия революции» было названо «не более чем детищем империализма». За кэмп-дэвидское соглашение Садат будет заклеен арабскими националистами и исламистами, а в 1981 году убит на трибуне во время военного парада членом организации Братьев-мусульман лейтенантом Исламбули.

В следующем, 1973 году произошла очередная, как обычно короткая арабо-израильская война, которую в Каире объявили победной, хотя полноценной победой она не была — египтяне вернули захваченный израильцами в 1967 году Синайский полуостров, но затем их войска были остановлены, так что это столкновение закончилось «вничью».

Итак, в 1972-м Садат принял решение отправить домой советских советников. Наши возмутились, но настаивать не стали, а решили «пошутить». Тут обнаружился нюанс: советские военнослужащие в Египте делились на две категории: советники (хабиры) и специалисты (мусташары). Первые пребывали непосредственно в войсках, вторые, технари, обслуживали технику и обучали египтян с ней обращаться.

Говоря о высылке, египетский президент имел в виду только хабиры, а в Москве приняли решение вернуть домой всю (почти всю) военную миссию, включая мусташаров. Таким образом, после отъезда советских друзей египтяне были вынуждены самостоятельно осваивать новую военную технику и обслуживать старую. Это не всегда получалось. Рассказывали, что на базе BBC под Асуаном, где стояли

бомбардировщики Ту-16 (военный аналог Ту-104), после отъезда советских спецов подняться в воздух смогли только два самолета.

Вывозить своих из Египта в Кремле велели немедленно, за считанные дни, а то и часы. И началась эвакуация, которая сопровождалась немыслимой суетой. Как говорится, «пожар в сумасшедшем доме во время наводнения». Как рассказывали приближенные к начальству люди, неизвестно было даже сколько «наших» в Египте, сколько их в каждой отдельной группе. Расхождение между официальными цифрами и реальным количеством людей порой было в разы.

В нашем подъезде наступила паника. Народ сновал по круглым лестничным площадкам, слышались нервные женские голоса. Вскрикивали брошенные без присмотра дети. Надо было куда-то запихивать закупленные в здешних магазинах шмотки, а доставать пустые коробки было трудно.

К подъезду подкатывали автобусы. Шла быстрая погрузка человек и вещей. Говорили, одна семья, погрузив в автобус ковры, забыла про детей, что обнаружилось лишь в аэропорту. Пришлось за ними возвращаться. Над Мадинат-Насром пролетали тяжелые самолеты. Мне показалось, что они грузовые. Оказалось, так оно и было на самом деле. Пассажирских лайнеров не хватало. Приказали грузить людей в транспортники, предварительно снабдив их ватниками. Помните, как во время полета ласковым голосом объявляют, что температура за бортом минус 50 или сколько там еще градусов. Внутри «грузовиков» не сильно теплее.

Первые рейсы с «возвращенцами» на родине встречали с оркестром. Последующие — без музыки...

После эвакуации я оставался один в десятиэтажном доме. Спасибо, что воду не отключили. В подъезде на месте консьержа сидели два автоматчика. Так меня никогда в жизни не охраняли.

Позже выяснилось, что в суматохе про меня просто забыли. Двадцать фунтов таяли. Захваченная из дому колбаса кончилась. Покупал я самое дешевое, например, арбуз, на который немедленно сбегались мелкие насекомые.

Из развлечений были пешие прогулки по окраинной каирской улице, по одну сторону которой стояли высокие дома, а по другую катились вагончики наземного метро. Самой большой финансовой тратой оказалась стирка белых брюк (военную форму еще не выдали), на нее ушло фунта полтора. Пиво я не люблю, а то бы совсем разорился.

Зато была масса свободного времени, которое я использовал для совершенствования арабского языка. Практически занятия заключались в том, что, задерживаясь возле лавочек, я пытался понять, о чем разговаривают между собой торговец и покупатель. Иногда что-то улавливал, чаще — нет. Зато к манере разговора, к интонациям привыкал. Возвращаясь в квартиру, которая казалась тюремной камерой, записывал услышанные выражения. Иностранный язык можно учить где угодно и как угодно — и не только от усердия, но и просто от скуки.

Дальше так продолжаться не могло, и я рискнул сам поехать в РИАС. Ехать пришлось в двухвагонном метро-трамвайчике четыре остановки. Добравшись до РИАСа я информировал не помню кого, что, мол, есть такой переводчик, которого назначили в такую-то группу, а что ему делать он не знает. Похоже, «риасовец» не слишком врубился, но что-то записал, строго посмотрел на меня и велел ждать.

Не до меня там было. Приказ из Москвы предписывал уничтожить всю документацию, чтоб «не досталась врагу». Ну, вроде как в 1942 году взорвали Днепрогэс. В «Риасе» жгли ненужные бумаги, заодно и барановские словари. Я стоял, как замороженный, это было такое же кошунство, как сожжение иконы язычниками. Плавno перелистывались огнем страницы.

Скоро обо мне вспомнили. Хоть было понятно, что меня просто потеряли, виноват оказался я. Спорить бессмысленно, тем более что мне было все равно, куда повезут, куда поведут.

Один за двух

Повели в соседний подъезд, где кучковалась группа, к которой я был приписан. При встрече с соотечественниками я испытал чувство Робинзона Крузо, увидевшего парус на горизонте. В группе было два летчика и пять технарей. В придачу им были даны три переводчика, два с английским, один, то есть я, — с арабским. Вообще-то должно было быть целых два арабиста, причем толковых, а не как некоторые...

Старшего группы, майора, звали Андрей Васильевич Ена. Его знавали некоторые мои приятели-арабисты, и каждый рассказывал о нем только хорошее.

Почему после эвакуации оставили именно нашу группу, не могу сказать, может, по ошибке, а может, потому, что ее задача заключалась в обучении египтян владению новейшей техникой. Такой техникой в то время был признан штурмовик Су-17 с изменяющейся геометрией крыла (по-арабски — «джанах мутахарика»).

В то время, однако, египтяне мечтали о тогдашнем чуде техники, истребителе МиГ-23, который только начинал приходить на смену знаменитому во всем мире МиГ-21. «Сушки» обрели всемирную славу позже.

И покатались мы на микробасе в Бильбейс, на базу ВВС километрах в 80-ти на северо-восток от Каира. Въезжаем. Пустыня, а из песка кое-где торчат боевые самолеты. Выглядят они заброшенными, некоторые вообще завалены на одно крыло. Жалко. Как выяснилось, жалеть их было ни к чему — то были фанерные макеты, чтобы сбить с толку израильского агрессора. Имитация была великолепной. Делать декорации египетские специалисты научились.

В 1998-м меня возили из Ашхабада в расположенный на юге Каракум Серахс, где соорудили железнодорожный узел, который должен был стать главной и единственной транспортной развязкой между Ираном и Центральной Азией. Проезжали мимо бывшей базы советских ВВС. Там из песка тоже торчали самолеты, но это был не камуфляж, а реальные «самолетные трупы». Было больно и обидно смотреть на эти огрызки советского могущества.

Надо признать, египтяне умели делать не только камуфляж. Многие хотели учиться, с уважением относились к нашим специалистам.

Хотя временами восточная инертность, фатализм приводили привыкшего к порядку советского человека в отчаяние. Объявляют воздушную тревогу. Где-то летают израильские асы. Долетят они до нас или нет, непонятно, скорее всего, вряд ли — слишком далеко забираться в Египет командование позволяло им только в особых случаях. А у нас на базе — час мусульманской молитвы. Тревога объявлена, а правоверным хоть бы хны.

— Они совсем оборзели? — (употребляя другое слово) интересуется специалист по САУ Леонтий Амплиевич Исаков. И что мне, востоковеду, ответить? Рассказывать о традиции, о религиозной идентичности?

Случалась и русско-православная беспечность. Жарко, хочется покурить в холодке. А тут под боком склад, дверь в который не закрыта. Там, внутри, прохладно и ящики, ящики, на которых нарисовано что-то темное. Сажусь на ящик, закуриваю. Вдруг заходит Ена и делает мне замечание в матерной форме.

Оказывается, я расслабился на ящике с бомбой.

Так что одни молятся при артналете, а другие равнодушно дымят верхом на бомбе. Вот она схожесть русско-православной и арабо-мусульманской идентичностей. В 1992 году журнал «VIP» опубликовал мою статейку «Русские не арабы, но как похожи».

В авиационных терминах я разбирался, как известное животное в апельсинах. Ну, не попадались они мне по жизни. Здесь не мог помочь даже великий и могучий барановский словарь, тем более что он был арабско-русским, а мне требовался русско-арабский, причем технический. Представьте, что вы попали в темный коридор без фонаря, а ваша задача не только самому идти по этому коридору, но еще послужить провожатым целой веренице бредущих за вами горемык.

Поздно кого-то критиковать, но советское Министерство обороны могло бы и позаботиться о «переводилах» и оснастить несчастных подходящими словариками. Увы, в МО всегда был и сохранился избыток стратегов, но не прагматиков. Тому свидетельство и «вхождение» ограниченного контингента в Афганистан, и чеченские войны.

Помощь пришла неожиданно. Кто-то из ИВЯшных приятелей перед отъездом на каирскую Голгофу осчастливил меня собственным, *созданным вручную*, словарем технических терминов — толстой тетрадью с каллиграфически выписанными словами. Передачу тетради приятель снабдил следующим выражением: «Она мне теперь не за хрен, а тебе может пригодиться». И пригодилась!

Тетрадь оказалась бесценным даром. Например, там был перевод слова «тангаж» — кто из нормальных читателей ведаёт, что сие значит? А это когда самолет идет сначала вверх, а потом вниз. По-арабски — «сууд валь хубут». Красиво звучит, а попробуй запомни. Оттуда-то я узнал и про «джаннах мутахарика».

...Занятия с лётным составом должны были начаться через три дня после приезда, а голова уже распухла. Кроме терминов, т.е. существительных, приходилось ориентироваться еще в глаголах. Арабские глаголы это вам не гамлетовское *to be or not to be*.

А еще предстояло осваиваться в новом житье-бытье. Сразу стало ясно, что наше жилище — не пятизвездочный отель (впрочем, о существовании таковых я даже не подозревал, да и были ли они в начале 70-х прошлого века). Смотрелось оно более чем скромно, хотя поначалу могло показаться уютным. Четыре кровати, столько же прикроватных тумбочек, один обеденный стол. Один на всех санузел с ванной, которая, судя по ее чистоте, появилась еще в эпоху фараонов. Другая отведенная нашей группе комнатенка была столь же непритязательной.

В комнатах было по два окна, под которыми проходила не то канава, не то маленький окопчик. Дом был двухэтажный. На втором этаже, где мы и зажили, имелся небольшой холл, за холлом веранда, на веранде тоже стол, цветной телевизор и большой коричневый шкаф, на крыше которого проживала большая крыса — у нее там располагалось родовое гнездышко. Крыса вела себя дружелюбно, и когда мы играли в карты, иногда спускалась вниз и неторопливо фланировала у нас под ногами. Кто-то даже придумал для нее имя — «крыска Толя». Почему «Толя» — не помню.

В остальных двух комнатах жили по два летчика — два наших, два египтянина.

О наших летчиках сложилась легенда. Еще до Египта я где-то прочел, что в один прекрасный день два египетских самолета, нарушив негласную договоренность, полетали над одним израильским городком на столь малой высоте, что в окнах повывлетали стекла. Получился скандал. Позже выяснилось, что это на спор — кто ниже пролетит — резвились советские асы, якобы наши соседи по «отелю». Рассерженное советское командование будто бы уволило обоих «чкаловых» из армии, но потом восстановило, и один из лихачей даже командовал авиаполком.

С нашими летчиками я не общался, а с арабскими лейтенантами Саидом и Мухтаром — сколько угодно. Вместе с другими летчиками они осваивали «сушки». И Саид, и Мухтар вели себя слегка горделиво, а у меня почему-то возникла мыслишка, что они направлены в эскадрилью еще и для того, чтобы приглядывать за нами. Хотя приглядывать-то было незачем. Я с ними сблизился — порой просил помочь разобраться в авиа-языке, и они помогали, хотя и ухмылялись.

Мухтар собирался жениться, и его невестой была дикторша с каирского телевидения. Как-то раз мы даже встречались — красивая, с умными «нефертитиевскими» глазами египтянка.

Первое написанное арабскими буквами слово, которое попало на глаза в коридоре с учебными классами, было «ат-табелька». Дважды прочитав его и ничего не поняв, я готовился раскрыть самодельный словарь, однако Саид разъяснил его смысл. Непонятная надпись означала «расписание полетов», а пришла она из чешского языка.

Позже, когда я работал в 80-е в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма», это слово неоднократно попадалось мне на глаза в разных учреждениях. Табелка по-чешски — просто-напросто расписание. А в «расписание полетов» в Бильбейсе оно превратилось потому, что до нас работали там чехословацкие товарищи, тренировавшие египтян на самолетах Л-29. На базе сохранилось несколько этих элегантных, женственных самолетов, напоминавших, скорее, о балете, чем о войне.

Не помню, какой была тема самой первой лекции, но мне показалось, что кое-что из моего перевода до слушателей дошло. Наступил час вопросов. У меня покраснели уши. Говорить я еще кое-как мог, но вот понимать вопросы... Каждый дилетант знает, как это сложно. Сейчас, — мелькнула мысль, — вот тот, который внимательнее всех меня слушал, подымет руку и... Именно этот и спросил. Я чуть не заплакал от радости. Он задал вопрос на арабском литературном языке, которому меня почти четыре года учили. Я его понял! Наверно, такое радостное чувство испытывает случайный олимпийский чемпион, дуриком занявший золотое первое место.

Назавтра наступили суровые, изматывающие от необходимости ежеминутно слушать и понимать, арабские будни.

Перевод — профессия многогранная, особенно если ты один. В обязанности одного-единственного входило:

- переводить лекции (если твой перевод понимают);
- находиться при технаре, который объясняет, что и как нужно подкручивать в самолете;
- быть в постоянной готовности, если вообще кто-то попросит тебя что-то перевести;
- по распоряжению начальства письменно переводить что-то из технического описания;
- и вообще быть готовым к любым неожиданностям самого разного характера.

Переводить приходилось все! Например, «да скажи ты ему, что он м-к, пошли его к...» Если задержался, торопят, переспрашивают, «ты его точно послал?» Тот, кого посылают, может и сам послать. Египетский мат я старательно записывал в книжечку, а потом заучивал. Помогало. Египтяне, в свою очередь, любопытствовали насчет русского мата и оказывались прилежными учениками.

Рядовой арабский переводчик трудился «прислугой за всё», что было малопривлекательно, но полезно — когда еще придется каждый миг тренировать себя в иностранном наречии.

Бывали, конечно, и счастливые мгновения. Лежишь порой под деревцем на травке в «душме» — так по-бильбейски звалась самолетная стоянка — жуешь зеленый тонкокожий лимон и смотришь, как «твой» спец Коля Тымчик с помощью рук растолковывает египетскому сержанту, чего куда крутить. Следовало бы подойти и помочь, но так не хочется выползти из тени.

Есть два стиля переводческого труда. Первый — выучил наизусть все слова-термины — и хоть трава не расти. Он говорит — ты переводишь. У него спрашивают, ты ему переводишь. Я ему перевел, я тебе перевел, а дальше пошли вы все — и по-русски, и по-арабски.

Другой стиль иной: сначала разберись во всех этих железяках, проводах и переключателях, а уж потом толкуй, иначе говоря, не переводи, а объясняй. Как, например, дословно перевести на арабский «чрезпериодный компенсатор малого усиления»? Есть такая хрень в какой-то настройке. Этот «выражанс» мне однажды в Алжире достался. Ничего — выкрутился.

Я принял второй стиль, пытался сначала во всех технических деталях разобраться сам. Повзрослев как переводчик, я стал допускаем в кабину пилота. Мне там сразу понравилось. Посидев несколько раз в кабине, узнав, где и что надо нажать, чтобы проехать по бетонной полосе метров двадцать, и как правильно катапультироваться, я попросил Ену прокатить меня на «спарке» — учебном самолете с двойным

управлением — и дать самостоятельно порулить хотя бы минутку (вот она переводческая наглость). Андрей Васильевич с нежным изумлением посмотрел на меня, и сказал:

— У тебя там, наверху... чего-нибудь вдруг... а у меня — семья, дети...

К этой теме я больше не возвращался. Но почувал, что «магия полета» существует. Однажды не удержался и спросил Ену: а если бы я сейчас — в лётное училище?..

— А тебе сколько?

— Двадцать один годик.

— Поздновато, — последовал ответ.

Так что летчика из меня не получилось. Скажи тогда Ена что-то вроде «пойди, попробуй, поступи в лётное», глядишь, и закончилась бы моя арабистская карьера.

Однажды Ена выплеснул афоризм, запомнившийся на всю оставшуюся жизнь, и к которому советую прислушаться нынешней молодежи. Мы стояли около «Сухого», и я с ученической непосредственностью спросил:

— Андрей Васильевич, у кого лучше — у нас или у них.

— У нас лучше, у них — полезнее.

Думайте как хотите. Не хватало и не хватает стране таких вот прямых честных офицеров.

Слава богу, курсы для летчиков читались больше по-английски, но все остальное падало на меня. Торчать под самолетом, где постоянно что-то отключалось, вошло в привычку. Я даже испытывал нечто вроде самолюбования, когда произносил слова вроде «разъем», «шайба», «дренаж», порой даже показывал, где надо крутить и на что нажимать. Общий арабский язык с подопечными постепенно устанавливался.

Однажды на «Сухом» протерся шланг высотомера. Они часто рвались, но сейчас это произошло совсем некстати. «Касура» (сломался), — развел руками сержант. «Касура» было одним из самых распространенных слов в аэродромной практике. По правилам, следовало идти и информировать о происшествии мусташара. Народ засуетился, все глядели на меня, ибо в этой идиотской ситуации решающее слово оказалось за переводчиком. Было жарко, под крылом собралось несколько человек, и один из них предложил «попросить Мухаммада».

— Позови, — разрешил переводчик.

Из-под фюзеляжа выполз сонный чернокожий толстяк в синем комбинезоне, взглянул на нас и развел руками. Что сказал ему сержант — я не понял. Но «судани» — так называют в Египте выходцев с юга — улыбнувшись, перекусил зубами толстую черную резину и протянул ее мне. Потом «судани» залез обратно в подсамолетную тень, а я отдал перекушенный шланг сержанту. Ремонт закончился на редкость быстро.

Мне выделили отдельный «кабинетик», куда заходили с разными вопросами сержанты и рядовые. Однажды притащили что-то вроде термометра — «касура». Сделав умный вид, я обещал разобраться. На следующее утро обнаружил на столе темную нестираемую жидкость, которая оказалась... ртутью. Ртуть убрали, кого-то наказали. Скандала не получилось. Но кто-то сказал: это была провокация, тебя, дескать, хотели отравить, чтобы нас отсюда убрать.

Не верил и не верю. Это все от восточной расхлябанности, вроде как взрыв селитры в бейрутском порту в 2020-м.

Работала наша группа много. Мусташаров уважали. Когда настало время расставаться, а выяснилось, что группа уезжала до полного завершения программы, возникла смешная и грустная ситуация. Спец по двигателю Саша Мясников прямо на самолете сказал, что работает сегодня последний раз, а завтра уезжает. Египетский напарник схватил его за рукав и не отпускал, крича: «Как же ты можешь, ведь мы же вместе работали, что мы без тебя будем делать...» Мясников едва вырывался из его рук. Сам видел и слышал.

Мясников интересовался политикой. Как-то раз, слушая по телевизору выступление Садата, критиковавшего советскую внешнюю политику (а я это переводил),

он вдруг вскрикнул: «Что ему надо, да не хочу я за них подыхать...» Это уже не легенда. Я Саше сочувствовал. Это же моя, а не его профессия — я разгуливал в египетской военной форме и с русской физиономией. Однажды в спину запустили камень и попали. И в тот же день полицейский остановил поток машин, чтобы русский хабир мог перейти улицу, да еще козырнул. Ну, прямо для документального пропагандистского фильма.

Как-то сидим за полночь ну и, ясное дело, отдыхаем. А на аэродроме что-то случилось. Надо срочно ехать. Везут. Выясняется, что кто-то при посадке перерубил аэродромный кабель, и все потухло. Службы аэродрома спохватились и вместо погасших огней расставили керосиновые лампы. Поверить трудно, но поверьте: все обошлось.

Нас позвали на всякий случай — вдруг кто промахнется. Никто не промахнулся. Мы просто посидели в соломенных креслах и полюбовались на красивое зрелище — керосинки, реактивные самолеты... Потом отправились доужиновать.

Случавшиеся время от времени военные действия нас никак не касались. В начале сентября по телевизору мы узнали про израильские налеты. Назвали даже населенный пункт, на который они сбросили бомбы. Прикинули расстояние — оказалось, до нас лёту минуты полторы. Хмыкнули и продолжили играть в карты.

Не без приключений

Что я переводчик, официально нигде записано не было. В пропуске на базу рядом с моей фотографией было указано: летчик — «таяр». Пропуск с этой гордой надписью выдали после того как однажды меня задержала охрана, не пропустив на базу. Я возвращался туда в одиночестве. Справка, удостоверявшая личность, не сработала — бумажка была маленькой и измятой. Да и вытаскивал я ее неуважительно — из заднего кармана штанов. Это вызывало подозрение.

Меня заставили выйти из уазика, повели к одноэтажному домику охраны и поставили носом к стенке. Один «сторож» бросился звонить по телефону, а меня окружило человек пять охранников. Что-то объяснять солдатам было бессмысленно.

Часы показывали полдень, тени не было нигде. Обоюдное раздражение нарастало. К этому времени я насобачился бойко переругиваться на иностранном языке. Поначалу охранникам это даже нравилось. Но конфликт затягивался. Мне велели встать к стене лицом, «поставили к стенке». Раздалось щелканье затвора. Я в шутку поднял руки.

Позже в кругу друзей я рассказывал, как меня чуть не расстреляли и как страшно «стоять у стенки». На самом деле было весело. Растерянные египтяне не знали, что со мной делать. Они отвели (чуть не оттащили) меня от «места казни». Потом, прислонив к той же стене автоматы, ушли в свой домик, где было прохладнее. Я же, посидев на лавке, прихватил пару автоматов и отправился пешком по шоссе напрямик к месту службы. Можете себе представить подобную сценку в советской армии?

Охрана быстро спохватилась, догнали меня, я сам сдал им их же оружие. Тут и пришло указание пропустить этого русского. Мои сторожа довели меня до машины, а один даже помахал на прощание рукой.

Зато о другом случае вспоминается не столь весело. Мы ехали на базу, и вдруг по дороге произошло несчастье — у микробаса лопнула камера. «Касура». Предстояло менять колесо. Все случилось на окраине Каира. Микробас остановился, мы вышли, водитель Габер достал домкрат. За несколько минут вокруг собралась толпа мрачных мужчин, многие с автоматами за плечами. Они в упор разглядывали незваных пришельцев. Мне удалось заговорить с одним из них — он оказался палестинцем. Мы очутились в «палестинском районе» Каира и находились в окружении беженцев.

Так и простояли в молчании целый час, пока Габер менял колесо. Сели в машину, тронулись, я оглянулся. Никого уже не было. Ничего страшного не случилось. Но эпизодик запомнился.

Не представляю себе египтян, стоящих в такой же ожесточенной позе. Им далеко до палестинцев. Разная история, разные традиции. И те, и другие — арабы, но различаются между собой столько же, сколь и их диалекты.

Еще одна поездка обернулась настоящим приключением. Ена разрешил съездить в музей Араби-паши, выдающегося египетского политика, в 1881 году поднявшего восстание под лозунгом «Египет для египтян», а в 1882-м на недолгое время ставшего главой страны. В историю он вошел как вождь национально-освободительного движения. Но в столкновении с английской армией его войска потерпели поражение.

Музей находился неподалеку от города Загазига, который был намного больше Бильбейса, а его центр выглядел вполне по-европейски.

Я выпросил пистолет, засунул его под сидение автомобиля и отправился на экскурсию. Добравшись до музея, двухэтажного белого здания посредине деревни, я обнаружил, что он закрыт. Закрыт наглухо, ни одного сотрудника поблизости не было, а собравшиеся вокруг жители долго не могли понять, зачем меня сюда занесло. Наконец к машине пробился парень студенческого вида и, узнав зачем этот русский сюда приехал, обещал помочь.

«Студент» исчез и вскоре появился с двумя традиционного вида немолодыми людьми в фесках, которых он представил как директора музея и его заместителя. После приветствий они выразили радость по поводу моего стремления ознакомиться с жизнью и деятельностью великого египтянина, но признались, что музей они сами давно не посещали, а ключ куда-то заделался. Чтобы попасть в музей, надо было открыть дверь изнутри. Двое сотрудников полезли в окно. Чтобы не терять времени, я отправился вслед за ними.

И тотчас же началась экскурсия, которая продлилась больше часа. Первый этаж был посвящен Араби-паше, на втором размещался небольшой музей быта — этакое смешение истории, политики и этнографии.

По завершении экскурсии я вручил «гидам» небольшой гонорар, и тем же манером мы троим вышагнули из окна на землю. Все шло хорошо, но, подходя к машине, я обнаружил, что вокруг нее собралась толпа, все что-то кричат, да еще и расквашивают автомобиль. С трудом протиснувшись к машине, я залез внутрь, водитель завел мотор. Но толпа не расходилась — и тронуться мы не могли. Чего хотел «бурлящий народ», понять было невозможно. От волнения я, нащупав под сидением пистолет, скомандовал водителю: «Вперед!», и он, тоже обалдевший, поехал прямо на людей. Те расступились, разбежались, и мы вырвались на проселочную дорогу. Будь на месте египетских феллахов палестинские федаи, все обернулось бы куда хуже.

Благодаря визиту в музей Араби-паши, я узнал сразу несколько новых слов на литературном языке, поскольку именно на нем была прочитана лекция, а новые термины всегда сопровождались указанием на те или иные предметы египетского быта. Об инциденте в музее я долго никому не рассказывал.

И еще одна история, по нынешним временам пустяковая, а по тогдашним — рискованная. Задружился я с египетским стажером Ахмадом, который учил русский и, как и я, учился на переводчика. Парень был застенчивый, русский знал не хуже, чем я арабский, но мы договаривались.

Как-то раз Ахмад предложил мне прокатиться в гости к его родственнику, мужу его сестры, Исмаилу. Докладывать по команде я не стал, а, нарушив правила поведения советского гражданина за рубежом, отправился с Ахмадом в гости к Исмаилу, который жил на окраине все той же Загазиги.

По дороге Ахмад сообщил, что его дядя состоял в Организации Братья-мусульмане и в 1954 году сел в тюрьму на три года. Кстати, в 1958 году Братья в очередной раз безуспешно покушались на президента Насера. Получив такое приглашение сейчас, я бы задумался, но тогда Братья-мусульмане в моем сознании были не более чем парой абзацев в учебнике «Новейшая история арабских стран» (1967 г. изд.), по которому мы сдавали экзамен в ИВЯ.

Да и в наши времена, когда президент Путин в 2015 году встречался со ставшим на короткое время президентом Египта братом-мусульманином Мухаммадом Мурси, контакты с организацией БМ, упоминание которой сопровождается формулировкой «запрещена в России», не криминально. Кто только в Кремль из числа запрещенных организаций не шастает? Политика-с.

Дядя Исмаил жил на втором этаже солидного, но обшарпанного дома. В небольшой гостиной на буром ковре стояли три кресла, маленький столик и мягкий диван. Дядя усадил меня на диван, его младшая дочь принесла две бутылочки колы. Потом, извинившись, он сказал, что пришло время молитвы. Дальше происходило то, что вполне сошло бы для киносюжета о диалоге цивилизаций. Брат-мусульманин молился, обратившись на стену, за которой на расстоянии тысячи полторы километров находилась священная Кааба, а я, сидя в военной форме на диване, потягивал пепси.

Когда дядя кончил молитву, появился Ахмад.

Разговор зашел о футболе. В Египте две ведущие команды — «Ахли», которая как-то раз в редактировавшемся сыном поэта Сергея Есенина Константином еженедельнике «Футбол» сравнивалась с московским «Спартаком», и «Замалек», которая, по мнению автора той же статьи, походила на «Динамо».

И разговор пошел. Брат-мусульманин был поражен, когда я сказал, что «Ахли» немного мельтешит с передачами в центре, а «Замалек» играет скучно. Говорили мы долго, и при этом ни слова не было сказано про ислам. Похоже, племянник Ахмад был разочарован, тем более что дядя чем дальше, тем больше углублялся в футбольные детали. Он даже вышел на лестницу меня проводить. Так что брат-мусульманин большим фанатизмом не отличался.

Зато веру в Аллаха продемонстрировали два летчика-лейтенанта, соблюдавшие пост, во время которого запрещается прием пищи до момента, пока черную нить нельзя отличать от белой. Так положено по исламской традиции.

Соблюдать пост надо, но и управлять самолетом тоже надо. Натощак это делать непросто. В Коране говорится, что не соблюдать пост позволено тем, кто в пути, а также тем, кто на стезе джихада. Вылеты на «Сухом» вполне подошли под вторую формулировку. К тому же Министерство обороны, с одобрения главного исламского университета аль-Азхар, приняло решение, что в армии несоблюдение поста разрешается, а в авиации соблюдение его запрещено под угрозой отстранения от полетов. Наши лейтенанты решили от полетов отстраниться. И тогда на двух (!) вертолетах на базу прилетел замминистра обороны, чтобы уговорить летчиков вернуться в строй. Замминистра я не видел, но оба вертолета торжественно протрещали над нашими головами. В итоге оба офицера согласились поесть и продолжить джихад.

Курсы для летного состава заканчивались, да и переводили их «англичане», я в основном был «на практической работе» — подкрути это, открути то, нажми сюда...

Но вот однажды меня попросили письменно сделать техническое описание самолета. Это, между прочим, много-много страничек, собранных в несколько брошюрок. Поначалу я испугался, а когда разобрался, то понял, что, во-первых, могу, а во-вторых, это не так уж сложно.

Сел переводить. Это избавило от ежедневных поездок на аэродром. Перевод продвигался быстро и успешно, тем более, что многие страницы дословно повторяли друг друга, и недели через две я предоставил толстую кипу листочков, сверху до низу аккуратно исписанных по-арабски.

По возвращении в Москву, когда с гордостью проинформировал военное ведомство, что помимо всего прочего подготовил письменный перевод техописания самолета, я получил по шапке, поскольку такие переводы выполняются за деньги по отдельному заказу «принимающей стороны», то есть египтян. Получилось, что я отнял деньги у коллег-переводчиков, которые сидят в Москве...

В нашем однокомнатном общежитии был принят распорядок, по которому ежедневно назначался дежурный, обязанный готовить обед, накрывать на стол, мыть

за всеми посуду и т.д. Согласно «договору», у дежурного не было никаких «прав человека». Так, он был обязан нарезать огурцы и помидоры так, как было угодно каждому из «клиентов». Бесправие дежурного было игрой, но каждый, вне зависимости от возраста и воинского звания, ее правила соблюдал. Иногда даже удостоивался похвалы за вкусно сваренный суп.

Однажды, оставшись дежурным, я достал из холодильника увесистый, аппетитный кусок мяса. Правда, мясо чуть настораживало своим излишне розовым оттенком. Варилось оно дольше обычного и на пробу было жестковатым. Проигнорировав данное обстоятельство, я торжественно поставил кастрюлю на стол. Съели, хотя и без особого удовольствия.

Вечером пользовавшиеся с нами общим холодильником египтяне спросили, не взяли ли мы по ошибке *их* мясо. Их мясо было ослиatinкой.

Вкусившие от приготовленного мною супа выразили негодование. В подробности вдаваться не буду. Но все же, поверьте на слово, если ослиatinка качественно приготовлена, она вкусна, только не стоит варить ее, как заурядную говядину.

С ослиatinой, точнее, с ослом, связан еще один казус. По дороге на базу мы однажды остановились на берегу одного из многочисленных рукавов нильской дельты. Сошли, подошли к мутной серо-коричневой воде. А по ней плывет осел (дохлый). Не помню, по какой причине, возникла дискуссия, но я вызвался тут же испить водицы из Нила. На спор. Опустился я на колени у великой африканской реки, зачерпнул ладошками воды и выпил.

Тут же подпрыгнул ко мне один из мусташаров с бутылочкой самолетного «горючего», которое я немедленно и принял. До сих пор жив и здоров. В 2020-м все кричали об угрозе всеобщего коронавирусного заражения. Друзья, надо правильно запивать и закусывать.

Клипы той жизни

То, что вы сейчас читаете, если еще не надоело, — не мемуары. Это — фотографии, или, как теперь модно говорить, клипы той жизни. У каждого арабиста таких клипов в запасе немерено. Кому они нужны? В первую очередь нам самим, ностальгирующим по молодым годам. Как заметил однажды Владимир Набоков, «человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом».

Но то, что я рассказываю о прошлом труде арабистов, в чем-то похоже на то, что происходит сейчас. Вот сбили однажды египетские зенитчики над Каиром израильский самолет, а он оказался египетским (сам Примаков рассказывал). А как успела соврать наша пропаганда, расхвалив успех египтян! Вранье — типично и для советской, и для постсоветской политкультуры. Недавно, в 2018-м, сирийские стрелки по ошибке сбили российский Ил-20. Виноват, как всегда, оказался Израиль.

Одна из «фотографий» моего бытия на Ближнем Востоке — прыжок в бассейн с десятиметровой вышки. Казалось бы, отнюдь не самое значимое событие. Но это как посмотреть. Захожу однажды в бассейн — кругом никого. Взбираюсь на последнюю ступеньку вышки. Голова кружится, поворачиваюсь, чтобы спуститься вниз. И тут является взвод египетской армии, выстраивается вокруг бассейна и смотрит, как советский офицер сиганет в воду. Сойти по лестнице нельзя — это измена родине. Прыгнуть — все равно что с самолета без парашюта. Зажмурив глаза, скакнул вниз. Арабисты не сдаются!

Когда я вынул голову из воды, раздалась бурные арабские аплодисменты.

...Выходной у мусульман, как известно, приходится на пятницу. Это, во-первых, для того, чтобы их не путали с иудеями, для которых день отдыха — суббота. Во-вторых, потому что пятница — еще и базарный день, когда после завершения торговли положено идти на общую молитву, послушать проповедь имама, а после обсуждать текущие вопросы, в том числе, как удачно или неудачно торговалось.

Так повелось еще со времени пророка Мухаммада.

Выходной в пятницу наступал и у советских военспецов.

В четверг мы отправлялись с базы в каирские апартаменты, где предавались заслуженному отдыху. Отдых был прост, как студенческая столовка. Я шел в магазин под написанной по-русски вывеской «Бакалея Льюис», где продавались колбаса, водка «Московская» и сардельки. Арабского языка не требовалось. Сам Льюис трепался по-русски лучше, чем я по-арабски. «Птички приносят», — объяснял он разнообразие и изысканность ассортимента его магазинчика. Однажды на вопрос, почему вторую неделю нет сарделек, он пожаловался, что «контрабандушка не пришла», потому как ее задержали в Сухуми. Кто забыл — в 1972 году Сухуми был столицей Абхазской Автономной Республики в составе Грузинской ССР. Я посочувствовал Льюису, потому что, бывая в этом замечательном городе, знал, какие там берут взятки за торговые, особенно незаконные операции.

Водка у Льюиса стоила дорого, да и особой потребности в ней не было — самолетного спирта вполне хватало. А к пиву «Стелла» я незаметно пристрастился, хотя запивать им алкоголь было небезопасно.

Мадинат-Наср скучен. Делать там совершенно нечего. Восточной экзотики никакой. Впрочем, иногда могли подкрасться женщины с закрытыми лицами, в темной одежде, из которой они вынимали одну, а то целых две груди и, покачивая головой, призывали: «Мистер, мистер». Местные сексработницы чаще всего обращались со своими предложениями в дни получения хабирами жалования, которое было весьма значительным. И спрос имелся, хотя такого рода контакты были строжайше запрещены.

Торчать на окраине в выходной невозможно. Хотелось в центр, в настоящий Каир.

Каир

Описывать Каир? Нет. Он описан и переописан. Пересказывать мнения других, эпигонствовать... Но делать что-то надо — какой арабист без Каира? Заранее прошу прощения за следующие странички. О чем они? О том, как я вживался в Каир, становился его частью. Казалось бы: эка невидаль. Попал в Москву — почувствуй себя москвичом, в Берлин — берлинцем, в Казань — казанцем и далее по списку.

Перебираясь из одного сумасшедшего города в другой (Москва и Каир города безумные), каждому приходится адаптироваться к чужому. Это непросто. Иду по арабговорящему Каиру и... не понимаю каирского языка. Экое унижение, чувство неполноценности для переводчика.

Улицы, дома, мужчины в длинных белых галабях, прилавки магазинов (тогда советские туристы именовали их «музеями»), красивые девчонки — ничто. Пока не начнешь понимать речь — ты чужой.

И вдруг на Фуаде (улице имени короля Фуада) разбираю несколько слов. Мужчины говорят о пиве. Поначалу дошло только «пиво», где и когда они хотят его выпить...

Следующее понимание было более продолжительным и пикантным. За мной пристроились девушки. Сначала они просто хихикали низкими голосочками. Но постепенно девичий разговор становился все более внятным. Я стал прислушиваться. Много новых слов узнал я тогда, одним обрадовался, от других стало обидно. Пусть мне потом рассказывают о взывающем к женской нравственности шариате. В какую-то секунду я не выдержал, повернулся к девчушкам и спросил: «Ну, кто первая?» Барышни шарахнулись в стороны.

Я же с достоинством продолжил прогулку. Что хотите думайте, но я вдруг почувствовал себя своим. Покупая жидкое мороженое, своего арабского уже не стеснялся. Чуть позже сам (!) поднял руку, поймал черного цвета такси, да еще и объяснил шоферу, куда меня надо отвезти. Я останавливал прохожих и спрашивал, как пройти на соседнюю улицу. Они отвечали, и я их понимал. Так по мелочам вклеивался в Каир, становился его частью, обращался с ним по-свойски.

Даже зашел в мечеть, что по дороге к Хан-Халили. Но не потому, что хотел помолиться, а потому что туда шли одни мужчины...

Два слова о знаменитом рынке Хан-Халили. На Хан-Халили надо приходиться, чтобы обязательно что-то купить. Неважно что, важен сам акт покупки. Торг на его улочках — театр, в котором ты и актер, и зритель. Ты и в зале, и на сцене. Как «зритель» я покупал маме что-то бирюзовое, как «актер» — сидел за столиком с торговцем и пил густой сладкий кофе. Он сразу усек, что я пришел не глазеть, а покупать. Как будто следил, как я проходил мимо таких же лавочек, как замедлил шаг возле его магазинчика.

...Первая цена на серьги и широкое кольцо была заоблачной. Что это не более чем шутка, торговец не скрывал. Он рассматривал меня в упор и ждал реакции. Еще в Москве предупрежденный о местных торговых интригах, я назвал сумму в десять раз меньшую. Начался торг, даже не торг, а общение. Я курил длинную светло-коричневую «Нефертити», он — обыкновенную «Клеопатру», такие и в Москве в свое время продавались. Я понимал его арабский язык, он — мой. Он пару раз поправил мои грамматические ошибки, я растаял, но сдаваться не собирался.

Свою бирюзу я купил, надул он меня по-божески, и оба остались довольны друг другом. Спустя два месяца, шляясь по Хан-Халили, я к нему заглянул просто так, попить кофе, торговец меня узнал. Мы сидели за тем же столиком, а он красиво торговался с худым, в клетчатой рубашке немцем.

Такого количества золота, какое видел в Каире, я не встречал никогда. В СССР невозможно было представить золотых лавчонок, образовавших целые улицы. Наше золото сводилось к маминым серьгам и бабушкиному обручальному кольцу, которое она время от времени закладывала в ломбард. А тут целые улицы золота. А в кармане шуршат не переведенные в сертификаты фунты... Заглянул в магазинчик, на котором было написано «Шушани». Навстречу поднялся сам немолодой благообразный Шушани и разложил на прилавке деревянные дощечки с колечками, цепочками, кулонами и прочим развратом. Мое тогдашнее поведение можно назвать «молчание ягнят». Шушани вынес и положил мне на ладонь перстень с пятиконечной рубиновой звездой. Как же захотелось обрести эту роскошь (зарплату только что выдали), и какое мужество потребовалось, чтобы отвернуться от перстня и сказать ма'а ас-салама (до свидания). Куда бы сейчас я дел этот перстень со звездой, близкой по размеру к кремлевской?

Каир обаятелен своей безудержной бестолковостью. Он — как муравейник. В нем нет главного центра притяжения. Ни про Токио, ни про Тегеран, ни про Дели, ни даже про Стамбул такого не скажешь. В этих тоже необъятных городах присутствует какая-то регламентация, скрытый порядок. От сутолочности Каира дико устаешь, но к ней привыкаешь, как к наркотику.

Когда перечисляют каирские достопримечательности, чуть ли не всегда первой называют пирамиды. Это неправильно. Во всех туристических справочниках расположенные неподалеку от города, в Гизе, эти громоздкие бессмысленные сооружения на самом деле «прицеплены» к Каиру. Так же, как — не к ночи будь помянут — Сфинкс.

На самом деле они — другая, искусственная, по-своему даже злая цивилизация, жестко описанная в знаменитом ефремовском шедевре «На краю Ойкумены». Тяжелые глыбы, из которых сложены фараоновы мавзолеи, чужды Каиру так же, как древнеегипетские иероглифы — арабскому языку. Но все же быть в Каире и не заехать в Гизу нельзя. Это даже невежливо. И как-то ночью мы с Леонтием эти монументальные усыпальницы посетили.

Все началось как обычно. Вечером в Мадинат-Насре приняли немножко желтоватого спирта, запили пивом «Стелла», потом закусили, потом опять выпили и опять закусили. Было уже за полночь, когда, наговорившись о постылой работе, мы перешли к проблемам истории и культуры, — тут-то и вспомнили о пирамидах.

Решение посетить «музей под открытым небом» было принято немедленно и единогласно. Такси, к счастью (или к несчастью), оказалось возле подъезда, и мы отправились в путь. Миновав не такой буйный, как днем, Каир, выгрузились около темных груд камней. Нас немедленно окружили «гиды» и верблюды. Отогнать «экскурсоводов» и верблюдов не получилось, несмотря на то, что я прокричал что-то невразумительное на арабском языке. Те тотчас определили наше гражданство и принялись взывать к нам по-русски. Спирт со «Стеллой» сработал — я попытался вскарабкаться наверх. Добраться до вершины не получилось — Леонтий не пустил. Зато потащил меня к Сфинксу. Вы стояли ночью между сфинксовых лап? Мы — стояли.

Сфинкс могуч, об этом знают все. Глядеть снизу на его большую умную голову жутковато. Если смотреть слишком долго, может показаться, что он сейчас заговорит. Между лапами животного (а как его еще называть?) обнаружился люк, и специалист по САУ в него полез. Это не легенда. Это — был. Леонтий «ухнул» между лапами сфинкса, а несчастный переводчик потом его оттуда доставал, протянув дрожащую руку.

Из-под Сфинкса мы вернулись довольные, счастливые, хотя, возможно, и не совсем отрезвевшие. На последующей практической работе ночь под Сфинксом не отразилась. Повторяю, дело было не в Каире, а на пирамидах, которые к *моему* Каиру отношения не имеют.

Вот такое было «приключение».

Случались приключения и без кавычек.

Например, застряли мы в лифте с коллегой-переводчиком Юрой Филатовым. Ерунда, конечно, но застряли-то из-за воздушной тревоги. Может, она была учебной, а может, вражеский самолет действительно пролетал неподалеку. Сначала было весело, потом стало жарко. Потом еще жарче. Мы разделись до трусов. Но не испугались — верили, что всё образуется. В итоге все и образовалось — лифт поехал. Но все же при воздушной тревоге советую спускаться по лестнице. Как при пожаре.

Кроме чужой для Каира Гизы, был в нем и другой самобытный район — Гелиополис, «Маср аль-Гадида» (новый Каир). Тогда я еще не видел Парижа, но если бы видел, назвал бы «Маср аль-Гадида» парижским Каиром или каирским Парижем.

В Гелиополисе можно было обойтись без арабского с его двойственным числом. Там я не ощущал себя переводчиком. Там можно было говорить на французском. Зато теперь во французском Париже без арабского не обойтись. На Монмартре он стал национальным языком.

Гелиополис — христианский кусочек Каира. Большинство тамошних христиан — копты. Есть марониты. Иногда я захаживал в церковь Святого Маруна. При входе надпись на французском «Пусть те, у кого есть, дадут тем, у кого нет». Кто же с этим спорит?! Пять колонн, «мозаичные» желто-голубые витражные окна. В храме всегда было пустынно и солнечно. В такие пестрые храмы не ходят, а заходят.

Раз в неделю, поужинав в малюсеньком и чистом кафе жареной печенью, я отправлялся в кинотеатр «Паллас» или в «Нормандию» и смотрел кино. В перерыве звучали французские, в крайнем случае на английском языке, песни, разносили колу. Иногда над открытым залом в темном небе пролетал с мягким гулом самолет.

У входа в «Нормандию» сидела пара нищих. Один из них, безногий, постоянно повторял, что он герой войны 1956 года. Такая война действительно была. В том году президент Насер национализировал Суэцкий канал, за что в ноябре получил удар от Израиля, Англии и Франции. Была знаменитая оборона Порт-Саида, а потом, несколько дней спустя, вмешались США и СССР, и на этом кризис завершился. В Москве говорили, что главную роль сыграл Советский Союз — якобы Хрущёв даже припугнул агрессоров ядерным оружием. Американцы писали, что это они, не желая расширения конфликта, решительно одернули своих союзников. Так или иначе, египтяне сражались мужественно, и вот теперь несчастный ветеран просил бросить

ему несколько кыршей (пиастров) в серую шапочку, в которой постоянно лежало три-четыре монетки.

На параллельной с «Нормандией» улочке как-то заглянул в один магазинчик (не помню, что хотел купить), а попал в «Шербурские зонтики». Был такой фильм-сказка, где главную роль играла Катрин Денёв и звучала долго не забывавшаяся музыка Мишеля Леграна. Для моего поколения она была чем-то вроде «гимна любви». Вхожу, а там, как в кино: с огромными глазами хозяйка-мама, лет под сорок (для меня старовата), и дочка с такими же глазами, моя ровесница. Купил я в «Шербурских зонтиках» коричневую рубашку. А утром — на базу в Бильбейс. Как пел Высоцкий, «судьба людей кидает, как котят».

На следующий день — очередная неприятность. Кто-то из наших оставил на парапете приемник «Атмосфера», по нему передают «Доброе утро», слышу мамин голос. Тут самолет разворачивается соплом, звучит рев двигателей, и «Атмосфера» грохается на бетонный пол. Приемник жалко, он у нас такой был один на всю группу.

Для тех, кто не помнит, — самолеты вообще много шумят, особенно когда взлетают. Попад на базу, я решил вести что-то вроде дневника. Так вот, когда писал про самолеты, ради сбережения военной тайны называл их «морковками». Так, между прочим, и записано в дневнике — «от жуткого форсажа морковки свалился наш приемник». Глупость, но сколько сейчас пишут о разглашении разного рода гостайн.

И еще проза жизни. Про каирских тараканов уже говорилось. Теперь пару слов про бильбейских. Их было много, и они все время суетились. Это надоело даже терпеливым советским мусташарам. Андрей Васильевич принял решение донести до командующего авиабазы, что тараканьи провокации препятствуют нашей общей борьбе против сионизма и империализма. Участие во встрече с командующим базой пополнило мой словарный запас — с тех пор я навсегда запомнил как по-арабски таракан — сурсар. Ночью разбудите — отвечу.

Прибыли. Выпили по чашечке кофе. Ена-то с полковником кайфовали, а я размышлял: лишь бы кто-нибудь не вякнул то, чего я не смогу перевести. Полковник пригласил главного врача базы, изложил суть вопроса. Врач — майор Нагиб, невысокого роста человек со старушечьим ртом, пообещал, что все будет сделано, тут же велел принести из госпиталя соответствующие порошковые снадобья.

В коридоре майор Нагиб подошел ко мне, мягко улыбнулся и предупредил, что данные им средства уничтожают *почти* всех тараканов, но если кто-то из них выживет, станет большим, «как осёл» (зей аль-хумар — по-арабски). А еще посоветовал купить за двенадцать пиастров «дискэн» — вонючую прыскалку, на баллончике которой были нарисованы три слона («дискэн» рекламировали в кино между фильмами).

Без тараканов жить стало лучше и веселей. Первое время.

На третий день, зайдя в душ, я увидел в ванной существо. Не жука, не мышь, не игуану, а нечто танкообразное. Что это тот самый «зей аль-хумар», я и представить не мог. Набравшись мужества, ударил, брызнули кровь и мозговое вещество...

Если сказал про тараканье «а», имею право вспомнить и про крысиное «б». Утром встаю, не надевши очков, выхожу на длинный балкон, гляжу вниз, а там — много-много котят.

— Киски, — обрадовался я.

— Какие киски, — поправил Леонтий, выскочивший на мой крик на балкон. — Это — крысы. Нацепив очки, я понял, что коллега прав...

Всему хорошему, как и плохому, наступает конец. Завершалось мое пребывание в Египте. Хотелось и уезжать, и не уезжать.

Какую пользу наша группа принесла египетским вооруженным силам, сказать не берусь. По сей день одни полагают, что научить *их* невозможно, другие уверяют, что, наоборот, — египетская армия ныне на порядок лучше той, в которой мне довелось работать (служить).

Бельбейс дал мне то, что можно назвать «переводческой наглостью». Велено переводить — переводы, хоть как, но переводы. Вовек не забуду, как галдели египетские летчики, когда я замолкал после длинной фразы, начинавшейся с «маневрирование на низких высотах»: «Таржим, таржим, инта мутаржим — переводы, переводы, ты же переводчик», — гомонили они. И я, да простит меня Аллах, переводил.

Апофеоз моей переводческой наглости пришелся на состоявшийся в 1974 году съезд ВЛКСМ. Я работал с делегацией Палестины. Съездовский банкет завершался в гостинице «Советская» (досоветский ресторан «Яр», упомянутый всеми великими русскими писателями и поэтами). Я оказался рядом с делегатами Смоленского обкома ВЛКСМ и переводил им речи братских зарубежных гостей. Перевел с арабского (положено), с английского (кто ж его не знает), с французского, потом секретарь смоленского обкома вдруг спросил: «Ты и датский язык знаешь?» В микрофон вещал датский комсомолец. Мы понимающе переглянулись. «Наш человек», — одобрил меня смолянин. Как сказал однажды куда более искушенный переводяга, — главное, не останавливаться.

Отъезд из Каира назначили на 5-е декабря. С помощью знакомого из торгпредства Жени Журавлёва я позвонил в Москву и сообщил номер рейса. Но тут пришел приказ, что меня оставляют еще на неопределенное время.

Пришлось ехать в «офис», именно в «офис», потому что это помещение ни в какое сравнение с былым огромным РИАСом не шло. Новый «штаб» выглядел обычной квартирой. Перезвонить домой не получилось (мобильников еще не придумали). Дома стол был уже накрыт, а я все ворочался на кровати в Мадинат-Насре. Вернулся только 12-го декабря. На столе стояли бутылка водки, нарезанный хлеб, колбаса и сыр. Чтобы не сглазить.

Сейчас трагизм, именно трагизм тогдашней ситуации понять невозможно. «Мало ли что там с тобой случилось», — сказал папа после третьей.

Шубу, как когда-то друг Саша, из Каира я не привез. Привез только ярко-оранжевую замшевую куртку и отцу японские часы Orient. Еще притащил в чемодане размером в полметра стручок с бильбейской акации, которым до сих пор почесываю спину. И память о странной жизни.

ЧВК «Вагнером» мы не были. Безумных денег не получали. За мизерные бабки честно работали на Советский Союз.

Два года спустя я случайно узнал, что всю нашу группу наградили медалями «За боевые заслуги». Мое представление не утвердили — видать, плохо переводил.

Первыми словами, которые я произнес в 1989 году на конференции в Тель-Авивском университете, были слова: «Никогда не думал, что окажусь по эту сторону Суэцкого канала».

Александр Мелихов

Советский патриотизм и голос крови

Репрессии, обрушенные Сталиным на еврейские головы в конце сороковых, часто объясняют его «зоологическим» антисемитизмом. То есть животным, хотя животные не различают людей по национальному признаку. Животные ненавидят то, в чем видят опасность, и этим ничем не отличаются от людей. Сталин жил политической борьбой и ненавидел то, что могло помешать ему в этой борьбе. А евреи могли сделаться помехой еще в полуподпольной фазе его политической карьеры.

Еще в феврале 1913-го Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав *все* австрийские и пр. материалы». У нас — это в Кракове. А журнал «Просвещение» легально выходил в Петербурге с декабря 1911-го по июль 1914-го. В художественной тетрадке принимал участие Горький, да и сам Ленин тоже там печатался. Вот в этом-то «Просвещении» Сталин и опубликовал свою программную статью «Марксизм и национальный вопрос».

По словам Сталина, Ленин ее даже редактировал, и когда оппоненты попытались представить статью дискуссионной, Ленин взорвался: «Статья *очень хороша*. Вопрос боевой, и мы не сдадим ни на йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи». О Бунде можно прочесть в Малой советской энциклопедии 1933 года, что это был Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, постоянно дезорганизовывавший деятельность социал-демократической партии, пытаясь перестроить ее «на федеративных началах по национальному признаку»; «после Октября значительная часть Бунда перешла в контрреволюционный лагерь» или сделалась «ярким социал-фашистским отрядом 2 Интернационала».

Но в мирном довоенном Кракове Сталин пока что изучал, каким образом австрийские социал-демократы Отто Бауэр (ассимилированный еврей) и Рудольф Шпрингер (псевдоним Карла Реннера, избранного в 1945 году президентом Австрии) намереваются обустроить совместную жизнь наций при социализме в их многонациональной империи. *К. Сталин* (так была подписана статья) засел за эти отдаленные прожекты только потому, что его собственная социал-демократическая партия в «период контрреволюции» проявила склонность «межеваться» по национальному признаку. Национализм грозил пролетарскому единству. И чем же должна была с ним бороться социал-демократия? «Противопоставить национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы». Сталин возмущался нелепым поведением социал- вроде бы демократического Бунда, который «стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, литературный критик, публицист, зам. главного редактора журнала «Нева». Родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат многих литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге.

цели: дело дошло до того, что “празднование субботы” и “признание жаргона” объявил он боевым пунктом своей избирательной программы». (Жаргоном Сталин именoval идиш, но тогда это название не было снижающим, сам Шолом-Алейхем называл свой язык жаргоном.)

За Бундом поднял бунт Кавказ... В итоге, срочно потребовалась «дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел».

И вот явился четкий постулат: «Нация складывается только в результате длительных и регулярных общений, в результате совместной жизни из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории».

Следовательно евреи не нация. А нация — «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».

Чудесный грузин уже тогда вынес еврейскому народу свой приговор: «Можно представить людей с общим “национальным характером” и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию, если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и т.д. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские и горские *евреи*, не составляющие, по нашему мнению, единой нации».

А если им кажется, что составляющие?

Креститься надо, если кажется.

А вот они упорно не крестились — держались за свое ни на чем не основанное психологическое единство. Которое, однако, Шпрингер и Бауэр, считали главным признаком нации. Нация по Шпрингеру — «культурная общность группы современных людей, не связанная с “землей”». Бауэр отказывается и от языка: «Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию». Нация для Бауэра — «вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы».

Один из виднейших духовных вождей дореволюционного российского еврейства, историк и общественный деятель Семён Маркович Дубнов тоже придерживался концепции духовного, или культурно-исторического, национализма, полагая нацию культурно-исторической категорией, а потому считал, что еврейскому народу не нужна особая территория — с него довольно культурной автономии. Но на подобную мелюзгу Сталин не тратил полемических зарядов (хотя впоследствии охотно расходовал заряды пороховые). Он метил в лидера австромарксизма и социал-предателя Отто Бауэра: «Бауэр говорит о евреях как о нации, хотя и “вовсе не имеют они общего языка”, но о какой “общности судьбы” и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?»

Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере; это не может не накладывать на их национальный характер своей печати; если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на “судьбу” упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить об евреях вообще как об единой нации.

Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодовлеющего “национального” духа спиритуалистов?»

Тем, отвечу я, что в человеческой фантазии нет ничего мистического, но она, тем не менее, есть то главное, что отличает человека от животного. Человека от животного отличает способность относиться к плодам своей коллективной фантазии гораздо более серьезно, чем к реальным предметам: самые высокие и прекрасные

творческие подвиги человек совершил и совершает, служа воображаемым целям. Более четверти века назад я написал в «Исповеди еврея», что нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и смягчить эту формулу я могу лишь стилистически: нацию создает общая мифология, воображающая нацию по образу и подобию семьи — именно из семейного опыта национальная пропаганда черпает свои базовые образы: царь-батюшка, родина-мать, отец нации, братские народы, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер...

Но для Сталина «психологические остатки» суть что-то заведомо презренное: «Что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга (говорят на разных языках), живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время?!¹

Нет, не для таких бумажных “наций” составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой».

Заставляющими считаться с собой... В этом суть сталинской политики: считаться только с тем, что *заставляет* считаться с собой. Это относится и к русским, и к американцам, и к троцкистам, и к кулакам, и к католикам: сколько у римского папы дивизий? Евреи просто стоят в том же ряду: сумеют они заставить считаться с собой — значит они нация, не сумеют — пусть не рыпаются.

Но если не религия и прочие «психологические остатки», то что тогда, по Сталину, создает нацию? Как что — буржуазия, «буржуазия — главное действующее лицо», а «основной вопрос для молодой буржуазии — рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее цель». А почему бы, наоборот, не сомкнуться с буржуазией иной национальности ради победы над своей? Нет даже и вопроса.

«Стесненная со всех сторон буржуазия угнетенной нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к “родным низам” и начинает кричать об “отечестве”, выдавая собственное дело за дело общенародное», — как видите, слово «отечество» можно писать только в кавычках, ибо классовые интересы важнее национальных, «общенародных», которых, впрочем, даже и не существует: они только средства для реализации классовых. Остается лишь поражаться глупости низов, из века в век согласных сражаться за чужое дело. Ибо народ как целостная структура для дела Ленина-Сталина не представляет никакой ценности, тогда как для большинства нормальных людей принадлежность к чему-то великому и потенциально бессмертному служит экзистенциальной защитой от ощущения своей мизерности и бренности.

И вот итог: «Национальная борьба в условиях *подымающегося* капитализма является борьбой буржуазных классов между собой». Не конфликт грез, самый непримиримый из конфликтов, а рациональный конфликт интересов — вот что такое, по Сталину, национальная борьба. Можно бесконечно спорить, ненавидел ли Сталин евреев без всякой причины (чего никогда не бывает) или ненавидел их лишь тогда и в той степени, когда начинал видеть в них опасность (как бывает почти всегда, вернее, просто всегда). Но если вдуматься в его принципы, выраженные в предельно открытой и респектабельной форме, то из них отчетливо явствует, что ни на какую особую еврейскую жизнь российские евреи рассчитывать не могут. А если они попытаются заставить считаться с собой, он им покажет, кто с кем должен считаться.

Право же наций на самоопределение вовсе не абсолютное право, а лишь техническое средство ослабить межнациональную вражду, чтобы максимально усилить классовую, чтобы объединить низы всего мира против верхов. Право наций на самоопределение, повторяет Сталин, социал-демократия будет поддерживать только тогда, когда это помогает создать «единую интернациональную армию».

¹ А во время Второй мировой войны отправит делегацию Еврейского антифашистского комитета собирать деньги у американских евреев. И соберет! — А.М.

А все попытки выделить хотя бы даже и внутри этой армии отдельный национальный полк будут караться — в тихом предвоенном Кракове «К.Сталин», скорее всего, и сам еще не догадывался, с какой чудовищной и даже избыточной жестокостью.

Но какой же способ сосуществования в одном государстве различных наций (причем не только тех, кто заставлял с собой считаться) предлагал Отто Бауэр? К.Сталин излагает программу своих противников достаточно объективно: их цель — культурно-национальная автономия. «Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенным, главным образом, чехами и поляками, — а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно — какую бы местность Австрии они ни населяли.

Потому-то автономия эта называется *национальной*, а не территориальной.

Это значит, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и т.д., взятые персонально, как отдельные лица, организуются в целостные нации и, как таковые, входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории.

Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, долженствующие быть созданными в этих целях для поляков, чехов и т.д., будут вести не “политическими” вопросами, а только лишь “культурными”. Специфически политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте (рейхсрате).

Поэтому автономия эта называется еще *культурной*, культурно-национальной.

Иными словами, по Шпрингеру и Бауэру, национальность не связывается ни с какой фиксированной территорией, нации становятся союзами отдельных личностей — при том, что никакому из этих союзов не предоставлено исключительного господства ни в какой области.

Очень интересная идея — нации-союзы... То есть, если какая-то нация, как, скажем, те же евреи или цыгане, всюду составляет национальное меньшинство, она все равно обретает равные права с другими, «компактными» нациями.

А каким образом, обретают правовой статус нации-союзы? На основе свободных заявлений совершеннолетних граждан: каждый сам решает, кем зваться — немцем, чехом, поляком или евреем, — и после этого обретает право выбирать и быть избранным в *национальный совет*, который будет заниматься национальными школами, национальной литературой, наукой, искусством, устройством академий, музеев, театров и проч. И этой возможности его не сможет лишить (демократическим путем!) никакое национальное большинство, поскольку даже самой маленькой нации будет законодательно причитаться определенная доля общегосударственных доходов (например, пропорциональная вносимым национальной корпорацией налогам). Нация как добровольный союз может исчезнуть лишь в том случае, когда не станет охотников себя к ней причислять.

Трудно даже сразу и оценить, какие перспективы это открывает. Зато сразу ясно, какую перспективу это закрывает — именно ту, о которой мечтали Ленин и Сталин. Им хотелось, чтобы их армия, «единая интернациональная», была монолитной, а армия, им противостоящая, раздробленной. «Не ясно ли, что национально-культурная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы?» — гневно вопрошает К.Сталин.

И даже всему ходу развития человечества! Цитирую К.Сталина далее: «Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в сороковых годах говорил, что “национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают”, что “господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение”». История обеих мировых войн, распад Советского Союза, кажется, не слишком это подтверждают. Противостояние позитивистского Запада воинствующему исламу тоже, скорее, снова раскрывает нам историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных

фантомов, коллективных грез. Но Сталин желал считать собственную грезу о единственном и едином прогрессивном классе единственно верной истиной.

Идея национальной автономии подготавливает почву не только для обособления наций, но и — страшно сказать! — для раздробления единого рабочего движения. И первой пятой колонной оказалась та самая нация, которая в советские времена помечалась пятым пунктом. Та нация, скорое исчезновение которой предрекал не только Карл Маркс, но и Отто Бауэр.

Все в той же статье «Марксизм и национальный вопрос» Сталин пишет: «Невозможность сохранения евреев, как нации, Бауэр объясняет тем, что “евреи не имеют замкнутой колонизированной области”». Объяснение это, в основе правильное, не выражает, однако, всей истины. Дело, прежде всего, в том, что у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно скрепляющего нацию не только как ее остоу, но и как “национальный рынок”. Из 5—6 миллионов русских евреев только 3—4 процента связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96 процентов заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и, вообще, живут в городах, причем, рассеянные по России, ни в одной губернии не составляют большинства.

Таким образом, вкрапленные в инациональные области в качестве национальных меньшинств, евреи обслуживают, главным образом, “чужие” нации и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профессий, естественно приспособляясь к “чужим нациям” в смысле языка и пр. Все это, в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной развитым формам капитализма, ведет к ассимиляции евреев. Уничтожение “черты оседлости” может лишь ускорить ассимиляцию.

Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьезный характер: предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно еще доказать!»

И однако же, еврейский Бунд (Союз!) все-таки становится на курьезную позицию сохранения нации, чье существование сомнительно, а скорая гибель несомненна. И почему? Только потому, что, лишенный территориальной базы, он обречен «либо раствориться в общей интернациональной волне, либо отстоять свое самостоятельное существование как экстерриториальной организации. Бунд выбирает последнее».

Чтобы сохранить свою «нацию» (кавычки принадлежат К.Сталину. — *А.М.*), «сторонникам национальной автономии приходится охранять и консервировать все особенности “нации”, не только полезные, но и вредные, — лишь бы спасти “нацию”, лишь бы “уберечь” ее. На этот опасный путь неминуемо должен был вступить Бунд. И он действительно вступил...» Иными словами, начал отстаивать отдельное право “жаргона”, право еврейского пролетариата праздновать субботу, — а затем, предрекает автор, надо думать, «потребуется права празднования всех старо-еврейских праздников».

К.Сталин совершенно прав: национальное возрождение непременно требует как минимум доброжелательного интереса даже к самым архаическим обычаям своего народа. Что бесспорно отвлекает от единого интернационального дела разрушения современной цивилизации.

Можно еще долго вчитываться в этот основополагающий труд и находить там все новые и новые глубины, однако уже из разобранного ясно: чтобы понять отношение Сталина к идее еврейского национального возрождения, не требуется зарываться в сталинское подсознание или перебирать разные глупости и грубости, которые он отпускаял по адресу евреев в минуту веселости или ярости. Если только внимательно прочесть, что он писал обдуманно и спокойно, имея полную возможность перечитывать и обсуждать написанное, а впоследствии нисколько не препятствуя миллионам людей десятилетиями заучивать наизусть, — из прочитанного будет ясно, что к еврейскому национальному возрождению он относился примерно так же, как к гальванизации

трупа — который при этом, агонизируя, еще и успевает расстроить сплоченные интернациональные колонны голодных и рабов.

Сталин в принципе относился бы точно так же и к стремлению строить отдельную французскую или отдельную английскую культуру, но, к сожалению, до поры до времени то были нации, заставляющие считаться с собой.

Неприязненное и подозрительное отношение Сталина ко всякой культурной и политической активности еврейской «нации» — особенно внутри подвластной ему страны — не было результатом бессмысленной ненависти ко всему еврейскому, но было плодом обдуманых убеждений, сложившихся еще в эпоху публикации в «Просвещении». А тем добродушным людям, которые хотели бы противопоставить плохому Сталину хорошего Ленина, напомним не только о полном одобрении Лениным сталинской позиции, но и о том, что самый человечный человек называл евреев даже не «нацией» в кавычках, *нокастой* и утверждал, что еврейская национальная культура — лозунг раввинов и буржуа, а против «ассимиляторства» могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории.

Судите же, какие розы заготовил Гименей, благословляя сожительство еврейского народа с советской властью.

Впрочем, если бы евреи сделались «нормальной» нацией...

То есть такой, как все. «Как все» в России долго означало «как русские».

В эпоху Николая Первого, когда перед Россией стояла историческая задача вестернизации, либерализации, формирования свободного рынка труда и его продуктов, формирования свободной финансовой системы, Государь император именно ту часть населения, которая была к этому наиболее приспособлена (евреев), возжелал превратить в землепашцев, ибо в торговых и финансовых навыках евреев совершенно справедливо видел опасность для существующего уклада. Но, разумеется, аграризация евреев, не вписывавшаяся ни в их привычки, ни в их национальные грезы, не принесла ни той, ни другой стороне почти ничего, кроме неприятностей и убытков.

Солдатчина же при всех ее ужасах — возможно, оказалась более эффективным орудием «нормализации» евреев. По крайней мере, такой основательный исследователь, как Йоханан Петровский-Штерн («Евреи в русской армии», М., 2003), приходит именно к этому выводу: «армия сыграла решающую роль в модернизации евреев России» и даже подготовила заметную часть кадров будущей военной организации Хагана, впоследствии переросшей в армию обороны Израиля.

Нормализовать евреев вознамерились, разумеется, и строители нового мира. Но что для них было нормой? Годилось и исчезновение, ассимиляция евреев, — это было бы вполне по Марксу-Ленину-Сталину. Но неплохо было бы и предварительно переверстать их в пролетариев. Или сделать их нацией как нацией — со своей территорией, где они наконец могли бы сделаться большинством, а не меньшинством; причем большинством, имеющим собственное прикрепленное к земле крестьянство, — это тоже вписывалось в большевистские теории, всегда подгонявшиеся под злобу дня.

Хотя — зачем? Ведь все равно всем нациям предстояло слиться в одну, советскую? Честно скажу: не знаю. Однозначно сказать, чего хотели большевики, заведомо невозможно: утопические цели требовали одного, а задачи завоевания, удержания и укрепления власти совершенно другого. Как всякая мало-мальски приличная всемирная греза, марксизм-ленинизм представлял собой противоречивую систему, благодаря чему каждый, кто был ею зачарован, имел полную возможность очаровываться каким-то близким лично ему аспектом, не обращая внимания на отрицающие его аспекты, чарующие других. Однако при попытке построить что-то реальное по чертежам, разные листы которых отрицают друг друга, воплощения противостоящих аспектов начинали сталкиваться с катастрофическим грохотом.

Свобода вдребезги расширялась о тотальное планирование; стратегические цели пролетарской армии — мировое господство — требовали жесточайшей эксплуатации тех же самых пролетариев; интернациональное единство страны требовало подавления

пресловутого права наций на самоопределение, — к которому сами национальные меньшинства и даже кое-кто из большевиков-идеалистов относились с опасной серьезностью. А перечень всех этнических групп дотягивал до 800 наименований; в 26-м году примерно пятьсот упразднили, а в 36-м Сталин говорил уже о шестидесяти.

Сталин, глава Наркомата по делам национальностей, полагал, что армейская дисциплина — а учреждаемое государство и мыслилось чем-то вроде передового отряда будущей всемирной армии — несовместима с независимостью отдельных национальных полков и дивизий. А потому сразу отчеканил: уважаться может не самоопределение буржуазии, а самоопределение трудящихся масс (впоследствии всякую попытку заговорить об отдельных национальных интересах, хотя бы и культурных, всегда называли национализмом не каким-нибудь, а именно буржуазным). Поскрести иного коммуниста — и найдешь великорусского шовиниста, отреагировал Ленин; Ильич, разумеется, тоже прекрасно понимал, что первейшее условие политической борьбы — быть сильным, но вместе с тем он всерьез опасался, что русский патриотизм («великорусский шовинизм») сумеет борьбу за торжество международного рабочего класса трансформировать в борьбу за торжество русского государства — что русская национальная греза одолеет интернациональную. «Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримых лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего мира» (В.И.Ленин).

Армейская централизация внутри партии была для Ленина альфой и омегой государственной мудрости — центральные комитеты национальных компартий были приравнены к территориальным: все периферийные органы «ордена меченосцев» должны были быть идеально послушны центру. Но — центру «общепролетарскому», а не русскому, «классовое» доминирование не должно было превращаться в национальное. Патриотические чувства, порождаемые национальными фантомами, Ленин считал едва ли не самым могучим препятствием на пути к мировому господству фантомов пролетарских.

Сталин же занимал более прагматическую позицию: почему бы не сгруппировать более слабые национальные отряды вокруг самого сильного — русского, если это улучшает управляемость да к тому же приближает слияние наций в одну. В августе 1922 года Сталин подготовил проект резолюции пленума ЦК, который планировал включение «независимых» Советских республик Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР. Чудесный грузин в письме к Ленину пытался убедить дряхлеющего льва в том, что хаос в отношениях между центром и окраинами становится нетерпимым, а потому пора положить конец игре в независимость: либо реальная независимость и невмешательство центра, либо реальное объединение республик в одно хозяйственное целое.

Ленин, однако, грезил неким Союзом советских республик Европы и Азии, куда вот-вот вольется пробуждающийся Восток, да и лозунг «Даёшь Европу!» призывно пел в его ушах...

И если бы не его смерть, трудно сказать, что бы он еще наворотил, прежде чем его наконец скрутили, — скорее всего, сами его верные ученики, видя, что он снова и снова готов ставить на карту чудом свалившуюся на них победу.

Покорить мир во главе Российской империи, предварительно истребив в ней все русское (не людей, разумеется, а их национальные мнимости), — это было слишком смело даже для большевиков. А Сталин не видел большой опасности в том, чтобы в так называемом интернациональном государстве доминировал русский язык, а главным столичным городом сделалась древняя русская столица, — лишь бы сам русский народ оставался в безоговорочном у него повиновении. Поэтому он, с одной стороны, старался удержать в узде могучего русского медведя, которого большевики хотя и сумели взнуздать, но продолжали опасаться, а потому по-прежнему называли великорусский шовинизм «основной опасностью», — с другой же стороны, он понимал, что опираться на безопасное, то есть на бессильное, невозможно. Он лишь

пресекал национальные порывы железным принципом: право наций на самоопределение должно быть подчинено праву рабочего класса на укрепление своей власти.

А рабочий класс — это был он.

Прежде всего власть, теории подождут. И если для укрепления власти в минуту смертельной опасности со стороны поднявшегося на дыбы тевтонского фантома понадобится прищипорить русский патриотизм, еще вчера именуемый шовинизмом, он это сделает не колеблясь. Ставить нужно на сильнейшего, только узду следует держать рукой еще более мощной, безжалостно истребляя тех смутьянов, которые вздумают обращать русскую мечту не только против чужеземного, но и против внутреннего деспотизма.

Двадцатые... Какие нации в те годы выглядят доминирующими, а какие угнетенными? Антисемиты, как известно, считают, что доминировали евреи, а угнетали русских. Двухтомник Солженицына «Двести лет вместе» не только резко расширил круг сторонников этого мнения, но и придал ему респектабельности. Но я давно считаю угнетенным тот народ, который вынужден стыдиться своего имени. Национальный подъем и национальный упадок происходят прежде всего во внутреннем мире людей, в их психике. И если членам какой-то нации становится опасно произнести вслух ее имя, признаться в гордости за ее прошлое, в надеждах на ее будущее, — однако это рождает в них гнев и удвоенную любовь к своему униженному народу — это для меня признак бесспорного национального подъема. Если же сколь угодно много отдельных индивидов из этого народа добиваются блестящих успехов на всех мыслимых поприщах, но становятся равнодушными к своей национальной грезе, к прошлому и будущему своего народа, — для меня это несомненный национальный упадок.

Народ — это прежде всего греза; крепнет греза — подъем, слабеет — упадок. А потому все цифры — столько-то евреев проникли туда-то и туда-то, сюда-то и сюда-то, а столько-то русских расстреляно, сослано и проч., — это совершенно не говорит о чьем-то национальном торжестве или национальном поражении. Если, повторяю, евреи массами добиваются личного успеха, отпадая при этом от своего народа, — для народа это не успех, а поражение.

И наоборот. Доминирует та нация, чья греза является доминирующей. И чья же греза преобладала в двадцатые годы? По-моему, ничья. Под свирепым оком грезы интернациональной ни одна национальная фантазия не смела и шелохнуться.

Сколько бы тысяч евреев ни вливалось в большевистскую верхушку, пытавшуюся возглавить всемирную армию пролетариев против буржуев, о положении еврейского народа будут говорить не успехи этих идеалистов, карьеристов и ловкачей, а положение тех евреев, кто сознательно остался со своим народом, чтобы сохранить его язык и фантазии, чтобы поэтизировать его прошлое и что-то делать для его воображаемого будущего. Иными словами, отношение советской власти к еврейскому народу определялось отношением не к тем, кто от него отпал, а к тем, кто отпасть не пожелал — к еврейским националистам, как их называли большевики. И вот они-то, «еврейские националисты», видели очень мало ласки от обновленной матери-родины.

Солженицын на протяжении чрезвычайно плотно забитых цифрами и фактами тридцати пяти страниц повествует о массовом проникновении евреев в крупные города, в аппарат советского управления, — причем вроде бы чем выше, тем гуще, — в учебные заведения, в комсомол... Да, и в нэпманы, но и в чека, и в армию, и дипломатический корпус, — впрочем, все это читано у патриотов в кавычках и без не раз, не два и не двадцать. Но что думали, какие чувства испытывали эти выдвиженцы по отношению к тому народу, из которого вышли, об этом ни у кого из них нет ни слова. Хотя *лишь эти чувства* и определяли, было это торжество или поражение еврейского народа.

И я уверен, что новая еврейская элита была в массе своей патриотичной по отношению к новому интернациональному государству и антипатриотичной по

отношению к тому народу, из которого она вышла, — кто еще писал о еврейской жизни с таким отвращением, как Багрицкий: еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки... Если так, то не исключено, что, начав вытеснение евреев из государственной элиты, советская власть упустила возможность окончательного решения еврейского вопроса. Да, конечно, евреи, если их не придержать, заполнили бы государственную, научную, финансовую, хозяйственную, культурную элиту далеко не пропорционально их доле среди населения. Это, разумеется, было бы неприятно, но — через одно-два поколения почти все они перестали бы быть евреями, вступив в смешанные браки, да и просто сами по себе утратив интерес к бесполезным и, как это всегда видится со стороны, бессмысленным еврейским грезам. Неужели ради этой великой цели русскому народу не стоило потерпеть несколько десятилетий?.. Но терпение никогда не относилось к числу народных добродетелей...

Солженицын подробно повествует, как массовый социальный рост евреев в двадцатые годы вызывал еще более массовую ненависть к ним; но он не особенно задумывается о том, что эти же годы были годами массового отпадения от еврейства. Была ли советская власть проеврейской или антиеврейской — этот вопрос решается не действительно шокирующими процентами евреев, уверенно шагавших в ее первых рядах вместе с русскими, латышами и грузинами, а, наоборот, тем, как она относилась к евреям, пожелавшим оставаться евреями. Поощрялось ли такое желание или становилось неудобным, а то и опасным для тех, кто подобное желание испытывал?

Вот как изображает положение евреев в двадцатые годы сам Солженицын, вообще-то склонный больше подчеркивать то, что сближало евреев с «большевицкой» властью, чем то, что их разделяло. Столь подробно я цитирую Солженицына именно потому, что он авторитетен и для антисемитов, которые постоянно используют его в качестве щита и уж никак не упрекают его в излишнем сочувствии и снисходительности к еврейскому племени.

«На жизни рядовых советских евреев почти от самого Октября и насквозь до конца 20-х годов ошутимейше отозвалась деятельность *евсеков* — членов *Евсекций*. Помимо государственного Еврейского Комиссариата при Наркомнаце (с января 1918 и по 1924) — деятельно строилась активная еврейская организация при РКП(б). *Евкомы* и *евсекции* поспешно создавались в губерниях уже с весны 1918, едва ли не опережая центральную Евсекцию. Это была среда, фанатически увлеченная коммунистическими идеями, даже ярее, чем сами советские власти, и в известные моменты опережая их в проектах. Так, по настоянию Евсекции в начале 1919 Еврейский Комиссариат издал декрет, объявлявший иврит «языком реакции и контрреволюции» и предписывавший преподавание в еврейских школах на языке идиш. Центральное бюро евсекций состояло при ЦК компартии, много местных евсекций действовало в бывшей *черте*. Основное предназначение евсекций сводилось к коммунистическому воспитанию и советизации еврейского населения на родном языке идиш».

«Еврейская культура продолжала существовать, и даже получила немалое содействие, — но на условиях советской власти. Глубина еврейской истории — была закрыта. Это происходило на фоне полного, с арестами ученых, разгрома русской исторической и философской наук».

«Литература на идише поощрялась, но, разумеется, с направлением: оторвать от еврейского исторического прошлого, “до Октября” — это только мрачный пролог к эпохе счастья и расцвета; чернить все религиозное и искать в советском еврее “нового человека”».

«Что же до русскоязычной еврейской культуры, то евсеки трактовали ее “как порождение ассимиляторской политики властей в дореволюционной России”. Среди писателей на идише во 2-й половине 20-х годов произошло размежевание между “пролетарскими” писателями и “попутчиками”, как и во всей советской литературе. Наиболее крупные еврейские писатели ушли в русскоязычную советскую литературу».

«Притеснения сионизма усугублялись и запретами против иврита».

«Во второй половине 20-х годов преследования сионистов возобновились, резко сократилась замена приговоров на высылку из СССР».

Солженицын отнюдь не скрывает и преследований, обрушившихся на иудейскую религию. Но перечисление звонких еврейских имен в советской культуре — евреи в кино, евреи в театре, евреи в живописи, евреи в музыке — создает впечатление успеха еврейского народа.

«Разумеется, — пишет Солженицын, — евреи были лишь частью трубно шагавшей *пролетарской* культуры. И в победном воздухе раннесоветской эпохи искренно не замечалось, не ощущалось потерей, что *советская* культура интенсивно вытесняла культуру *русскую*».

Да, вытесняла. Но и *еврейскую* вытесняла. Это была открыто провозглашаемая цель — создание интернациональной культуры. И в итоге в чью культуру влились произведения, выдержавшие испытание временем, — в русскую или в еврейскую? Частью чьей культуры они сделались в глазах всего мира? Чья литература сумела впоследствии выделить наиболее мощную патриотическую ветвь — русская или еврейская? Еврейская почти не существовала, а потому и не смогла развиваться во что-то стоящее хотя бы для собственного народа, а русская смогла. Ей было из чего возрождаться, а еврейской было не из чего.

Чтобы унять тревогу национальных меньшинств за сохранность своих грез, Сталин объявил, что партия берет курс на «коренизацию» кадров, курс, намеченный еще в 1921 году X партийным съездом. Национальная политика Ленина-Сталина была избрана давно и дальновидно: чтобы победить врага или просто склонить на свою сторону несогласного, нужно прежде всего разрушить его грезу; чтобы разрушить его грезу, нужно убедить его, что ей ничего не угрожает. (Об этом сейчас забывает Запад по отношению к России, тем самым мобилизуя русских вокруг своих грез, автоматически становящихся все более агрессивными: агрессия автоматически порождается страхом. Не исключено, впрочем, что в этом и заключается стратегическая цель — озлоблять Россию, чтобы получать поводы к ее вытеснению из Большой игры.) Вы хозяева в своей республике, намекал новый курс тем национальным меньшинствам, чьи представители начинали проигрывать состязание за места в органах власти: принцип «имеют значение исключительно личные заслуги» никогда не принимается проигрывающей нацией — она всегда начинает требовать какой-то выгодной для нее процентной нормы.

Преимущественное право на карьерный рост в национальных «аппаратах» обретали люди «местные, знающие язык, быт, нравы и обычаи соответствующих народов». На Украине этот процесс было естественно назвать украинизацией, в Белоруссии — белорусизацией...

В 1923 году в украинском госаппарате украинцев было 14 процентов, русских 37 процентов, евреев 40 процентов. В коллегиях республиканских наркоматов была сходная картина: украинцы 12 процентов, русские 47 процентов, евреи — 26 процентов. Будущее тоже не сулило ничего хорошего: среди слушателей Коммунистического университета в Харькове, который какое-то время был столицей Украины, евреи составляли 41 процент, русские 30 процентов, а украинцы всего лишь 23 процента. Тем не менее украинизация уже к 1926 году принесла заметные плоды: по словам генерального секретаря ЦК КП(б)У Л.М.Кагановича, в коллегиях республиканских наркоматов украинцы теперь были представлены 38-ю процентами, русские 35-ю, а евреи уже только 18-ю. Но судя по всему, и этого притока украинцев и русских было недостаточно, чтобы нейтрализовать впечатление, производимое главой республики Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Однако власть все-таки старалась: в Коммунистическом университете доля евреев снизилась до 11 процентов, а доля украинцев поднялась вдвое — до 46 процентов; русские же усилились незначительно — до 35 процентов. За эти годы и присутствие украинцев в коммунистической партии возросло примерно до той же цифры — с 33 до 47 процентов.

В Белоруссии «коренизация» протекала гораздо более вяло. К тому же, в отличие от Украины, где украинский язык с 1 августа 1923 года был объявлен основным, в Белоруссии в 1924 году было подтверждено равноправие четырех языков: белорусского, русского, еврейского и польского (как только они там выкручивались хотя бы чисто технически?). В компартии же Белоруссии евреи в 1926 году составляли почти четверть, а в высшем законодательном органе ЦИК БССР их число с 1925 по 1929 год даже возросло с 14 процентов до 20,7 процентов.

Война разом положила конец всем эволюционным процессам — Сталин без экивоков поставил на русский патриотизм и в целом поступил совершенно правильно. Но, требуя чудовишных жертв от самого сильного народа, любое правительство постаралось бы убрать с его глаз все, что могло бы вызвать его раздражение. Одного этого было достаточно, чтобы породить недовольство евреев, которых начали потихоньку отодвигать на вторые и третьи роли. Но антисемитизм был еще и одним из главных мотивов нацистской пропаганды: она уверяла, что воюет всего лишь с еврейским засильем, и выказывать особое сочувствие жертвам Холокоста означало невольно давать нацистам дополнительные козыри. Поэтому советская пропаганда избегала этой темы, твердя исключительно о массовых убийствах мирных советских граждан. Это оскорбляло даже тех евреев, которые за годы советской власти уже и подзабыли о своем еврействе. Открытых выступлений, разумеется, не было, но «органы» бдительно следили и за латентными проявлениями возрождающейся еврейской солидарности и наконец, наверняка с высочайшего одобрения, дали отмашку.

12 октября 1946 года Министерство госбезопасности направило в ЦК и Совет Министров СССР доклад «О националистических проявлениях некоторых работников Еврейского антифашистского комитета». Кажется, именно тогда нарастающие подозрения обрели политическую отчетливость: евреев начали практически открыто обвинять в этническом национализме, в недостатке советского патриотизма. Этот национализм искали повсюду — см. Г. Костырченко «Тайная политика Сталина» (М., 2015), — но я хочу взглянуть в частный, однако не пустой вопрос: можно ли как-то пристегнуть к этим обвинениям военную прозу виднейших советских писателей-евреев? Ведь именно в искусстве можно «протаскивать» разные «настроения», ничего не утверждая прямо.

Начну с Эммануїла Казакевича.

Хорошая советская биография. После окончания семилетней трудовой школы окончил Харьковский машиностроительный техникум, в начале тридцатых отправился в Биробиджан. Работал бригадиром, инженером, начальником участка, начальником строительства городского Дворца культуры, председателем колхоза «Валдгейм», организатором еврейского молодежного театра, директором Биробиджанского театра имени Кагановича.

Писал на идише бравурные стихи о новом городе.

Встаёт рассвет
 над синью
 дальних сопок,
Колышет горизонт трава лучей.
Как в сине небо
 серпокрылый сокол,
Вдруг грянет песня —
 лучше и звончей
Той,
 что писал я,
 что носил —
 под сердцем,

С которой сто
 путей-дорог прошёл.
Рассвет кричит: «Эммануил, вос эрт зих?»
И я в ответ бросаю: «Хорошо!»
А он встаёт
 в неровном свете буден,
Наш новый день,
 прорвавшийся из тьмы.
Над всем, что было,
 и над всем, что будет,
Над городом, который строим мы!

«Вос эрт зих?», как вы уже догадались, это «Как дела?».

В 37-м Казакевич чудом ускользнул от ареста, на фронте прошел путь от рядового разведчика до начальника разведотдела дивизии, помощника начальника разведотдела армии. В 1947 году в журнале «Знамя» опубликовал повесть «Звезда», принесшую ему Сталинскую премию.

Повесть начинается эпически, повествователь взирает на мир с большой высоты.

«Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее.

То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей».

Далее разведчики идут в тыл врага, и автор следит за каждым их шагом, — и каждый человек виден, каждый индивидуален — истеричный храбрец, невозмутимый великан, красивый трус, юный витязь без страха и упрека, — они убивают, их убивают, за ними гонятся, окружают...

И тут снова вступает величественный эпос.

«Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем "Викинг" обречена на гибель».

Эти героические одиночки приводят в движение огромные силы исторического масштаба.

«Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. "Галиев почуял немца", — говорили про него.

На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии "Викинг". Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.

Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение.

Штаб фронта взял эти сведения на заметку, как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу.

Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия "Викинг", и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу.

Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле: до самого Берлина и до самой Москвы».

И есть ли где-то здесь признаки каких бы то ни было национальных проблем?

Нет, весь народ, все государство действует как единый могучий организм. Нигде нет ни тени национализма или космополитизма, над всем царит могучий не этнический, но общегосударственный патриотизм.

Илья Эренбург.

Скептик, интеллектual, модернист, западник, проживший половину сознательной жизни в Париже, в 1926 году среди Тирренского моря писал в частном письме: пусть я плыву на Запад, пусть я не могу жить без Парижа, пусть моя кровь иного нагрева (или крепости), но я русский. Не удивительно, что после Двадцать второго июня голос этого еврея звучит, как колокол на башне вечевой: «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», — призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике «для себя» говорит не о человеке — о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла...

«Если дорог тебе твой дом», — таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село — Русский брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают "мыслящий тростник", гений Пушкина, Шекспира, Гёте, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот «космополитизм», возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга.

Этот выход за национальные границы вовсе не отказ от патриотизма, но, напротив, его возвышение, указание на его всемирно-историческую миссию. И это опять-таки патриотизм не этнический, а общегосударственный, включающий человека в некое единое «мы».

Василий Гроссман.

Он родился в год Первой русской революции в просвещенной еврейской семье, сочувствующей «освободительному» движению, и все полагающиеся революционные мытарства, возможно, принял как неизбежность. После окончания Московского университета сделал неплохую карьеру как инженер-химик, и в его первой революционной эпопее «Степан Кольчугин», написанной в манере горьковской «Матери», видно хорошее знание донбасского производственного быта.

Как специальный корреспондент «Красной звезды» Гроссман всего повидал на многих фронтах, а во время битвы за Сталинград оставался в городе все страшные дни и ночи, в том числе и на передовой. Виктор Некрасов впоследствии вспоминал, с каким уважением бойцы относились к Гроссману, державшемуся подчеркнуто по-штатски, хотя многие военные корреспонденты любили изображать прожженных окопных волков.

Гроссман лишь после освобождения Бердичева узнал, что его мать еще в сентябре 1941-го была расстреляна нацистами, и тема Холокоста осталась его личной болью до конца его дней. После войны вместе с Эренбургом они составили «Чёрную

книгу» свидетельств и документов о Холокосте, но в Советском Союзе книгу издать отказались, опасаясь, что трагедия евреев заслонит общенародную трагедию.

Однако общенародной трагедии Гроссман посвятил грандиозную дилогию «За правое дело» и «Жизнь и судьба», над которой он работал с 1946 по 1959 год. Даже и первая книга, наспигованная всеми положенными славословиями Сталину и партии, проходила в печать с трудом и подвергалась опаснейшим наездам, но во второй, «оттепельной», Гроссман дал себе волю. Там были и лагеря, и доносчики-комиссары, и Холокост — но и богатырский образ народа, великое Мы, сломившее самую могучую военную машину в мировой истории. Роман мог выйти в журнале «Знамя» года на два раньше солженицынского «Ивана Денисовича» и наверняка сделался бы еще большей мировой сенсацией, но — рукопись романа оказалась в КГБ. Была ли это инициатива главреда Вадима Кожевникова, или к этому привел общий порядок контроля, но роман был арестован вместе со всеми разысканными экземплярами.

Гроссман требовал «вернуть свободу» главному труду его жизни, но верховный советский идеолог Сулов четко разъяснил, что роман может быть напечатан в СССР не раньше, чем через 200—300 лет.

Гроссман ненадолго пережил эту катастрофу, а вот роман, сохранный и вывезенный за границу, многими признается «Войной и миром» 20-го века. Роман действительно могучий, но все-таки он довольно-таки ученически воспроизводит схему «Войны и мира» вплоть до того, что, наткнувшись на неодолимое сопротивление русских при Бородине, Наполеон утрачивает свой сверхчеловеческий апломб и понимает, что беззащитен перед случайным ядром или отрядом противника — и впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает понимать, что ему может выстрелить в спину каждый часовой — и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые только что обсуждал с олимпийским спокойствием. Подобно Толстому, Гроссман усматривает источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»...

«В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное "мы" обращается в робкое, хрупкое "я", а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное "они".

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки, я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг — я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня...

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы».

Сила духа в единстве, в ощущении единого «мы», и у Гроссмана нет ни намека на выделение в этом «мы» каких-то этнических частей.

Даниил Гранин.

Сегодня всем желающим известно, что он еврей, хотя Гранин всегда воспринимался писателем русской национальности, тем более что еврейской темы у него припомнить не могу. А в последние его годы я довольно регулярно с ним общался, и он никогда не говорил о личных трудностях — только о проблемах страны. И национального аспекта в них, похоже, просто не замечал.

И лучшую свою книгу «Мой лейтенант» он опубликовал уже в 2012-м, когда можно было писать любую правду о чем хочешь. Однако самую острую правду он написал о своем альтер эго.

Лирического героя «Моего лейтенанта» мы видим то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то насмерть перепуганным ребенком, способным разрыдаться от ласкового слова, а после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война воняет мочой». Зато именно поэтому мы и проникаемся к нему трепетным сочувствием и абсолютным доверием — и понимаем, что именно так и происходит преобразование перепуганного мальчишки в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепненно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Гроссман, напоминая, усматривал источник воинской доблести в «роевом» начале — в чувстве «мы»: когда «мы» начинает распадаться на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и физического распада армии на группы измотанных одиночек, не только не имеющих никакой материальной связи с армейским целым, но допускающих даже, что и не только Ленинград, который они обороняли, но и — почему бы и нет? — может быть, и Москва сдана немцам. И, скитаясь по лесам, одна из таких группок встречает на пути обгорелого майора — «лиловые щеки в пузырях», — который не собирается заканчивать войну, как бы далеко ни забрались немцы: абсолютно без всякого приказа сверху он собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там будем поглядеть. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение «разумному предложению», и майор в ответ гаркает: «Это не предложение, это приказ!»

Эту сценку можно рассматривать как комментарий к той свободомыслящей доктрине, что война была выиграна благодаря заградотрядам. В «Моём лейтенанте» есть и еще одна сильная сцена, иллюстрирующая, насколько немисливо запугать вооруженную массу, неделями ведущую безнадежную борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых выбрался из окружения лишь благодаря персональной удаче, и даже грозит: а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его убитым вместе с напарником.

И все-таки главный вектор остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок-смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете, а младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: вот чего все это стоит, когда речь идет о жизни и смерти государства. И это делает не товарищ Сталин или товарищ Жданов, не дикарь и не варвар — еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими потерями для

культурных ценностей. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!» Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее пассионарной части народа — той части, на которую она и опиралась.

Однако и Гранин в этом пассионарном ядре не выделяет никаких национальных фрагментов — народ снова предстает единым целым.

У Ремарка картина иная.

Герой-рассказчик («На Западном фронте без перемен») особо отмечает храбрость новобранцев, «этих несчастных щенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником». У фронтовиков имеется и национальная гордость: «Национальная гордость серошинельника заключается в том, что он находится здесь. Но этим она и исчерпывается, обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узко личной точки зрения».

Зато в «Возвращении» с приближением мира впервые возникает ротный командир обер-лейтенант Хеель, который ходит в дозор с тростью. И когда еврей Вайль приносит газету с сообщением о том, что в Берлине революция, Хеель комкает газету и кричит: «Врешь, негодяй!» А потом, оставшись в одиночестве, сидит в солдатской куртке без погон и плачет.

И наконец, прощаясь с однополчанами, поджав губы, говорит Вайлю:

«— Ну вот, Вайль, вы и дождались своего времечка.

— Что ж, оно не будет таким кровавым, — спокойно отвечает Макс.

— И таким героическим, — возражает Хеель.

— Это не все в жизни, — говорит Вайль.

— Но самое прекрасное, — отвечает Хеель. — А что ж тогда прекрасно?

Вайль с минуту молчит. Затем говорит:

— То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. В этом тоже есть свой героизм, господин обер-лейтенант.

— Нет, — быстро отвечает Хеель, словно он уже не раз об этом думал, и лоб его страдальчески морщится. — Нет, здесь одно только мученичество, а это совсем другое. Героизм начинается там, где рассудок пасует: когда жизнь ставишь ни во что. Героизм строится на безрассудстве, опьянении, риске — запомните это».

Казалось бы, еврей-пацифист и выражает общее мнение, но нет. Когда изголодавшаяся, оборванная немецкая армия уже после капитуляции сталкивается с сытыми, великолепно экипированными американцами, в проигравших пробуждаются совсем не пацифистские чувства.

«Мы не знаем, что с нами происходит, но если бы сейчас кто-нибудь обронил хотя бы одно резкое слово, оно — хотели бы мы того или нет, — рвануло бы нас с места, мы бросились бы вперед и жестоко, не переводя дыхания, безумно, с отчаянием в душе, бились бы... Вопреки всему, бились бы...»

Советские же писатели еврейского происхождения не несут никакого пацифистского начала.

Напрашивается итог: тогдашнее поколение советских евреев было практически лишено националистического начала, противопоставляющего себя общенародному. И когда биробиджанский писатель Борис Миллер в газете «Биробиджанер штерн» («Биробиджанская звезда») опубликовал список евреев — Героев Советского Союза, в этом проявлении национальной гордости было не больше сепаратизма, чем в гордости солдат своим полком отчужденности от дивизии и армии. В «Волоколамском шоссе» Александра Бека главный герой — казах, он спокойно говорит, что гордился рядовым-соплеменником, умеющим разбирать пулемет: мы, казахи, тоже становимся народом механиков, — и никакого национализма в этом никто не усмотрел.

Миллер, однако, получил десять лет за еврейский национализм. И это было хуже, чем преступление, это была ошибка. В итоге преследования за вымышленную вину на много лет породили реальное взаимное недоверие и отчуждение.

Преследования за которое его только усиливало.

Этот порочный круг разорвало лишь падение советской власти.

От биробиджанских, например, поэтов и прозаиков она требовала романов и поэм в таком примерно духе: наконец-то сбылась тысячелетняя мечта еврейского народа о собственном государстве — хотя в дружной семье советских народов повсюду живется одинаково уютно. Наконец-то мы можем писать на своем родном языке — хотя он, конечно, ничем не лучше великого и могучего русского языка. Мы должны собрать все силы — хотя без поддержки великого и могучего русского народа у нас все равно ничего не получится. Наши парни сражаются, как истинные наследники Самсона, — хотя, впрочем, Илья Муромец ничем ему не уступит. Горе наших матерей, потерявших своих сынов, безмерно — хотя и не более безмерно, чем горе русских, украинских, белорусских, узбекских, татарских и всех прочих матерей.

При всей смехотворности этого канона, поэтов и писателей карали именно за отступления от него.

Картина Биробиджана во время войны в основном сходна с привычной картиной советского тыла: энтузиазм, непосильный труд, пожертвования, недоедание на грани голодной смерти... При том, что в те годы громче всего зазвучали призывы именно к русскому народу (Сталин осуществил открытую мобилизацию русских грез, справедливо полагая, что в случае победы, которая без их поддержки весьма сомнительна, он сумеет удержать их в узде), еврейский народ сделался одним из тех немногих народов, чье имя было использовано в пропаганде, предназначенной для западного слуха (внутри же страны постарались убрать хотя бы с глаз долой эту красную тряпку, которую и без того постоянно совала населению под нос гитлеровская пропаганда: вы воюете из-за евреев, вы защищаете евреев... Лучше уж и впрямь массовые убийства евреев обтекаемо называть убийствами «мирных советских граждан»). В мае 1942 года в Москве состоялся митинг, послуживший прелюдией к образованию Еврейского антифашистского комитета (ЕАК). Известные в Союзе и даже в мире советские евреи обратились к евреям всей планеты с призывом приобрести для Красной армии 1000 танков и 500 самолетов: «От тех, кто сражается сегодня с гитлеровскими ордами, зависит будущее всего мира и, в частности, еврейского народа». В ответ еврейскому антифашистскому комитету в город Куйбышев была направлена из ЕАО телеграмма о сборе денег в количестве 7 700 500 рублей, в том числе на строительство танков и самолетов 489 700 рублей, и теплых вещей для фронта на сумму 65 523 рубля.

В 1944 году на фоне общего горя и нужды руководство области решило отметить десятилетие со дня образования ЕАО и в благодарственном обращении к Сталину среди стандартной патетики была использована пара специфически еврейских образов: Самсон, пожертвовавший собой ради уничтожения врага, «львиное сердце Маккавеев»... И это через несколько лет припомнили первому секретарю обкома Александру Наумовичу Бахмутскому в качестве проявления еврейского буржуазного национализма.

Об уничтожении Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) написано довольно; поэтому здесь достаточно сказать: разумеется, никакой шпионской деятельностью «еврейские антифашисты» не занимались, но что касается несанкционированных грез, то таки да, грезили. Вступались за отдельных евреев, вообразили себя представителями несуществующего народа... Который, возможно, раздражал Сталина еще и тем, что отказывался вести себя в соответствии с его теориями — труп отказывался разлагаться. Кстати, и новая власть, после смерти отца народов отменившая расстрельный приговор, все-таки посмертно попеняла есаковцам за их бестактное поведение — за попытки «некоторых из осужденных» присваивать себе несвойственные им функции: вмешиваться в решение вопросов о трудоустройстве лиц

еврейской национальности, возбуждать ходатайства об освобождении заключенных евреев из лагерей. И вообще — мелькали.

ЕАК и в самом деле находился в фокусе международного внимания. Но кому в столицах было дело до того, какими демагогическими зверствами отозвалась эта кампания в Еврейской автономной области! Мощным катализатором послужило и осложнение отношений с государством Израиль, примерно в это же время воссозданным на канонической Земле обетованной и отказавшимся служить советским плацдармом на Ближнем Востоке. Энтузиазм, с которым советские евреи восприняли его героическое рождение, не мог не усилить в советских вождях не лишнее оснований чувство: сколько еврея ни корми...

Все, что связывалось со словами «еврейский», «еврейское», в Еврейской автономной области теперь именовалось буржуазным национализмом, — как, впрочем, и во всей стране. Однако особенностью ЕАО было, пожалуй, обвинение А.Н.Бахмутского в попытках создать в Еврейской автономной области еврейскую элиту. Что он, судя по всему, действительно пытался сделать. Тогда как подбор кадров по национальному признаку и в самом деле был нарушением не только сталинской Конституции, но и вообще либеральных принципов, запрещающих принимать во внимание национальность граждан. Ну, а что без такого подбора, без создания дополнительных стимулов евреям оставаться и становиться именно евреями, а не просто «советскими людьми», область и не могла сделаться еврейской — так и не нужно. Довольствуйтесь названием. А потому и экспозиции по еврейской истории из краеведческого музея должны быть изъяты.

После показательных изобличений и тщетных покаяний («Я кроме семилетки и ФЗУ, по существу, никакого образования не имею») в театре имени Кагановича А.Н.Бахмутский был исключен из партии. Напрасно он, глотая слезы, повторял: «Мне всего тридцать восемь лет. Поверьте мне. Только не исключайте».

Первые слова нового, присланного из Москвы первого секретаря обкома П.В.Симонова, обращенные к ожидавшему его шоферу (кстати, еврею), были таковы: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики? Ну ничего, мы порядок наведем».

Новое истребление начавшей было формироваться государственной, хозяйственной и культурной элиты Еврейской автономной области, в отличие от тридцать седьмого года, планомерно осуществлялось теперь уже по национальному признаку. Во всех обвинениях ключевые слова были одни и те же: «буржуазный», «националистический», «сионистский», «космополитический», «проамериканский». В центре города жгли тысячи книг на еврейском языке — это были книги репрессированных писателей, а заодно и просто «устаревшие по содержанию» и «излишние». А сами биробиджанские писатели...

Борис Миллер (Бер Срульевич Мейлер), 1913 года рождения, образование высшее, писатель, был обвинен в том, что в его патриотической пьесе «Он из Биробиджана» земляки, встретившись на фронте, поднимают тост сначала за Биробиджан и только потом за товарища Сталина, — в итоге десять лет, правда, с правом переписки. И то сказать: в газете «Биробиджанер штерн» Б.Миллер опубликовал список евреев — Героев Советского Союза. Не могу устоять перед соблазном процитировать протокол его допроса.

Следователь: Почему список озаглавлен «Честь и слава еврейскому народу»? Вам разве неизвестно, что это определение — «еврейский народ» противоречит национальной политике партии и правительства?

Миллер: Термин этот, хоть он и противоречит марксистско-ленинскому определению нации и народности, систематически употребляется в еврейской печати.

Противоречит, но употребляется...

Любовь Шамовна Вассерман, родившаяся в Польше, приехавшая в Красный Сион из просто Сиона, имела неосторожность сочинить стихотворение, в котором были такие строки:

Биробиджан — мой дом,
И песнь моя о нем.
Люблю свою страну — Биробиджан.

Следователь: Признаете, что оно националистическое?

Вассерман: Да, потому что в нем допущено такое националистическое выражение: «Люблю свою страну — Биробиджан».

Биробиджан не страна, а областной центр. Не забывайте!

В итоге те же десять лет, отштемпелеванные тем же 31-м мая 1950 года. А в 1952 году, в день Советской армии А.Н.Бахмутский был приговорен к расстрелу, замененному после его клятвенного письма Сталину двадцатипятилетним заключением. Бахмутский вышел на свободу в 1956 году за месяц до XX съезда сорокашестилетним, но уже безнадежно больным человеком. И век свой доживал в полной неизвестности.

Любопытно, кстати, что синагога, вызывавшая особый патриотический гнев («Для синагоги нашли помещение, а для ДОСААФа не можете!»), была закрыта уже после смерти Сталина, в ноябре 1953 года.

И вся эта вакханалия была запущена из-за фантома — несуществующего буржуазного еврейского национализма.

По крайней мере, у писателей и поэтов фронтового поколения его обнаружить не удастся. Разве что они были гораздо сильнее ранены Холокостом, чем остальное население СССР, но и в этом было не больше отчуждения от страны, чем в каждом, кто оплакивает гибель близких. Советская из советских Маргарита Алигер об этом и написала в 1945 году.

Разжигая печь и руки грея,
наскоро устраиваясь жить,
мать моя сказала: «Мы евреи.
Как ты смела это позабыть?»
<...>
Поколение взрослых на свободе
в молодом отечестве своём,
мы забыли о своём народе,
но фашисты помнили о нём...
<...>
Вот теперь я слышу голос крови,
смертный стон народа моего.
Всё слышней, всё ближе, всё суровой
истовый подземный зов его.
Голос крови. Тесно слита вместе
наша несмываемая кровь,
и одна у нас дорога мести,
и едины ярость и любовь...

Этот голос вовсе не зовет ее подальше от той земли, которая взрастила, стать большой и гордой помогла. Напротив, только с нею евреи могли идти по дороге мести.

Они были готовы и дальше идти вместе с нею и по дороге мести, и по дороге творчества.

Да, в общем-то, они и продолжали по ней идти, даже и чувствуя себя незаслуженно оскорбленными.

Но их дети мириться с этим уже не желали.

Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась

Литературные итоги 2020 года

*В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА,
Дмитрия БАВИЛЬСКОГО, Катерины ГАЛГУТ, Марии ЗАКРУЧЕНКО,
Сергея ЛЕБЕДЕНКО, Валерии ПУСТОВОЙ, Елены САФРОНОВОЙ*

Традиции «ДН» подводить итоги минувшего литературного года — 15 лет. Пролистав три первые журнальные книжки, начиная с 2007 года, можно получить если не полное, то весьма объемное представление о наиболее интересных и обсуждаемых произведениях и авторах, о самых горячих полемиках и премиальных сюжетах, об опыте и насущных проблемах толстых журналов, книжных издательств, литературных сайтов и блогов — в перекрестье субъективных оценок и суждений писателей, критиков, блогеров из столичной и нестоличной России, «ближнего» и «дальнего» зарубежья.

Как всегда, мы предлагаем участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Литература в обществе «удалёнки» и «социальной дистанции»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Евгений Абдуллаев, поэт, прозаик, критик (г. Ташкент)

Год перечитывания

Главные события, как всегда, были не в тексте, а в контексте. Пандемия ударила в какую-то особенно болезненную точку. В солнечное сплетение. Цивилизация сложилась вдвое и не может отдышаться. Мир стал более хрупким, люди более нервными. Почитайте любую литературную дискуссию в Сети. «Кр-р-рови!»

То, что долго собиралось зашататься, радостно зашаталось.

Толстые журналы, однако, продолжают выходить. «Обыкновенное чудо», сказал бы Шварц.

Ближе к концу года упразднили Роспечать.

Говорить о тексте-событии воздержусь. Весь год просидел в Ташкенте, больше перечитывая старое, чем читая новое. «Старое», конечно, условно: трех-пяти-семилетней давности. Например, прекрасный сборник стихов Андрея Пермякова «Сплошная облачность», вышедший в 13-м году. Или другая книга, которую тоже держу поблизости, читая и перечитывая небольшими дозами: «Упражнение в бытии» Ольги Балла, год 16-й.

Вообще, все больше хочется говорить и писать о таких книгах, которые не с пылу с жару. Именно с такой — небольшой — временной дистанции проступает «событийность» текста, его важность. Даже думаю, когда устану от «Литературного барометра», удариться оземь и переформатироваться в рубрику «Букинист», где можно было бы неспешно поговорить о таких «неновых» книгах. А то только успеваем ловить и пролистывать-почитывать «свеженькое» — а рядом лежат десятки недопонятых, недопрочитанных книг.

Ускорение литературного процесса при общем замедлении литературы, замедлении ее стилистического, тематического и прочего обновления. Не скажу — тенденция именно этого года, просто в 2020-м все стало как-то особенно рельефно и четко. Пандемия подействовала на всё, как катализатор; то, что все десятилетия пребывало в игре оттенков, стало одноцветным, с преобладанием темного.

Все десятилетия шло вялотекущее сужение «офф-лайнового» сегмента литературы: встреч, фестивалей, премиальных церемоний и прочая и прочая... Всех тех праздников, пиров духа и фуршетов плоти, которые те, кто понимал, что происходит с литературой, называли пиром во время чумы. И вот, собственно, всё; просьба освободить вагоны.

Пир кончился. А чума осталась.

В литературном «он-лайне» жизнь кипит, градус кипения даже повысился. Литературные вечера «он-лайн», литературные школы «он-лайн», литературные баталии «он-лайн». И хорошо, что так — без этого бы вообще все загнулось. Печально, повторяюсь, что главная причина здесь не пандемия; она лишь высветила то, что уже шло давно. И стремительный переход на выпуск крупнейшими издательствами электронных книг взамен печатных начался тоже до «короны». И, в целом, разбегание литературного сообщества по своим виртуальным норам. Всё только ускорилося и в этом ускорении даже не перешло, а проскочило точку невозврата, пронеслось мимо нее, обдав публику ледяным ветром.

Литература дематериализуется. Вся, вместе с книгами, авторами, их письменными столами, музами и лирами — переходит в «цифру». И ведать ею вместо Роспечати будет Минцифра.

Вместо «печати» — «цифра». Символично.

При этом сама литература — как-то замедлилась, двинулась вспять, а где-то даже совершила полный оборот, вернувшись к началу десятилетия.

Достаточно поглядеть на состав победителей самых крупных литературных премий. «Большая книга» — Иличевский, один из фаворитов нулевых, но в десятилетия фактически ничего не выпустивший. «Нацбест» — Елизаров, после «букероносного» «Библиотекаря» (2008) почти все десятилетия бывший в тени. «Московский счёт» — Гронас, тоже почти полтора десятилетия молчавший. «Поэзия» — Гуголев, не то чтобы молчавший, но публиковавшийся в десятилетия несопоставимо меньше с началом нулевых.

Ничего плохого, разумеется, в этом нет. За Гуголева — просто рад, да и за других тоже; просто отмечаю некое возвращение на круги своя. Впрочем, так оно, наверное, и должно быть; это только падение бывает прямолинейным, а литературное движение всегда извилисто, с зигзагами и кругами.

Перейду ко второму вопросу, который оставил на закуску. Про литературу «ближнего зарубежья» и кого удалось в ушедшем году прочесть.

В основном, казахов. С сентября веду — разумеется, «он-лайн» — семинар по поэзии в алмаатинской «Открытой литературной школе». Талантливые люди собрались. Двое уже публиковались в сентябрьской «Дружбе»: Аман Рахметов и Ирина Гумыркина. Это новая волна казахстанской литературы, новые поколения, но идущие от силлаботоники, очень интересно ее развивающие. Рахметов вообще ближе к, условно говоря, «воронежской школе» — хотя как школу они себя и не декларировали, да сегодня это и не нужно. Там у них, в Воронеже, случилось что-то интересное, сразу несколько молодых поэтов; может, дух Мандельштама постарался. Наиболее известен Василий Нацентов, но есть и Сергей Рыбкин (о его новой книге «Вдали от людей» как раз собираюсь писать в мартовском «дружбинском» поэтическом обзоре), и Аман Рахметов, который жил в Воронеже несколько лет... Но я отвлекся; возвращаюсь к именам казахстанским. Зоя Фалькова и Александр Иванков, это другая линия, более интеллектуальная, прозаически-нарративная. Наконец, Алдияр Бакаяков, он вообще ни в какую линию не вписывается, стихийный и очень интересный голос.

Из «своих», узбекистанских авторов — читал и переводил с узбекского Турсуна Али; очень интересный поэт и сам — переводчик (прежде всего, Хлебникова). Из здешних русскоязычных — Наталью Белоедову; пожалуй, единственное яркое, что появилось в русскоязычной литературе Узбекистана в десятилетия.

А в целом, как уже сказал, 2020-й был не столько годом чтения, сколько перечитывания. Так что — что пенять на попятное движение литпроцесса, если сам двигался вспять — и не без удовольствия? Хорошо, посмотрим, куда поплывем в 2021-м.

Дмитрий Бавильский, прозаик, литературовед, критик (г. Челябинск)

Безвозвратное деление

1. Не сразу, но, кстати, и не только мной, было замечено, что многие явления ковидной жизни, ранее существовавшие в неразрывном единстве, словно бы разделились на отдельные фракции — вот как составляющие в правильно устроенном коктейле. Общественное существование оказалось отделенным от приватного, искусство — от культуры, телевиденье — от новостей и информации. Нечто похожее происходит и в литературе, причем сразу же по всем фронтам, где беллетристика, как и массовое книгоиздание, все больше и больше отдаляется от «высокой литературы», переводные новинки от отечественных, а поэзия — от народа и общеупотребимого языка.

Безвозвратное это деление происходит и на автономных сценах. Вот, например, в критике, где младомодернисты, как я обозначаю плеяду эссеистов-смысловиков во главе с Ольгой Балла (первый лауреат премии «Неистовый Виссарион» в минувшем году выпустила том «Смысловых практик в книгах и текстах начала столетия» «Пойманный свет», а также сборники: поэтических текстов «Сквозной июль» и экзистенциальных записок «Дикоросль», — напоминающих, разумеется о тетрадах «Самосева» Филиппа Жакоте) и Александром Чанцевым (в 2020-м он закономерно получил премию Андрея Белого за том «Ижицы на сюртук из снов», увесистого автопортрета современного интеллектуала в рецензиях и обзорах), существуют отдельно от обозревателей, сводящих рецензии к пересказу сюжета.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Еще более осязаемое разделение происходит в области перевода, где новые варианты классических произведений требуют все большего ума, таланта и опыта, необходимого для того, чтобы учитывать не только особенности авторского синтаксиса и интонации, но также все предыдущие интерпретации и трактовки. И не только и не столько отечественные.

К примеру, «Путевой дневник» путешествия в Германию и в Италию Мишеля Монтеня вышел по-русски впервые, причем в двух разных переводах: «Лимбус пресс» издал вариант Леонида Ефимова, а «Красный пароход» — Натальи Мавлевич. А вот новые транскрипции статей и эссе Поля Валери пересобраны Марианной Таймановой в изящный сборник «Лимбус пресс», исправляющий поэтические вольности предыдущих переводчиков. Не менее важен и второй вариант перевода романа Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора», девять лет назад запоротого произвольной редакцией издательства «Текст». В декабре «Лимбус пресс» представил аутентичную версию Владимира Лукьянчука, и культурная справедливость, наконец, восторжествовала.

Впрочем, как кажется, самым ожидаемым переводом этого года, по самым разным причинам, стал третий том эпопеи «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, отмеченный премией Андрея Белого. Его ведь Елена Баевская уже который год мужественно штурмует вслед Адриану Франковскому и Николаю Любимову. И не боится сравнений с выдающимися предшественниками.

Традиционного для русского слуха Свана она превращает в Сванна, а «У Германтов», выход которого в «Иностранке» выпал на нынешний год, переделывает в «Сторону Германтов», чем запускает цепочку необратимых следствий в восприятии классического текста, интонационно ориентированного отныне, по признанию Баевской, на раннюю прозу Пастернака. Однако выглядит это весьма современной и крайне актуальной прозой, словно бы сегодня написанной...

И это, конечно, выдающийся труд, приблизиться к которому из переводов актуальной литературы, могут разве что Инна Стреблова и Ольга Дробот, занятые русским вариантом шеститомного прозаического цикла Уве Карла Кнаусгора «Моя борьба».

В прошлом году «Синдбад» опубликовал первое «Прощание», теперь подоспела «Любовь», и если первую часть литературные обозреватели еще как-то вынужденно заметили, очень уж много шума книги эти до сих пор вызывают в Америке и в Европе, то вторая часть прошла у наших критиков полностью незамеченной — подлинно новаторской литературы у нас не любят и не прощают вообще никому.

Пока что «Моя борьба» движется по возрастающей, открывая современной литературе какие-то небывалые доселе возможности.

И потому что такого умного и честного автофикшна пока еще не было. И оттого, что, прежде чем устремляться вперед, Кнаусгор иттожит достижения классического искусства (не только литературы, но также театра, живописи и, например, кино): помимо описания повседневной жизни, в которой, на первый взгляд нет ничего особенного, а на второй взгляд обнаруживаются залежи смыслов, «Прощание» и, тем более, «Любовь» набиты мета-рефлексией.

Так как все, что происходит в жизни рассказчика и рассказывается им в режиме реального переживания, чередующегося с экскурсами в прошлое, призвано иллюстрировать и утверждать творческий метод автора, предъявляя его со всех возможных сторон. Таким образом, «Мою борьбу» можно прочитывать как эксперимент по превращению сырого сырья «вещества жизни» в литературу высочайшего качества. В этом смысле Кнаусгор вполне тянет на звание «современного Пруста». Просто в его эпопею на один том меньше.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

2. Действие «Коки», нового романа Михаила Гиголашвили, посвященного наркоманским мытарствам безвольного, но симпатичного персонажа, отчасти происходит в Европе (сначала в Голландии, почти на буквальном криминальном дне Амстердама, затем в немецкой психиатрической клинике), отчасти в только что образовавшейся России и соседних республиках, ставших независимыми государствами, — сначала в родном Тбилиси, затем в пятигорской тюрьме, куда Кока попадает из-за очередной авантюрной комбинации, вызванной поисками запретного кайфа...

В Амстердаме Кока, предоставленный самому себе, ежедневно швырялся среди «преступного элемента», поражая изобретательностью и вынужденной эмпатией, раздутой до беспримерного человеколюбия, неожиданной смелостью и стойкостью, которой оборачивается его бесхребетность. В Тбилиси и, тем более, в Пятигорске все его наработки и знакомства обнуляются, и нужно начинать отстраивать систему потребления с нуля.

Таким нестандартным образом Гиголашвили противопоставляет родину и чужбину, говорящих на разных, в том числе и социальных, языках, исповедующих разные принципы человеческой свободы. В этом смысле Европа комфортнее, но равнодушнее, тогда как Россия оказывается душевной страной больших возможностей, где возможно, вообще-то, все.

Кстати, именно этим русский роман (причем не только современный) и отличается от западноевропейского, «пронизанного работой дисциплинарных институтов», как написала Эмма Либер в статье, сравнивающей «Холодный дом» Диккенса и «Братья Карамазовы» Достоевского в сборнике «Русский реализм XIX века» («НЛО», 2020), тоже вышедшем в самом конце года.

Гиголашвили, полжизни исследующий и преподающий творчество Достоевского в университете, повторяет в «Коке» некоторые открытия классика. Во-первых, демонстрируя принципиальную предвзятость уголовного расследования, которое заканчивается для Коки неожиданным освобождением. Во-вторых, детальными и весьма длительными описаниями тюремного быта, явно отсылающими к «Запискам из мёртвого дома». Общим у двух писателей оказывается и гуманистический пафос милости к падшим — употребляя, они ведь не вредят никому другому, кроме самих себя.

3. Логично предположить, что режим «удаленки» и «самоукорота» способен обратить вдумчивых людей к чтению: цифры продаж электронных и бумажных книг в других странах прямо на это указывают. У нас же рынок продажи текстов падает, особенно книжных (цифровые показывают небольшой рост), а если что и растет по-настоящему, как у взрослых, так это потребление видео-контента на стриминговых платформах (фильмы и сериалы): самая читающая страна в мире безвозвратно утратила первенство не только в освоении космоса, но и в чтении, которое вытесняется в России другими медиумами и источниками информации.

Да я и по себе наблюдаю, что чтение воспринимается теперь как необязательный и дополнительный способ проведения досуга, существующий по остаточному принципу. Теперь он работает лишь тогда, когда использованы все прочие возможности траты времени — от сериалов до соцсетей. Потому что читать — это же трудиться нужно!

Для большинства из нас удаленка так и не стала способом разворота к себе и возможностью наведения интеллектуального порядка. Ведь для этого нужен относительный душевный покой, ощущение перспектив (мы читаем, в основном, под потребности будущего) и хотя бы какой-нибудь намек на методологию. Тогда как многие из нас почти буквально погребены под избытками ненужной информации, которую невозможно ни осознанно освоить, ни, тем более, структурировать.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Кстати, это ведь книги и умные журналы помогают структурировать внутреннее пространство лучше любых других видов культурного потребления, так как именно чтение позволяет человеку остаться один на один с собой и с «умным собеседником» на максимальное количество времени, однако кто теперь задумывается об этом всерьез? Информационный избыток подхватывает и подхлестывает наши самоощущения, постоянно увеличивая скорости личного времени до состояния непреходящего вихря. Остановить который не способна даже необходимость сидеть по домам.

В будущем, если, конечно, все останутся живы и забудут тревоги и массовые смерти жертв нынешней эпидемии, мы будем вспоминать это время как удивительный сбой инерции и привычных жизненных стандартов — то, что в литературоведении называется «актуализацией высказывания» и «вскрытием приема».

Пандемия covid-19 вынужденно подарила нам обилие личного времени, при правильном использовании способного образовать какое-то количество «внутренней свободы», необходимой для постоянного духовного и душевного самосохранения.

Для описания культурных практик этого високосного года я даже придумал особый жанр коронанарратива, несколько частей которого весьма оперативно вышли в «Новом мире» (№ 5, № 6, 2020). В них я достаточно подробно описываю смену формаций самоощущения и реакций на то, что происходило и происходит в общественном сознании сначала весной, затем летом и вплоть до конца года, поскольку новые главы коронанарратива готовятся к выходу в тематическом выпуске журнала «Комментарии», целиком посвященном культурным итогам года, полностью захваченного актуальной всемирной напастью.

Катерина Галгут, книжный блогер (г. Москва)

В попытках удержаться за реальность

1. Прошедший год хочется окрестить *новой реальностью* или даже некрасивой разрезающей слух *новой нормальностью*. И в этой связи симптоматичным кажется затянутый и оттого настолько долгожданный выход «Нормальных людей» Салли Руни — пожалуй, одной из главных переводных книг уходящего 2020-го. Естественный ход вещей нарушен, и нет ровным счетом ничего обычного как в героях романа, так и в той душной обстановке запертых квартир, в которой мы все оказались. Сегодня мы — люди в вакууме, поддерживающие связь с внешним миром путем он-лайн взаимодействия. Однако, оглядываясь на выходившие в прошлом году книги, мы пока не можем обнаружить тревожные тенденции. Тем более, когда говорим о русскоязычной литературе, почти целиком построенной на протяженной во времени рефлексии, которую, кажется, невозможным высвободить здесь и сейчас.

До того, как все повально начали цитировать Бродского, ибо что может быть более актуально, чем «не выходить из комнаты, не совершать ошибку», в печать уже были сданы знаковые книги прошлого года. Они еще не успели впитать в себя запахи стерильности и антисептиков и оттого отражают ту реальность, в которой, кажется, мы уже никогда не будем жить. Однако хорошо замечен изменившийся ракурс. Еще год-два назад мы только и говорили, что о травмах XX века, а сегодня вместе с

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Владиславом Городецким обсуждаем трансгуманизм, с Булатом Хановым — фестивали крафтового пива (хипстерская деталь, гармонично вписавшаяся в многослойный роман о зависимостях и предрассудках), а с Кириллом Рябовым — современных гуру, способных изменить нашу жизнь всего за сто пятьдесят тысяч рублей. Все еще утопая в ГУЛАГе и цепляясь за «Оттепель», литература понемногу пытается говорить об окружающем нас сегодня. Будет преувеличением сказать, что 2020-й год стал открытием направления «актуальный роман», но он стал достойным продолжателем зародившейся традиции.

Еще одна явная тенденция — повышение интереса к нон-фикшн литературе. Но если пару лет назад мы в большей степени обсуждали премию «Просветитель» и научпоп исторической и медицинской тематики, то сейчас все больше спорим о книгах-расследованиях. В 2019-ом говорили и «Форпосте» Ольги Алленовой и «Вторжении» Михаила Туровского, а под занавес 2020-го вышел «Криминальный Татарстан» Роберта Гараева, о котором нам пока только предстоит вести долгие дискуссии. Впрочем, все еще популярен более традиционный нон-фикшн. В ушедшем году для себя особо отметила «Историю смерти» Сергея Мохова — книгу о трансформации отношения людей к умиранию, от «Imitatio Christi» до зомби-апокалипсиса. Любопытно, что к танатосу также обращен и знаковый роман «Земля» Михаила Елизарова, о котором столько уже сказано, что лучше больше и не добавлять ничего, разве что только о пророческой силе хорошей литературы.

Можно было бы еще долго говорить о трендах, например, о *#MeToo* и проникнувшем во все сферы культуры феминизме, в том числе и в его самой экстремальной форме, или о развитии Young Adult в России, и о других течениях в современной литературе. В конце концов, через несколько десятилетий литературоведы решат, что же на самом деле определило 2020 год. Все, что я могу сказать сегодня: тенденций много, и интересно посмотреть, какие из них выживут в мире, переворачивающемся с ног на голову практически ежедневно.

Лично для меня в этой ненормальной ненормальности прошедшего года главным событием стало чтение «Собиранья рая» Евгения Чижова. Пускай это разговор совсем не о трендах, а о зыбкости памяти и ощущении безвременья, хочется кричать о том, что нет ничего более актуального, чем вечное. Так что просто помолчу о ностальгии, перманентной и непроходящей «тоске о рае».

2. Увы, не удалось. Был в планах сборник повестей Сухбата Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки», но, к сожалению, не сошлось, отложила чтение уже на 2021-й.

3. Сегодня все сферы жизни пронизаны эсхатологическими настроениями. Литература не исключение. С началом введения карантина обострились разговоры о выживании книги в мире, все больше погружающемся в онлайн. Есть ли будущее у литературы? А у бумажной продукции? Помню страх, поглотивший меня в начале года: неужели придется все теперь читать в электронном формате? Сегодня новинки сначала выходят на Bookmate и «ЛитРес», а уж потом, если повезет, появляются на полках «физических» магазинов. Разрыв был и раньше, но не казался черной дырой безысходности. Издательство ЭКСМО пошло еще дальше и выдвинуло идею отправлять в печать только вещи, набравшие более одного миллиона упоминаний в СМИ. Для крошечного российского рынка это феноменально много, с нашими-то смешными тиражами три-пять тысяч экземпляров. Впрочем, год уже закончился, а книги все еще выходят. С опозданием, с вечно отсроченным стартом продаж, но главное, что выходят. Мне думается, что все же никакая социальная дистанция не остановит книгопечатную деятельность, которая будет жить, куда живы читатели.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

*Мария Закрученко, прозаик, литературный критик,
книжный блогер (г. Москва)*

«Все побежали писать про 2020 год»

Не буду делать вид, что в минувшем году следила за какими-то «трендами». У меня едва хватало времени на проблемы со своим здоровьем (не ковид), к сожалению, я не писала ничего, крупнее заметок в блог, и хотя со временем надеюсь восстановиться, сейчас не чувствую себя вправе давать какой-либо развёрнутый комментарий и дискутировать на тему современной литературы. Для этого в течение года нужно было её читать. В прошедшем году я прочла только одну крепкую книгу русской прозы — «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой. Это единственный собственный голос в русскоязычной литературе 2020 года, который встречался лично мне, но, повторяюсь, по своим меркам я читала очень мало.

Могу повторить очевидную вещь — что вырос спрос на электронные и аудиокниги. Этого нельзя было не заметить, тем более, что я работаю в digital сервисе. В марте, когда Москву «закрыли» без объявления чрезвычайного положения, заставив людей делать вид, что всё в порядке, многие (кто не вынужден был искать работу) побежали на онлайн-ресурсы, чтобы отвлечься. Если вначале предпочтение отдавали нон-фикшену, то со временем интерес к нему значительно поутих, люди стали больше читать и слушать художественную литературу. Наверное, потому что художка не претендует на всеобщее знание о том, как правильно жить, чтобы тебя не убил вирус, или потому что в хорошей книге самой по себе содержится рецепт счастья, или головоломка, или приключение — каждому своё.

Что касается так называемой «удалёнки» и всего остального, то в данный момент это реальность, в которой мы живём, и не больше. Изменит ли это общественные отношения? Разумеется. Изменит ли это литературу? Вот уж нет, точно не сейчас. С самого начала пандемии по одним только почтовым рассылкам я наблюдаю, как писатели выполняют издательские заказы на книги «про эпидемии», «про врачей», «про изоляцию». От Евгения Водолазкина до Маши Трубной все пишут одно и то же, и у меня как у потенциального читателя скорее отбивают желание читать. С другой стороны, это настоящий феномен в русскоязычной литературе: до 2020 года интересы писателей во временном периоде лежали где-то между Великой Отечественной войной и девяностыми, в 2020 году все побежали писать про 2020 год. Пока это не может не вызывать раздражения, но вдруг эта «прививка ковидом», простите за чёрный юмор, научит писателей смотреть в глаза сегодняшнему дню?

Сергей Лебеденко, журналист, книжный блогер (г. Москва)

«Главный способ продвигать книги — экранизация»

1. Книгами года для меня точно стали:

— «Пиранези» Сюзанны Кларк — долгожданное возвращение главной современной британской сказочницы, детектив, фэнтези на грани weird и борхесовская

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

загадка под одной обложкой. Идеальное чтение во времена, когда дом для большей части населения планеты и впрямь стал целым миром, как для Пиранези в романе, и нам всем не мешает припомнить, как мы в этой ситуации оказались и что делать дальше — а главное, что стоит предпринять, чтобы выбор не делали за нас.

— «Необитаемая Земля» Дэвида Уоллеса-Уэллса — крайне мало обсуждавшийся в российском литературном пространстве, но очень важный нон-фикшн о том, как человечество планомерно и методично убивает планету. Сейчас мы вышли на такой уровень повышения глобальной температуры, который грозит уже в этом столетии все большим количеством катастроф и миграцией, сравнимой с Великим переселением народов. Уэллс делает предположения о том, что можно было бы в этой ситуации предпринять, и размышляет, почему глобальное потепление так и не было осмыслено массовой культурой.

— «Бредовая работа» Дэвида Гребера — недавно скончавшийся левый интеллектуал Гребер в этой книге затрагивает вопрос, который окружен своеобразным «заговором молчания»: почему вокруг существует так много бессмысленных должностей (менеджеров по продажам, корпоративных юристов, маркетологов) и почему люди на них чувствуют себя глубоко несчастными. Читается как увлекательный детектив, в котором ценности глобального капитала замещают собой человеческую потребность в создании чего-то по-настоящему нового. А заодно — лучшая апология безусловного базового дохода на русском языке.

— «Сад» Марины Степновой — исторический роман о том, как воспитание и безграничная забота о ребенке может породить чудовище. А еще: о вырождении русской усадьбы, неправоте русских классиков и о том, почему старший брат Ленина решил убить царя.

Про тенденции же говорить рановато, но сейчас кажется, что желания угнаться за актуальными событиями последних двух лет у российских писателей поубавилось. Да и читатели сейчас, скорее, охотней читают фантастику и фэнтези, исторические романы и детективы. Растет интерес к книгам в аудиоформате, так что в ближайшее время мы увидим новые эксперименты писателей в виде аудиосериалов.

Нельзя не отметить и роспуск «Роспечати», которая, по распространенному мнению, долгое время ограждала индустрию от государственного вмешательства, а также принимала сравнительно небольшие меры по поддержке книжной сферы во время пандемии. В России до сих пор НДС на книготорговлю составляет 10 % — практически грабительский процент по меркам развитых стран.

Понятно и то, что не все независимые книжные магазины и издательства переживут вторую волну пандемии, так что ждем еще большей монополизации рынка. Хотя раньше казалось, куда уж больше.

2. Нет, в минувшем году о ближнем зарубежье читать не удалось, если не считать нового романа Андрея Иванова, который публикует на страницах своего журнала «Носорог». Довольно модернистский по духу роман о том, как экспату тяжело живется в стране ЕС.

3. Тут сразу надо заметить, что работа писателя всегда была связана с локдауном — и, вероятно, будет связана в будущем. Просто раньше эти ограничения авторы накладывали на себя сами: достаточно вспомнить, как Исигуро запирался дома, чтобы за месяц дописать «Остаток дня», а Джонатан Литтелл за месяц в номере отеля с приличным запасом спиртного написал «Благоволительниц». Не новой для книжной

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

индустрии является и удаленка: сотрудники издательства «Манн, Иванов и Фарбер» уже несколько лет работают вне офиса.

Что точно изменилось, так это отношения участников рынка, с одной стороны, и читателей — с другой. Оно проявилось уже в несколько трагикомичной форме в июне, когда посетителям так и не отмененного, несмотря на высокие цифры зараженных, фестиваля «Красная площадь» предлагалось в специально оборудованных павильонах общаться с авторами книг через зум. Окончательно этот тренд оформился, когда в декабре отменили главную книжную ярмарку Москвы «Non/fiction» и перенесли на март будущего года. Важность этого решения не стоит недооценивать: до сих пор около 75 % книг россияне покупают в книжных магазинах и на книжных фестивалях, а возможность лично пообщаться с автором до последнего времени была едва ли не главной стратегией продвижения книги. В 2020-м же году презентации книг «переехали» в зум, а независимые книжные магазины обзавелись курьерской доставкой, и вот это действительно важный поворот: как продвигать книги, если автора видно только в окошке на экране? И тут неожиданно на первый план вышел уже давний тренд: сейчас главным способом продвижения книги являются экранизации. Карантин сделал успешным сериал «Эпидемия» по роману Яны Вагнер, вернул в топ-листы автора «Ферзевое гамбита» Уолтера Тэвиса и Луизу Мэй Олкотт с ее «Маленькими женщинами». Трудно предсказывать, как дальше пойдет дело, но кажется, что видео- и аудиоформат как способ продвижения книг будут все популярнее. Возможно, мы даже застанем возвращение буктрейлеров (которое не задалось даже после выхода «Текста» Глуховского) и аудиотрейлеров, когда озвученная версия книги будет выходить одновременно с бумажной.

В конечном итоге карантин, скорее, показал, насколько разными могут быть способы продвинуть книгу. А вот смогут ли издатели этим воспользоваться, нам еще предстоит узнать.

Валерия Пустовая, литературный критик (г. Москва)

«От обреченности к творению смысла»

В минувшем году у меня сломалось ощущение инерционной очередности литературного сезона. Столько авторов словно бы перепрыгнули себя, пересобрали, совершили рывок в новый для себя жанр, вышли на новую точку восприятия.

Эпиграфом к году стал для меня сборник рассказов Романа Сенчина «Петля». Его и сборником не назвать: получилась цельная книга, исследующая перемену жизни как поступок и цель — и как судьбу вещей и трагедию. Герои писателя, даром что разного возраста, от детского до предпенсионного, как будто вошли в новую зрелость: у них появилось желание осознанно влиять на свою жизнь, и автор предоставляет им выбор. Изменился, дозрел до нового себя и сам писатель: проступили игровое начало, тяга к литературному эксперименту, заметна жанровая раскованность, позволяющая свободно переходить от исповеди к перевоплощению и из бытовых ситуаций извлекать детали-символы.

Самоисследование обращает в притчу Алла Горбунова в книге рассказов «Конец света, моя любовь». Книга демонстрирует одно из чудес литературы: тематически

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

книга узка, тесна, односпальна, как детская кровать, из которой автогероиня словно бы стремительно вырастает, — но исследование добирается до такой глубины, где раздвигается до ковчега, в котором от обрушившейся водяной стены времени спасены избранные лица и воспоминания. Мы читаем о конце чужого детства, но задаемся вопросом о нашей готовности к прощению и прощанию. В книге чувствуется соревнование поэзии и терапии: уже отыгранные в реалистических главах ситуации автор отраженно проживает в мистических новеллах и сказках.

Попасть в каждого, не говоря ни о ком конкретном, — другое чудо литературы. Виталий Пуханов трансформирует притчу и политический анекдот, страшилку и сказку в фольклорный и одновременно целиком авторский жанр историй об «одном мальчике». Книги «Один мальчик. Хроники», «Одна девочка» и соприродную им книгу стихов «К Алёше» я бы назвала символами года, впрочем, переступающими временные границы и прошлого (поколенческие), и настоящего (актуальная повестка). Они вырвали нашу растерянность из лап истории и быта, сделали ее философской категорией, описывающей судьбу человека, обнажили предательство как условие прогресса и в мировой гармонии расслышали не затыкаемую синкопу разочарования.

Зеркальный опыт представил драматург и блогер Валерий Печейкин в книге «Злой мальчик»: он творит фольклорного героя современности из самого себя. Его микропроза внешне не связана ни сюжетом, ни временем, но вся она страшно центристельна и не просто автобиографична: книга, скорее, подделывает биографию, артистично доказывая, что все ее элементы и участники подчинены единственной цели — самопрезентации автогероя. Зеркален и эффект книги: «злой мальчик» действительно злит, запуская в читателе не философское принятие — а площадной, карнавалы мордобой, объектом которого неожиданно оказывается он сам.

Философскую загадку жизни поэтически разрешает книга Нади Делаланд «Рассказы пьяного просода». Первая книга прозы поэта собрана из мистических новелл, заступающих за границы видимости, но прочно привязанных к смыслу обычной человеческой судьбы. Это целая жизнь, рассказанная в сказках, это предания о том, как открывается сновидческая бездна в рядовых сомнениях, неоригинальных сожалениях и обычных человеческих трагедиях, до которых никому нет дела по нашу сторону, потому что световая энергия их добывает сразу до той стороны.

Реальную магию вытаскивает из-под завалов магического реализма Ирина Богатырёва в романе «Белая Согра». В романе много традиционных ключей — подкатов к волшебным верованиям северной деревни, — но ни один не отопрет. Не получится прочесть весь роман ни как подростковую повесть о городской девочке на природе, ни как терапевтическую притчу об исцелении бабушкиной любовью, ни как хоррор о войне ведьм, ни как фольклорную экспедицию в край, где язык завораживает, как пейзаж, а пейзажи говорят прямее слов. Все это есть в романе — но ценнее мерцание смыслов, последнее непонимание, которое и выступает оберегом фольклорной памяти. Роман построен на двойном зрении, благодаря которому так до конца и не ясно, был ли мальчик, была ли ведьма, лечит ли заговоренная трава и правда ли никогда не покидают нас ушедшие со света родные.

Вышел роман писательницы из Казахстана, за который я болела, будучи в жюри премии «Лицей» в прошлом году. Тогда роман Малики Атей «Я никогда не» попал в финал, а для меня он стал победителем. Удивительно цепкая к деталям речи и быта, языкатая и умная молодежная проза покорила в том числе и образом главной героини. Это новый образ поколенческого бунта: протест выражается в созидании, в сотворении

своего уголка красоты и справедливости. Идея созидательного отторжения — действительно открытие современной литературы о подростках, я в этом вижу воплощение смены эпох: постсоветской, в которой выросла сама, на ту, что целиком живет в настоящем, и это мир осознанных возможностей.

Созвучное ощущение от романа драматурга Керен Климовски «Время говорить», который вписывает историю взросления в круг традиционных израильских праздников и одновременно в контекст русской литературы. Героиня и наделена, и обременена наследием — культурным, родовым. Но она та, кому предстоит пустить колесо семейной истории по новой колее. Кажется, что это старшие в романе бунтуют, — а героиня, напротив, увещевает мир внять наконец доводам справедливости и любви.

Изумили в 2020 году критики — Ольга Балла, выпустившая книгу стихов «Сквозной июль. Из несожжённого», и Екатерина Федорчук, у которой издали роман «Трибунал», победивший ранее в конкурсе Издательского совета Русской Православной Церкви на лучшее художественное произведение о «новомучениках и исповедниках Церкви Русской».

В минувшем году замечательны и книги критики — «Смысловые практики» той же Ольги Балла, которая картографирует путешествия писателей за смыслами и легитимирует множество разножанровых художественных поисков как акт оправдания бытия, и «Ижицы на сюртуке из снов» Александра Чанцева, которая открывает не истоптанные критикой участки культурной карты и задает уверенную эстетическую планку разговору даже о самых дискуссионных авторах.

Интересно многообразие ликов актуального романа. Это и сыновняя одиссея либерального отпрыска российской политической элиты в романе Игоря Савельева «Как тебе такое, Iron Mask?». И взвешенный и поучительный, будто настоящее журналистское исследование, хотя автор признался, что всё придумал, роман Алексея Поляринова «Риф» о жертвах секты. И семейные драмы в книге Виктории Лебедевой «Как он будет есть черешню?», которые оборачиваются историями позднего взросления и ворованной, как воздух, только у самого себя — свободы. В книгу вошли заглавная повесть и роман «Без труб и барабанов», открывающие разобщенность как самый традиционный язык родства, а беспечность (и обеспеченность) как самый традиционный образ свободы.

Отмечу след онкологической угрозы, о которой продолжает думать современная литература, пополняющая корпус текстов утешающих, укрепляющих, сближающих людей в памятовании об уделе всех живых, шествующих от рождения к смерти и от обреченности к творению смысла. В 2020 году вышли «Человек в бандане» журналиста Александра Беляева и «Дышите дальше» Шаши Мартыновой.

В прошлом году литература выступила одной из главных утешительниц и проступила как неременная часть быта в карантинной изоляции. Немало встретилось мне в Фейсбуке признаний, что, несмотря на усиливающийся до паники разговор о гибели книжной торговли и даже книжного производства из-за санитарно-гигиенических мер, многие читатели продолжали пополнять домашнюю библиотеку — уверенные, что тем самым вкладываются в свое здоровье, по крайней мере — душевное.

Меня, впрочем, еще больше, чем книжные закупки в год коронавирусного удара по литературе, вдохновляет то, как литература отразила удар: буквально запечатлев портрет года. Книг о коронавирусе уже вышло анекдотически много, в том числе и ликбез с картинками для детей. Но мне хочется отметить два эксперимента — в нонфикшн и ультра-фикшн. «Пушкин. Болдино. Карантин» Михаила Визеля я читала как документальный роман о поэте, застрявшем в самой счастливой и наполненной

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

поре жизни, которую не распознал, за пределы которой стремился: как притчу о каждом из нас, стремящихся выпрыгнуть из своего настоящего в мечтаемое завтра, отделенное от нас каждый раз словно бы карантинной чертой. «Изнанку» — третий роман поэта Инги Кузнецовой — читала как фантастическое исследование, возможное именно что на поэтическом языке. История, написанная от лица коронавируса, разведывает границы живого и неживого, ставит вопросы о нашей обреченности выживанию и взаимному во имя его пожиранию, наконец, выводит разговор о пандемии за пределы медийной логики, помещая в центр его не проблемы человека — а проблемы бытия. Придать самой актуальной теме звучание вечной, изначальной — ход поэта и еще одно, высшее чудо литературы, удивительно усиленной всем, что пытается ее прикончить.

Елена Сафронова, литературный критик, прозаик (г. Рязань)

«Люди, меж тем, отреагировали на пандемию творчески...»

1. Мне хочется ответ начать с того, что 2020 год очень сильно перестроил нашу «оптику» взгляда на жизнь. В этом кошмарном году стало понятно, что главное событие — сама жизнь. Возможность физического существования без угроз, без страха, без дамоклова меча болезни. Может быть, стоит говорить только о себе, но я уверена: все человечество испытывает подобные чувства. Лично для меня главное событие — то, что все еще, слава богу, имею возможность читать книги, рассуждать о них, писать рецензии, и что коронакризис еще не искоренил литературный процесс, не унес из нашей жизни тягу к прекрасному и к «продуктам искусства» — чему и опрос «Дружбы народов» подтверждение. Дай бог, чтобы такого и не случилось!..

Возвращаясь к книгам. Их я в прошедшем году прочитала традиционно много и самых разноплановых. В тенденцию, пожалуй, выстраиваются книги биографического свойства. Год для меня начался с трех писательских биографий, прочитанных подряд за короткий промежуток времени. Это были книги:

— Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. Венедикт Ерофеев: посторонний. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. — 520 с. ;

— Олег Демидов. Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2019. — 630 с.;

— Захар Прилепин. Есенин: Обещая встречу впереди. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 1029 [11] с.: ил. (Не путать с его же трудом о Есенине из серии «ЖЗЛ»!)

Знакомство с этим трио произвело на меня глубокое впечатление, которое вылилось в обзорную статью «Три слова о мёртвых», опубликованную в журнале «Бельские просторы» (№ 4 — 2020). Мне показалось знаковым, что три подробнейших жизнеописания писателей явились на свет эдаким «залпом». В последнее время все громче звучат высказывания о том, что нон-фикшн становится едва ли не значимее «худлита». Роман Сенчин в своем блоге на портале «Ревизор.ру» прокомментировал это явление так: «Впрочем, документальная или псевдодокументальная литература,

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

мемуары или имитация мемуаров в последние лет двадцать пользуются достаточно большим вниманием. Думаю, люди устали от игры в литературу, от неуместной фантазии авторов, от так называемого хардкора в литературе». То, что «Посторонний» в конце 2019 года получил гран-при главной российской литературной премии «Большая книга», тоже свидетельствует о некотором «превосходстве» документальной прозы над фантазийной. И, думаю, книги о Мариенгофе и о Есенине еще получат свои лавры.

У создателей каждой из этих биографий было свое ноу-хау одного и того же процесса — «вживания» в натуру своего героя. Авторский коллектив Лекманова-Свердлова-Симановского для этого собрал более шестидесяти воспоминаний и впечатлений о Венедикте Ерофееве от людей, лично его знавших, и провел параллель биографии Венедикта Васильевича с одним днем из жизни Венички — тем самым, когда он поехал в Петушки. Демидов собрал в книгу, наверное, все, что можно было найти о Мариенгофе, включая «неофициальные» сведения под общим грифом «Слухи, факты и большая литература», которые поэтично назвал «шумом времени». А Захар Прилепин просто «сжился» со своим «фигурантом», рассказывая о нем едва ли не панибратски, благодаря чему развенчал множество красивых мифов о Есенине, но и показал его живой полномерный портрет. Критик Елена Васильева в своей рецензии на биографию Мариенгофа сказала: «Это еще одна книга о том, каким необъятным и трудным был XX век». Её слова можно отнести ко всем трем работам: все они о том, каким необъятным и трудным был XX век. После этого «залпа» в русской литературе, во-первых, осталось меньше «белых пятен», а во-вторых — «страха перед именами». Это особенно важно, если тенденция к «документализации» литературного массива верна.

А она, по многим признакам, наблюдается не только в российском литпроцессе. В минувшем году я прочитала книгу современного английского писателя и драматурга Эдварда Кэри «Кроха» — романизованную биографию создательницы Музея восковых фигур Мари Тюссо. Книга любопытна концепцией: это не байопик и не документальный роман, а... имитация жизнеописания Мари Гросхольц, якобы, созданного ею собственноручно и, если можно так выразиться, собственночувственно. Не то чтобы мне этот текст приглянулся — скорее, оттолкнул чрезмерным проникновением автора в самые темные страницы жизни Мари, в глубины ее психики, а также весьма красочными и мерзкими допущениями. Но на самом писательском подходе надо, что называется, сделать зарубку. Учитывая, что другой английский прославленный автор, Джулиан Барнс, давно уже пишет биографии писателей («Попугай Флобера» и пр.) именно в таком причудливом ключе, сочетая архивные сведения с писательскими реконструкциями, и получающийся «кентавр» нон-фикшна и худлита пользуется читательским спросом, тенденция есть — и публика её благодушно принимает.

Продолжает «торжество» нон-фикшна в моих глазах книга Тимура Кибирова «Генерал и его семья» (второй приз «Большой книги» 2020 года). Создатель определил сочинение как исторический роман, но я позволю себе с этой дефиницией не согласиться. Автор «Генерала...» откровенно играет с читателем, вводя себя в текст как полноценно действующее и активно комментирующее лицо и дополняя вымышленные события личными воспоминаниями и подлинными дневниками своего отца, замполита Кибирова, так что документальное и автопсихологическое в книге, пожалуй, перевешивает.

В завершение краткого экскурса в поистине необъятную тему «соперничества» нон-фикшна с художественной литературой упомяну «круглый стол» «В поисках

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

утраченного жанра. Проблемы современной жанровой литературы», который совместно организовали журнал «Сибирские огни» и информационный портал о культуре «Ревизор.ru» в ноябре 2020 года в Zoom (материалы будут опубликованы в первых номерах журнала за 2021 год). Обсуждению подлежало современное состояние детектива, исторического романа и фантастики — а также детской литературы, о которой нужен отдельный большой разговор. Так вот, в процессе беседы об исторической прозе наши участники не раз упомянули, что общество от данного жанра больше ждет «документа», чем авторского вымысла.

2. Прочитала две книги Анны Зеньковой о подростках и для подростков: «С горячим приветом от Фёклы» и «Григорий без отчества Бабочкин». Формально это литература «ближнего зарубежья», потому что Зенькова живет и работает в Минске. Но я бы сказала, что эти книги «родом» не из Минска и не из Беларуси вообще, а из страны детства. Мы привыкли называть «страной детства» какой-то мирок вроде игровой площадки для малышей, с комфортабельными удовольствиями и искусственно созданным климатом. А ведь страна, в которой живут дети, особенно подростки, тем более, если они сироты или отпрыски неблагополучных семей, порой весьма неуютна!.. Есть ли она на карте мира, чтобы мы могли говорить о ней как о «ближнем зарубежье»?.. В общем-то, хорошие книги для подростковой аудитории должны стирать границы, ломать преграды между взрослыми и детьми, чтобы никто не жил в собственном аутичном мире, наедине со своими проблемами... Не все в книгах Анны Зеньковой мне понравилось, кое-что выглядит надуманным, ненатуральным. Но она искренне хотела поставить эти вопросы, проговорить то, что мучает детей. И ее стремление «распахнуть границы» между взрослыми и детьми заслуживает уважения.

Иностранную литературу не в фигуральном, а в буквальном смысле тоже довелось читать. Автором литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А» является жительница Турции Юлия Тимур. Она уроженка России, переехала в Турцию в связи с замужеством. Не так давно она показала мне свой роман «Под сенью платана», вышедший на «Ридере». Это любовная история в духе самого известного нам турецкого автора Эльчина Сафарли, но меня больше впечатлило внимание автора к атмосфере обиходной жизни, быта и нравов своей новой родины — возможно, своеобразная творческая попытка глубже приобщиться к ее ментальности и культуре. По крайней мере, я от Юлии куда больше узнала о стране, которую мы воспринимаем как один сплошной пляж. Судя по роману, для местных жителей там совсем не курорт, особенно для женщин, которые по-прежнему, как в средние века, во всем должны зависеть от мужей.

И я всегда обращаю внимание на жанровую литературу других стран — условной развлекательностью дело, как правило, не ограничивается. Относительно новое для россиян имя — Микаэль Ниemi, швед. В мире он популярен уже с 2000 года, а в нашей стране, если не ошибаюсь, первая изданная его книга появилась в прошлом году — «Сварить медведя». В аннотации она подается как остросюжетный детектив о маньяке, убивающем женщин, но вообще-то это больше исторический роман из истории Фенноскандии. Так называется физико-географическая страна, куда входят Скандинавский полуостров и Финляндия, то есть Фенноскандия для России типичное ближнее зарубежье. В книге появляется реальная фигура пастора Лестадиуса, просветителя и «крестителя» саамов и составителя ботанического атласа своей земли. Из романа можно почерпнуть много познаний о жизни и психологии саамов. Детективная линия тоже есть. Для антуража.

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2020 года?

Другие новые для меня авторы — тоже шведский дуэт: Ханс Русельфельд и Микаэль Юрт. В серии «Триллер по-скандинавски» вышел их роман «Могила в горах». Это, скорее, роман о большой политике: в горах обнаружена могила с телами, которые принципиально сделаны неопознаваемыми. В процессе расследования преступления полиция выходит на факт, что примерно в то же время пропали два афганских мигранта. В общем, треть книги посвящена жизни афганской диаспоры в Швеции и проблемам геополитики. Считаю обязательным упомянуть этот роман в опросе «Дружбы народов».

3. Мы возвращаемся к тому, с чего я начала: 2020 год очень сильно перестроил нашу «оптику». В том числе он показал, что в условиях самоизоляции и «социальной дистанции» роль искусства — которую мы умудряемся не замечать, пока все нормально, — очень высока. Возможно, помните, два года назад по сети прошла скандальная новость: на антарктической полярной станции один сотрудник ударил другого ножом за то, что тот рассказал ему спойлер взятой в библиотеке книги. Лишил, понимаете ли, нескольких часов удовольствия и радости первооткрытия!.. В прошлом году мы все оказались практически на такой вот полярной станции. И то, что может скрасить томительные часы, имеет ценность уже не материальную, а сакральную. Но вместе с тем экономический кризис, вызванный пандемией, сказался на выпуске новых книг (особенно — за «новыми», нераскрученными именами), на выходе новых фильмов, на постановочной деятельности театров... Это поистине трагично. Я не знаю векторов выживания и, кажется, никто их не знает. Вопрос глобальный и слишком серьезный, чтобы о нем рассуждать походя, я не стану.

А люди, меж тем, отреагировали на пандемию творчески. Уже весной в редакции литературных журналов хлынули свеженарисованные рассказы и романы про эпидемию, вирусы, развивающуюся на их фоне социальную строгость и т.п. Не все они дошли до публикации, в том числе и потому, что написать «по горячим следам» еще не значит «написать качественно». Оказалось, лучше всего отражают эпидемию проекты, созданные в благополучные времена исключительно авторской фантазией. Например, весной стал самым просматриваемым в интернете фильм «Заражение», снятый в 2011 году Стивеном Содербергом: об эпидемии вируса MEV-1, пришедшего из Китая в США. Также перекличку с коронавирусом нашли в южнокорейском сериале 2018 года «Териус у меня за спиной», где тоже описана неизвестная науке болезнь, имеющая все симптомы ковида... Ну, и об успехе российской «Эпидемии» нельзя забывать. Правда, интересно, что литературный первоисточник «Эпидемии», роман Яны Вагнер «Вонгозеро», не выбился на этом фоне в топы продаж — по крайней мере, об этом ничего не слышно. Может, потому, что люди уже хотят писать новые книги об этом?.. Мне представляется, тенденция, как будет выглядеть в ближайшем будущем мировая литература, определенно наметилась.

(Окончание в следующем номере)

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Литература в обществе «удалёнки»: роль, смыслы, векторы выживания и развития.

Валерия Пустовая

Шаманский аперитив

Шамиль ИДИАТУЛЛИН. «Последнее время»: Роман. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020

Шамиль ИДИАТУЛЛИН. «Последнее время»: Роман // Аудиоверсия. — <https://www.litres.ru/shamil-idiatullin/poslednee-vremya-62718697/>

Бывает и так: дослушаешь новую остросюжетную книгу Шамиля Идиатуллина «Последнее время» и захочешь, рассиропившись, признаться во первых строках, как костерила автора и натурально призывала Господа в помощь, когда было уже неумогу, и орала героине в плеер, вещающий через маленькую домашнюю колонку: «Ну, давай, прыгай уже, просто — прыгай!» Ну точно как в кино, которое со мной уже отказываются смотреть и муж, и лучшая подруга, потому что я, когда волнуюсь, с движущимися картинками — говорю. Да только, дослушав, так и не поймешь, с чем именно у тебя сейчас случилось такое «единение».

«Единиться» — слово из романа, фривольное, зазывающее в повествование о метанациональной катастрофе откровенными звуками соитий в заповедных лесах.

В понятный и прочно поделенный между народами мир приходит одна на всех беда: зерно гниет, вода горчит. Люди снимаются с мест, надеясь, что там, где они не успели надоесть, земля их примет.

У каждого народа свой путь — но в романе Идиатуллина этот путь один: все траектории, как и сама история Великого переселения, тут искажены магическим кристаллом. В поисках новой земли каждый из народов вспомнил о той, где точно еще не наследил, — земле народа мары, или, как их называют недобро, лесных колдунов, — закрытой, неведомой, потому что проваливалась под ногами всякого, кто вступал из внешнего мира.

У мары в этом романе путь ни на что не похожий, нечеловеческий, истории поперек. В опознаваемый мир — с географической пометкой «Итиль» в финале, будто кнопкой карту к стене приколол, — Идиатуллин зашвыривает волшебный сосуд с самым лучшим из хорошего, что было в прошлом и что можно пожелать у будущего.

Забавно читать о проблеме подзарядки самокатов в эпоху переселения народов. Но важнее современная установка на экологичность чувств и среды, которой заряжены правила волшебной жизни мары. Неслучайно эксперт Лайвлиба Майя Ставитская в комментарии к посту Идиатуллина от 18.10.2020 пассионарно возражает: «Вот хоть

режьте меня, хоть ешьте. Я все-таки думаю, что это никак не про прошлое нашей реальности»¹.

«Живородный пластик» — Владимир Сорокин как будто заранее и в два слова создал пародию на мир Идиатуллина. Здесь «единятся» высокие технологии с безотходностью: помочившись в лесу, капни сушителем. Носят вышитое у ворота — и юзают крылья и дупла-порталы. Все сыты — а земля сама производит и раздает одежду, кров, железо. Каждого растят в любви — но искореняют страсти: агрессия прощительна только «ползунам» — и потому, как к детям, относятся к варварам, которые могут поднять руку на человека и иное живое существо. Живут в согласии с природой: «единиться» без границ — экологично, и главный жрец делится беспокойством о простоте при воздержании, — а природа пронизана эдемской чистотой: это мир без зла, и даже хищный зверь в нем не тронет.

На «единение», однако, можно посмотреть и шире — подняться над буквально предьявленным смыслом слова: соединением мужского и женского, прошлого и будущего, — как поднимается роман над интересами до поры избранного землей, колдовского народа.

«Единиться» — слово-ключ к роману, пронизанному линиями слияния и сепарации.

«Последнее время» играет энергией привязанности, словно лекция современного психолога о родительстве и детстве. Главная удача романа — точное совпадение личностного и всенародного испытания. Герои, как и народ мары, испытываются задачей отвязаться — встать на ноги, когда пуповину перервет. Глобальность, неотвратимость перемен придает новую энергию сюжету взросления.

Как бы ни менялись условия жизни, заметно, что все опорные персонажи мары до последнего принадлежат сказке: жрец, потерявший богов, остается отцом своим «птахам и птенам» (и потому не только оказывается в центре эпической финальной битвы, но и, к примеру, наотрез отказывается «единиться» с духовными дочерьми), лекарка продолжает носиться с загадкой мужского семени (и самим этим семенем, изъятым для образца в рамках не вполне научного эксперимента), боевой маг, растеряв магию земли, так и не переродится в воина и будет плестись по роману свидетелем чужих подвигов, всеобщая духовная мать до последнего ведет себя по-матерински.

Поэтому, хотя персонажей много, в главные герои народа мары нетрудно выделить отщепенцев сказки: хмурую Айви и презираемого ею, потому что чужой по крови, пастушка Кула. Оба героя идеально вписываются в глобальный сюжет романа: это люди, которым не дано было вкушать сладости слияния. Айви никогда не «единилась», и ее девическая неловкость заставляет ее приотстаивать от общей жизни, сомневаться и во всё вмешиваться. А Кул, подкидыш, воспитанный среди мары, так и не смог стать своим: заповедная земля не приняла его, обделив общими здесь дарами, — и он волком смотрит, как на решетку, на волшебный лес, из которого до поры не умеет выйти.

Эти двое получают в романе эффектный противовес в виде злодейки, которая является к мары волей внешнего мира. Отпетый, по понятиям безобидных мары, персонаж: кровавая мстительница, живущая без руководства и защиты своего народа, а значит, только в своих интересах, — она вызывает азартное сочувствие в читателе. Здорово ведь, когда женщина может постоять за себя перед превосходящими силами

¹ Пост Шамяля Идиатуллина от 18.10.2020 // https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2904922819609868&id=100002765340724

насильников. Но обаяние образа не в резне, а в том, что перерезать нельзя: в эпоху, когда все народы сподвиглись к новому, отбившейся от стада степнячкой Кошше движет мотив старый, как мир. Ей нужно вернуть и спасти из месива переселения сына. Женщина-убийца запоминается матерью, несломимо верной себе, а значит, прущей против не только врагов, но и самого «последнего времени». Скульптурное ее постоянство подчеркнуто образом «мальчика» — ее сына, который не шевельнется и взгляда не переведет без приказа матери, а в бойне усидит у нее на руках, прижавшись крепко. Неисправимая мать и не слезающий с рук ребенок — образ слияния, которое все потеряли, и поэтому, даже когда Кошше выступает в роли антагонистки, мы продолжаем желать ей победы. А значит, как и сам роман, предаем народ мары, чья историческая неприкосновенность истекла, а центральное положение смещено, и ни у земли, ни у автора, ни у читателя они больше не в приоритете.

Разгерметизация — традиционная пусковая точка, а размыкание огороженной сказки в историю после грандиозно растянутой саги Джорджа Мартина и вовсе не должно растревожить. И все же доброжелатели романа — а других я пока не встречала — упоенно поздравляют автора с новым словом. «Ничего похожего не только в отечественной литературе, но и в мировой, сколько могу судить, еще не было. Новое слово, во времена ремейков и ремиксов, дорогого стоит», — пишет Майя Ставитская в отзыве на Лайвлибе¹. «Ничего подобного я пока не читала. Мозг судорожно бился в поиске аналогий и остался ни с чем (да и зачем). “Последнее время” — новый виток», — признается пользовательница umigee в Лабиринте².

Объяснить эти авансы автору можно разве что в свете столь же единодушно выраженной радости по поводу отсутствия в романе эльфов. «...Никаких гномов и эльфов. Все расы, “правила игры”, флору и фауну Идиатуллин постарался придумать без оглядки на канон», — одобряют Сергей Уваров и Николай Корнацкий в газете «Известия»³. «Совершенно не похожие на бесплотных остроухих эльфов, с которыми невольно ассоциируешь подобный тип взаимодействия с природой, мары трудятся на своих биофабриках...» — считает нужным оговорить Майя Ставитская. «...Всех спасет не изысканный эльф, а подброшенный варвар не “титulyной нации”», — делится ожиданиями Александр Чанцев, хотя даже у создателя канона Толкина в спасителях мира пришлось походить вовсе не эльфам⁴. «Эльфийский по своей сути мир мары обречен, ибо грядет новая эпоха, в которой их мирной магии не найдется места», — выстраивает, как по чертежу, ожидания читателя и Галина Юзефович, с тем чтобы в следующем абзаце их тоже опровергнуть⁵.

Есть похвалы, от которых книгу хочется читать. А есть такие, от которых книгу хочется читать внимательнее. Отзывов я нахваталась, уже дослушав роман, и они не позволили мне удержаться на пуповине чистого и благодарного удовольствия. Потому что я закончила слушать с чувством, что автор, вильнув колесом в неведомое, в итоге вернул меня в колею.

¹ Рецензия Майи Ставитской от 23.09.2020 // <https://www.livelib.ru/book/1004770966-poslednee-vremya-shamil-idiatullin>

² Рецензия umigee от 8.10.2020 // <https://www.labirint.ru/reviews/goods/765737/>

³ Николай Корнацкий, Сергей Уваров. Смешать и взболтать: Бонд для детей, чертовщина — для взрослых // <https://iz.ru/1066481/nikolai-kornatckii-sergei-uvarov/smeshat-i-vzboltat-bond-dlia-detei-chertovshchina-dlia-vzroslykh>

⁴ Александр Чанцев. Случилась экология // <http://textura.club/sluchilas-ekologiya/>

⁵ Галина Юзефович. «Последнее время» и «Неучтённая планета» — два российских романа, в которых происходит что-то фантастическое // <https://meduza.io/feature/2020/09/19-poslednee-vremya-i-neuchennaya-planeta-dva-rossiyskih-romana-v-kotoryh-proishodit-cto-to-fantasticheskoe>

Новых витков не хватает в романе, чья динамика проседает по мере наращивания боевых единиц. В финале народы, лодки, стрелы мелькают — но это будто по инерции раскатывается дернутый за уголок ковер. И в развернувшейся картине плетение просматривается неплотным.

Кошше прекрасна, спору нет, — но не затмит тот факт, что автор трижды разыгрывает с ней одну и ту же сцену мести, от вожеления к воздаянию (однажды ей приходят на помощь, но суть повторяющегося эпизода от этого не меняется). Причем если первая обжигает неожиданностью, то в двух других хочется спросить, не специально ли она на них напоролась. Эффектен ход с временной петлей, которой воспользовалась Кошше, — но петля торчит, потому что законы представленного мира не позволяют ввязать ее в общий рисунок. Исполняющий желания лесной артефакт, настигнутый к финалу, оставил ощущение, что линии романа свелись и без него. И таким же лишним оказывается волшебный корень, из-за которого Кошше нарушила покой народа мары: он нужен был как повод столкнуть ее с главными героями, а повествование, как и переселение, спокойно покатило дальше, словно этой задачи и не было. Зато волшебный помощник Кула, помогающий ему и, по его просьбе, другим мары уйти от смертельной опасности, слишком выскакивает палочкой-выручалочкой. Про кольцо же, которое загадочным образом находит Кул и которое потом, в финальном бою, «молило о тетиве», не то усиливая, не то олицетворяя колдовство, захватившее и перековавшее волю нового обладателя, даже говорить неудобно, до чего оно одно стоит всех эльфов, какие могли проشمыгнуть в заповедные леса романа.

А финала будто и нет: пришли к тому, от чего ушли. Народ мары подводит магия земли — но в финальной битве он использует старый с ней фокус. Народ лишился сверхспособностей — но пуляет небесным огнем. И «цепочка чудес», как выражается герой романа, пытаясь осмыслить обнадеживающий финал, кажется авторским произволом, игнорирующим законы им же созданного мира, и потому не вызывает доверия.

Ну и куда без «живых» героев. «Здесь все персонажи живые и разнообразные настолько, что руки чешутся примерить на себя чью-нибудь шкуру», — пишет chirkota на Лайвлибе¹. «Персонажи, вот главное богатство этого очень романного романа. Все такие живые, что прямо дрожишь, когда уже знаешь, что добром это все не кончится и все умрут. Ну, или почти все», — пишет пользователь ЖЖ belatwork². Чтобы понять цену такой рекомендации, мне достаточно было, случайно открыв рекламу совсем другой новинки в Фейсбуке, увидеть, как обозреватель Афиши Daily хвалит совсем другого автора за то, что ему «удается главный для писателя фокус — сделать героев живыми»³.

Живых героев не бывает без эволюции, как истории — без перемен. Мне очень понравилось, как задуманы главные герои романа, остро тоскующие по слиянию: с избранником — Айве, со своим народом — Кул, с сыном — Кошше. В каждом из них действительно заложена интрига развития — только не реализована. Они не остаются прежними, как второстепенные персонажи, но и не меняются по-настоящему. Невинность Айве так и не переосмысливается в ресурс движения, героиня, скорее,

¹ Рецензия chirkota от 19.10.2020 // <https://www.livelib.ru/book/1004770966-poslednee-vremya-shamil-idiatullin>

² Пост belatwork от 18.10.2020 // <https://belatwork.livejournal.com/802279.html>

³ Пост Редакции Елены Шубиной от 3.11.2020 // https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1737192053098369&id=101204873363770

прокачивает свое изначальное недоверие миру, так что в девице, давшей отпор блуднице Кошше, мы узнаем изначальную хмурую Айви. Сама Кошше исполняет трюк отмщения мужскому роду исправно, как цирковая лошадь. Ну а Кул раскрывается по полной, совершает смену национальных идентичностей на вираже, спасает всех, как положено отверженному сироте, — но избранность его открывается топором. Кул не развивает изначальные свойства и не решает внутренние противоречия — нет, его включают, как кнопкой, кодовыми словами на забытом, но родном языке, и эта двойная обреченность чуду — избранного загипнотизировали исполнить роль избранного — скукоживает главного героя в служебный элемент.

Недоработки — сигнал о принципиальном сбое художественного мира, который, подобно земле мары, отказывается родить. Жрецу мары удастся доискаться, что дело не в земле: исчезли боги, с которыми можно было бы договориться. И в отношении романа можно говорить о безблагодатности, которая означает дефицит идеи.

Прежде чем спохватываться об эльфах, вспомним совсем близко соседствующий роман — «Финист — Ясный сокол» Андрея Рубанова, романную вариацию сказки о земной девушке, полюбившей крылатого человека. Идиатуллин написал о народе земли — Рубанов о народе неба, но природа фантазии и нестыковок в романах одна и та же.

Сопоставление их плодотворно именно в свете «опыта деконструкции фэнтези», которым меряет удачу романа Галина Юзефович. А о деконструкции в данном случае уместно говорить в свете линий слияния и сепарации, сюжетообразующих для романа Идиатуллина.

След сказки в литературе ведет читателя к воссоединению с истоком — или к окончательному расторжению изначальных связей.

Сказки слияния оставляют читателя в ощущении: что-то все-таки есть. Над миром, над человеком, над личной судьбой. То, что придает надличностный, не бытовой смысл отдельной жизни и предопределяет ее ход.

Есть Небесная Нарния Клайва Льюиса, от которой самое страшное наказание — отпасть. Есть любовь, которая пронизывает собой магию, наделяя ее этическим смыслом, в семикнижии Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Есть тонко балансирующая на эмоциях и интересах граждан магия королевства в трилогии Марины и Сергея Дяченко о Маге дороги. Есть, наконец, не сводимая к одному формульно доброму слову гармония мира «Властелина колец» Толкина, одновременно грозная и чуткая, изначальная и нуждающаяся в защите.

Но не обязательно воссоединение счастливое, как с матерью. Сложную радость оставляют сказки Нила Геймана, словно бы забирающие энергию у дневного, обыденного мира, оставляющие незаживающую рану тоски по изнаночной стороне. По-настоящему пугают сказочные мотивы у Анны Старобинец, прививающие читателю тревогу перед вторжением, от которого нет у человека заслона.

Да и с мудрой и не по-матерински жесткой рукой истории в мире Джорджа Мартина не возьмешься поспорить.

Главное, что тут мы оказываемся частью сюжета, не нами инициированного, не нами разрешаемого. Частью важной, неповторимой, неотъемлемой, и все же — не центром, не истоком событий и правдивого — по меркам художественной вселенной — их толкования.

И вот романы Идиатуллина о людях земли и Рубанова о людях неба кажутся мне проводниками другой философии сказки. Той, где сказку нужно развеять, как морок, чтобы вывести человека в главные игроки и вершители своей судьбы. Сказки

сепарации — человекоцентричные сказки. Они непременно разочаровывают, троллят, шелкают по носу читателя, который готовился было к истоку припасть — а ему в руки коня, кирку, карту и самоучители. Они дарят нам ощущение свободы, приправленной печалью оставленности.

Тонко дразнится Терри Пратчетт из параллельной вселенной Плоского мира. Цикл о трех ведьмах и продолжающий его цикл о юной ведьме Тиффани показывают в динамике, как из игры в деконструкцию, легкой радости развинчивания жанра выходит новое основание сказочной этики. Мир Пратчетта очень чувствителен к границе добра и зла, но выбор между ними происходит благодаря тому, что разрушило бы всякую традиционную сказку: здравому смыслу. Ведьмы Пратчетта ходят в грубых, рабочих башмаках, твердо опираются на деревенские холмы и знают людей не по книгам, потому что помогают им не волшебством: трудами сиделки и мелким дрызгучим судом, бдением над роженицами и умирающими постигают пресловутую «головологию», которая вытесняет с этих страниц магию. А к магии настоящие ведьмы прибегают неохотно — потому что поняли: стоит вступить на этот путь, здравым смыслом уже не отделаться.

Символический, словно из каменных блоков мифа вытесанный роман Кадзуо Исигуро «Погребённый великан» разъедает сам себя по мере того как туманное его обаяние, застигающее престарелую супружескую пару на пути к почему-то далеко и неясно где живущему сыну, проявляет свою токсичную природу. Вокруг героев словно бы постепенно светает, и все более широко и осмысленно разворачивается ретроспектива их странствия, — и восстающее солнце правды безжалостно ко всему, что питает сказку. Вслед за мифом о воине-спасителе, рыцаре-избавителе, чудовище-вредителе сходит на нет сотканный из того же тумана миф о супружеской верности и вечной любви, о чести вождя и загробном воздаянии. Роман, не меняя, преобразует героев перед нашим внутренним взором, чтобы явить их суть перед лицом последнего одиночества.

Романы Идиатуллина и Рубанова встраиваются в этот ряд принципиально.

«Финист — Ясный сокол» Рубанова разрушает сказочную условность, сталкивая в романе логику сверхъестественную — и человеческую: вознесшийся над землей мир людей-птиц пронизан заносчивостью и самоупоеанием элиты, а не высокими смыслами. В центр силы романа выдвигаются герои, чья человечность — сострадательность, верность, гибкость — позволяет подняться над выгодами и спесью клана. И Марья оказывается даже менее значимым лицом, нежели изгнанник небесного города, честный вор, выбравший жизнь между миром птиц и людей.

«Последнее время» Идиатуллина подвергает сказочных героев испытанию человеческой немощью. «Они тут мало что знали по-настоящему нужного» — эту фразу из романа можно отнести к любому из народов. Зеркально. Народы, живущие в истории, не знают не только настоящей силы земли, но, главное, силы милосердия, о которой кричит врагу боевой маг не у дел: мол, мары даже с насекомыми договорились, чтобы те не жалили, а вы даже не попробовали договориться — сразу пришли убивать. Народ мары, живущий до поры в своем бесконечном, круговом сказочном времени, не знает, как выживать без магии — освоить новые земли, дать отпор врагу. Знание каждой из сторон тут неполно, и получается, что до человека не дотягивают и мары, разнеженные матерински оберегающей землей (антагонистичная черта: мары смеялись над Кулом, который не мог повторить самых простых, обиходных магических действий, и ясно, что не только волей земли и крови он не сделался среди

них своим), и вторженцы (они крашены одной краской — кочевники безразличны, горожане похотливы, и оттого — жестоки).

В обоих романах-деконструкциях нет, однако, ответа на программный вопрос фантастики: что, если?

Что, если люди приподнимутся над естеством? — у Рубанова. Что, если в это естество человека втопчут? — у Идиатуллина.

Рубанов сам обрывает крылья своему роману, когда переводит его из фантастического плана в социальный. Вначале убедительно пугая образом «нелюдей», движимых одним инстинктом — «подавить», и постепенно поднимая повествование над землей, он снижает планку фантастики. Показав, что жизнь в летающем городе не могла не изменить природы человека, сужает последствия фантастического допущения до детских каких-то представлений о сверхсуществах, которые — можно и сказать по-детски — не какают, потому что почти не едят человеческой пищи. В итоге роман разбирается не в различиях людей и крылатых нелюдей, а в тяжбе простонародья с олигархией. И получается, что дивно задуманный фантастический план развивается по своим законам, а роман по своим, и в какой-то момент автор бросает удачно начатый было опыт проживания и переоценки сказки, чтобы поговорить начистоту о наболевшем, вроде того, что «самые красивые женщины достаются князьям».

Идиатуллин эффектно закрутил интригу, в воронку которой легко попасться читателю. Не случайно в откликах на роман проскальзывает намек на «грозную аллгорию нынешних “последних времен”» (Михаил Визель¹). Проблема в том, что гроза в романе отделяется громовыми намеками.

Отсюда заметное желание рецензентов провести свои аналогии, которые бы заселили свободные, как земли мары в финале, ареалы смысла.

Так, Александр Чанцев изобличает в лесном «раю» сходство с «казармой»: «все похоже на то, как уже было: провозгласили как-то “свободу, равенство, братство” — и начали топить в крови, коммунизм почти по христианским лекалам строить собрались — и еще пуще кровью страну залили». Трактовка напрашивается, но не сказать, что поддерживается романом: здесь нет отношений с системой, потому что у каждого с «раем» связь личная и жизненно важная, как у теленка с выменем.

«Пророчество» увидела в романе Анна Жучкова: «Начинается ломка старого и постижение нового. А новым оказывается — возвращение к себе. <...> Грядет великое переселение. Но спасет всех тот, кто вспомнит себя и изначальную правду. Жизнь и язык своих предков»². Трактовка, плотно пригнанная к тексту романа, и все же, как мне кажется, вдохновленная, скорее, саморазвитием мыслей критика в связи с романом, нежели мыслью автора, который и сам решил вдруг спрямить повествование и в нескольких донельзя простых фразах изложить всё, что вот только поведал. Да, в финале романа так и сказано: «Народ рождается медленнее, чем человек», поэтому «надо просто делать, что нужно твоему народу, — и быть рядом с твоим народом», а еще что есть «твой народ, твой враг, бесконечное небо и земля, бесконечность которой зависит только от тебя». Учитывая, что земли мары в финале объявляются «свободными», бесконечность овладения ими и впрямь зависит от ретивости вторженцев. А в «бесконечное небо» мары, народ земли, не верил, с небом

¹ Михаил Визель. Пять книг для бабьего лета (и не только) // <https://godliteratury.ru/articles/2020/09/25/piat-knig-dlia-babego-leta-i-ne-tolko>

² Анна Жучкова. Конец эона / Бахрома. Книги, о которых вы не слышали: сентябрь // <https://godliteratury.ru/articles/2020/09/15/bakhroma-knigi-o-kotorykh-vy-ne-slyshali-3>

не договаривался — и это специально в романе подчеркнуто. Что же до призыва «быть с твоим народом» и делать все для него, то тут мы и подходим к главному вопросу романа: кого считать своим? Автор и сам напускает многозначительности, вводя параллелизм в завершение линий Кула и Айви: каждый из них в финале пошел «к своим», вот только у читателя крепнет подозрение, что эти «свои» друг с другом воюют.

Горе и сила «последних времен» — в их безграничной растерянности, рождающей всевозможность. Человек «последнего времени» свободен — и оставлен. Он не знает, как жить, но поэтому и чувствует жизнь в каждом решении и усилии, наполненных волей ее продлить. На все это намекает роман Идиатуллина — но ничего из этого не раскрывает. Не получится рассказать о свободе в романе, где исход судьбы и битвы определяет магия крови, а человека можно заставить буквально забыть себя, заговорив с ним на его родном языке. Роман «Последнее время» крепко держится корней, настаивая на границах непонимания между народами, дожимая скудеющую магию, блюдя гендерные амплуа, наконец, в принципе делая ставку на поножовщину, спасение на краю, узнаваемые типажи и зов крови — все то, что безотказно вырубает в читателе рефлексию.

За это я и благодарна автору: отдельные образные находки его так хороши, что хочется вглядываться, не обременяя себя попытками связать их в сверхсюжет романа, который автор и сам свел к нескольким моралите. Призыв «делать, что нужно твоему народу, и быть рядом с твоим народом» неловко высказан и староват. Зато новизной ощущений и художественным мастерством веет от тихой лайвы, утягивающей за собой всё живое, в том числе мое воображение. А мор богов? А утес гнева земли, вывернувшейся наружу? А древний жрец, шугающийся девок? Боевые листки, земельные реки, кисельная ворожба...

В итоге роман напомнил мне курьез детского книгоиздания, заметного, когда ты недавно мать и набираешь библиотеку малышу по отзывам тех, кто в теме. Довольно часто под дорожкой, зато яркой, наглядной и, например, с окошками книгой появляются сетования покупательниц на информационную скудость текста — и неизбежные ответы представителей бренда, что задача этой книги — заинтересовать ребенка, а более глубокое погружение в данный формат невозможно. Из книг, справляющихся с задачей «заинтересовать ребенка», выстраивается этакое горизонтальное чтение, бесконечно мотивирующее ребенка на знание, которое ему только обещано.

«Последнее время» Идиатуллина кажется мне такого рода романом — бесконечным аперитивом, разжигающим вкус к обеду, который всё не несут.

Ольга Балла

Диалог с пространством

Человек и пространство, взаимоотношения человека и пространства — это, собственно, о чем? Всегда ли, непременно ли — о путешествиях, которые, конечно, идут на ум первыми? Может быть, не обязательно даже об освоении и отчуждении, о новизне и рутине (хотя это уже ближе к существу дела)? Две книги, которые привел на рецензентский стол зрячий случай и которые в формальном отношении, по жанровой принадлежности, — травелоги, помогают понять, что отношения человека и мест, в которых он оказывается, гораздо сложнее и богаче возможными смыслами, чем то, что с ними привычно связывается (впечатления, открытия...). Причем независимо от того, путешествует ли человек или не трогается с места. Это видно тем отчетливее, что авторы их — люди совершенно разные и в смысле интеллектуального темперамента, и в отношении задач, которые они перед собою ставят.

Человек воспринимающий

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Желание быть городом: Итальянский травелог эпохи Твиттера в шести частях и 35 городах. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 560 с.: ил.

«Эту книгу, — говорит нам аннотация к большому итальянскому травелогу Дмитрия Бавильского, — можно использовать как путеводитель». Имеется в виду — по тем тридцати пяти городам, которые объехал, подробно описав свое взаимодействие с ними на разных уровнях, автор. Можно, конечно, — только это было бы существенным упрощением. С тем же самым правом эта книга способна читаться как путеводитель по восприятию. Как исследование его устройства, вообще — закономерностей взаимодействия человека со страной, которую ему предстоит объехать (заведомо не полностью) и как-то понять, — тут об исчерпывающей полноте и вообще мечтать нечего; таким образом, автору приходится отвечать еще и на не заданный, но постоянно подразумеваемый вопрос: как возможно полноценное восприятие при заведомой, непреодолимой его неполноте? А добавьте сюда еще и необозримые библиотеки написанного об Италии хотя бы только на понятных тебе языках, которых тоже всех ни за что не перечитать и по отношению к которым тоже необходимо как-то определяться...

Спойлер: возможно. Еще более сильный спойлер: возможно оно на путях пристального внимания к каждому из актов восприятия, к тем смысловым пластам, которые в него укладываются; к структуре каждого проживаемого момента. При этом в принципе не так уж важно, сколько городов ты объедешь и опишешь — тридцать пять ли, как повезло Дмитрию Бавильскому осенью 2017 года (а могло бы быть и сорок, да хоть шестьдесят, были бы время да деньги), или, например, один-единственный, как устроил сам себе тот же автор несколькими годами ранее с Венецией — а мы знаем об этом из его вышедшего в 2016-м «венецианского дневника эпохи Твиттера» «Музей

воды». Неисчерпаемость — и репрезентативность пережитого — в любом случае гарантирована.

Тем более что в ситуации превосходящего человеческого разумеения избытка всерьез встает задача не охвата, но отбора: «В Италии слишком много всего, — пишет автор, уже вернувшись из путешествия и подводя ему итоги, — из-за чего приходится намеренно сужать интерес, отказываться от параллельных линий и необязательного избытка — того, что кажется лишним с позиций вот этого сегодняшнего дня, который тоже минет, вполне способный принести изменения привязанностей». Неполнота здесь прямо-таки требуется.

Ну, то есть, решение возможно на путях полноты не экстенсивной, но интенсивной: внутрь и вглубь. И тут уж у Бавильского среди ныне пишущих-и-путешествующих соперников мало — если есть вообще.

Но в целом я бы назвала его итальянские книги — и венецианскую, и эту, многоохватную — еще и практическими пособиями по постановке взгляда. И даже, пожалуй, в первую очередь. В этом отношении «Желание быть городом» видится мне не просто выпадающим из ряда всего написанного об Италии и о путешествиях по ней, но в некотором роде и более важным, чем основная масса итальянских травелогов: о путевых впечатлениях, о достопримечательностях, об исторической памяти написаны необозримые объемы текстов, о систематической же постановке восприятия всего этого... хм... ну даже не знаю. Мне, по крайней мере, другого не попадалось.

А Бавильский делает это именно систематически. У него все очень рационально продумано и выстроено. И тут фрагментарность, видимая спонтанность его письма, скрупулезное, до занудства (до, подумаешь иной раз, дробления взгляда — ну чего отвлекаться на такие мелочи?), фиксирование множества случайностей: «От аэропорта до ж/д вокзала в Римини 22 минуты на автобусе № 9 и два евро за билет...» — не должны вводить в заблуждение: все эти случайности и сиюминутности включены в систему и работают на нее. Не должно вводить в заблуждение (совершенно искреннее, верится) и признание автора на одной из первых страниц книги в том, что он задумывал путешествие «без плана и правил». Отсутствие такой жесткой сетки — явно затем, чтобы застать реальность врасплох. Чтобы она — свободная от предписаний — тем доверчивее раскрывалась наблюдающему взгляду.

Чем случайней — тем, как задолго до нас сказано, вернее.

Италия же с ее эстетической и исторической насыщенностью оказывается в этой привилегированной среде для такой отработки восприятия, для выращивания чуткости, а ее тщательная откомментированность дает возможность — хочется сказать: *настоятельную возможность* — вступить с предыдущими комментаторами в диалог и спор. С чего, собственно, автор и начинает — открывая книгу своего рода декларацией о намерениях, о принципах, на которых он будет строить свое повествование (в отличие от Павла Муратова, тщательно изгнавшего всё личное из «Образов Италии», которые послужили основным стимулом к написанию книги Бавильского).

Бавильский — которому вообще свойственно ускользать из хорошо обжитых (другими) культурных ниш и подвергать ревизии принципы любого жанра, в котором он берется работать (а работал, кажется, во всех мыслимых, от поэзии и драматургии до романистики и эссеистики, не говоря уже о критике, журналистике и жанре жанров — дневнике, даже разных дневниках: живой журнал, фейсбук, твиттер, инстаграм... — все это разные модусы дневникового высказывания, даже разные типы интонаций) — переформатирует сам жанр травелога.

Прежде всего: «эпоха твиттера» — то есть социальных сетей с разными типами записей — позволяет автору, используя все эти сети как инструменты, улавливать процессы восприятия с разными скоростями и разными уровнями обобщения; разные стадии смысловой обработки, которой подвергается сырье впечатлений, смыслового их созревания. Он как бы приоткрывает дверь в лабораторию, позволяя читателю наблюдать процесс этого созревания — почти участвовать в выработке окончательного продукта. Прием, отработанный еще в «венецианской» книге: каждая городская глава

получает структуру в соответствии с разными электронными (и, надо думать, бумажными) инструментами, включенными в работу. Открывается она (как набором ключей, большой их связкой) беглыми черновыми набросками в твиттере (преимуществ два: первое — жесткие ограничения по объему, значит, надо если и не изъясняться формулами, то хватать самое существенное или самое броское; второе — автоматическая датировка записей с точностью до минуты. Это важно не только в смысле документирования впечатлений: таким образом замеряется еще и скорость ориентирования в новой среде, прослеживаются его траектории. Хоть графики выстраивай). Далее следует основательное продумывание прожитого, соответствующее формату живого журнала. А в конце — подведение итогов и включение сказанного в большие контексты: диалог с авторами, имеющими какое бы то ни было отношение к тому, о чем идет речь в соответствующей главе (это не обязательно город — это может быть, например, искусство и его восприятие, которые автор обсуждает со Шкловским и Бахтиным), и / или «цитата для послевкусия» (так, например, Равенну автор рассматривает вместе с Филиппом Жакоте, цитируя соответствующую запись из его «Самосева»). И это уже, кажется, формат карманного бумажного блокнота, куда заносится — чтобы были под рукой — нужные для дела личного понимания записи и выписки.

В результате книга чем-то родственна комментируемой ею самой Италией: сложноорганизованностью и многоуровневостью, тем, что состоит, подобно стране, из текстов-городов, текстов-поселков, текстов-дорог между ними, текстов-остановок на этих дорогах.

Далее — в прямой связи с первым: человек воспринимающий, со своими особенностями взгляда и памяти, со своими пристрастиями, биографическими подробностями, личной памятью и начитанностью (текст прошит цитатами, отсылающими к разным пластам читательского опыта автора, к разным сторонам его ассоциативной сферы), с телесными состояниями... — важен Бавильскому как принципиальная часть наблюдаемого пейзажа (культурного ли, природного, — все равно), от присутствия которого меняется сам пейзаж. То «личное», которое тщательно изгоняет Муратов, Бавильский *инструментализирует*. У него ничего не пропадает. Всего человека в целом (самого себя, кого же еще) он берет как оптический прибор для рассматривания (широко понятого) пейзажа и посвящает много усилий тонкой настройке этого прибора. (В результате, правда, именно этот прибор и окажется целью всех усилий. Опять спойлер?)

Да, еще: постановка взгляда, при всей ее важности, — тут только часть дела. Не в меньшей степени «Желание быть городом» — еще и философия путешествия как предприятия, собирание (в ячейки пережитых событий — чтобы крепче держалось) своих соображений о его смыслах. (Вот, попав в задержку рейса при вылете из Москвы в Италию, автор рассуждает: «Задержки или остановки в пути проявляют, выявляют, почти до каких-то материальных величин, густой экзистенциальный замес, оставляя человека один на один даже не с обстоятельствами, но с самим собой».) Теоретически, такие соображения — а их множество — можно было бы собрать в отдельное эссе (сборник таковых), но это было бы чересчур искусственно — не в правилах автора: мысль ему интереснее, будучи растворенной в событиях, в предсмысловых движениях, в ее возникновении из чувственных истоков и вообще из всяких случайных стимулов. (Шепнуть ли, что такое даже интереснее Италии?)

В конце концов, случись другие стимулы — и мысли были бы другими.

Ну и наконец: путешествие важно автору (в традиционном смысле самопознания, но также и) как предприятие *антропологическое*: как система усилий по изменению человеком собственной формы. «Мы прививаем себе эти путешествия, точно оспу. Ставим эксперименты на себе. Добровольно облучаемся чужими излучениями да еще и тратим на это деньги, изучаем свои реакции на снижение уровня инерции, переходящей в невидимую усталость. Способствуем выработке антител, позволяющих преодолевать недорисованность российских просторов».

Поддаться ли все-таки соблазну сказать, что и это (и практика, и рефлексия ее) — куда интереснее многократно описанной другими Италией? В конечном счете, именно Италия тут — при всей ее красоте, значительности, ценности — оборачивается инструментом... Хотя да: наверное, незаменимым.

Вот мы все говорим о зрении да о разного рода оптических метафорах. А между тем, хотя книга иллюстрирована, в ней, на все ее пять с половиной сотен страниц — ни единой фотографии. И это при том, что автор, как давно знают читатели его блогов, фотографирует, улавливая подробности окружающего мира, постоянно, виртуозно и, дерзну сказать, профессионально, независимо от того, что (в прямой связи с тем, что) принципиально использует при этом исключительно камеру смартфона — никакой сложной техники, все важное может быть схвачено — и схватывается — простыми средствами. Нет, не увидеть нам на сей раз Италии глазом смартфона Бавильского: все иллюстрации к книге сделал художник и путешественник, знаток Италии Валерий Сировский (и вообще-то они — не столько иллюстрации, показывающие, о чем речь в тексте — будто мы этого и так не видим! — сколько второй сопровождающий голос, собственные сны Сировского об этой стране). И это опять-таки принципиально.

Во-первых, автору важно было сделать слово самоценным, переложив на него и те задачи, которые обычно выполняют несловесные искусства — рисунок, фотография, низводясь тем самым до уровня занятий вторичных, комментирующих. Бавильский два этих потока высказывания разводит, освобождая друг от друга. С собственными визуальными комментариями автора к итальянской экспедиции читатели по сей день имеют возможность познакомиться в социальных сетях, куда Бавильский и во время путешествия, и после него грузил фотографии. А вот и во-вторых: таким образом книга оказывается разомкнута по отношению к своим контекстам. Она становится частью некоторого гипертекста, у которого есть и словесные, и несловесные компоненты, способные быть воспринятыми и по отдельности. (Вообще, мне кажется, «гипертекст» — одно из ключевых понятий для понимания книги, поскольку в ней как большой гипертекст из разноустроенных компонентов читается и сама Италия: города в ней отсылают к картинам и фрескам (и к фильмам, музыке, текстам), те, в свою очередь — к городам, культура — к природе, а та в ответ — снова к культуре, оригиналы — к комментариям, а те — к новым оригиналам... Внутренний глаз постоянно делает скачки, переключает ракурсы, меняя и объекты видения, и его масштаб, и его скорости. Вся книга, на самом-то деле, один большой, сложный акт чтения: причем не одной только итальянской культуры с ее памятью и ландшафтами, но — тем же взглядом — и культуры русской, читающей, комментирующей, придумывающей Италию.)

При потребности в комментирующем сказанное видеоряде, в опоре на него «Желание быть городом» можно читать параллельно с обильно иллюстрированными блогами автора. Но это совершенно не обязательно (это не сделает понимание лучше — как, впрочем, и хуже: это сделает его просто другим). Тем более, что, чувствую я, замысел тут состоял еще и в том, чтобы дать читателю его собственную свободу: чтобы по словесным описаниям каждый мог представить себе свою личную Италию, прожить ее как свою внутреннюю форму, отождествиться с ней — и исполнить таким образом собственное, тайное желание быть городом.

Механизм, усваивающий время

Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Запад на Восток. — М.: Эксмо, 2020. — 320 с. (Серия: Гений места. Проза про писателей)

Тексты, составившие новый сборник эссе прозаика, поэта и журналиста Глеба Шульпякова, выходившие в разное время в разных местах и теперь сложенные автором в один тематический комплекс, в каком-то смысле тоже травелогичны. Они не то

чтобы о перемещениях в пространстве (хотя перемещения разных типов в каждом из них так или иначе происходят), но пространство во всех этих текстах становится ведущей, организующей фигурой внимания. Подобно Дмитрию Бавильскому (до некоторой, конечно, степени, — смысловые стратегии у этих авторов разные), Шульпяков не столько *тематизирует* пространство, сколько *инструментализирует* его, превращает в способ понимания событий и явлений, по существу, непространственных — но при этом вписанных в пространство и способных быть по нему прочитанными. Совсем обобщенно и коротко (с неминуемыми упрощениями) говоря, через пространства он осмысливает время. Прослеживает формы его проживания и накопления, сгущения и затвердевания в предметах.

«Имба, — пишет Шульпяков, — есть механизм, усваивающий время, так мне, во всяком случае, представляется. Естественное старение материала — то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина: как уходит в землю валун, на котором крыльцо; как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, — во всем этом есть время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое. Туда, откуда, как из годовых колец дерево, складываются настоящее и будущее».

Поскольку составом пространств, топосов и локусов, о которых идет речь в книге, распоряжаются скорее едва друг от друга отличимые судьба и случай, чем расчет и план, самое главное здесь — не траектория авторских перемещений (она, если ее выстраивать, выйдет вполне причудливой: «счастливая деревня» автора в Тверской области, на Валдае, и ее окрестности — поезд от Берлина до Бонна — московские улицы — усадьба Берново под Тверью — деревня Вятское под Ярославлем — земля предков автора, Саметь в Костромской области — Кемерово — Углич — Стамбул... словом, можно даже и не выстраивать), а тот принцип, по которому пространство становится способом выявления, собирания, прояснения своих содержаний.

Эти содержания далеко не всегда напрямую связаны с тем, что произошло в месте, актуально проживаемом наблюдателем. Связи тут куда сложнее и опосредованнее.

Так, над судьбой ленинградца Хармса, который «превратил страх в литературу, а литературу — в его документ», Шульпяков размышляет — нет, не в Петербурге, как было бы естественно подумать, но с помощью поезда, несущегося по Германии. Он даже не сразу в этом признается и долго говорит о своем герое без всяких географических привязок — пока не застает себя за мыслью: «...двадцать пять лет назад я не мог и подумать, что буду писать о Хармсе в немецком поезде, потому что и Хармс был под запретом, и границы закрыты, и Берлинская стена казалась вечной. Двадцать пять лет назад никто не мог и подумать, что Берлин снова будет единым городом и что “советская Германия” исчезнет с карты мира, как наваждение. Что наш человек будет свободно перемещаться по миру.

Однако все случилось так, как нельзя было и представить.

Хармс издан. Берлин свободен, я еду в немецком поезде».

Так мысль о Хармсе и главных темах его жизни оборачивается рефлексией об истории XX века, об истории вообще, о непредсказуемости ее хода, о том, как меняется во времени восприятие текстов, о страхе и свободе. («Хармс минус страх есть чудачество, эксцентрика. Свобода складывать сюжеты и жесты без логики. Именно так воспринимают Хармса сегодня, именно так хотели его воспринимать и мы в студенчестве. Когда все снова, как после 1917-го, разорвалось, разлетелось и по-новому сошлось, и перемешалось. Когда жизнь в Москве стала непредсказуемой, когда привкус абсурда витал в воздухе».)

Казалось бы, какое отношение все это имеет к поезду, пересекающему расстояние «между двумя столицами Германии» — расстояние между которыми «почти как между Москвой и Питером», что само по себе наводит на мысли о русской истории? К пространствам за окном, надо думать, — не очень большое. Но, видимо, несущийся по ним поезд помог соединить ассоциативной связью то, что до тех пор не соединялось. И чтобы понять и прочувствовать все это именно так, именно в той связи, какая стала видна тогда, — необходимо было ехать в немецком поезде.

У Москвы своя смысловая картография. Улица Куусинена приводит Шульпякову на ум жившего там поэта Евгения Рейна, Новый Арбат от почтамта до Дома книги возвращает памяти девяностые годы и тогдашних собратьев автора по торговле на книжном развале, их человеческие типы, их судьбы. А Петровка и Столешников переулок — конечно, надо было пройти по ним одним сентябрьским утром, чтобы в полной мере прочувствовать порождаемые ими в человеке смыслы — выводят его на тему ностальгии, ее природы, тоски по утраченному, несбывшемуся и невозможному: «Ностальгия — это, конечно, еще и тоска по себе. <...> Можно потерять страну, закопать талант, можно оставить привычное окружение, забыть знакомых и разойтись с близкими, но в этом не будет ностальгии. Ностальгия рождается в тот момент, когда мы чувствуем, что теряем собственную цельность, чувствуем невосполнимость. Ностальгия — это тоска по внутренней полноте и равновесию, по законченности внутренней картины. Примирить то, что распадается на части, вспомнить то, чего не было». Через русскую провинцию он, понятно, читает русскую историю и русские судьбы: целый раздел в книге посвящен местам, связанным с разными яркими людьми, по преимуществу писателями, — скорее, впрочем, людям и уж во вторую очередь — местам их обитания: Николай Гнедич и Петербург, Пушкин и Кавказ, другой Пушкин — Василий Львович — и Москва, Батюшков — и снова Москва, директор Публичной библиотеки в позапрошлом столетии Алексей Оленин и опять-таки Петербург, Александр Островский и костромская деревня Николо-Бережки, где он похоронен... Пространство — по большей части только повод говорить о человеке. Только возможность задать человеку систему координат. Его самого почти не видно.

Но есть в книге одно пространство, в некотором смысле, привилегированное. Точка всех отсчетов. Это — деревня в тверской глуши, где у автора есть дом, и эссе о которой, на правах большого эпиграфа, открывает книгу. Она — оптический прибор совсем особого свойства. Да, у нее есть собственная тема: с помощью своей деревни автор рассматривает прежде всего трагизм и нелепость (одновременно, неразделимо) удела человеческого. Но не только — а, пожалуй, даже и не в первую очередь.

Задно становится ясным, что пространство и взаимодействие с ним человека — это не про путешествия вообще. Путешествия — всего лишь частный случай такого взаимодействия. И далеко не самый значительный.

По крайней мере, очень похоже на то, что для Шульпякова теперь, после того, как он объездил добрую половину света (так что тут ему вполне можно верить — ему есть с чем сравнивать) самыми интересными и содержательными оказываются места, в которых не происходит как будто бы ничего — в смысле, ничего выбивающегося из рутинного порядка жизни. Именно в таких местах со сглаженным событийным рельефом, удаленных от всего, что мнит себя центром (чего бы то ни было), куда даже и мобильная связь не всегда дотягивается, особенно ясно видны — не заслоняемые событиями и впечатлениями, не зависимые ни от каких перемещений по лицу земли (впрочем, иногда способные быть уловленными с их помощью) — основы существования, его большие константы. Книга, по существу, — о них.

«Мой деревенский быт незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но натащить и вынести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить — и так далее, и так далее. Вот соседка Таня в лес пошла — а вот уже возвращается с полной корзиной. Только что улетучился с поля утренний туман, пористый и прозрачный, — как с другого конца уже наползает густой вечерний. Но странное дело, это необременительное, быстрое время, наполненное незначительными мелочами — время, утекающее незаметно и безболезненно, — оставляя в тебе ощущение весомости и значимости. Никакими подвигами не отмеченное, оно не уходит в песок, не проходит даром — как *то*, городское время. А попадает прямоком в прошлое, в его подпол, где и накапливается, зреет...»

Борис Минаев

«Кеды» — 2020

Запертые в четырех стенах, в снежной и темной Москве — мы продолжаем искать новых впечатлений, новых художественных идей, чтобы не сидеть тупо в этой мысленной темноте, чтобы не оплакивать непрерывно прежнюю свободу в эпоху ковида и ежедневных прощаний.

Для меня таким новым и неожиданным — стала трансляция на портале Культура.РФ спектакля «Кеды».

Я, собственно, не относился к этой трансляции как к чему-то новому — пьеса старая, да и спектакль поставлен не вчера, — пока не дошел до последних кадров. И вдруг я увидел тут людей в масках! Оказывается, все эти глаза, которые становятся благодаря маскам еще ярче и еще трагичнее — это глаза сегодняшних зрителей, они сегодня, преодолев страх и холод, пришли на эти самые «Кеды»!

...Пьеса вообще-то удивительная. Ни одна пьеса о современности не имеет, пожалуй, такой судьбы, как эти «Кеды».

Ни знаменитый вырыпаевский «Кислород», ни великая пьеса Пресняковых «Изображая жертву», ни возлюбленная мной «Ощущение бороды» Драгунской, ни «Пластилин», да вообще ничто, ни знаменитые прилепинские «Отморозки», ни хиты Театра.Дос («Синий слесарь», «Соколы») не пережили нулевых, десятых, не перешли плавно в нынешнюю эпоху.

И только «Кеды» Любви Стрижак — незаметно въехали в сегодня. Они возникают вновь и вновь, по всей России, во всех провинциальных театрах, то на той «малой сцене», то на этой, то в столицах, то в райцентрах, по ним можно по-прежнему изучать «современную молодежь», да и сама эта «молодежь», изображенная в пьесе, и уже порядком повзрослевшая, смотрит из зала как бы сама на себя и... радуется, наверное, что осталась жива?

Почему пьеса пророческая?

Дело в том, что в конце пьесы главный герой Гриша, столкнувшись с разгоном несанкционированной демонстрации, садится на велосипед друга и, как сказано в тексте, на полном ходу «врезается в полицейский автозак».

Чтоб было понятно, я просто перескажу финал.

Два молодых человека, Гриша и Миша, бесцельно идут по Москве, наталкиваясь неожиданно на «Марш несогласных»; один из них начинает снимать, как полиция (в нынешней постановке ее заменили на «Росгвардию») бьет одного из протестующих дубинками. Миша снимает происходящее на телефон, на него накидываются полицейские, волокут в автозак, он бросает велосипед. «Гриша садится на велосипед друга и на полном ходу врезается в автозак».

То есть пьеса «Кеды» написана тогда, когда никаких митингов, кроме небольших, не очень людных собраний на площади Маяковского по 31 числам — даже и не было. Она написана до событий на Болотной. До событий в Украине. До смерти Немцова. До (задолго) «московского дела» и всех на свете одиночных пикетов. Концовка «Кед» была лишь фантазией автора. Неким причудливым допущением. Тогда, восемь-девять лет назад, это так и воспринималось: ну вот, надо же, что автор(ка) придумала, в автозак у нее он врзается.

Однако «допущение» автора постепенно стало обыденностью. Автозак переехал не только этого придуманного Гришу на велосипеде, но и многие другие реальные судьбы.

Когда-то я смотрел «Кеды» в совершенно иной интерпретации. (Это был какой-то фестиваль современных пьес, ей богу, не упомяну ни на какой площадке, ни режиссера, ни актеров не помню тоже). Там был симпатичный худой и совсем юный мальчик, который всю пьесу куда-то идет — идет, идет, идет, и всюду ему плохо, неуютно — и с родителями, и на работе, и с девушкой, и в ночном клубе, и он все идет, гонимый каким-то своим внутренним беспокойством, несчастный и неприкаянный, — пока не попадает под колеса полицейского автозака... И возникает полное ощущение, что этот не понятый никем, нелюбимый мальчик — в конце гибнет. Просто гибнет. От этой нелюбви (фильма Звягинцева, конечно, тоже еще не было). Что никакого другого конца тут даже не предполагается.

Это был искренний, чистый, на одном дыхании сделанный, очень короткий спектакль. Яркая тень (можно так сказать?) подростковой темы 60—80-х. Отзвук «Над пропастью во ржи». Молодой герой против отвратительной «страны взрослых». И вот прошло время.

...Режиссер Руслан Маликов, создавая спектакль в театре «Практика» семь лет назад — не мог предполагать, что именно произойдет за эти семь лет, куда повернется фокус общественного внимания.

Его Гриша, а также его друзья, один из которых женится, другой — уезжает из страны, чтобы попробовать свои силы в какой-то там европейской школе для клубных музыкантов, вечером идут по городу, по своему городу, в котором у них есть любимые места, любимые улицы, да и любимые девушки тоже есть, это собственно, и выстраивает незамысловатый, но воистину магический сюжет «Кед», то есть — бесконечная прогулка. И вот впервые я поймал себя на мысли, что «Кеды» — это явный парафраз или даже театральный ремейк знаменитого фильма «Мне двадцать лет» (он же «Застава Ильича»), культового фильма шестидесятников. Те же ребята в поисках себя, тот же наивный романтизм, те же торопливые, обрывистые разговоры о главном, на ходу, на бегу, те же болезненные отношения со взрослыми — с матерью, с ушедшим отцом. Те же сложные и запутанные отношения с девушками.

Но тогда, десять лет назад, я не воспринимал эту культурную рифму, мне был важен только Гриша, его горячий нервный разговор с собой, его обиды, его уход отовсюду, из всех точек своего маршрута — практически бегство, меня завораживал этот ритм. Мне хотелось сравнить «Кеды» с фильмом «На последнем дыхании».

И — как я уже сказал — этот спектакль был почти пророческим, он предрекал этому неприкаянному поколению выход на улицу, борьбу с системой, с несправедливостью, борьбу и обретение себя в этом попадании под колеса автозака.

Но вот прошло время — и с этими героями, с этими ребятами режиссер Руслан Маликов разбирается куда более жестко. Все актеры, играющие «трех товарищей», выглядят чуть старше, чем заявлено в пьесе (Данила Шевченко, Данила Ариков, Виталий Щанников). Им явно за тридцать, а по тексту они все время произносят —

мне двадцать шесть, двадцать семь, все время тормозят эти цифры, задаются внутренним вопросом: это много или мало?

И это вроде бы такое случайное несовпадение — возраст актеров и возраст героев — вдруг становится логичным, ясным ходом: все они «переростки», все они люди, которые задержались в юности, застряли на каком-то витке пути, и вот, сбившись в кучку, соображают — а почему? Что с ними не так?

Инфантильность их, подростковость не создают поля сочувствия, это, скорее, болезнь. Им тяжело. И да, мы видим, что им тяжело.

Взрослые в пьесе «Кеды» — если говорить о том, как воспринималась она тогда, десять лет назад, — обрисованы бегло, потому что они тупые, ничего не понимают, окружают героя зоной отчуждения, равнодушия и лишь подталкивают «под колеса автозака»: мать, отчим, начальник на работе, злой Пал Иванович, да еще и голос далекого отца, звучащий в телефонной трубке. Все они фальшивы, никто не может понять, никто не может «по-нормальному поговорить», от них только хуже.

Но за это время что-то с этим текстом (и с этими взрослыми) произошло. Укрупнились детали, все стало более резким, острым, отчетливым.

И мать, которая пытается угодить новому мужу, и отчим, который пытается с сыном поладить, — тема вполне человеческая, болезненная, вызывающая сочувствие (да и велика традиция такого сочувствия, можно вспомнить другой прекрасный советский фильм «Мама вышла замуж» с Олегом Ефремовым). И грубый начальник Пал Иванович, который изо всех сил пытается защитить свою некрасивую дочку от возможных обид, — даже и он вызывает сочувствие.

Да-да, это так, именно условные «отцы», а не условные «дети» здесь вызывают сочувствие — они задавлены жизнью, они несут груз обязательств, с них невелик спрос за то, что они не научились «книжки читать» или не ту музыку слушают, ведь это же ерунда, перед ними груз воистину библейских задач — дети, семья, сама жизнь.

А вот условные «дети» — они вызывают раздражение. Хотя, казалось бы, именно их должно быть жалко.

И даже дружба их, прекрасная, казалось бы, юношеская дружба, не выглядит чем-то «святым» или искренним. Как-то вот не получается у них ни произнести клятву на Воробьевых горах, ни искренне влюбиться, ни по-настоящему взбунтоваться.

Скорее, они просто раздражены. Постоянно сильно раздражены.

...Совершенно не помню этой темы в постановке десятилетней давности — ну да, они ссорились, но не более того. Не помню депрессивной тяжести от этих разговоров — да, они отчаивались, но это казалось нормальным. Кажется, что режиссеру пришлось сильно постараться, чтобы разрушить их обаяние, чтобы показать эту трещину, разбить скорлупу возраста.

Достигается это самыми разными средствами — кричащей клубной музыкой, надо сказать, на редкость неприятной. Раздражающим прерывисто пульсирующим светом. Акцентами на второстепенных деталях — скажем, герои в ходе пьесы, конечно, курят, так изначально и предполагалось. Но сделать такой пластический мощный фетиш, это надо было суметь. Ну и главное — самой актерской природой они раздражают.

Главный герой Гриша — человек дерганный и внутренне злой. Да, он страдает, да, наверное, он «хочет добра», да, у него есть мечты и идеалы. Но за всей этой *старой* структурой текста идет постоянное ощущение, что режиссер и актер видят его другим зрением, отслаивают мало-помалу и показывают зрителю куски какого-то другого Гриши, того, который в изначальном тексте не предусмотрен, — то есть Гриши, который распадается на части, тонет в своей тоске и в своей злости.

И вот, вообще-то говоря, возникает главный вопрос спектакля — этого конкретного спектакля, сыгранного в этом конкретном 2020 году: зачем это все?

И ответ, который напрашивается сам собой: переоценка ценностей. Переоценка всей этой традиции: фильма «Стиляги», спектакля «Взрослая дочь молодого человека», фильма «Застава Ильича», бесконечных подростковых повестей Крапивина, вообще всего.

Бунт, протест, нон-конформизм советской и постсоветской молодежи — все это отправляется на свалку истории.

Вспоминаются, скорее, фельетоны «Комсомольской правды» о стилягах и «вещистах» — славная традиция, протянувшаяся от 50-х до 80-х годов («Гниль», «Плесень» и так далее).

Да, конечно, все не так уж однозначно тут, в этом спектакле, как в тех ужасных карательных фельетонах, но, ей-богу, их не жалко, этих ребят, и они, увы, вызывают отторжение. Почему же так получилось?

Не склонен упрекать режиссера в какой-то искусственной позиции или уж тем более в политической ангажированности. (Хотя, конечно, для меня лично то, что Руслан Маликов смело шагнул из «Практики» на сцену МХАТ имени Горького и поставил там первый спектакль в рамках «новой художественно-патриотической концепции», постановка «Последний герой» — факт удивительный).

Наверное, все-таки само время поставило перед героями (и перед зрителями) это прямое неприятное зеркало — после бурного интереса к протестам и бунтам, к поколению, которое в эти протесты и бунты вливается, вписывается, вдруг возникают новые вопросы.

Ну а что же дальше будет? Как дальше жить?

Как взрослеть? Как относиться к обычным человеческим ценностям, которые принято почему-то называть «консервативными», хотя они всеобщие, — к семье, например, к браку и детям?

Долго ли можно сидеть в ожидании того, что «все это рухнет», весь этот лживый взрослый мир? И пока сидим — как себя вести, какую позицию избрать?

Уходил со спектакля (ну то есть выключил экран, пошел на кухню, поставил чайник) — со смешанным чувством.

Те, прежние «Кеды», этот горький вздох, этот гимн поколению, прокатившийся по стране, по сотням сцен, — мне нравился куда больше. Да и «Застава Ильича» мне кажется ценностью непреходящей, фильмом на все времена.

Но эти, маликовские «Кеды» — 2020 года — они заставляют отвечать на вопросы, они раздражают, они мучают.

И в этом их достоинство.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ



И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**2/2021**

Читайте:

**Алина Гатина. Роман
«Саван. Второе дыхание»:**

*«— Зря ты про Руфину. Она хорошая.
— Ладно. Бог с ней. А ты... Я смотрю на тебя —
и ты лучше меня. Понятно, что ты лучше
своего отца... Это для меня большое утешение.
Это комплимент для меня. Но ты и лучше меня.
Хотя как мать я себя не устраиваю. Я ведь
не очень хорошая мать. Да? — Она нервно
засмеялась: — Да нет. Я даже скверная мать.
Да? Но ты скажи мне одну вещь. Больше ничего,
кроме этой вещи, не говори. Не жалею меня
сейчас, не защищай. Только очень-очень
честно скажи. Я пойму, если скажешь как есть.
Хотя, — она опять глотнула воздуха, — я и не
рассчитываю там на что-то. Но скажи...
вот если бы я ушла от вас с папой... Ну, то есть,
как он от нас с тобой. Ты бы меня искал?
Ну, то есть, как его? Ты бы искал меня так же?
Она села на пол у кровати и положила голову
ему на грудь.
Ролик погладил ее по волосам, как гладят
маленького ребенка. И она взяла его руку
и поцеловала ладонь.
Она и смотрела на него как ребенок, и все
ждала, что он скажет. Он показался ей взрослым
и важным — таким человеком, от которого она
зависит. И Ролик сказал то, что вначале мать
будто и не расслышала, будто отвергла его слова.
И он, думая, что она не слышит или не понимает
его, повторил еще раз:
— Мама, ты бы никуда от нас не ушла....»*